

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1956

10

1956

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXII

№ 10

Октябрь, 1956 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
САБИТ МУКАНОВ — На вершине Таскабака. Перевод с казахского	3
—	
БОРИС ПАСТЕРНАК — Хлеб, стихи	18
Н. КОРЖАВИН — Воспоминание, стихи	19
В. ДУДИНЦЕВ — Не хлебом единым, роман. Окончание	21
Н. РЫЛЕНКОВ — Коктебель. Галька. Во время шторма. После шторма, стихи	99
ПЕРЕЦ МАРКИШ — Твой взгляд. Миру не ведать второй Галилеи. В сумерки у моря. Забота, стихи. Переводы с еврейского А. Ахматовой, Сергея Наровчатова, Александра Голембы	101
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ — Противостояние Марса, стихи.	104
ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛЕВА — Снег в апреле. Токонома. «Чтоо матэ!», стихи.	106
БЕРТОЛЬТ БРЕХТ — Господин Пунтила и его слуга Матти, народная комедия. Перевод с немецкого Л. Чёрной и Д. Мельникова	108
БОРИС СЛУЦКИЙ — Счастье. Все слабели... Домой. То слышится крик... Стихи	159
ПУБЛИЦИСТИКА И КРИТИКА	
Л. ПОДВОЙСКИЙ — Заметки инженера	162
<i>Два письма</i>	181
В. РЕБРИН — Разговор о любви	
ВАЛЕРИЯ ГЕРАСИМОВА — «Нелёгкий разговор» продолжается	
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
ИЗ ПЕРЕПИСКИ И. А. БУНИНА. Публикация и примечания А. К. Бабореко	197
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Нат. Соколова. Большой путь. — С. Гехт. Что было в Пенькове? — Евг. Долматовский. Десять лет спустя. — М. Щеглов. Корабли Александра Грина. — М. Блинкова. Любовь или снисходительность? — И. Рахтанов. После долгого ожидания. — С. Липкин. Поучительно и интересно... — Л. Копелев. Вы уже причастны!	212

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	235
Кандидат юридических наук Л. Дадзани . Книга об Индонезии.— М. Стурра . Правда об «империи нефти». — Л. Барановский . Вынужденное признание.— Л. Василевский, С. Семёнов . Разведка космического пространства.— Доктор географических наук Э. Мурзаев . Рождение географической карты. — Доктор исторических наук профессор Н. Воронин . Памятники древнерусской культуры.	
ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО	247
Сергей Марков . Миклухо-Маклай на Суэцком канале	
РЕПЛИКИ	249
М. Прилежаева . Домик поэта.— Т. Трифонова . Афишу, а не ведомость!	
КОРОТКО О КНИГАХ	251
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	255

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

САБИТ МУКАНОВ



НА ВЕРШИНЕ ТАСКАБАКА

Неожиданно зазвонил телефон. Взяв трубку, я сразу узнал голос: это был первый секретарь Алма-Атинского обкома партии товарищ Рымбек Ильяшев.

— Вы ещё бодрствуете? — шутивым тоном спросил он после того, как поздоровался.

— А вы сами?..

Я посмотрел на часы — было уже четыре часа утра; взглянул в окно: небо над городом и дальние окраины терялись в сумраке, заоблачные вершины Заилийского Ала-Тау еле угадывались по бледному свечению вечных снегов.

Чувствовалось, что Ильяшев не выспался: он то и дело зевал, причмокивая губами. Конечно, до сна ли ему?.. Погода благоприятствует успешной уборке хлебов — вот уже много времени стоят на редкость ясные дни. В такую пору нельзя терять и минуты, ведь покрытый льдом Ала-Тау того и гляди может собрать вокруг своих вершин чёрные тучи и разразиться таким чудовищным ливнем, что всякая уборка сразу прекратится. А урожай нынче обилен! Хлеба уже созрели настолько, что колосья вот-вот готовы осыпаться. Чтобы предупредить эту беду, вся область мобилизовалась — урожай в основном уже собран, и в ближайшие пять-шесть дней уборочные работы должны завершиться. Потому-то руководство было, что называется, на ногах: всё время на полях колхозов и совхозов.

Ильяшев, тоже находившийся на периферии, на днях вернулся в Алма-Ату на открывшееся здесь совещание. Совещание это, в котором принимали участие весь республиканский, областной и районный актив и первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв, рассматривало только один вопрос — об уборке без малейших потерь богатого урожая, выращенного ныне на плодородной земле Казахстана.

На совещании выявилось нечто небывалое доселе в истории Казахстана — потрясающая новость! — Казахстан, который до 1954 года производил всего только 50—70 миллионов пудов зерна в год, в этом году, по примерным подсчётам, должен был собрать со своих полей около одного миллиарда четырёхсот миллионов пудов хлеба!..

Этим Казахстан обязан Коммунистической партии Советского Союза и Советскому правительству, принявшим постановление о развёрнутом наступлении на веками не тронутую целину и создавшим все условия для претворения в жизнь такого смелого и грандиозного плана.

Казахстан, ясно понимавший свой долг и стоящую перед ним почётную задачу, на этом совещании принял решение в нынешнем, 1956 году сдать государству миллиард пудов зерна. Миллиард пудов!.. Легко сказать! Это равняется половине того количества зерна, которое обязалась ныне сдать государству вся необъятная Российская Федерация.

Это в два раза превышает количество зерна, сдаваемого ныне Украиной — житницей Советского Союза. Казахстан, ранее занимавший по производству зерна четвёртое или пятое место среди союзных республик, сейчас выходит на второе место.. Такой быстрый рост возможен только в условиях советского строя.

После республиканского совещания я сказал Рымбеку Ильяшеву, что хотел бы побывать на уборочной. Он улыбнулся.

— Я знаю, что ваши усы всегда имеют крен в сторону совхоза «Рославльский», однако сейчас я прошу вас поехать не в этот совхоз, а в другой — «Илийский». Я прошу об этом по трём причинам: во-первых, хотя земли совхоза «Илийский» начинаются буквально в двадцати километрах от Алма-Аты, вы до сих пор не бывали в этом совхозе; во-вторых, и по площади посевов и по своей мощности совхоз этот несколько не уступает совхозу «Рославльский»; и, наконец, в-третьих, по хлебоуборке и сдаче хлеба государству совхоз «Илийский» в этом году идёт впереди всех.

Я согласился.

— Выедем завтра же до рассвета, — сказал Рымбек. — До наступления жары нам с вами надо успеть объехать возможно больше, а то ведь писателям, привыкшим к прохладе кабинета, труднее переносить зной, чем нам, закалённым на хозяйственной работе. По прогнозам Бюро погоды, температура завтра будет градусов сэрок пять.

— Выехать до рассвета — не возражаю. А кто как перенесёт жару — увидим, — сказал я гордо. (Только недавно я совершил поездку по китайской провинции Синьцзян, по окраинам знаменитой песчаной пустыни Такла-Макан, где с нами ничего не случилось и при тропической жаре в 60 градусов.)

Вскоре после телефонного звонка Рымбека я вышел из дому. Улица Абая застыла в предутренней тиши. Воздух был свежий, прохладный, ни дуновения ветерка. Стройные тополи высотой с пятиэтажный дом застыли ровными рядами — ни один листок не шелохнётся. Тишину нарушали только раскатистые трели провозвестников утра — соловьёв, укрывшихся в ветвях вековых деревьев, да серебристое журчание горной воды в арыках. Цветы на газонах, освещаемые лучами электричества, имели какой-то странный, призрачный вид. На улице ни одной живой души, если не считать уединившихся между цветами и толстыми тополями редких влюблённых пар. Город спал...

Вот и Рымбек подкатил на «ЗИМе». Вскоре мы выехали из города и помчались по асфальтированному шоссе на северо-восток от Алма-Аты.

Хотя Алма-Атинская область считается овцеводческой и по масштабам земледелия не может соперничать с другими областями Казахстана, всё же и в этой отрасли хозяйства в последние два-три года она добилась немалых успехов. Если в 1954 году здесь было собрано 14 миллионов пудов зерна, то в нынешнем, 1956 году урожаем составит 35 миллионов пудов.

Посевные площади области невелики. На территории около одиннадцати миллионов гектаров преобладают пески и горы, а земель, пригодных к пахоте, сравнительно не так уж много, да и те расположены преимущественно в безводных пустынях. Только около 150 тысяч гектаров в поймах рек обильно орошается, остальные же площади, годные для земледелия, сосредоточены на двух обширных равнинах, которые, начинаясь в 20—30 километрах от северных склонов гор, тянутся с запада на восток. Одна из этих равнин — пустынная, без озёр и рек степь — называется Кара-ой, то есть «Чёрная равнина», потому что она сплошь покрыта чёрной пылью. Другая — Боз-ой — получила своё

название «Белёная равнина» по цвету смешанного с полынью белёного ковыля.

До 1954 года Кара-ой и Боз-ой использовались лишь сезонно. В апреле—мае на этих равнинах было вдоволь травы и воды, так что скот, до того проводивший зиму в прибрежных Балхашских песках, удобно было перегонять к горным пастбищам именно через эти места. Когда же осенью скот спускался с гор к пескам, он также проходил через эти равнины. В другое время года и Кара-ой и Боз-ой пустовали — никто и не думал разводить здесь скот или заниматься земледелием.

После постановления Пленума ЦК партии о поднятии целины и за-лейшей серьёзный разговор об этом происходил среди руководителей Алма-Атинской области.

— Вот это здорово, — говорили одни, — нашли область, где можно поднимать целину! Ведь Алма-Ата не Кустанай, располагающий целиной на пяти-шести миллионах гектаров. И не Кокчетав, где целины около двух-трёх миллионов гектаров... Она не идёт в сравнение даже с Северо-Казахстанской областью, которая при необходимости тоже изыщет целины не менее, а то и более миллиона гектаров. Алма-Ата же может рассчитывать всего только на Кара-ой и Боз-ой, несмотря на то, что они представляют безводную пустыню... Да и там велика ли площадь целины? Всего, может быть, только 250—300 тысяч гектаров!.. Не стыдно ли нашей области осваивать столько в то время, когда другие области республики поднимают миллионы гектаров целины! Может быть, лучше совсем отказаться от этих попыток?

Возражая скептикам, их противники высказали веские соображения.

— Сотни тысяч гектаров — это кажется малой площадью только в масштабах Казахстана, — сказали они. — Посмотрите-ка на лесистые и болотистые области севера нашей страны или возьмите Прибалтику. Там иногда не найдёшь даже десяти тысяч гектаров целины, не говоря уже о большем. Иные колхозы этих краёв были бы дозольны и сотней гектаров. А вы с пренебрежением смотрите даже на триста тысяч гектаров. Так не лучше ли вам, отбросив излишнюю скромность, приступить к использованию этой целины?

Обезоруженные этими аргументами, скептики ухватились за другой довод. Они стали уверять, что Кара-ой и Боз-ой безводны, что почвы там солончаковые и потому-де там хлеба не уродятся. Но и в этом вопросе представители агрономической науки положили их на обе лопатки.

— Прежде всего, — говорили агрономы, — земли, о которых идёт речь, вовсе не солончаковые, напротив, во многих местах почва очень хороша для хлеба. Поэтому при наличии воды в этих местах можно вырастить богатый урожай. А так как эти земли расположены близ гор, то осадки там нередки. Даже в засушливый год там можно при помощи хорошей агротехники получить высокий урожай.

Хотя скептики и потерпели провал в этом споре, однако в Алма-Атинской области решение вопроса о поднятии целины затянулось надолго по сравнению с другими областями республики.

К концу 1954 года в области организовано всего четыре совхоза: «Илийский», «Каскеленский», «Аксенгирский» и «Рославльский». По площади пахотных земель и посевов наиболее крупные из них — «Илийский» и «Рославльский». В нынешнем году они вырастили урожай на площади около 93 тысяч гектаров, втрое большей, чем у двух других. А хлеба совхозы «Рославльский» и «Илийский» дали столько, сколько давала вся Алма-Атинская область три года назад. Вот какой оказалась выгода для Алма-Атинской области от освоения целины!..

В 1955 году мне довелось бывать в совхозе «Рославльский». Я видел, как в апреле 1955 года прибывший из Москвы директор совхоза Михаил Кузьмич Чуриков забивал здесь первый кол. Совхозу были выделены

120 тысяч гектаров недалеко от станции Отар, что между городами Алма-Атой и Джамбулом.

Ознакомившись с производственным планом совхоза на первый год его существования, я узнал, что совхоз должен был поднять 40 тысяч гектаров целины, из них 20 тысяч засеять в том же году. В тот момент, когда Чуриков знакомил меня с этим планом, у совхоза, по русской поговорке, «не было ни кола, ни двора», или, вернее, был кол, но ничего больше. Потому-то план Чурикова показался мне тогда несбыточной фантазией.

Однако в конце концов Чуриков оказался прав. За два весенних месяца совхоз успел поднять целину на 20 тысячах гектаров и засеять всю эту площадь. Несмотря на засушливое лето, урожай в совхозе был богатый. Земля, на которой никогда доселе не произрастало ни одного злака, дала в среднем по 12 центнеров зерна с гектара, и всё это целиком было ссыпано в государственные закрома. Не довольствуясь достигнутым, совхоз распахал ещё 20 тысяч гектаров под озимь... Он построил жилые дома общей площадью в пять тысяч квадратных метров, клуб, школу, баню, пекарню и помещения для различных мастерских. Запрудили небольшой ручеёк, и на центральной усадьбе совхоза, в былой пустыне, создали обширное озеро. На его берегу разбили большой фруктовый сад. Таковы были дела советских людей!..

В 1956 году совхоз «Рославльский» засеял 48 384 гектара. Я был свидетелем, как дружно всходили эти обширные посевы. Однако мне не пришлось видеть их дальнейшее развитие и созревание — в двадцатых числах мая я поехал в Китайскую Народную Республику и вернулся только в конце июля. Понятно, мне очень хотелось посмотреть, как пожинают плоды своих трудов мои знакомые совхозники. Вот почему и усы мои, по шутливому замечанию Рымбека, имели крен в сторону совхоза «Рославльский». Теперь мы ехали в совхоз «Илийский», мне пока не знакомый.

Но что это была за езда! Мы, казахстанцы, можем похвалиться многим, но только не своими дорогами. На громадной территории — в пять раз больше Франции — все наши дороги, если не считать очень отдалённых друг от друга редких асфальтированных или булыжных шоссе, являются грунтовыми трактами. Когда-то они были удобны для лошадей, верблюдов, казахской арбы-двуколки и тарантасов, но сейчас, изрытые автомашинами, тракторами и тягачами, они стали невыносимы. Едешь по этим ухабам и рытвинам — и всё думаешь, как бы от невероятной тряски не вывалились из тебя все внутренности!

Как только мы свернули с асфальта на серо-жёлтую дорогу, извивавшуюся по горным склонам (издали она казалась совершенно гладкой), на первых же метрах нашу машину начало бросать из стороны в сторону, словно корабль в бушующем море.

Мне, не раз ездившему по таким дорогам, был известен их секрет: дорога кажется гладкой потому, что она покрыта толстым слоем пыли. Едва колёса машины погружаются в эту пыль, она поднимается в воздух густыми облаками, а машина становится игрушкой рытвин, ухабов и бугров разбитого твёрдого грунта.

Ко всему этому прибавился ещё и ветер. Догоняя нас сзади, он обволакивал и покрывал нас слоями пыли, заставляя непрестанно кашлять, чихать, протирать глаза и задыхаться. Не имея другого выхода, чтобы избавиться от этой муки, мы время от времени останавливали машину, некоторое время стояли с подветренной её стороны в ожидании, когда уйдут от нас пылевые облака.

В один из таких моментов Рымбек, как бы полагая, что тряска и пыль могут быть неприятны только писателю, человеку, непривычному к этому, сказал:

— Дороги у нас ещё плохие... Особенно плохи они в новых совхозах... Ведь сегодня воскресенье, — вспомнил вдруг он. И добавил: — Вы простите меня за то, что оторвал вас в такой день от упоительного отдыха в горах, где и прохлада, и пышная зелень, и река, и заставил испытывать такие мучения.

Я решил не отвечать взаимностью на эти вежливые слова, а заставить его выслушать то, что было у меня на душе.

— Сколько километров между Дмитриевкой и центром совхоза? — спросил я.

— Восемь или десять.

— Вот уже два года, как создан совхоз «Илийский». Если было некогда построить дороги на всей территории совхоза, то разве нельзя было за эти два года провести дорогу хотя бы на этих десяти километрах?

— Конечно, можно было, — ответил Ильяшев смущённо. — Если захотим построить дороги, то у нас найдутся и камень, и гравий, и щебень, и песок. Это верно, что мы уделяем всё внимание крупным работам и частенько пренебрежительно относимся к таким мелочам. Извините, — тут же спохватился он, — слово «мелочи» у меня вырвалось случайно. Дорога, конечно, не мелочь, и построить её — не какая-нибудь лёгонькая работа. От запущенности наших дорог часто портятся автомашины. Это наносит большой ущерб. Нечего греха таить, бывали иногда случаи, когда из-за такой пыли встречные машины, не заметив друг друга, сталкивались, ломались и даже были человеческие жертвы. Хотя в этом упущении виновны и мы, однако же главный виновник всего этого — Министерство дорожного строительства Казахстана. Оно до сих пор проявляет беспечность и к своим обязанностям относится халатно.

Слова Рымбека меня мало удовлетворили. Когда кто-нибудь чувствует себя виновным на пятьдесят процентов, он склонен успокаиваться на все сто.

Перенеся все дорожные муки, мы наконец доехали до центральной усадьбы совхоза «Илийский». Она расположена на берегу маловодной горной речушки Каскелен. Построенная всего только за последние два года, эта усадьба уже превратилась в городок с благоустроенными улицами, хорошими домами.

Хотя только-только занималась заря, руководители совхоза уже ходились в конторе. По улицам и вокруг посёлка сновало много машин. Разумеется, они перевозили зерно...

В конторе нас встретили директор совхоза Павел Иванович Михалкин и главный агроном Лидия Петровна Савиных. Нам хотелось получить некоторые, хотя бы и самые общие, сведения о совхозе в целом.

Когда мы заговорили об этом, Михалкин сказал нам:

— Я работаю здесь только с апреля этого года. А Лидия Петровна тут с первых же дней. Она, так сказать, «матриарх» этого совхоза.

Мы вступили в беседу с товарищем Савиных. Лет около тридцати, высокая, полная блондинка, она стала смуглой под казахским солнцем и ветром. Обычно у таких непосредственно руководящих производством людей в кармане бывает краткий справочник, характеризующий в цифрах положение дел. Но Лидия Петровна не стала доставать из кармана такую книжечку, а сразу принялась отвечать на наши вопросы, так как знала наизусть все подробности совхозной жизни.

Она сообщила нам, что земельные угодья совхоза «Илийский» составляют 83 475 гектаров, из них 50 тысяч гектаров пригодны к пахоте. Нынче совхоз засеял 44 596 гектаров, с каждого гектара этой площади он получит в среднем по 14 центнеров зерна. А наиболее урожайные участки в этом совхозе давали даже по 30—32 центнера с гектара. Уже убрано

38 400 гектаров. Остальные шесть с лишним тысяч предстоит убрать в оставшиеся пять дней. Сто комбайнов направлено на уборку в северные области Казахстана. Остальные 48 комбайнов в ближайшее время тоже будут посланы туда. Совхоз в этом году сдаст государству два миллиона шестьсот тысяч пудов хлеба, остальные употребит на свои нужды...

Таксв был дар совхозу «Илийский» от равнин Кара-ой и Боз-ой, где два года назад не росло ничего, кроме чёрной полыни да белёсого ковыля!..

В малоурожайные годы совхозы и колхозы с уборкой справляются своими силами, а в урожайные обращаются за помощью на сторону. То же самое было и с совхозом «Илийский» в этом году. На помощь к нему прибыло 240 студентов Московского университета, а также сто работников Управления Турксиба из Алма-Аты. Они ссыпали зерно на тока, грузили на грузовики, отправляли на железнодорожные станции зерно прямо из бункеров комбайнов.

Побеседовав с Лидией Петровной, мы отправились на поля, где ещё шла уборка. Перед нашим выездом Михалкин сообщил любопытную цифру.

— Вы, — спросил он нас, — поедете на отдельные участки или будете объезжать все бригады?

— По возможности, все бригады, — ответил я.

— Такой возможности нет, — сказал Михалкин, улыбаясь.

— Почему?

— По уточнённым замерам, длина дорог, по которым можно объехать весь наш совхоз, составляет 750 километров... Причём это только основные дороги. А если учесть и подсобные, то общая длина всех наших дорог превысит тысячу километров. Это больше, чем расстояние от Москвы до Киева.

И вот мы опять в пути. Вновь швыряет нашу машину из стороны в сторону, густая пыль забирается в ноздри, в уши, в глаза, на коротких остановках я снова вижу вокруг бесконечные просторы и синий купол степного неба над головой. Невольно я вспоминаю свои путешествия.

Любовь каждого к родным местам — факт бесспорный. Я тоже люблю озеро Дос, на берегу которого родился. Оно находится на стыке границ Северо-Казахстанской и Кустанайской областей. Не на всякой карте вы найдёте Дос. Но крошечное пространство моей родной земли наше большое советское время расширило настолько, что оно дошло сперва до границ Казахстана, а потом и всего Советского Союза. Я любил необъятные родные просторы своим сердцем, но всегда мечтал полюбить их ещё и своим оком. С этой целью я в свободное от трудов время стал каждый год совершать поездку в какой-нибудь ещё не виданный мною уголок нашей Родины. За последние двадцать пять лет я объездил многие и многие места Советского Союза и уж конечно — Казахстан. Однако, сколько бы ни разъезжал я по Казахстану, он остаётся для меня неисчерпаемым. До сих пор я не успел побывать во всех его уголках и повидать каждый из них...

Осенью 1952 года я совершил путешествие в Топар. Что это за местность — Топар?

Если забраться на одну из вершин Заилийского Ала-Тау — хребта, окаймляющего Алма-Ату, — и обратить взгляд на север, откроется раскинувшаяся далеко внизу, теряющаяся в туманной дымке огромная бескрайняя равнина. Пересечь прямым путём весь этот простор из конца в конец можно только на самолёте. Для другого вида транспорта нет прямой дороги: ближайшие сто километров этой равнины проходят через безводные пустыни, дальше лежат бесчисленные барханы пустыни Сары-

Тау-Кум, похожие на миллионы отдыхающих неподвижных верблюдов. А далее на 605 километров в длину распласталось знаменитое озеро Балхаш, причудливыми очертаниями своими на географической карте напоминающее сказочного дракона...

Казахское слово «Балхаш» в древнем, архаическом значении — местность, где в изобилии растут сочные травы для скота. И в самом деле, берега Балхаша представляют собой такие пастбища с сочными травами. Если не считать беспокойства, причиняемого мириадами комаров и слепней в летние месяцы, здесь отличные условия для выпаса миллионов голов скота, который мог бы пастись здесь и зимой и летом. По свидетельству одного авторитетного источника, только на южном побережье озера Балхаш в 1913 году паслось 480 тысяч голов овец, 31 тысяча голов крупного рогатого скота, 21 тысяча голов лошадей, девять тысяч голов верблюдов...

Колхозы и совхозы мало пользуются богатыми пастбищами Прибалхашья. И если не считать Балхашского района (Алма-Атинская область), расположенного на берегу озера, остальные районы содержат в Прибалхашье только коров.

Топар и есть та местность, где пасутся коровы из нескольких районов Алма-Атинской области. Это — устье реки Или, впадающей здесь в озеро Балхаш.

Много интересного можно увидеть в Топаре, но это особая тема, связанная с проблемой животноводства в Казахстане. Здесь же я хочу вспомнить впечатления одной ночи на пути в Топар четыре года назад.

Препятствия тяжёлой дороги были уже позади, и, если бы нашей машине дать полный ход, потребовался бы всего часок-другой, чтобы достигнуть цели. Но тут мы наткнулись на разрушенный мост через реку Курты. Попытка отыскать брод не увенчалась успехом — наш «газик» застрял в топи. Немало часов мы промучились, но вытянуть машину не смогли. Лишь пресезжавший мимо казах с четырьмя верблюдами выручил нас. Его верблюды вытащили «газик» на сухое место. Но мы потратили весь резервный бензин на попытки преодолеть топь и теперь остановились в совершенно пустынных местах, не будучи в состоянии ни ехать домой, ни вернуться к населённому пункту, откуда мы двигались.

Холм, на котором остановилась машина, назывался «Таскабак». Этот холм, не так уж заметный среди других, когда мы забрались на его вершину, показался нам довольно высоким. На вершине его лежали крупные камни. Прежде всего мы бросили взгляд на юг, в сторону дома. Снеговые вершины Ала-Тау, окружающего Алма-Ату, еле виднелись за множеством малых и больших холмов, и только Талгарский, Больше-Алмаатинский и Мало-Алмаатинский пики являлись взору, как некие возведённые из снега исполинские сооружения. Хотя холм и был невысок, однако с вершины Таскабака можно было обозреть многое. На северо-западе, закрывая лучи заходящего солнца, чернел в дымке силуэт горы Анракай. По словам шофёра, гора эта находилась на расстоянии не менее ста километров от нас. На северо-востоке выделялась вершина Куланбасы, отстоящая отсюда на 70—80 километров; далее, к востоку, тянулись голубые хребты гор Архарлы; а на востоке торчал, словно горб упитанного верблюда, пик Алтын-Эмель. Он находился от нас на расстоянии 150 километров...

По мере наступления сумерек окрестности Таскабака стали теряться во мраке.

— В этих местах темнота наступает рано, — произнёс мой спутник, один из областных работников, стоявший возле меня, — потому что здесь всё сплошь покрыто чёрной полыньёю. А чёрный цвет полыни более

способствует быстрому наступлению здесь темноты, чем белёсый цвет ковьяла...

— Не знаете, почему этот холм назван «Таскабак», то есть «Каменная бровь»?

— Как мне рассказывали, эти места очень неблагоприятны для сельского хозяйства. Здесь пустыня — зимой и летом здесь постоянно свирепствуют ветры. Опасаясь всего этого, кочевые наши предки быстро проходили эти места, не останавливаясь на них. Может быть, поэтому и назвали эти суровые холмы «Таскабак», то есть «Каменной бровью» на лице земли?..

Эту ночь мы провели на вершине Таскабака. Не встретилось ни одной машины, у которой можно было бы позаимствовать горючее. Пешком идти было нельзя: до населённых пунктов далеко — 60—70 километров. Пришлось заночевать — иного выхода не было. Желудок, более суток не принимавший ни кусочка пищи, мучительно протестовал. Надеюсь сегодня доехать до дому, мы не запаслись и водой, и нас жгла жажда. Словно для того, чтобы ещё утяжелить наше положение, с заходом солнца поднялся холодный, сильный ветер. Небо, ясное днём, заволочко чёрными тучами. Наступила чёрная ночь — хоть глаз выколи!.. Мы жались в тесной машине, словно козы, укрывшиеся от дождя, так как нам говорили, что в этих краях водятся змеи. Неизвестно, ветер ли, змеи ли, однако в густом мраке мерещилось, будто что-то со свистом и шипением врывалось в машину, заползало в неё и выползало... С опаской поглядывали мы по сторонам. Наш тревожный взор различал только что-то широкое и как будто более светлое, чем окружающий мрак. Это было высочшее и покрытое белым солончаком озеро Сор-Коль, единственное близкое отсюда солёное озеро...

Тревожно, бессонно провели мы эту ночь. Несмотря на то, что нас было четверо, что мы сидели в машине, что днём нас обязательно разыскали бы, нам чудилось, что мы совсем одни в беспредельной, лишённой жизни, враждебной всему живому пустыне, что она готовится наказать нас за наше вторжение. Бывают ведь часы, когда, столкнувшись с природой, человек ощущает себя слабым и маленьким перед её мощью и необъятностью. Так мы и чувствовали себя на вершине холма Таскабак в осеннюю ночь 1952 года.

Но если тогда Таскабак встретил нас так устрашающе, то в августе 1956 года он принял нас тепло, с радушием и улыбкой. Он теперь оказался в самом центре обширных полей совхоза «Илийский». Они сплошным массивом лежали вокруг Таскабака...

Мы весь день объезжали совхозные поля. К вечеру решили где-нибудь передохнуть. И тут Рымбек Ильяшев предложил избрать местом нашего отдыха вершину Таскабака.

— Я это предлагаю потому, что мы там сразу получим два наслаждения: во-первых, на прохладной вершине этого холма будем дышать свободно; во-вторых, оттуда открывается хороший вид на всю округу, — сказал товарищ Ильяшев.

— А змеи? — спросил я.

— Что нам змеи! — ответил Рымбек, улыбаясь. — Ведь наши предки говорили: «Собака укусит трусливого, змея ужалит пугливого». Кто не боится, того змея не ужалит. Ну, а если уж будете бояться, я прикажу полить землю вокруг машины бензином: на его запах не пойдёт никакая змея...

На этот раз вокруг вершины Таскабака было шумно илюдно. Машины, занятые жатвой обильных хлебов, перевозящие намолоченное зёрно, без усталости гудели и фыркали моторами вокруг холма. Наступившая ночь была очень тёмной, такой же тёмной, как четыре года назад. Однако мно-

гочисленные машины своими огнями вдоль и поперёк прорезывали мрак. Казалось, что они насильно отняли у солнца часть его золотых лучей.

И вот, заглушая гул десятков моторов, по всей бескрайней равнине разнеслась песня. Её дружно пело множество людей. Откуда-то этой песне вторили сильные и нежные звуки музыкальных инструментов, вроде гитар, баянов и скрипок. Конечно, мы знали, что это не более как радио или радиола, которые включил один из механизаторов, но в темноте трудовой ночи казалось, что весь бесконечный простор от Балхаша до Ала-Тау наполнился величественным гимном труду... Такова была сегодняшняя жизнь Таскабака и его окрестностей, всего только два года назад пребывавших в дикости и дремоте.

Насытив свой взор прекрасной картиной труда, немного отдохнув, порадовавшись явным успехам, достигнутым на поднятой целине Казахстана, мы в то же время не могли не задуматься над некоторыми недостатками в работе на целинных землях.

Главная беда заключается в плохом хранении убранных зерна. В своё время партия и правительство приняли известные постановления и по этому вопросу. Я не знаю, как в других местах, но у нас, в Казахстане, хранению зерна не уделяют достаточного внимания.

Цель поднятия целины — не только получить богатый урожай зерновых, но и собрать этот богатый урожай без потерь и, наконец, без порчи ссыпать полученное зерно в государственные закрома, умножить народное богатство. Хотя цель именно такова, однако в тех местах Казахстана, где я побывал, в осуществлении этой цели имеется немало упущений.

Если взять, к примеру, описываемый нами совхоз «Илийский», то, когда он выполнит своё обязательство перед государством по хлебосдаче, для его собственных нужд останется около восьми с половиной тысяч тонн зерна — более полумиллиона пудов. Разумеется, такое громадное количество зерна следует хранить надлежащим образом. Однако единственный сарай, имеющийся в распоряжении совхоза, вмещает всего только три тысячи тонн зерна. Значит, остальные пять с половиной тысяч тонн должны храниться под открытым небом? А что будет, если польют сильные ливни?..

Когда я задал себе этот вопрос, я вспомнил, что было в 1948 году. В том году я совершил поездку в свою родную область — Кустанайскую. В это время там около месяца беспрестанно, день и ночь, шли дожди. Несмотря на богатый урожай, под тяжестью воды хлеб, не убранный до дождей, полёг и начал гнить на корню. А убранный хлеб тоже гнил.

Кто гарантирован от такого дождя и в этом году? И если разразится такой дождь — это будет ужасно, особенно для северных областей с их большими массивами пшеницы и богатейшим урожаем. Ибо там более чем в трёхстах совхозах, организованных за последние три года, положение с хранением зерна несколько не лучше, если даже не тяжелее, чем в совхозе «Илийский».

За дожди, как известно, отвечает природа, то есть никто не отвечает, а за строительство овин и сараев отвечают люди. Ответственность за это строительство несло Строительно-монтажное управление. На протяжении последних трёх лет, когда поднималась целина, немало было серьёзных указаний на недостатки и ошибки этого учреждения. Однако положение дел всё ещё не изменилось. Только бы не было в нынешнем году сильных дождей!..

Сколько сейчас ни ругай СМУ, всё равно оно уже не сумеет построить укрытия для всего колоссального количества зерна. Если так, то задача состоит в использовании всех имеющихся возможностей. Одна из этих возможностей заключается в быстрой доставке намолоченного зерна в ближайшие хранилища. Для этого, по подсчётам, произведённым в Казахста-

не, в осенние месяцы на полях должно работать 130 тысяч грузовых автомобилей. А в самом Казахстане всего около 45 тысяч грузовиков. Значит, чтобы сохранить добытый хлеб, нужно Казахстану иметь на время уборки ещё 85 тысяч машин. Вопрос этот касается не только нынешнего, но и будущего года.

И в этом году и к будущему году следует построить для первичного хранения зерна достаточное количество сараев-хранилищ.

Ещё один вопрос, тесно связанный с производством зерна, это вопрос о питании работающих. Осенью 1954 года этот вопрос был предметом специального разговора на пленуме ЦК Компартии Казахстана. Тогда руководители некоторых колхозов и совхозов были даже наказаны за легкомысленное отношение к вопросам питания, особенно во время уборочных работ. Однако, к сожалению, недостатки есть и сейчас. Мы убедились в этом на примере совхоза «Илийский».

Мы уже говорили о прибытии на уборку в этот совхоз работников Туркестано-Сибирской железной дороги и студентов Московского университета. Эти товарищи работают очень хорошо, с честью справляясь с возложенными на них обязанностями. Так, например, более шестидесяти турксибовцев, во главе с начальником поезда, курсирующего на линии Москва — Алма-Ата, Сергеем Антоновичем Городковым, начальником поезда Алма-Ата — Петропавловск Галием Мухамедгалиевым и секретарём парткома Тихоном Павловичем Сидоренко, вот уже около двух месяцев самоотверженно работают на сыпке и погрузке хлеба. Бригаду из 240 студентов, прибывших из Москвы, возглавляет Владилен Иванов. Сообщения о хорошей работе таких студентов и студенток, как Васнет Бурангулов, Надежда Бардыжева, Васильев, Козлова, Климова, и десятков других не сходят со страниц стенных газет.

Если в совхозе заговоришь об условиях питания, то и люди совхоза, и турксибовцы, и студенты смущённо ответят на ходу: «Ничего, можно жить». Но если неотвязно пристанешь к ним со своими вопросами, то они расскажут всю правду. И они все в один голос заявят: «Горячую пищу, кроме очень жидкого рисового супа, получаем редко. Масло, мясо и рыба бывают изредка. Хлеба у нас вдоволь. Чай тоже есть».

Почему так? Никто не поверит тому, что в такой сельскохозяйственной области, как Алма-Атинская, не хватает пищевых продуктов. Например, чего много в Алма-Ате? Там очень много картофеля. Однако в совхозе «Илийский» люди, работающие на уборке, мечтают именно о картошке!..

Недостаточное, однообразное питание в разгар посевных и уборочных работ — хроническая беда в совхозах Казахстана.

Главный виновник этого — Казпотребсоюз. Его председателю товарищу Царёву об этом недостатке говорили бесчисленное количество раз. Но Царёв настолько привык к упрёкам общественного мнения, что он перестал реагировать на них. Свидетельство этому — разговоры на недавнем республиканском совещании, проходившем в Алма-Ате в конце июля. На этом совещании товарищ Царёв не поспешил на обещания руководителей партии и правительства, республиканскому активу. Однако он ни одним словом не обмолвился о конкретных вопросах, в частности о вопросах питания в настоящее время. Нельзя сказать, что он не знал о том, что рабочие совхозов работают при урезанном снабжении. И всё же сознательно умолчал об этом, боясь, «как бы чего не вышло».

Остановимся и на другом недостатке, имеющем прямое отношение к работе Казпотребсоюза и Министерства культуры Казахской ССР. Нашему советскому человеку нужно не только питание, он нуждается и в духовной пище, например, в различного рода литературе. Весной 1954 года в Казахстан прибыли из братских республик тысячи людей, в подавляю-

щем большинстве молодёжь. А наша молодёжь грамотна, культурна, она очень интересуется литературой. Когда мне довелось летом 1954 года встречаться с этой молодёжью, то первое, о чём шёл разговор, было: «Мы хотим познакомиться с историей Казахстана, его литературой, искусством. Почему не присылают книг в новые совхозы? Почему нет книг о Казахстане? Почему не приезжают сюда казахские артисты?..»

Об этом законном их желании мы в своё время написали в газетах. Однако неполадки от этого не исчезли. Товарищ Царёв, призванный организовать на селе и в ауле книжную торговлю, не удосужился организовать торговлю книгами даже в совхозе «Илийский», находящемся в двадцати километрах от его ведомства. Министерство культуры Казахстана мало присылает артистов. Поэтому целинники свой вопрос, заданный ими ещё три года назад, повторили и недавно, когда я побывал в совхозе «Илийский». Они говорили: «Где же книги казахских писателей? Где же казахские артисты?»

Стать миллиард пудов хлеба государству — это не последнее слово Казахстана. Ещё многое предстоит Казахстану сказать и сделать. Некоторые предположения и пожелания о будущем может высказать уже знакомый нам товарищ Рымбек Ильяшев.

Остановив на Таскабаке машину, которую он вёл сам, Рымбек спросил, обращаясь ко мне:

— Пить не хотите, товарищ писатель?

— Да, немного, — произнёс я. Пыль еле позволяла мне говорить.

— В таком случае, в термосе есть кумыс, утолите им жажду...

Кумыс оказался ледяным и к тому же очень вкусным. Пока я с наслаждением пил кумыс, Рымбек спросил меня:

— Вы бывали в Балхашском районе?

Я кивнул утвердительно.

— Сумели узнать, что это за район?

— В каком это отношении?

— Ну, к примеру, в хозяйственном отношении.

— Я видал скот, поля этого района. Там в изобилии корма, скот упитанный. Поливные культуры уродились на славу. И в колхозах и в центре района — Баканасе — очень много рыбы. Это и понятно, ведь район расположен по берегам реки Или.

— Вы не спрашивали, сколько земли в районе было под посевами и какое поголовье скота?

— Спрашивал. У меня даже имеются записи. К сожалению, моя записная книжка сейчас не при мне.

— А моя книжка со мной, — сказал Рымбек. Неожиданно он засопел своим крупным носом, уставился на меня улыбающимися карими глазами и стал причёсывать растопыренной пятернёй волнистую чёрную шевелюру, от пышности которой его голова казалась непропорционально большой. — Вы можете теперь вспомнить по моей книжке записанные вами цифры...

Он вынул из кармана книжку и, раскрыв её, начал читать вслух:

— Земельные площади Балхашского района. Из одиннадцати миллионов гектаров земли, которыми располагает вся Алма-Атинская область, на долю Балхашского района приходится пять миллионов. Это означает, что площадь одного из районов одной из областей Казахстана больше, чем территория целого государства Албании, или Бельгии, или Нидерландов, или Швейцарии, или Дании. И на столь обширной земле района размещается всего около пяти с половиной тысяч дворов...

— Выходит, что на один двор приходится почти тысяча гектаров земли?

— Это так, но важнее другое. В настоящее время посевная площадь района составляет только пять тысяч гектаров, то есть только одна тысячная часть всей земли подвергается обработке. Во всём районе имеется всего одна МТС. Она обслуживает колхозы в радиусе 300 километров.

— То есть в зоне этой МТС от края и до края — ночь езды?

— Причём на «стреле», как Москва — Ленинград. Но слушайте дальше. Вот что записано в моей книжке: «Район в прошлом году сдал государству 1 500 штук каракулевых шкур, столько же центнеров шерсти, двенадцать тысяч центнеров мяса и 500 центнеров масла...» По-вашему, эти цифры большие или маленькие?..

— Маленькие!.. По сравнению с земельными площадями цифры совершенно ничтожные!

— Что нужно сделать, чтобы увеличить эти цифры? — риторически спросил Рымбек и огляделся вокруг, как если бы он делал доклад перед всеми пятью тысячами дворов Балхашского района. — Вопрос именно в этом. По материалам наших исследований, площади посевов в Балхашском районе с нынешних пяти тысяч гектаров можно вести до 150 тысяч гектаров. Для этого есть вполне пригодные земли. В одном только урочище «Ак Такыр» имеется пятьдесят тысяч гектаров отличных земель. Воды тоже достаточно, — сказал Рымбек и улыбнулся собственному азарту. — На опыте последних лет выяснено, что один только Балхашский район может производить десять — пятнадцать миллионов пудов зерна в год... А животноводство? — Рымбек ещё раз посмотрел в свою книжку. — Оно особенно важно для Казахстана. По точным подсчётам, в одном только Балхашском районе можно разводить более полумиллиона овец. И тогда этот район вместо 1 500 центнеров шерсти, сдаваемой им сейчас, будет ежегодно сдавать государству по 10—12 тысяч центнеров, а каракуля вместо 1 500 штук — 108—110 тысяч штук...

— А мясо? — подзадорил я Рымбека.

— Масса мяса! — закричал Рымбек по-русски, пользуясь тем, что эти слова рифмуются. — У района есть полная возможность увеличить поголовье рогатого скота. И вместо нынешних 12 тысяч центнеров мяса район будет давать 60 тысяч центнеров в год, масла вместо 500 центнеров — 3 500 центнеров!.. Если планировать с учётом всего этого, можно в одном только Балхашском районе организовать восемь овцеводческих совхозов...

— А зерновые совхозы? — спрашиваю я.

— Можно создать и их. Однако, по нашему мнению, земледелие в этом районе следует развивать как подсобную отрасль хозяйства в животноводческих совхозах.

— А что нужно, чтобы осуществить всё это?

— Темпы! — произнёс Рымбек опять с улыбкой. — Задача теперь состоит именно в том, чтобы не ослаблять темпов, смело идти вперёд, приумножая успехи. С этой вот целью мы, руководители Алма-Атинской области, и ставим перед правительством Казахстана всесторонне обоснованную проблему Балхаша и уверены, что эта проблема будет скоро разрешена. Наша надежда, — продолжал Рымбек спокойным и уверенным голосом, — частично уже начала сбываться. Примером тому — капчагайский вопрос. Вы, наверно, слышали о том, что проектируется строительство плотины в местности Капчагай, в 70 километрах от Алма-Аты, на реке Или, и что там будет построена гидроэлектростанция, способная обеспечить электроэнергией город Алма-Ату и весь юг Алма-Атинской области?

— Я слышал об этом. Когда же начнётся строительство?

— Изыскания уже закончены. Проект сейчас составляется в Ленинграде. К строительству думаем приступить в 1959 году, с тем чтобы завершить его в течение двух-трёх лет. Этот мощный гидроузел даст также

возможность обводнить миллионы гектаров пустыни, превратить их в посевные площади, сенокосные угодья и пастбища для скота. А только ли эту проблему предстоит нам решить? К примеру, возьмём вопрос обводнения Центрального Казахстана. Этот обширный край, где почва и недра хранят несметные богатства, не наделён водой. Там в советское время воздвигнуты промышленные гиганты — Экибастуз, Майкаин, Темир-Тау, Караганда, Балхаш, Джезказган. Однако все они вот уже долгое время испытывают острый недостаток в воде. Далее, на запад от озера Балхаш, на обширной территории раскинулась Голодная степь. И там земля весьма плодородна. Стоит только дать воду — и можно вырастить урожай на тысячах гектаров, прокормить миллионы голов скота...

К решению этой проблемы правительство Казахстана приступило с 1947 года и поставило перед союзным правительством вопрос о повороте вод Иртыша к районам Центрального Казахстана. Одна только магистраль обводнительного канала должна иметь в длину 1700 километров. А вся обводнительная сеть составит около трёх тысяч километров. Работы будет очень много. Однако у нашей Родины есть силы для этого. Сейчас идут изыскательские работы. Если эта проблема будет решена, то наряду с обеспечением водой десятков крупных предприятий посевные площади Казахстана увеличатся ещё на многие миллионы гектаров!..

Рымбек вдруг смолк и посмотрел на часы.

— Нам пора ехать, — сказал он.

Мы уселись в машину. Клубы пыли вновь окружили нас. Толчки и тряска возобновились.

— А вы не мечтатель, Рымбек? — спросил я, подсакивая на ухабе.

— А вы? — ответил он вопросом на вопрос.

Конечно, и Рымбек Ильяшев, и я, и вы, читающие этот очерк, — мечтатели. Но разве наши мечтания можно назвать беспочвенными? Девятнадцать миллионов гектаров целины, поднятой в Казахстане только за последние три года, ведь это достаточно солидная почва для самых смелых мечтаний и планов!

Перед Казахстаном издавна стояла ещё одна грандиозная проблема. Это — освоение обширной степи Мирзачуль. Тут следует мимоходом напомнить об одном обстоятельстве. Бескрайная степь, лежащая к югу от Сыр-Дарьи, в русской литературе издавна называется «Голодной степью». Местное же население именует её «Мирзачуль», что означает «Щедрая пустыня» или «Щедрая степь». Естественно возникает вопрос: если степь «голодная», то как же она может быть «щедрой»?

На мой взгляд, оба эти названия имеют свой смысл. Пустыня называется «щедрой» потому, что, если дать ей воду, то не будет растения, которое не произрастало бы на ней. Потому-то и поэма знаменитого узбекского поэта Навои «Фархад и Ширин» родилась из благородной идеи обводнения этой пустыни. А «голодная» она потому, что если не дать ей воды, то нет более скверного места на земле, чем она.

Вопрос обводнения Мирзачуля — это вопрос не из лёгких. Веками занимал он умы людей, населявших окраины этой пустыни. Однако они были бессильны осуществить свою смелую мечту.

В советские годы эта проблема также долго оставалась нерешённой. Голодная степь, большая часть которой расположена на территории Казахстана, до самого последнего времени осваивалась только частично, возле самых её границ.

В январе нынешнего, 1956 года состоялась сессия Верховного Совета Казахстана. На эту сессию прибыла делегация от братской Узбекской республики со специальной миссией просить Казахстан передать Узбекской республике Бостандыкский район Казахстана, расположенный близ Ташкента, и часть Мирзачуля, прилегающую к Узбекистану. Как один

из депутатов Верховного Совета Казахстана, я попросил слова и в своём выступлении горячо поддержал эту просьбу братской республики Узбекистана. Тогда я мыслил так: «Бостандыкский район находится прямо под Ташкентом. Стыдно будет нам не дать его узбекам; не давать часть Мирзачуля тоже неудобно, ибо, на мой взгляд, в Казахстане много целинных земель же не помимо Мирзачуля».

Верховный Совет Казахстана принял постановление о передаче Узбекистану полумиллиона гектаров земель, включая Бостандыкский район и часть Голодной степи. Хотя я безоговорочно поддержал это постановление, однако у меня в то же время появилось какое-то чувство ревности по поводу передачи Бостандыкского района. И в самом деле: этот горный район с его неповторимыми чудесными пейзажами, поистине земной рай, где растёт всё, вплоть до субтропических культур, был жемчужиной Казахстана. И потому-тэ в своих словах, обращённых к братьям узбекам, я сказал: «Когда выдаёшь свою родную любимую дочь замуж, известно, что одновременно испытываешь и чувство радости и чувство ревности. Точно так же я и в данном случае испытываю одновременно оба эти чувства!..»

На сессии Верховного Совета Узбекистана, происходившей после этого, мой друг и собрат по перу Гафур Гулям ответил на эти мои слова стихами:

Искренне отданную любимую дочь твою
Мы также будем искренне уважать и любить.
Мы украсим её замечательными шелками,
Благородными металлами и драгоценными камнями!..

Наши братья узбеки это своё обещание выполняют скоро. Поручкой тому постановление Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства об освоении Голодной степи. В предстоящей пятилетке 300 тысяч гектаров целинной земли Мирзачуля должны быть подняты под посевы хлопка.

Этим постановлением намечено решение одной из крупнейших хозяйственных проблем не только Средней Азии, но и всего Советского Союза. В соответствии с этим постановлением в ближайшее время в Голодной степи будет создано 34 новых совхоза, а в предстоящем пятилетии 200 тысяч гектаров целины должен поднять Узбекистан и 100 тысяч гектаров — Казахстан.

Эти цифры легко читать, однако нелегко воплотить их в конкретные дела. Ибо площадь, которую Узбекистан освоит и засеет хлопчатником в течение пятилетки, на 20 процентов увеличит производство хлопка в этой республике, метко названной «кладовой хлопка» Советского Союза. Освоение такой огромной площади целины потребует громадной техники и усилий множества людей. Но это будет сделано.

Тысячекилометровые каналы и бесчисленные арыки прорежут всю пустыню вдоль и поперёк, обильно оросят посевы. И зацветут хлопковые поля в местах, где раньше не росло ничего, кроме полыни и верблюжьих колючек...

В предстоящие же пятнадцать лет будет освоена и вторая половина Мирзачуля. И тогда с территории более чем в полмиллиона гектаров Родина получит более ста миллионов пудов хлопка!.. Вот оно, многообещающее будущее Мирзачуля!

На берегах многоводных каналов появятся благоустроенные города, сотни кишлаков и аулов. Люди будут выращивать в Голодной степи не только хлопок — здесь зацветут обширные фруктовые сады. В городах, кишлаках и аулах будут построены театры, клубы, школы, лечебницы, будут воздвигнуты электростанции.

Так пустыне, называющейся до сих пор «Голодной степью», будет возвращено её историческое народное название «Щедрая степь». И она превратится в самую богатую «кладовую хлопка» в Советском Союзе!

Таких неотложных проблем у нас в Советском Союзе, и в частности в Казахстане, множество. Здесь, в этом очерке, невозможно их даже перечислить, да нет в этом и надобности. Добавим только, что в нашей Советской стране и в других государствах, идущих по пути социализма, общество, возглавляемое коммунистическими и рабочими партиями, направляет все свои усилия к победе над стихийными силами природы. Наша родная казахская земля даст любимой Родине и миллиарды пудов хлеба, и миллионы пудов хлопка, и много других плодов.

— Товарищ писатель, не слишком ли мы с вами размечтались? — сказал вдруг Рымбек. — Помните, как раньше в ауле, когда мы в детстве пасли скот, родители нам говаривали: «Разговоры доведут до того, что телята высосут всё молоко, а вам достанутся палки»? Смотрите, уже рассветает!..

Когда я глянул в сторону гор, моим глазам предстала чудесная картина — из-за чёрных хребтов начали просачиваться разноцветные лучи, похожие на перья павлина.

— Вы же говорили, что сегодня вылетаете в Москву? — сказал мне Рымбек. — Я доведу вас до города, а сам вернусь в район.

— Почему?

— А вам ведь известно, товарищ депутат Верховного Совета Казахстана, что мы, казахстанцы, дали партии обязательство сдать в этом году миллиард пудов зерна? Так вот, нужно выполнять это обязательство?

— Конечно, нужно.

— Наш сосед, Сибирь, тоже собирается сдать государству миллиард пудов хлеба. Она вступила в социалистическое соревнование с нами.

— Я это знаю.

— Ведь цель в соревновании — выйти вперёд? Для этого все наши области включились в соревнование. Надо торопиться полностью закончить уборку. В Алма-Атинской области опасен не дождь, а ветер — ветер «эбэ». Этот «эбэ» дует через узкие Джунгарские ворота между Тарбагатайскими и Тянь-Шаньскими горами. В иные годы, если он внезапно подует, от сильного его порыва осыпается зерно. А сейчас неубранного хлеба ещё немало. В течение недели уборка должна быть завершена. Поэтому сейчас я не вернусь в Алма-Ату.

Мы простились. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что и эта область и в целом Казахстан своевременно уберут нынешний богатейший урожай. И мои думы от одного миллиарда невольно обратились к миллиардам будущего...

Август, 1956 г.

Алма-Ата — Москва.

Перевод с казахского.



БОРИС ПАСТЕРНАК

★

Х Л Е Б

Ты выводы копишь полвека,
Но их не заносишь в тетрадь,
И если ты сам не калека,
То должен был что-то понять.

Ты понял блаженство занятий,
Удачи закон и секрет,
Ты понял, что праздность — проклятье
И счастья без подвига нет.

Что ждёт алтарей, откровений,
Героев и богатырей
Дремучее царство растений,
Таинственных недр и зверей.

Что первым таким откровеньем
Остался в сцепленье судеб
Прапращуром в дар поколениям
Взращённый столетьями хлеб.

Что поле во ржи и пшенице
Не только зовёт к молотьбе,
Но некогда эту страницу
Твой предок вписал о тебе.

Что это и есть его слово,
Его небывалый почин
Средь существованья земного,
Рождений, трудов и кончин.



Н. КОРЖАВИН



ВОСПОМИНАНИЕ

Война.
Приуралье...
Промозглость неба...
В столовой толпа
и дощатый стол...
И плачет девочка:
«Мамка, хлеба!..»,
Уткнувшись обиженно
в бабий подол.
А баба
к обеду
кусочек серый
Хранит,
завернувши его в полотно...
И баба злится:
«Заткнись, холера!..»
У бабы сердце
в крови давно.
Ведь дочке не скажешь,
что год этот труден,
Что скоро опять на работу
в ночь...
А рядом
усталые
взрослые люди
Стоят
и не могут ничем помочь.
И делают вид,
что здесь, среди шума,
Жалоб не слышно —
ПОДИ ПОЙМИ...
С тех пор мне обидно
и стыдно думать
О власти голода
над людьми...
Нет! Мы не рабы
этой древней власти!
Но всё ж от неё
доставалось
нам...
С первой секунды
борьбы за счастье

Она служила
 нашим врагам.
Чтоб выпал серп
 и свалился молот,
Чтоб сверглась наша мечта,
 пропав,
И беспощадно
 душил нас голод
Руками
 четырнадцати держав.

Сегодня
 время совсем другое.
Но как бы ни жил я
 и ни был
 где б,

Часто —
 лишь только глаза закрою —
Девочка, плача,
 глядит на хлеб.

И часто
 обида грызёт глухая,
Что мы,
 властелины во всём другом,
Как с равным,
 и волю
 и дух
 напрягая,

Боролись
 с таким вот
 слепым
 врагом...

Затем покоряем мы
 реки и небо,
Затем нас и мчат
 на Алтай поезда,
Чтоб людям вовек не зависеть
 от хлеба,
Чтоб был он, как воздух
 и как вода.



В. ДУДИНЦЕВ

★

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Роман *

5

Следователь капитан Абросимов ходил на работу пешком. Ему нравилась Москва, и он с удовольствием каждое утро совершал прогулку по Садовому кольцу. Вот и сегодня, выйдя из подъезда своего дома — громадного нового дома, в котором жили военные и их семьи, — и мельком взглянув на свои зеркально-чистые сапоги, он не спеша пошёл по тротуару, поглядывая по сторонам и слегка подламываясь в талии. Это был высокий, тонкий молодой военный в коверкотовом пальто мышиного цвета, с бронзовыми пуговицами, белолицый и одухотворённый, как молодой священник. Усы его вились, и он их так подстригал, чтобы они были похожи на запущенные усики юноши. Его массивная каштановая шевелюра выбивалась из-под синей фуражки. Он был выше всех встречных на полголовы.

Когда он прошёл два квартала, лёгкое, домашнее выражение его лица сменилось служебной задумчивостью. Дома, в обществе жены, он был одним человеком, а в прокуратуре — другим. Он нахмурил свои тёмные вьющиеся брови, белый лоб стал как бы ещё прозрачнее. И взгляд тёмных карих глаз сурово устремился вдаль, уже не чувствуя препятствий. «Каков же он, этот Лопаткин? — думал следователь. — И что собой представляет эта женщина?»

Несколько дней назад он был вызван к начальнику, и тот вручил ему новое дело — сколотые вместе листки с размашистой резолюцией на верхнем: «Тов. Абросимову. Принять к производству». Просмотрев бумаги, он сразу увидел, что дело это не относится к числу тех определённых дел, по которым не может быть двух решений. Когда речь идёт об убийстве, растрате или хищении, в этих случаях самый факт ясен, требует немедленных мер; преступники, чувствуя свою вину, заматают следы, скрываются, а следователь должен их разоблачить. Дело Лопаткина было другим. Начальник сказал, что по этому делу ничего не нужно доказывать: разглашение государственной тайны налицо. Есть субъект преступления, которому тайна вверена. Есть объективная сторона — этот Лопаткин открыл доступ к тайне лицу, не имеющему на то права. «Хотя бы одному лицу», — говорит закон. И тем не менее Абросимов чувствовал беспокойство. Правонарушение, так определённо очерченное указом, в жизни всегда было связано с многими обстоятельствами, которых следователь не мог предвидеть. Оно лежало на той границе между преступлением и проступком, где ничтожное колебание, малейшая подробность вырастали в решающую деталь и вели к противоположным выводам: в одном случае

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 8, 9 с. г.

человека надо было судить, в другом — следовало ограничиваться служебным взысканием. Дела эти таили опасность для следователя, а капитан Абросимов, судя по квартальному отчёту, имел нуль процентов брака. Поэтому «финичек», как он называл такие неопределённые и опасные дела, сразу же не понравился ему.

— Почему этого Лопаткина судят? — спросил он у начальника.

— Важная государственная тайна. Особой важности, — ответил тот. — Генерал звонил. Приказал, чтобы дело передать, между прочим, лично тебе...

Эти слова приятно затронули самолюбие Абросимова. В приказах генерала уже несколько раз упоминалась его фамилия — всегда в связи с примерами находчивой, оперативной работы. «Значит, действительно важная тайна, — подумал он. — Это уже легче».

Раз «финичек» был всё-таки передан для ведения Абросимову, следовало хорошенько подумать о тех его сторонах и мотивах, которые перетянули на весах. И «проявить» их, чтобы дело изменило свой вид, из неопределённого стало определённым, и чтобы мысль прокурора, возбуждающего дело, была ясна для судьи.

Равным образом Абросимов мог «проявить» и другие, смягчающие мотивы, если бы предание Лопаткина суду генерал признал нецелесообразным. Таково свойство неопределённых дел. Абросимов не любил их, но дела такие почему-то поступали именно к нему.

Он унёс бумаги в свой кабинет и там, в тиши, стал их изучать. Промотрел пять или шесть препроводительных секретных отношений с разноцветными и размашистыми подписями начальников, он ещё раз почувствовал с удовлетворением, что на него возложено ответственное дело. Две подписи были ему знакомы — известный учёный и известный заместитель министра считали, что Лопаткина следует судить за разглашение важной государственной тайны. Абросимов был с ними согласен. Вот и докладная записка Максютенко и Урюпина. Внимательно прочитав её, он подчеркнул красным карандашом слова: *«которую оформил в качестве соавтора»* — и засмеялся: «Всё ясно!» Дальше шли две характеристики Лопаткина, одна — подписанная директором института, а вторая — на шести листах, присланная группой докторов и кандидатов наук. Первая характеристика вполне удовлетворила Абросимова. Из неё он увидел, что Лопаткин был облечён доверием государства и что доверие это он не оправдал. Во второй характеристике капитан сразу заметил досадное противоречие. Учёным, должно быть, основательно досадил этот дотошный изобретатель, и они решили бросить свой камень хотя бы ему вдогонку — потребовали привлечь его к ответственности ещё и за злостную клевету на советскую науку и советских учёных. Труболитейную машину Лопаткина они объявили «фантазией безграмотного авантюриста, который единым росчерком пера хочет зачеркнуть все исследования советских и зарубежных учёных». Лопаткина они назвали лжеизобретателем, использовавшим доверие и некомпетентность некоторых работников аппарата и подсунувшим негодный проект под видом новой идеи.

Дочитав эту характеристику, Абросимов с едкой улыбкой скользнул взглядом по длинному столбцу фамилий и росчерков на последнем листе. Сами того не ведая, все эти Тепикины и Фундаторы осложнили работу следователя, убедительно доказав, что никакой государственной тайны нет. Абросимов сказал об этом начальнику, и тот распорядился: письмо учёных в дело не подшивать, а передать секретарю для наблюдательного производства как документ, не имеющий прямого касательства к делу и вносящий ненужную путаницу. Начальник рассудил так: если в действиях Лопаткина и есть состав преступления, именуемый клеветой, в чём можно ещё сомневаться, то во имя ясности дела и быстроты расследования можно пренебречь этой мелочью. Ведь за неё и полагается всего лишь денеж-

ный штраф — мера ничтожная по сравнению с наказанием, которое ждёт разгласившего государственную тайну. И притом это — дело частного обвинения, пусть подадут отдельно в народный суд.

В тот же день Абросимов допросил Максютенко и Урюпина и узнал несколько интересных подробностей о свидетельнице Дроздовой. Он вдруг почувствовал, что есть большая группа людей, по разным личным причинам заинтересованных в обвинении Лопаткина. Но всё это были ненужные оттенки, которые могли только помешать. В учёных и ведомственных кругах любая история всегда обрастает интересами самыми противоречивыми. Копаться в них — значит растянуть срок следствия, заволоклить дело и прийти опять-таки к одному и тому же выводу. Надо искать основу — разглашение государственной тайны и причину этого разглашения, которая, между прочим, уже ясна: «Ищи женщину». А прочее всё — от лукавого. Этой линии и решил придерживаться следователь и выписал повестки: Лопаткину — на утро двадцать четвёртого, а Дроздовой — на двадцать пятое октября.

Он шёл теперь в прокуратуру, обдумывая вопросы, которые нужно было задать Лопаткину.

Дмитрий Алексеевич сидел в полутёмном пустом коридоре, чувствуя во всём теле щекочущую слабость, и вытирал иногда сухой подбородок и щёку, как будто на них ещё остались слёзы Нади. Расставание с нею было очень тяжёлым.

Раздались шаги. В конце коридора показался молодой военный с бледным лицом и вьющимися усами. Он пристально посмотрел на Дмитрия Алексеевича и, пока неторопливо шёл по коридору, не сводил с него тёмных изучающих глаз.

— Лопаткин? — учтиво спросил он, отпирая ключом дверь в комнате номер семь, против которой сидел Дмитрий Алексеевич. — Ничего, сидите, я вас позову, — добавил он, видя, что Лопаткин встал.

Дверь была закрыта минут двадцать, потом следователь выглянул и так же учтиво пригласил Дмитрия Алексеевича. Сам он сел за свой стол и белыми с голубизной, поповскими пальцами начал перелистывать пухлое дело страниц на четырёста. «Моё дело! О чём же это?» — растерянно подумал Дмитрий Алексеевич. Он не знал того, что Абросимов специально для этого эффекта положил на стол старое и запутанное хозяйственное дело о хищении фуража — уловка, придуманная следователями, наверно, ещё лет двести назад.

— Ну хорошо. Давайте знакомиться, — сказал вдруг следователь, отодвинув папку и кладя перед собой бланк с надписью: «Протокол допроса». Он неторопливо вписал в протокол фамилию, имя, отчество, возраст Дмитрия Алексеевича и официальные подробности его жизни. Предупредил его об ответственности за дачу ложных показаний, дал ему расписаться, затем написал в протоколе: «По существу дела мне известно следующее» — и положил ручку.

— Расскажите-ка мне по порядку всё, что касается вашего изобретения.

— Курить можно? — спросил Дмитрий Алексеевич и, не успев получить разрешения, с треском зажёл спичку и глубоко затянулся пагирисой. Сделав в молчании несколько затяжек, вздохнув несколько раз, приспособившись к своему новому положению подследственного, он начал обстоятельный рассказ с того момента, как он с экскурсией школьников пришёл в литейную комбината в Музге. Обо всём этом он когда-то рассказывал Надежде Сергеевне — о дедовских приёмах при литье труб, об автомобильном конвейере и о старичке Иване Зотыче.

Следователь слушал его минут сорок. За это время он нарисовал на листке бумаги женскую голову, затем пририсовал ей усы, очки и шляпу.

Потом, перечеркнув свой рисунок, он поднял на Дмитрия Алексеевича внимательные глаза.

— Хорошо. Я понял вас. Теперь вот так же подробно начните с того времени, как вам дали секретное поручение...

У капитана Абросимова за несколько лет следственной работы выработалась своя особенная манера допрашивать. Он вёл допрос осторожно, без нажима, как загоняют голубей в голубятню. Дмитрий Алексеевич последовательно рассказал ему со всеми подробностями о своём знакомстве с новыми заказчиками, начиная с того момента, когда за ним приехала пепельно-серая «Победа». Затем перешёл к работе в проектной группе. Видя, что он не упоминает имени Надежды Сергеевны, Абросимов подумал: «Не пройдёт!» — и, мягко перебив его, попросил перечислить всех сотрудников группы. Дмитрий Алексеевич назвал всех и опять ничего не сказал о Надежде Сергеевне.

— Вы забыли ещё одну сотрудницу, Дроздову, — спокойно напомнил ему капитан.

— Она не состоит в штате, — возразил Дмитрий Алексеевич.

Наступила пауза. Следовательно, скрипя пером, писал. Потом он посмотрел на окно, закурил и сквозь дым, словно издалека, взглянул на Дмитрия Алексеевича.

— Говорите, не в штате? — Он словно бы очнулся. — А какое она имеет к вам отношение? Почему она ходит к вам? Она имеет допуск?

— Она мой соавтор.

— Ах, вот как! Она что — специалист по труболитейному делу?

— Нет, она учительница географии... Мы с нею давно знакомы, и она постепенно вошла в курс. Сейчас она во многом разбирается. Она мне подала идею отливки центробежным способом двуслойных труб.

— Не знаете, она замужем?

— Да, она была женой начальника технического управления Дроздова. Не знаю, как у них сейчас. По-моему, они разошлись.

— А у вас на какой почве знакомство?

— Мне кажется, что она ко мне немножко... равнодушна.

— А как вы к ней относитесь?

— У меня к ней сложные чувства. Иногда мне кажется, что и я... Например, сегодня, когда мы прощались...

— Так... — Абросимов окутался голубым облаком дыма и, нажимая подбородком на руку с папиросой, спросил между прочим и весь напрягся: — У вас с нею не было половой связи? Извините, в нашей работе приходится иногда прикасаться...

Дмитрий Алексеевич затянулся папиросой, помолчал и сухо ответил: — Нет.

И Абросимов, склонив голову набок, заскрипел пером.

«Что ему нужно?» — подумал Дмитрий Алексеевич.

В эту минуту открылась дверь, и в кабинет, держа руку в кармане, степенно вошёл пожилой добродушный майор с желтоватым, водянистым лицом — начальник Абросимова. Он любил лично принять участие в допросе и всегда путал карты капитану — вспугивал его голубей. Вот и сейчас он подошёл к Абросимову и через его плечо стал читать протокол допроса.

— Темнишь, Лопаткин, темнишь, — сказал он, выходя из-за стола.

Абросимов побледнел и двинул ноздрями. Дмитрий Алексеевич сощурился, посмотрел на майора с холодным любопытством и ничего не сказал.

— Да, — сказал майор и прошёлся по кабинету. — Не годится, Лопаткин, государственную тайну разглашать. Враг только и ждёт, чтобы такие вот... Которые свои личные интересы ставят превыше государства...

«Вот оно что-о-о!» — подумал Дмитрий Алексеевич.

— Но ведь она же соавтор! — закричал он.

— Брось ты, Лопаткин, вола вертеть,— сказал майор.— Небось, щупача ей каждый день устраивал. Порисуешь часок-другой — и щупача! Давай, Абросимов, нечего церемониться с ними. А то они тебе наговорят здесь...

Когда он ушёл, Абросимов некоторое время помолчал, как бы приходя в себя. Потом посмотрел на Дмитрия Алексеевича.

— Вы были предупреждены о том, что работа ваша секретная?

— Был. Но я считаю, что авторы в силу своего положения не могут не знать того, над чем они работают.

— Опять авторы. Значит, вы настаиваете на том, что Дроздова является вашим соавтором?

— Совершенно верно! — подтвердил Дмитрий Алексеевич.

— ...И что между вами не было физической близости...

— Нет, не было, — солгал Дмитрий Алексеевич.

Если в первый раз он скрыл правду, чтобы защитить Надежду Сергеевну, то сейчас он уже защищал себя. «Сказать «да» — значит нужно к этому короткому звуку присоединить ещё трёхчасовой анализ наших отношений,— думал он.— А капитану требуется только этот короткий звук — «да», «нет». Пусть будет лучше «нет».

Между тем капитан закончил протокол и, положив его перед собой, доставая новую папиросу, стал читать его вслух. Всё было записано очень точно, и Дмитрий Алексеевич подписал протокол внизу каждой страницы.

— Можно идти? — спросил он.

— Подождите минутку в коридоре, — сказал следователь.

Он вышел вслед за Дмитрием Алексеевичем, запер кабинет и, стуча сапогами, ушёл в дальний конец коридора. Через полчаса он вернулся, держа в руке белую бумажку.

— Зайдите, — сказал он, отпирая кабинет.

И когда Дмитрий Алексеевич сел на своё место у стола, следователь стоя сказал ему:

— Мы берём вас под стражу. Вот постановление, прочитайте!

Дмитрий Алексеевич взял постановление, стал его читать: «Учитывая, что подсудимый Лопаткин Д. А., находясь на свободе, может скрыться от суда или помешать раскрытию истины...»

— Понятно вам постановление? — сказал следователь. — Распишитесь.

Дмитрий Алексеевич послушно расписался. Следователь пристально посмотрел на него.

— Не здесь, а здесь, вот видите — черта...

И Дмитрий Алексеевич послушно расписался ещё раз. Он сразу стал каким-то тихим, чуть согнулся, чуть побледнел. Но его не тюрьма испугала. Нет. Он словно поднялся на гору и смотрел сквозь эти стены на внезапно открывшиеся новые дали. Там вилась, уходя к новым горизонтам, всё та же дорога, и на ней маячили новые, далёкие столбы...

6

Надежда Сергеевна получила повестку в тот же день, что и Дмитрий Алексеевич. Конверт был вручён ей тем же солдатом в мокрой от дождя шинели, и, прочитав о том, что ей надлежит явиться в военную прокуратуру, Надежда Сергеевна за полгода в первый раз решила сама заговорить с мужем. Когда Леонид Иванович приехал на обед и уселся один за большим столом (теперь он обедал один), Надя вошла к нему и положила перед ним повестку.

— Ты не знаешь, что это может быть?

— Откуда же мне знать? — Жёлтое лицо Дроздова хранило спокойствие. Он закрыл глаза, потом медленно открыл их, словно просыпаясь.—

Когда здесь — двадцать пятого?.. Полагаю, двадцать пятого вы узнаете всё, что вас интересует.

Он уже полгода говорил Наде «вы», но и такие разговоры, с обращением на вы, происходили между ними редко.

— Может, я и смог бы построить какую-нибудь догадку, но вы же не ставите меня в известность о своей деятельности — куда вы ходите, что затеваете... Вы теперь самостоятельный человек, так чего же...

Надя видела по его умным, холодно-насмешливым тёмным глазам, что он многое знает, и сказала это:

— Я уверена, что вы всё знаете...

— ...Вы ничего мне не говорите,— продолжал Дроздов, проводя руками по лицу, и между пальцами на неё вдруг глянул его весёлый глаз.— Не сказали, например, что вы продали...

— Да, я продала манто.

— Зачем?

— Деньги были нужны. Не думайте, не на личные нужды.

— На государственные?

— Да, если хочешь, на государственные.

— Это что же, заём? Эскадрилья имени... как его фамилия, этого?..

— Ты когда-нибудь убедись, что я правильно сделала.

— Так что придётся вам потерпеть... до двадцать пятого...

Леонид Иванович всё, конечно, знал. Докладная записка Максютенко и Урюпина в первую секунду прозвучала для него, как выстрел над ухом. Человек заревел в нём, получив рану. Он вдруг пережил бессильную тоску, почувствовал себя ненужным стариком, понял, что самые бесповоротные, беспощадные симптомы старости—это те, которых ты сам не можешь увидеть. Потом его окатила холодом мысль, что за дверью кабинета, в бесчисленных сотах министерства уже идёт, шумит насмешливая молва. Когда Леонид Иванович узнал, что дело ушло в прокуратуру, он сразу решил помочь Наде и Лопаткину, чтобы дело заглохло: он не мог допустить публичного допроса этих двух сумасшедших любовников, допроса, для которого фоном служил бы он, Дроздов. Но Шутиков сказал, что процесс будет секретный и закрытый. И Леонид Иванович успокоился. К нему даже вернулось хорошее настроение: Леонид Иванович понял, что с арестом Лопаткина будут наконец решены все самые тревожные вопросы его служебной и личной жизни. Всё наладится, и даже Надя останется за ним — никуда она не уйдёт от ребёнка.

Действительно, их сейчас соединял только сын, и Леонид Иванович умело пользовался этой связью. Надя не решалась нарушать привычный для Николашки порядок в семье. Отец и мать, не сговариваясь, до поры до времени поддерживали при сыне что-то от внешней стороны прежних отношений. Но мальчик видел всё и смотрел на обоих родителей, тревожно поднимая бровки. Он был всё время в тревоге. Бабка прибаловывала его, задаривала конфетами. Надя ревниво соперничала с нею, и, может быть ещё от этого, мальчик худел и становился всё более капризным.

Леонид Иванович видел всё это. От него не ускользали и бегающие взгляды Нади, иногда затемнённые паникой. Иногда при нём Надя вдруг сжимала тонкие пальцы, словно от боли. Он знал, что судьба сына, предстоящий арест Лопаткина и даже позиция его самого — без вины страдающего мужа, который *понимает* жену и не устраивает ей сцен,— всё это сложится в конце концов в непреодолимую, решающую силу.

Вот как Дроздов вёл себя в эти дни. Вот почему он невольно улыбнулся в разговоре с Надей.

Взяв повестку, она молча вышла. В этот день она рассеянно вела уроки в школе: перед нею так и стоял синий конверт прокуратуры — первая повестка в жизни. Когда стемнело, она спустилась в метро и через полчаса уже бежала по Ляхову переулку, под невидимым в темноте осен-

ним, безрадостным дождём. Она пять раз нажала кнопку общего звонка, но никто не открыл ей. Она ещё пять раз позвонила, и, прошаркав домашними туфлями, дверь ей открыл Тымянский.

— Что, нет дома? — спросила Надя.

— Нет, сидят. Что-то обсуждают.

Надя тихонько стукнула в дверь, стукнула ещё раз погромче и приятно вздрогнула, услышав недовольный оклик Дмитрия Алексеевича — громкий и резкий:

— Кто там? Войдите!

Всё сжалось в ней от покорного чувства. Она любила этот голос, потому что он отражал всего Дмитрия Алексеевича.

— Войдите! Кто это? — ещё резче крикнул Дмитрий Алексеевич и распахнул дверь.

Она вошла и сразу увидела на столе такой же синий конверт, с чуть заметным чернильным штампом военной прокуратуры.

— Что это? — спросила она.

— Вызывают. — Дмитрий Алексеевич растерянно улыбнулся и развёл руками. — На утро завтра.

Она села на табуретку.

— Меня тоже вызвали...

Положила свою повестку на стол и посмотрела на сразу притихших Дмитрия Алексеевича и профессора. Старик взял повестку, провёл ею перед очками, как бы проверяя качество бумаги.

— По одному и тому же делу. И дело, конечно, касается не Крехова и не Антоновича, а вас, я это сразу сказал. Помните, я говорил насчёт маятника. — Он выразительно взглянул на Дмитрия Алексеевича, опёрся локтями на стол, стал смотреть в сторону, дуя в кулак, выставив детские плечи.

— Что же это может быть? — Резкая складка на лбу Дмитрия Алексеевича стала острее, изогнулась, небритые щёки глубоко запали.

— Дроздов знает, — заметила Надя и коротко передала свой утренний разговор с мужем. — Он знает, только не говорит.

— Вот и давайте подумаем, давайте как следует всё вспомним... — предложил старик. Надя, сжав пальцами лоб, наклонилась вперёд, стала смотреть в пол. Дмитрий Алексеевич то ходил по узкому пространству, то налегал плечом на дверь и, морща лоб, разводя пальцами, размышлял вслух: «Если Крехов что-нибудь — этого не может быть. Антонович — вряд ли...»

Так они прикидывали и вспоминали несколько часов и ни к чему не пришли. Когда в репродукторе зашумела полночь, загремели кремлёвские куранты, Дмитрий Алексеевич махнул рукой и сказал:

— Прав Дроздов. Завтра всё будет ясно. Всего не предусмотрить! А сейчас я лягу спать.

В восемь часов утра Надежда Сергеевна опять постучалась к ним в дверь. Дмитрий Алексеевич был одет, выбрит, причёсан и встретил Надю ясным взглядом человека, готового к любым неожиданностям. Он надел пальто. Старик, держась за его рукав, проводил их на лестницу и там, громко сморкаясь и вытирая глаза грязным платком, сказал:

— Если что — я приму все возможные меры. Всё сделаю, что смогу. Иди. Будь только внимателен, взвешивай каждое слово.

Они быстро пришли к чугунной ограде, где за клумбами, окружив полдвора, изогнулось двухэтажное здание с белыми карнизами и колоннами. До десяти часов оставалось ещё пятьдесят минут. Они перешли проезд и медленно двинулись по пустому бульвару. Говорить было не о чем. Мир, в котором так просто звучат слова, как бы отодвинулся от них. Дмитрий Алексеевич посматривал по сторонам — на дворников, которые сметали жёлтые листья с асфальта, на женщину с собакой. Надя обеими руками

сжимала его сильный локоть и смотрела на него, тревожно приподняв бровь.

Они прошли до конца бульвара, повернули. Здесь Дмитрий Алексеевич наконец сказал:

— Ну что вы смотрите, Надя...— Он, оказывается, всё время наблюдал за ней.— В жизни человека бывает и такая глава, её надо терпеливо прочитать. Если что — вы будете мне писать *туда*?

— Неужели вы думаете...

— Я сейчас прихожу к этому выводу. Вы говорили: Дроздов улыбнулся. Это ещё не всё. Я недавно встретил Невраева. Он прошёл мимо, смотрел в лицо мне и не поздоровался. Теперь я понимаю... Это действительно барометр. Чёрт их знает, что там они могли придумать.

Тут он поспешно взглянул на часы.

— Десять минут осталось. Нам надо договориться. Вы идёте сегодня в школу?

— У меня свободный день,— солгала Надя.

— Очень хорошо. Я сейчас пойду. Если к двум часам дня я не выйду к вам, хотя бы на минутку... Я отпрошусь... Вот сюда, к этой лавочке... Если не выйду — значит тогда всё.

И он мягко посмотрел ей в глаза. Не говоря ни слова, Надя бросилась на него. Обняла, повисла. И грудь её вдруг начала подниматься и резко опадать. Он осторожно отвёл её к скамье и усадил. Надя молча держала его за руки. Он разжал холодные пальцы, поцеловал её где-то около уха и быстро, прямо пошёл прочь, мимо прохожих и дворников, которые встретили и проводили его неопределёнными улыбками любопытства.

Надя, полулёжа, как оставил её Дмитрий Алексеевич на скамье, смотрела на чистое и холодное осеннее небо. Чуть заметный, как белое пёрышко на воде, скользил там утренний месяц.

Сначала Наде казалось, что Дмитрий Алексеевич выйдет к ней через час или, может быть, через два. Но сроки эти прошли — и первый и второй, а он не показывался. К часу дня небо стало серым и в жёлтых листьях деревьев сонно зашуршал осенний дождь. Надя не замечала его. Стрелка её маленьких часов шла к двум. Потом она спокойно миновала этот рубеж. Прошло ещё полчаса. За чугунной оградой показалась группа военных в синих фуражках и серых коверкотовых пальто. Среди них выделялся один — высокий, тонконогий, бледный, с мягкими тёмными усами. Военные прошли наискосок через бульвар, о чём-то оживлённо споря, и скрылись в переулке. У них, видимо, был перерыв на обед, потому что через час все они поодиночке вернулись, выходя из того же переулка. К четвёртым часам дождь прошёл, серые и желтоватые занавесы на небе стали медленно раздвигаться, открывая вечернюю бледную синеву. Открылись и красные облака и полосы в той стороне неба над крышами, куда ушло солнце. Они наливались красным светом и перестраивались, как на учении. Потом всё ещё больше покраснело. Облачные эшелоны нахмурились, вытянулись один за другим и под музыку алых и лиловых красок ушли на ночь в свою казарму, очистив зеленоватые разводья. И всё кругом стало затихать. Но вот внизу, в темноте, понеслись трассирующие огни машин, заплескали огненные площадки на мокром асфальте, и Надя поднялась и, чувствуя тяжесть и боль во всём теле, медленно пошла по бульвару. Что же случилось? Почему Дмитрий Алексеевич не вышел к двум часам? Завтра она всё узнает...

Назавтра, в десять часов, она прошла длинным коридором военной прокуратуры и постучалась в дверь с табличкой «7». Войдя в кабинет, пропахший табаком, она увидела гладко выбритого, сдержанно вежливого военного с красивым бледным лицом, с вьющимися усами и бровями и с высокой, густой, вьющейся шевелюрой, которая портила его красивое лицо, придавая ему оттенок женственности. Надю пригласили сесть, и

начался допрос. Следователь записал все подробности, касающиеся её личности, и строго предупредил её об ответственности за ложь в показаниях. Затем он вынул из ящика длинную полоску бумаги, где у него был по пунктам намечен какой-то план, и стал допрашивать Надю по этим пунктам. После каждого вопроса он склонял голову набок и долго писал, скрипя в тишине пером.

— Вы что же, являетесь соавтором Лопаткина? — спросил он..

Надя решила защищать Дмитрия Алексеевича до конца.

— Это чепуха. Пустяки. Моя роль в создании его машины ничтожна. Настоящий автор — Дмитрий Алексеевич.

Не сказав ни слова, следователь принялся усердно писать. Потом он взглянул на свой план и задал ещё один вопрос:

— Скажите, вы лично внесли что-нибудь в его машину? Может быть, вы создали принцип машины, а он её облёк в формы?

— Да нет же! — горячо ответила Надя. — Идея машины целиком принадлежит ему.

— Подождите, — остановил он Надю и начал писать. — Хорошо, — продолжал он через минуту или две, положив ручку. — Ну, а вы имеете какую-нибудь специальную подготовку, которая дала бы вам хотя бы возможность компетентно...

— Я географ, — сказала Надя. — Никакой подготовки у меня нет. Дмитрий Алексеевич — вот кто...

Голос её гордо возвысился, но следователь остановил её и стал писать.

— Ещё один вопрос, — сказал следователь. — Давно вы с ним знакомы?

— Мне кажется, что мы с ним не были чужими никогда.

Следователь улыбнулся.

— Нас учили, что душа не может быть вечной...

— Я познакомилась с ним в сорок четвёртом... нет, в сорок третьем году...

— Вы любите его?

— Его нельзя не любить, — сказала Надя со скрытой страстью.

Следователь замолчал и посмотрел на неё.

— А он вас любит? — спросил он, помолчав.

— Не знаю. Скажите... вы ему не задавали этого вопроса?

— Теперь вот ещё... — сказал следователь, не отвечая Наде. — Была у вас физическая близость?

Этот вопрос капитан задал спокойно. Но Надя вдруг почувствовала в сидящем против неё военном странную напряжённость, которая испугала её. Он повторил вопрос.

— Отвечайте. Вот этот вопрос записан в протоколе. — И он начал рассматривать пуговицу на рукаве.

Надя прочтала. Вопрос был сформулирован очень точно. Не понимая, в чём дело, краснея, она ответила:

— Да...

И следователь выдал себя: стал поспешно записывать её ответ. У него получилась длинная фраза: «Да, я действительно...» — и так далее. И Надя с ужасом почувствовала, что именно этим ответом она решила судьбу Дмитрия Алексеевича. Капитан взглянул на неё и понял свою ошибку. Бросив писать, он небрежно потянулся за портсигаром. Закурил, тряхнул волосами, затеял с Надей беседу о школе, о раздельном обучении мальчиков и девочек. Он был противником совместного обучения. «Если их посадить вместе, они слишком рано начинают думать о соавторстве», — сказал он смеясь.

— Да, так на чём мы остановились... — Он внезапно оборвал шутки. — Ага! Собственно говоря, мы исчерпали всё. Вот прочтите...

Пока Надя читала протокол, он длинными шагами мерял кабинет и курил. В протоколе всё было записано правильно. Надя расписалась на каждой странице, и следователь, уже не скрывая своего удовлетворения, положил листы в папку.

— Скажите, — тихо обратилась к нему Надя. — Вы арестовали его?

— Да, он арестован.

— За что?

— Мы не имеем права говорить... Это тайна следствия. Вот так, Надежда Сергеевна! Не могу! К сожалению, не могу! Вы найдёте выход? Прямо, направо и вниз. До свидания!

7

В первых числах ноября Дмитрия Алексеевича утром перевезли из тюрьмы во внутренний двор уже знакомого ему бледно-зелёного здания с белыми карнизами и колоннами. Машина подъехала к тому его крылу, где помещался трибунал. Арестованного провели по коридорам в зал судебного заседания, который после темноты коридоров показался ему необыкновенно светлым. Дмитрий Алексеевич был в том же сером, чуть измятом костюме. Его голова, остриженная в тюрьме под машинку, стала белой, и на ней теперь выделялись по-детски крупные шишки черепа. Лопаткин сел, молча повёл тёмными глазами и увидел около двери на стуле Надю. Она так и подалась к нему. Но в эту минуту раздались шаги. Из боковой двери вышли трое военных. Суд занял свои места за длинным столом. В центре сел и сразу же раскрыл папку с делом старик подполковник с гладко расчёсанными на пробор голубовато-серебристыми сединами и строгими чертами худощавого бритого лица. Корпус он держал непреклонно прямо, голову — высоко. Справа и слева от него сели полный капитан с лоснящимся лицом, плешивый на макушке, и молодой майор с обыкновенными, незапоминающимися чертами чуть рыжеватого русского парня, скуластый, невысокий, с большими кулаками. Он мог бы казаться очень широким в плечах, если бы подложил в нужные места кителя вату, как это сделал другой судья — капитан. Но он ничего не подложил туда, а мощные плечи его, как у грузчика, были покаты.

Отдельно от них, в конце того же длинного стола, разместился секретарь — младший лейтенант, который сразу же начал писать, перекосив плечи и держа ручку, как папиросу, между указательным и средним пальцем.

Надев роговые очки, председатель объявил об открытии судебного заседания, и начался опрос подсудимого: как его фамилия, где он родился, когда... Потом судья снял очки, положил их на раскрытое дело.

— Свидетель Максютенко?

— Явился, — донёсся из глубины почти пустого зала не совсем спокойный голос.

— Свидетель Дроздова?

— Здесь, — ответила Надя.

Судья предложил свидетелям встать и предупредил их об ответственности перед законом за дачу ложных показаний. Надя и Максютенко расписались на листе у секретаря и, не глядя друг на друга, вышли в коридор. В течение тридцати или сорока минут после этого Надя сидела в полумраке, прислушиваясь к далёким и неясным звукам большого и таинственного дома.

А в зале всё шло своим чередом. Председатель разъяснил подсудимому его права и спросил, не желает ли он иметь защитника. Дмитрий Алексеевич пожал плечами и сказал, что дело его ясно и что защитник ему не нужен. Потом председатель, слегка отодвинув от себя папку, зачитал обвинительное заключение, где было сказано, что Лопаткин Дмит-

рий Алексеевич обвиняется в том, что он, будучи начальником конструкторской группы, разрешил доступ к документам, представляющим государственную тайну, постороннему лицу, а именно Дроздовой Надежде Сергеевне, оформив её мнимое участие в работе группы под видом соавторства, хотя такового не было, — чем совершил преступление, предусмотренное статьёй такой-то указа от такого-то числа.

Дочитав до конца, председатель предложил Дмитрию Алексеевичу встать и спросил, признаёт ли он себя виновным. Тот упрямо наклонил стриженую голову и ответил:

— Не признаю.

— Расскажите по порядку всё, что вам известно по делу.

И Дмитрий Алексеевич, помолчав несколько секунд, подумав, начал обстоятельно рассказывать о тех трудностях, с которыми он столкнулся, неожиданно для себя став изобретателем. Он хотел после этого сказать, что уже одной той постоянной поддержки, которую оказывала ему Надежда Сергеевна, было бы достаточно для признания её соавтором.

Но председатель мягко перебил его:

— Вы отклоняетесь от существа дела.

— Наоборот, я хочу ввести вас в курс, в самое существо, — возразил Дмитрий Алексеевич.

Тогда председатель, сохраняя ту же непреклонную прямоту в фигуре и в посадке головы, сказал:

— Ответьте на вопросы. Содержит работа, которую вы вели в группе, государственную тайну?

— Конечно, содержит, — сказал Дмитрий Алексеевич, пожав плечами.

— Обозревается копия приказа министра об особой секретности сведений, разглашённых подсудимым, лист дела двадцать восьмой, — сказал председатель, и за столом наступило молчание. Судьи один за другим быстро просмотрели документ.

— Кто являлся главным лицом, ответственным за неразглашение этой тайны? — опять заговорил председатель.

— Повидимому, я...

— Повидимому? А точнее?

— Я.

— Была ли посвящена Надежда Сергеевна Дроздова в эту тайну?

— Была.

— Была посвящена, — отдельно повторил председатель и посмотрел на секретаря: успел ли тот записать. — А кто открыл ей эту тайну? Кто ознакомил её со всеми деталями дела?

— Она ознакомилась с ними ещё до того, как машину засекретили.

— Кто сообщил Дроздовой о том, что машину засекретили? Кто ознакомил её с дальнейшими изменениями проекта?

— Я. Но ведь она числится моим соавтором. Приказ есть.

— Вот мы сейчас и установим, были ли основания для подобного приказа...

— Хорошо. Скажите тогда, что я разгласил? Если тайна разглашена, она должна быть известной вам!

— Не задавайте вопросов суду.

— Ладно, не буду. Я заявляю ходатайство: прошу суд установить, что я разгласил.

— Суд отклоняет ваше ходатайство, так как не место и не входит в наши цели выяснять существо секретных сведений — именно в силу их секретности. Известно из официального источника, что они по перечню, установленному соответствующим постановлением, признаются строго секретными. Этого достаточно. Отвечайте на вопрос суда: кто является автором, творцом всей первоосновы вашей машины?

— Я, а в варианте с двуслойными трубами мы вдвоём — я и Дроздова. Она подсказала мне идею...

— Могла она сделать это сознательно? Имеет ли она для этого необходимые знания?

Дмитрий Алексеевич не ответил. Он глубоко задумался. Всё получалось так, что он действительно разгласил тайну. Но почему же он *тогда* почувствовал, что обязан поставить фамилию Нади рядом со своей? Хотя что тут спрашивать — всё ясно. Он и сейчас поступил бы так. Но как сказать суду об этом?

— Скажите, подсудимый, — по-деревенски медлительно заговорил вдруг рыжеватый майор и подался вперёд. — Почему вы пытались скрыть от следователя ваши личные отношения?..

— Личные отношения с кем?

— С Дроздовой, — три раза низко протрубил майор, у которого особенно кругло получался как раз звук «о».

Дмитрий Алексеевич посмотрел на него, пытаясь понять, к чему ведёт этот вопрос, но не понял.

— Хотел избавить её от неприятных объяснений. Она женщина...

Тут вмешался председатель:

— А не потому ли, что вы соединили интимную сторону своей жизни со стороной деловой, одомашнили секретную государственную работу, а когда началось следствие, хотели скрыть это?

— Нет, не поэтому. Я ходатайствую о вызове в качестве свидетелей представителя заказчика и генерала...

Председатель посмотрел на своих соседей, сперва на капитана, потом на майора.

— Трибунал отклоняет ваше ходатайство. Эти лица были введены вами в заблуждение, эта сторона дела совершенно ясна.

— Ещё один вопрос, — медленно выговорил майор. — Каким образом, по-вашему, можно было бы доказать, что Дроздова действительно подала вам эту идею?

— Я же говорю...

— Подождите маленько. Не торопитесь. Можно доказать экспертизой?

— Мою машину потому и начали проектировать всерьёз, что решили обойтись без экспертов, обошли на этот раз князей науки. Обошли — и вот возникло уголовное дело... Если вы перелистаете дело да если бы ещё вы просмотрели мою шестилетнюю переписку, вы увидели бы, что все обвинители мои — люди, которые шесть лет не давали мне ходу...

— Переписка ваши отношения к делу не имеет, — перебил его председатель. — А что касается ваших обвинителей, то они просто проявили бдительность. Бдительность! То, чего не смогли проявить вы. Так... Ещё есть вопросы?

Вопросов больше не было, и председатель вызвал первого свидетеля. Вошёл Максютенко. Держа руки по швам, он рассказал суду о том, как он увидел Надежду Сергеевну в комнате группы и как удивился, что она соавтор. Урюпин попытался проэкзаменовать её, и она смутилась после первого же вопроса, не зная, что отвечать, но её выручил один из сотрудников, Антонович, который выставил Урюпина за дверь, как постороннего. Ещё Максютенко сказал о том, что он давно знает подсудимого и знает также, что он всегда работал над машиной один. Никаких соавторов.

Всё было ясно, и свидетеля отпустили без дополнительных вопросов.

Когда в зал суда вошла Надежда Сергеевна, председатель снял очки, внимательно посмотрел на неё и, опять надев, предложил рассказать, что ей известно по делу.

После его слов в зале наступила давящая тишина. Надя стояла и ничего не говорила.

— Мы вас слушаем, — сказал председатель.

И опять навалилась тишина.

— Я не знаю... Мне ничего не известно, — наконец слабо прозвучал голос Нади.

— Вы подтверждаете полностью показания, данные вами на предварительном следствии? — Председатель начал листать дело.

— Подтверждаю, — тихо сказала Надя.

— На листе дела номер тридцать два... — сказал председатель в сторону секретаря.

Он зачитал все вопросы, которые капитан Абросимов задал Наде, и все её ответы. Прочитав каждый ответ, председатель поднимал на Надю глаза, и она тихо, всё тише отвечала: «Да».

— Таким образом, вы утверждаете, что Лопаткин является автором своей машины и что никто, кроме него, в том числе и вы, не вносил никаких существенных элементов в принцип изобретения?

— Да... конечно... — И она, оглянувшись, ласково посмотрела на Дмитрия Алексеевича, словно ободряя его.

— Дело не в принципе, — отчётливо сказал вдруг Дмитрий Алексеевич. — Соавтор может подсказать и применение принципа...

— Вы дезорганизуете работу суда, — перебил его председатель, пристав.

— Простите. Могу я задать свидетелю вопрос? — сказал Дмитрий Алексеевич.

Председатель полистал дело, помолчал и движением бровей показал: спрашивайте. Дмитрий Алексеевич повернулся к Наде.

— Вы знаете основные чертежи проекта? Знаете, где хранится основная переписка? Я имею в виду несекретную, ту, что вы подшивали...

— Конечно, знаю.

— Задавайте вопросы по существу, — сказал председатель.

— Вы знаете, что, если я буду осуждён, их нужно будет непременно спасти? — спросил Дмитрий Алексеевич.

Председатель посмотрел на него и покачал головой.

— Поняла всё, — прошептала Надя и кивнула несколько раз Дмитрию Алексеевичу. Она со страхом посмотрела сперва на него, а потом на судей.

Председатель опять принялся листать дело. Должно быть, он счёл всё выясненным. Закрыв дело, он повернулся к капитану, и тот поспешно кивнул. Потом майор что-то зашептал ему на ухо, сдержанно потрясая рукой, как бы убеждая. Председатель пожал плечами и опять открыл папку. Тогда майор повернулся к Наде и заговорил, громко, выпевая свои гудящие «о».

— Вот вы так лестно и убеждённо охарактеризовали работу подсудимого. Скажите, а лично вы помогали ему чем-нибудь?

— Я делала кое-что.

— Расскажите, что это такое — это «кое-что».

— Я ходила для него в библиотеки, читала иностранную техническую литературу... На машинке печатала... Ну... вела его деловую переписку. Ещё по хозяйству иногда...

— Когда мне приходилось туго, неизвестный меценат прислал мне как-то шесть тысяч, — вставил Дмитрий Алексеевич, — а у свидетеля Дроздовой не стало мехового мантио. Будем откровенны, Надежда Сергеевна! Вы дали подписку суду насчёт ложных показаний.

Дмитрий Алексеевич шутил, но глаза его оставались строгими, будто он разучился улыбаться.

— Было это? — спросил майор.

— Было, — тихо подтвердила Надя.

— А один раз она пришла из библиотеки и говорит мне: «Я нашла одну интересную...»

— Это всё подробности личных отношений, — вмешался председатель.
 — Если бы не было Дроздовой, не было бы и этого секретного изобретения! — крикнул Дмитрий Алексеевич.

— К порядку! — Председатель постучал карандашом. — Свидетель Дроздова, к вам больше вопросов нет. Подсудимый, чем вы можете дополнить судебное следствие?

— Ничего не буду говорить. — Дмитрий Алексеевич сел и тряхнул белой головой. — Всё сказано.

— Вам предоставляется последнее слово...

Наступила долгая тишина. Дмитрий Алексеевич сидел неподвижно и глядел на ножку стола.

— Мы вас слушаем, Лопаткин. Вы отказываетесь?..

— Отказываюсь.

— Суд удаляется на совещание. — Председатель встал.

Судьи ушли в боковую дверь. Секретарь отметил Наде и Максютенко пропуска и строго сказал, что свидетели могут идти, что всё кончено.

Комната, куда удалились председатель и члены трибунала, когда-то была, видимо, кабинетом вельможи. В ней сохранился большой камин, в тёмном зеве которого виднелось несколько бутылок из-под чернил. Высокий потолок был заключён как бы в раму из массивных лепных украшений. В этой комнате стояли два стола с чернильницами из пластмассы, много стульев и был ещё диван, обитый чёрной клеёнкой, — на него и бросился сразу же председатель трибунала.

— Молодец Абросимов, — сказал он, закуривая. — Правильно построил допросы. А вот допросил бы первой Дроздову — она сейчас же после допроса, конечно, к Лопаткину, тот подготовил бы её и на суде пошла бы канитель. Сейчас её показания чище святой воды. Никаких интересов, только истина, как у младенца.

— Да-а... — протянул неопределённо майор. Он стоял у окна, курил и смотрел на улицу.

— Я, между прочим, так и думал: сейчас она догадается и скажет: «Я действительно соавтор...» — продолжал председатель, сбивая с папирсы пепел о носок сапога. — Пришлось бы направлять дело Абросимову на следствие! Единичку — ха! — ему в квартальный отчёт! Экспертнзу назначать. А потом на экспертизу ещё экспертизу... Туман!

— А вы думаете, сейчас не туман? — сказал майор, глядя в окно.

— Ну почему же?.. — Подполковник, пустив струю дыма, выставил пальцы, чтобы перечислить доводы. — Нам нужно прежде всего установить, имело ли место деяние, инкриминируемое подсудимому. Деяние имело место, думаю, никто этого не оспорит. Он доверил тайну. Показ документов, устное сообщение, необеспечение надлежащего хранения — любой из вариантов подходит. Заметь, как законодатель ставит вопрос: необязателен даже факт разглашения. Достаточно реальной возможности восприятия тайны другим лицом.

— Надо было всё-таки вызвать в суд представителя заказчика. Им ведь обоим дано поручение.

— А ты и иди на поводу. Видел, как он повёл себя в конце? Это он тебя почувствовал. Это всё уступки, поблажки. Ты говоришь, представителя заказчика — Захарова, что ли? Ну пусть он подтвердит. Что из того? Лопаткин обязан был не предлагать её в соавторы и держать всё от неё в тайне.

— Но ведь она и раньше знала конструкцию и идею...

— В рамках несекретных. А потом прибавилось — двуслойные трубы... Особое назначение... И появился гриф «секретно». Гриф — и положение меняется.

— Но ведь она же участвовала в рождении! — Майор повернулся к председателю, и его «о» взволнованно зазвенели в кабинете. — Идея-то,

я назову её идея номер два, Дроздовой принадлежит!.. Хотя это и не расследовано, я отчётливо это вижу. Гриф! Что же, раз гриф — она должна забыть? Отказаться от своих прав? И не к чему экспертизы, когда можно было свидетельскими показаниями установить. Захаров — раз. Старик Бусько — два. С иностранным журналом о трубах мы не знакомились? Это три. Формуляр в библиотеке смотрели? А вдруг в формуляре только одна отметка — Дроздовой! Значит, только она одна читала этот журнал. Это четыре! Вот уже мы и видим...

— Знаешь... Я не дитя малое. Она делала техническую работу. Тебе он просто понравился. Не похож на преступника. А что ты думаешь, на скамье сидеть может только бандит с ножом в зубах? Ничего-о... и смиренные растяпы сидят. И такие вот... любители приятного с полезным, как Лопаткин. Ещё как сидят. Ха-ха! — Председатель коротко, по-мальчишески хохотнул. — Ничего выбрал он себе... соавтора!

— Ну слушайте... Ну бог с ними, пусть вдвоём! Ведь история знает сколько случаев, когда учёный работал с женой... Ведь практически разглашения нет. Нет! Никто, кроме них двоих, не знает существа изобретения. Товарищ подполковник, мы сейчас неправильно его осудим и не только лишим его свободы — мы государство лишим изобретателя, который может принести пользу.

— Какой там изобретатель! Если бы он был нужен, его бы не отдали. За него бы дрались. Склочник простой, кляузник. Весь белый свет против себя поднял. Ты бы посмотрел, какую петицию прислали в прокуратуру эти доктора наук. Требуют привлечь за клевету!..

— Видел я её, — устало проговорил майор. — Она меня и наводит на мысль. Слопать они его хотят. Надо бы расследовать отношения... Почему Абрисимов не приложил её к делу?

— Я не для того тебе сказал... Нужна она нам для выяснения истины? Нет. А волокиты с нею — вагон. Если захотеть, можно любое дело заволочить. Судья должен смотреть дальше своего носа. Надо уметь почувствовать остроту дела, его пульс. Уметь отсеять привходящее... Приговор выносится не именем майора Бадьина, а именем государства. Поэтому и надо считаться с государственными интересами, а не с твоими слабыми нервами. Ладно. — Председатель поднялся с дивана. — Капитан, у тебя почерк хороший. Давай пиши: «Тысяча девятьсот сорок девятого года ноября первого дня... Та-ак... в составе председательствующего...» — И он стал ходить вдоль комнаты, обдумывая *описательную* часть приговора.

— Особое мнение буду писать... — сказал майор, закуривая новую папиросу.

— Ну вот, так и знал. — Председатель остановился. — Ты погоди-ка в бутылку лезть. Слушай-ка, Бадьин, неужели ты не видишь? Мы с тобой не учёные, нам трудно охватить, понять сразу до конца всю важность этого процесса. Но ты хоть посмотри: за делом следит вся научная общественность, все, вплоть до министров и заместителей. Что же мы с тобой, когда прокуратура и суд должны проявить быстроту и оперативность, — мы будем заниматься микроскопическим анализом, исследовать мокроту у подсудимого?

— Мы должны и охватить и понять до конца, товарищ подполковник, всю важность, — дослушав его, всё так же медленно заговорил майор. — Почему учёные заинтересованы, почему — министры и почему заинтересованы замы. А пока не охватим — нельзя выносить приговор. Судья не должен быть в плену готовых представлений о вещах. «Общественность следит»? Надо посмотреть, что это за общественность, имеет ли она право зватья общественностью. «Интересы государства»? Надо ещё посмотреть, государства ли это интересы. Должностное лицо — это ещё не госу-

дарство, и учёный корифей, даже три корифея, — это ещё не наука. Судья всё обязан проверить. Долг таков.

— Видишь, нельзя серьёзные дела ставить в зависимость от того, что один человек не может чего-то охватить.

— А если он, не охватив, подчинится течению, струе, он уже не судья, а инструмент. Я не хочу больше об этом говорить, товарищ подполковник, а то мы с вами ещё поругаемся. Дело принципиальное. Слепым исполнителем, особенно в таком деле, быть не могу. Давайте катать приговор, а я сяду вот тут, в сторонке, и особое мнение напишу. Перенесём спор в высшие инстанции.

Дмитрий Алексеевич, конечно, не знал ничего ни об этом споре в совещательной комнате, ни об особом мнении одного из членов трибунала. Он услышал только приговор, согласно которому его должны были подвергнуть заключению сроком на восемь лет в исправительно-трудовом лагере.

Когда приговор был зачитан, судьи опять ушли в совещательную комнату. И там, как только дверь закрылась, председатель и майор, забыв свои разногласия, признались друг другу, что не часто попадают люди, которые вот так, как этот, спокойно приняли бы восемь лет лагерей. Во время чтения приговора Лопаткин стоял и смотрел в сторону — на стену, так, как будто она была прозрачная и как будто за нею были видны какие-то безмерные, сменяющие одна другую дали. Он словно прикидывал, сколько у него осталось времени и сил, прежде чем отправиться в **новый**, далёкий путь.

8

Комната конструкторской группы была опечатана ещё в тот день, когда Надю допрашивал следователь. И в тот же день Надя узнала, что группа прекратила своё существование и конструкторы возвращены в те отделы, где они работали раньше. После суда Надя сразу же позвонила Захарову.

— Товарищ Дроздова? — услышала она в трубке неуверенный голос. — Да, мы знаем... Ну что же вам сказать... Очень печально... Словами не поможешь. Влиять на трибунал мы, конечно, не можем никак. Это невозможно. Да... Ну, а что касается дальнейшей работы, эта история с судом никакого действия на неё не возымеет. Договор с институтом остаётся в силе, так что вы идите в институт и затевайте с ними переговоры...

— Простите... Они ликвидировали нашу группу.

— Да?.. Как получилось-то нехорошо... Да, чёрт... Ничего ведь не поделаешь — они хозяева в своём доме. Вы всё-таки попробуйте ещё с ними переговорить. Я позвоню генералу...

— Хорошо... Спасибо... — Надя уже поняла, что здесь всё пропало, что Захаров просто делает большие глаза, проявляет ужасное свойство многих людей — бесполезное сочувствие. И, ещё раз поблагодарив его, поспешила закончить разговор, тягостный для них обоих.

Впереди была ещё половина дня. Нужно было действовать. И Надя побежала к профессору Бусько.

Она позвонила пять раз, кто-то открыл ей дверь, что-то сказал ей, но Надя, не взглянув, пробежала к двери Бусько, нетерпеливо постучала. Дверь оказалась запертой, за нею что-то тяжело двигалось и скрипело. Надя ещё раз постучала, старик за дверью заторопился, передвинул что-то тяжёлое, потом притих и минуту спустя почти бесшумно открыл свой замысловатый деревянный затвор.

Надя вошла. Профессор был взъерошен и напуган. Все вещи в комнате стояли на прежних местах, как будто ничего здесь и не двигали, и **по** этому именно Надя догадалась, что Евгений Устинович опять пере-

прятал свой драгоценный порошок и тетради с формулами и расчётами. Она устало бросилась на табуретку.

— Был суд? — спросил старик.

— Да.

Наступила пауза.

— Вы мне хоть расскажите, Надежда Сергеевна! Что? Как? За что хоть его судили? Сколько он получил?

— Ничего не знаю. Секретный процесс. Чувствую только, что в деле этом какую-то роль сыграла я. Я его подвела...

Она отвернулась, закусив губу и багровея. Поспешно достала из внутреннего кармана пальто платочек, приложила к мокрым щекам.

Старик встал против неё, покачал коленом, посмотрел, опять нетерпеливо задрожал ногой.

— Вот *это* надо в наших условиях сокращать до минимума. — Он не любил женских слёз. — Лучше поезжайте в институт. Спасайте, что можно. Я ему говорил: не носи. Так он отнёс туда всю свою переписку. Шкаф там у него! Железный! Надо обязательно выручить чертежи и эту папку.

И она отправилась в институт. Ещё на углу Спасопоклонного переулочка она достала свой пропуск и с сомнением посмотрела на него. Предчувствия её не обманули. Она вошла в вестибюль института и решительно направилась к лестнице. Там стоял инвалид вахтер. Он развернул пропуск Нади, посмотрел на записку, что лежала у него на столике под стеклом, и покачал головой.

— Пропуск этот недействителен.

Надя вернулась. Постояла, закусив губу, потом прошла к телефону и позвонила Крехову, в отдел основного оборудования. Тот сразу узнал её и понизил голос. И Надя поняла, что здесь её имя теперь полагалось называть именно так, вполголоса.

— Вы слышите меня? — сказал Крехов, должно быть закрывая рот рукой. — Я сейчас позвоню вахтеру, чтобы он пропустил...

Всё-таки он проявил мужество. Телефон на столе вахтера громко задребезжал. Инвалид снял трубку, сказал: «Слушаю. Есть», осторожно положил её и повернулся к Наде.

— Пройдите, гражданочка.

Директор был у себя. Он сразу принял её. Пока Надя шла через его большой кабинет, одетая в строгий серый костюм, гладко причёсанная, с большим темно-золотистым калачиком волос на затылке, генерал смотрел на неё из-под опущенных седых бровей, тая улыбку, выжидая.

— Садитесь, Надежда Сергеевна, — сказал он. — Садитесь, поговорим. Надя села на край большого кресла, села и выпрямилась.

— Судили его? — спросил генерал.

— Да. Я с процесса.

— Сколько дали?

— Не знаю. Мне не разрешили досидеть...

— Ничего... Узнаем на днях. Так что вы?..

— Я пришла насчёт документов. Дмитрий Алексеевич поручил мне сохранить его переписку. Она подшита в серой папке с коричневым корешком. И ещё — чертежи.

— Должен огорчить вас. Вы не получите ничего. Во-первых, шкаф опечатан следователем — вы это знаете. А во-вторых, даже если и разрешат нам снять печать, мы поступим с этими документами так, как должно поступать с секретной документацией.

— Мне говорил Захаров...

— Да, он звонил мне. Что я вам скажу... Договор, конечно, остаётся договором, но мы намерены решать эти все машины по-своему. Так, как подскажут нам наши знания и практический опыт. Что же касается ваше-

го участия, то вы, я думаю, даже не захотите... Ну, кем вы могли бы работать — копировщицей?.. Не сможете ведь!

— Нет, зачем... Если вы намерены решать задачу по-своему — и я догадываюсь, как вы её будете решать, — в этой группе и с этими людьми мне, конечно, делать нечего. Я всё же просила бы выдать мне...

— Об этом не может быть и речи. Шкаф вскроет комиссия, составленная из людей, допущенных к секретному делопроизводству. Если я вам выдам документы, меня завтра посадят, как Лопаткина, за разглашение государственной тайны...

Надя замерла на миг—она в первый раз услышала о преступлении Дмитрия Алексеевича. Мгновенно вспомнила она все свои ответы на допросе у следователя и в трибунале. Вспомнила и то, как этот красивый капитан поспешно закрипел пером после её растерянного «да». Все эти воспоминания возникли мгновенно. Надя сразу всё поняла и только лишь чуть-чуть побледнела. Генерал не заметил ничего.

— И даже независимо от последствий лично для меня — я не могу и не хочу нарушать закон. И не сделаю этого.

— Но ведь эти же документы печатала я? Многие из них подписаны мной!

— На многих из них вами же поставлен гриф. Вот так, Надежда Сергеевна. Мой вам совет: возвращайтесь в семью и постарайтесь забыть об этой некрасивой истории.

«В одном он прав, — думала Надя, проходя из кабинета через приёмную в коридор.— Действительно, гриф... Но что же делать? Мы не допущены к секретным документам, а они все допущены. Они теперь вскроют шкаф и сделают с ними всё, что хотят, и ничего не останется, кроме дела в трибунале... Что же делать, что делать?»— снова и снова спрашивала она себя.

Ничего не замечая вокруг, поглощённая своими вопросами, на которые не было ответа, она медленно шла по коридору, по мягкой ковровой дорожке. А ей навстречу то и дело выходили молодые инженеры — посмотреть на знаменитую Дроздову. Даже не пытаясь оценить всё, что им наговорили про Надю и Лопаткина, они высыпали из отделов—у каждого вдруг нашлась какая-то забота в коридоре. Перед ними шла жена Дроздова—красавица, отчаянная женщина, любовница авантюриста. И они проходили мимо Нади и возвращались, пытаясь поразить её своими ватными плечами, кружили, как мотыльки вокруг огня, почти готовые броситься в этот огонь. Но от «почти» до головокружительного броска было всё-таки очень далеко. И, покружив, они улетали, оберегая свои детские крылья. А Надя, ничего не замечая, шла по длинному коридору и пожинала незаслуженные лавры.

Крехов опять продемонстрировал, на этот раз публично, свою верность прежним отношениям. Он открыл дверь и, пригласив Надю в отдел, предложил ей стул.

— Какими судьбами?—спросил он вполголоса.

Надя оглянулась. Вокруг тихо стояли чёртёжные «комбайны», там и там виднелись чьи-то молчаливые причёски, чьи-то неподвижно отставленные локти, чьи-то ноги в жёлтых ботинках. Только один Антонович был весь на виду, он сидел рядом с Креховым и, когда Надя вошла, поклонился ей.

— Дмитрий Алексеевич сказал мне сегодня на процессе...

— Что—уже?..—спросил Крехов.

— Да.

— И какой результат?

— Не знаю. Меня удалили. Секрет. — Надя слабо улыбнулась.

— Да, так что он сказал?..

— Он сказал: «Спасайте документы». — Надя покачала головой. — Вот я и пришла спасать...

— А что Дмитрий Алексеевич имеет в виду?

— Хотя бы общий вид. И потом папку с перепиской. С коричневым кошельком — помните? Её нельзя терять. Это нас отбросит к самому началу. После шести лет борьбы.

— Н-да...—неопределённо сказал Крехов и посмотрел по сторонам. Все «комбайны» стояли так же тихо, и по-прежнему виднелись кое-где неподвижные шевелюры, отставленные локти и жёлтые ботики конструкторов. — Так вы позванивайте! — бодро возвысил голос Крехов. — Не забывайте нас!

И Надя, поняв всё, что он хотел сказать, но не сказал, простилась с ним. «Ничего у тебя не выйдет»,—устало подумала она. Направляясь к лестнице, она прошла мимо той комнаты, где помещалась месяц назад их группа, и две жёлтые мастичные печати, приклеенные к двери и соединённые зелёной ниткой, молча подтвердили: «Ничего не выйдет».

В то время, когда она задумчиво спускалась по лестнице, директор института уже звонил по телефону председателю трибунала.

— Товарищ... э-э... подполковник?.. Что прикажете с документами делать? Ведь у меня весь отдел опечатан. Вот даже Дроздова приходила, требовала выдать ей...

— Несекретные можете выдать,—ответил председатель.—Снимайте печати и распоряжайтесь документами согласно инструкции. Бумагу? Бумагу я пришлю вам. Пришлю, пришлю. Можете спокойно снимать печати.

— Ну, а что мне с ними делать, с секретными бумагами?

— Нужные — берите в архив, ненужные — составьте комиссию и уничтожьте. У вас должна быть инструкция...

Всё же генерал остерёгся срывать печати военной прокуратуры на основании одного лишь телефонного разговора. Мало ли что! Он решил подождать, пока придёт из трибунала официальное разрешение. А пока он вызвал к себе Урюпина и поручил ему составить комиссию по разборке и сортировке документов бывшей конструкторской группы Лопаткина.

Урюпин подвигал своей короткой седой шевелюрой, улыбнулся одной щекой, показав половину стальных зубов.

— Полагаю, здесь не обойдётся без участия науки. Вы позвоните, пожалуйста, пусть Авдиев кого-нибудь нам подошлёт в помощь.

— Что ж, можно.—И генерал записал в своём календаре: «Позвонить Авдиеву». Потом он вспомнил: — Надо в комиссию ввести кого-то из лопаткинской группы. Крехова, что ли? Как ты смотришь?

— Крехова ни в коем случае нельзя. Он что-то поглядывать стал в последнее время. У них дружба с Лопаткиным. Ещё какую-нибудь штуку выкинет. Одинокого интеллигента — вот кого. Хоть он и выгнал меня. — Урюпин засмеялся. — Антонович — человек закона. Точный. Будет действовать точно по инструкции.

— Ну что ж, добре. Антонович так Антонович.

— Ещё Максютенку, я думал бы.

— Куда тебе, целый взвод формируешь! Зачем?

Он улыбнулся, как бы спрашивая: «Ответственности боишься?», и Урюпин, ёжась, осклабился, отвечая хоть и без слов, но ясно: «Ещё бы! Дело щекотливое!»

— Ну ладно,—сказал генерал.—Бери Максютенку. Не можете друг без друга шагу ступить...

Через день после этого разговора из трибунала пришла бумага, разрешающая вскрыть опечатанные два шкафа с документами конструкторской группы Лопаткина. В час дня комиссия подошла к двери с табличкой:

«Посторонним вход воспрещён». Урюпин эффектно потянул за конец зелёной нитки—слева направо—и разрезал этой ниткой обе жёлтые печати. Комиссия вошла в комнату, и дверь закрылась. Несколько часов спустя по коридору грузно протопал Авдиев, вызванный, должно быть, по телефону. Постучался в дверь, и его впустили. Около пяти часов вечера приехал из министерства Вадя Невраев, неслышно прошёл по коридору и исчез за той же дверью. Вскоре туда же прошёл директор института. Потом все они вышли и, громко разговаривая, не спеша направились в директорский кабинет, а комиссия осталась в комнате. Крехов прошёл мимо двери, как раз когда из неё выходило всё начальство, и он успел кое-что заметить. «Антонович пишет, Урюпин ходит и диктует»,—негромко сказал он, входя в свой отдел.

На следующий день комиссия с утра редактировала акт, затем его печатали на машинке, потом акт был подписан и подан на утверждение директору института. Согласно этому документу некоторые чертежи и расчёты, отобранные комиссией, передавались в архив института, остальные бумаги, как не представляющие ценности, но по своему содержанию секретные, комиссия предлагала уничтожить.

Прочитав бумагу, генерал взял красиво отточенный секретарём карандаш, примериваясь, поводил карандашом над бумагой и наконец оставил в левом верхнем углу её размашистый штрих.

Вечером, когда институт опустел, в комнату, где работала когда-то группа Лопаткина, а теперь заседала комиссия, пришли с мешками двое рабочих из котельной. Все бумаги, папки и книги, ворохом сваленные на полу, были уложены в мешки. Как и рассчитал Урюпин, получилось два мешка. Максютенко завязал их, опечатал, и рабочие, взвалив на спины каждый по мешку, отправились вниз, в котельную. Комиссия осталась в комнате покурить.

— Все, что ли, пойдём? — спросил Максютенко.

— Я бы просил, товарищи, отпустить меня,—решительно и очень ласково проговорил молодой кандидат наук—член комиссии от НИИЦентролита. — Я живу за городом. Завтра я приеду и подпишу акт. Очень просил бы...

Урюпин отпустил его. Потом повернулся к встревоженному Максютенко и молчаливому Антоновичу.

— Вы действуйте, товарищи. Я сейчас пойду перехвачу малость—с утра не ел. Давайте. Я минут за двадцать управлюсь.

И тоже исчез. Максютенко и Антонович молча отправились в котельную, застучали по гулкой лестнице. Антонович качался, как пьяный, спотыкался и смотрел на Максютенко пьяными глазами.

— А вы и трус же! — сказал ему Максютенко.

Они спустились в подвал, прошли под серыми от пыли сводами, под жёлто светящей пыльной лампочкой, потом спустились ещё ниже, в сырой мрак, в шахту, где был устроен склад угля. Отсюда, стуча по проложенным через уголь доскам, храня молчание, они оба пошли на вздрагивающее пятно жёлтого света и вдруг увидели свои два мешка, освещённые жёлтым пламенем, низко гудящим в трёх окошечках, словно прорезанных в темноте.

— Лампа, чёрт, перегорела,—раздался в стороне неторопливый хриплый голос истопника.

— А чего? Читать, что ли? — отозвался второй голос, помоложе.

— Нет, товарищи. Лампу надо вернуть обязательно,—каким-то капризным тоном заявил Максютенко.

— А где её взять?

— Я сейчас попробую достать,—сказал вдруг Антонович и рванулся в темноту. Максютенко поймал его за пиджак.

— Ладно, давайте в темноте! Чего там, света вон хватит из топок. Бумага загорится—ещё светлее будет.

— Извините, товарищи, дело ответственное. Как хотите.. Лампочка не помешает.

И Антонович, шархнувшись вбок, освободился и, что-то бормоча, рысцей затапал по доске вглубь шахты.

— Интересно!—сказал Максютенко. Плюнул, потом повалил мешок с документами и сел на него.—Вся комиссия разбежалась!

Приблизительно через полчаса в темноте шахты застучали шаги. Это вернулся Антонович.

— Ничего себе!—пропел ему навстречу Максютенко.—Достали хоть лампу?

— Знаете, все кабинеты заперты. А та, что в подвале, закрыта сеткой.

— Ну, браток, ты действительно интеллигентный!—Максютенко вскинул, не то улыбаясь, не то плача. Поморгал на огонь, крикнул с досады и побежал в шахту.

Он поднялся в подвальный коридор. Лампочка здесь действительно была защищена проволочной сеткой. Он отогнул сетку, вывернул тёплую пыльную лампочку и, зажигая и роняя спички, спустился в шахту.

— Из коридора вывернул? Правильно, — прогудел хриплый голос.— Дай-ка я полезу, вверну.

Осыпая уголь, истопник ушёл в шахту, потом вернулся, волоча что-то, должно быть лестницу.

— А вы прнступайте, ребята, к делу,—сказал он.—Это я долго здесь буду колдовать, с лампой-то.

Максютенко развязал один мешок и, взяв охапку бумаги, поднёс к топке. Бумага вспыхнула. Он стал торопливо заталкивать её в топку то одной рукой, то другой, дуя на пальцы.

— Так не пойдёт. — К нему подошёл рабочий, тот, что был помоложе. — Ты мне бумаги давай, а я уж буду с печкой разговаривать.

Максютенко подал ему несколько книг. Рабочий бросил в огонь одну, потом вторую. Третью книгу он стал перелистывать.

— Книги зачем жгёте? Лагранж. Аналитическая механика. Она же деньги стоит... Вон: девять рублей...

— Ты, товарищ, поменьше разговаривай и занимайся делом,—сказал Максютенко.

Взял эту книгу из рук рабочего и протолкнул её в топку. Книга вспыхнула, тут же погасла и задымилась.

— Чего-то лампа не светит,—озабоченно прогудел вверху истопник.—Току, что ли, нет?..

— Ладно, слезай, помогай иди,—сказал ему Максютенко.—Вы, Антонович, давайте берите этот мешок или идите тот развязывайте...

— Ладно, я уж этот докончу,—с лихорадочным смехом проговорил Антонович.—Вот мы сейчас его с товарищем истопником...

Максютенко и молодой рабочий отошли ко второй топке. Там у них быстро наладилась работа. Охапки бумаги так и вспыхивали одна за другой.

— Ах, с-сатана! — вдруг зашипел Максютенко, отскакивая от топки: на его штанине сиял, расплываясь, красный уголёк. — Понимаешь, хотел ногой подтолкнуть. Подпалыл штаны! — захохот он, плюя на ладони и прихлопывая огонь на брюках.

— Огонь, он тоже разбирает,—сказал истопник, глядя в топку, шуруя железным прутом.—Книгу не хочет брать. Видишь, сколько книжек уже дымится, а всё не берёт. Вот так всегда, я заметил: книжка не горит, пока её не растреплешь как следует. А тебя, — он улыбнулся,—тебя вроде ничего... принимает!

— Такие штаны спалил!—ругал себя Максютенко.—Это ж от костюма!

В это время в шахте застучали по доске чьи-то чёткие шаги. Это пришёл Урюпин.

— Ну, что дело? Идёт к концу? — спросил он бодро.

— Идёт. Даже штаны начинаем жечь, — сказал истопник.

— Генерала сейчас встретил. Могу сообщить, товарищи, последнюю новость. Лопаткин получил восемь лет.

— За что же это? — спросил истопник.

— За разглашение государственной тайны.

Урюпин закурил, взял из мешка лист ватмана, положил его в стороне, на ящик с углем, и сел.

— Что, Антонович? Приходится быть и кочегаром? — сказал он благодушно.

— Чёртова душа... такие штаны... — не мог успокоиться Максютенко.

— Мы видели этого Лопаткина... — задумчиво сказал молодой рабочий. — Секции меняли на втором этаже — помогать взялся... Говорит, работал на автозаводе...

— У нас всё. — Антонович, облегчённо вздохнув, поднялся. — Товарищ председатель, вот пустой мешок.

— Вы далеко пойдёте, Антонович. Это ведь я открыл у вас эти способности!

— Андрей Андреевич, я не знаю, какие способности вы имеете в виду, — вдруг холодно отрезал Антонович. — У меня есть определённые представления о порядочности. И я ими руководствуюсь. Всегда и во всём.

— Что похвалить мы в вас должны, — пропел Урюпин из «Евгения Онегина» и замолчал.

Потом быстро вскочил.

— Стоп! — и выхватил из рук молодого рабочего бумажку, которую тот читал, наклонясь к топке. — В огонь её, в огонь, молодой человек! Ишь ты! Читать секретные бумаги!..

— Там не написано «секретно».

— Неважно, милый, неважно!

— Там про вас чего-то написано, — сказал слесарь не без удовольствия. — Крепко написано!

— Крепко, говоришь? — Урюпин бросил бумагу в огонь. — Трибунал крепче может написать. Кому полагается. Кто болтает и кто нос суёт. — Он сел и опять закурил. — Ну что там у тебя, Максютенко? Давай закружиться, мне ещё нужно звонить генералу, он просил.

Вспыхнула последняя охапка бумаги. Истопник сказал: «Кажись, всё», выпрямился и стал пристально смотреть на Урюпина.

— Ну что ж, — бодро сказал тот, как бы не замечая его взгляда. — Поехали! Спокойной ночи, товарищи истопники!

Никто ему не ответил. Только слышнее, отчётливее стало суровое гудение топков.

Когда Урюпин, Максютенко и Антонович вышли к лестнице, она вдруг загудела, застучала вся снизу доверху.

— Кто-то бежит сюда! — Максютенко, открыв рот, прислушался.

— Алло! — запрыгал вверх по маршам лестницы женский голос. — Кто там внизу? Там нет Урюпина?

— Я здесь! — закричал Урюпин, скалясь, тревожно заглядывая вверх.

— К генералу! Скорее!

— Что такое? Разве он не ушёл? — И Урюпин, перехватывая перила, еле касаясь ступенек, громадными скачками понёсся вверх.

Он поднялся на второй этаж, прошёл через пустую приёмную в кабинет директора. Генерал в расстёгнутом кителе сидел за столом и, отхлёбывая чай из стакана в подстаканнике, просматривал папку с текущей перепиской.

— Сожгли? — спросил он.

— Всё готово.

— Вон, читай,—сказал генерал, подстаканником подвинув к Урюпину бумагу, лежавшую на зелёном сукне стола.

«Заявление,—прочитал Урюпин.—Прошу выдать мне папку с несекретной перепиской и несекретные чертежи, сделанные Д. А. Лопаткиным вне стен Проектного института и находящиеся в опечатанном прокуратурой шкафу по той причине, что у нас не было иного места для их хранения. Прилагаю копию доверенности. Дроздова».

— А где доверенность?—спросил Урюпин.

— Доверенность у неё. Заверена трибуналом. Вот копия..

— Поздно. Всё уничтожено.

— Ответь ей. — И генерал, взяв коричневый карандаш, написал на заявлении Надежды Сергеевны от угла к углу: «Председателю комиссии тов. Урюпину. Разберитесь и решите по существу заявление т. Дроздовой».

— Какое сегодня число?—спросил он. Хмуро взглянув на Урюпина и сильно нажимая на карандаш, поставил дату: «4 ноября 49 г.» — и расписался.

«Часы надо бы проставить»,—подумал Урюпин, усиленно двигая шевелюрой.

— Товарищ генерал, как же разбираться? Мы же сожгли... — начал было он.

— Ничего не знаю. Я ещё не имею акта.—И генерал спокойно посмотрел ему в глаза. — Завтра возьмёшь у секретаря и ответишь ей. Коротко, но обстоятельно. Кто-то научил её—видишь, она сдала заявление через окошко экспедиции. Значит, под расписку. Ещё вчера. Ты серьёзно к этому отнесись...

— Всё сгорело, чего тут разводиться!—Урюпин неуверенно засмеялся.— Комиссия не нашла в бумагах Лопаткина таких документов, которые могли бы, так сказать... которые бы не имели...

— Ну вот, я же знаю, ты мастер. Вот так и сделай.

Всё же, выйдя от генерала, Урюпин потемнел лицом. «Генерал, генерал, а уже и испугался!—подумал он.—Дорожит папашой!».

Тут же он прикинул в уме ответ комиссии на заявление Дроздовой: «Уважаемая т. Дроздова! Комиссия рассмотрела Ваше заявление, а также документы, чертежи и прочие материалы из архива быв. конструкторской группы Лопаткина. Комиссия не находит возможным передать Вам просимые документы, так как все они содержат сведения, не подлежащие оглашению и, тем более, передаче в частные руки...»

«Вот так и отвечу,—сказал он себе.—Чего пугаться? Пугаться-то нечего!» И он ещё больше помрачнел.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

1

Прошло полтора года... Удар, нанесённый Лопаткину, оказался как раз тем предельным усилием его противников, которого он опасался и ждал.

Изобретатель исчез с горизонта. Его словно столкнули на ходу в ночной океан, и богато иллюминированный корабль, полный жизни, дыша теплом человеческих страстей, пронёсся мимо него.

Через несколько дней после суда в отделах Гипролита ещё можно было услышать споры о деле Лопаткина. Разноголосоцица была страшная. Одни говорили, что это талантливая, но не менее удачно пресечённая авантюра. Кое-кто видел в истории Лопаткина простой подкоп под авторитет Василия Захаровича Авдиева. У идола дерзнули вынуть из лба его алмаз,

и грянул гром.. Большинство конструкторов молчало, но и молчание иногда можно класть на чашу весов.

А через месяц о Лопаткине забыли вообще. Затем в газетах появились статьи Шутикова и Дроздова о новой победе отечественной техники — машине для отливки труб центробежным способом. Авторы обеих статей писали, что новые машины запущены в серийное производство и скоро ими будут оснащены два новых завода.

Наконец-то и Леонид Иванович дождался этой чести — подписал статью, которую для него сочинил тот же Невраев. Но — странное дело! — став автором газетного подвала, Леонид Иванович не освободился от того чувства, которое вызывало на его лице чуть заметную презрительную усмешку. Дело в том, что фамилия заместителя министра П. И. Шутикова в это же время стала появляться в длинных списках лиц, присутствовавших на том или ином торжественном приёме. Правда, фамилия Шутикова стояла в отчётах одной из последних, после него шли уже писатели и журналисты, но тем не менее... и Леонид Иванович чуть заметно разочарованно улыбался.

А время шло. В середине пятидесятого года в газетах напечатали информацию в несколько слов о том, что П. И. Шутиков с группой инженеров едет за границу для ознакомления с промышленностью некоторых стран и обмена опытом. Он пробыл за границей месяц с лишним, потом вернулся из путешествия, и две недели целый отдел института Гипролиты и несколько специалистов, вызванных из Ленинграда и с Урала, писали для него отчёт о его впечатлениях и мыслях по поводу зарубежных машин.

Леонид Иванович смотрел на всё это спокойно, только, может быть, чуть-чуть пристальнее, чем следует. И та же нелёгкая усмешка таилась в его глазах. Вот если бы ему поручили съездить за границу и взглянуть на тамошнюю технику!.. Посадив за отчёт столько людей, он по крайней мере хоть составил бы для них тезисы! Высказал бы своё отношение к увиденному, отметил бы слабые и сильные стороны зарубежной техники, то, чего там нет, и то, чему следует нашим инженерам поучиться. Кое-что он и сам написал бы. А этот роздал ленинградцам и свердловчанам привезённые каталоги промышленных фирм и велел изучать и писать! Подобрал он, конечно, толковых людей. Люди были с головой. Но, тем более, кто же из этих ребят пойдёт на такое разделение труда: я буду путешествовать, а ты за меня трудись, читай со словарём каталоги! Пиши, показывай свою эрудицию, свой слог, а я подпишу! Не сделать ли наоборот?

Так рассуждал Леонид Иванович. Это были горькие рассуждения недовольного человека наедине с самим собой. Кое-что Дроздов даже сгустил. Но, когда отчёт был составлен, Леонид Иванович по просьбе Шутикова охотно взялся просмотреть его — нет ли где ляпсуса. Отчёт был пространный, под него подвели научную и историческую основы, и Леонид Иванович не нашёл в нём погрешностей. «Здорово, черти, знают своё дело», — подумал он о составителях. Правда, в двух местах у него возникли сомнения, их следовало проверить и устранить. Но для этого нужно было взять литературу и заняться делом всерьёз. И Леонид Иванович, поглядев некоторое время в сторону, усмехнулся и сам себе сказал, что это мелочи, чепуха.

— Отчёт подходящий, — заявил он Шутикову, и тот, обмакнув перо в свои любимые зелёные чернила, подписал его, словно прострочил последний лист на швейной машинке.

Вскоре была выпущена серия труболитейных установок. Их смонтировали на нескольких заводах, принадлежавших двум министерствам, и потекла обильная продукция — такие же трубы, как та, в которую заглядывал когда-то Шутиков и на другом конце которой, по уверению Невраева, Павел Иванович видел некое солидное кресло.

Может быть, это кресло и ожидало его — кто знает? Но вот в другом случае острое зрение неожиданно подвело Шутикова. Он не рассмотрел одной важной детали.

Обнаружилось это спустя год и семь месяцев после ареста Лопаткина — в июне пятьдесят первого года.

Один из тех рядовых сотрудников министерства, каких усаживают в одной комнате по десять — двенадцать человек, а иногда выселяют вместе со столом даже в длинный министерский коридор, — один такой человек однажды, проверяя бумаги, установил, что по такому-то заводу за квартал набегаёт большой перерасход чугуна. Этот человек, чьё имя так и осталось неизвестным, забил в своём отделе тревогу. Начали исследовать причины, затеяли переписку с заводом, и оказалось, что там уже около года работают на новых машинах, и трубы всё время идут с небольшим отклонением от стандарта: если по государственному стандарту труба должна была весить тридцать два килограмма, то с завода шли трубы в тридцать четыре.

Тревога, разрастаясь, пошла по инстанции вверх. Начальник отдела сообразил сразу, в чём суть и чем это грозит; лицо его стало строгим, он взял нужные бумаги и позвонил Шутикову, прося принять его по чрезвычайному, экстренному делу.

Шутиков, конечно, принял его. Выслушал короткий доклад, негромко спросил:

— А вы не прикидывали, что получится по всем заводам?

— Я не запрашивал. Не хотелось шевелить это дело, Павел Иванович, до вашего распоряжения. Мы прикидывали ориентировочно. Вот... Получается цифра порядка сорока тысяч тонн...

— Пугаете!..

— Да, да. Порядка сорока...

— А может быть, на остальных заводах не... Может, эти просто не освоили?..

— На этом заводе толковый начальник цеха. Я верю ему. Говорит, что при данной системе охлаждения...

— А мы ведь отправили ещё четыре машины другому ведомству...— вспомнил вдруг Шутиков.

— Наверняка и там. Павел Иванович, наверняка! Только не хватились ещё...

— А хватятся — сразу же на нас свалят. А?

— Обязательно свалят!

— Хорошо. Я подумаю.

И Шутиков остался один в кабинете — какой-то весь мягкий, сияющий жёлтым золотом очков и коронок, словно погрузился в светлый сон. Никто бы не мог подумать, что он в эту минуту страдает. Он умеренно дымил папиросой по время от времени, надувая щёки, говорил: «Пф-пф-пф-ф-ф!» Затем он позвонил Дроздову, и Леонид Иванович сразу же пришёл и пристально взглянул на начальника умными чёрными глазами.

Теперь, через полтора года после истории с Лопаткиным, Дроздов на вид был несколько другим: стал как будто ещё меньше ростом, слегка пригнулся, словно вышел недавно из больницы. Отчётливо проступили его пятьдесят шесть лет, и нельзя даже было сказать, где начался этот страшный прорыв: время выступило сразу, по всему фронту. Желтизна лица стала темнее и суше, блые виски холодно светились, губы увяли, а во взгляде появился как бы нетерпеливый окрик старика. И было уже видно, что старик будет сухонкий и властный.

В начале пятьдесят первого года внезапно умерла мать Дроздова — старуха семидесяти семи лет. И с этого момента перестал существовать молчаливый договор между Леонидом Ивановичем и Надей. Бабки не стало, и Николашка, сразу забыв о своих капризах, решительно перешёл

на сторону мамы, припал к ней всей своей маленькой любящей и встревоженной душой. Он обнимал её платье, висящее на стуле, и замирал, прижав к лицу чуть пахнувший духами шёлк. Отца он не понимал и побаивался. Леонид Иванович каждый вечер ходил по своим двум пустым комнатам, решая непосильную задачу, и наконец сдался. «Давай кончать», — шутливо предложил он Наде. Он до самого конца шутил, улыбался, обмениваясь с женой скупыми словами. Ни на миг не выпустил наружу свою тяжесть, которая гнула его. И они тихо, почти молча, прошли через все судебные инстанции и получили развод. Тут же Леонид Иванович переехал жить в гостиницу, а две комнаты, рядом с надиной, заняла новая, незнакомая семья — молодожёны, начинающие жизнь.

Все эти события прошли, по мнению Леонида Ивановича, незаметно для окружающих. Всю свою историю с Надей он держал в строгой тайне. То, что выплыло наружу в связи с процессом Лопаткина, люди успели забыть, как, впрочем, и следовало ожидать. Сенсации быстро забываются, если их терпеливо пересидишь... Но след всё-таки остался. «Остался влажный след в морщине старого утёса», — подумал как-то Леонид Иванович, глядя на себя в зеркало.

Вот какой человек вошёл в кабинет Шутикова — старый и в то же время новый. Тот и не тот.

— Леонид Иванович... — сказал Шутиков и замолчал, отдуваясь. — Вы понимаете, какая штука, пф-ф-ф-ф... Паника здесь...

— Ну-ка... Что там за паника?

— Кто-то обманул нас с вами. Учёные прохлопали, а может, и скрыли... Или эти... Максютенко с Урюпиным. Трубы-то идут на два кило тяжелее! Сколько, по-вашему, могло набежать за год? Чувствуете?

Дроздов сел, забарабанил жёлтыми тонкими пальцами по столу.

— Обсуждали, обсуждали... Хвалили, хвалили, — с досадой проговорил Шутиков.

— Н-да... Находка для Госконтроля.

— Вы чего так смотрите? — Шутиков с подозрением, пристально взглянул, словно прицелился в Дроздова. — Не в карман же мы положили этот чугун!

— Там не посмотрят. Скажут, что-нибудь другое положили в карман... — Дроздов закрыл глаза и медленно открыл, с усмешкой. — Какой-нибудь эквивалент... материального или морального порядка...

Он пугал Шутикова. Сам-то он ничего не боялся. Ни один удар, даже специально направленный в Дроздова, ещё не попадал в него. Он всегда умел стать так, чтобы его не задело. Правда, свалился один кирпич ему на голову — история с Надей и Лопаткиным. Зацепило вскользь и притом основательно. Но этого избежать было нельзя. Молодая жена и старый муж — вечная история!

— Что же вы предлагаете? — неуверенно спросил Шутиков, и Леонид Иванович очнулся. Он успел, оказывается, улететь из кабинета, горькая память унесла его к далёким, невозвратимым вещам.

— Что я предлагаю? — переспросил он. — Посоветоваться надо. Мне думается, всё-таки перерасхода нет.

Потом он остановился против Шутикова, закрыл глаза и медленно их открыл — умные, властные, насмешливые глаза.

— Плод, прижитый вне закона, может быть освящён законным браком. Надо поручить это дело попам.

Шутиков мягко рассмеялся: ему не нужно было разъяснять, кто такие эти попы. Он нажал кнопку в стене за спиной и, когда бесшумно вошла секретарша, весело приказал ей:

— Соедините меня с нашим митрополитом. С Василием Захаровичем.

На следующий день в этом же кабинете состоялось узкое совещание: Шутиков, Дроздов, Авдиев и Урюпин. Был вызван начальник того отдела,

где обнаружили беду, и он, на этот раз уже спокойно и обстоятельно, изложил всю историю. За сутки он успел связаться по телефону с заводами и теперь имел точные данные: перерасход чугуна составил шестьдесят тысяч тонн.

Цифра эта озадачила Авдиева, и он, нахмурясь, захватил нижнюю часть лица громадной крапчатой рукой, мясистой и сморщенной, как старая жаба.

— Опять наука нас подводит,— сказал Дроздов, сделав усталое лицо.— Одна машина принесла нам четыре миллиона убытку. Вторая вот...

Потом он посмотрел на Урюпина, тот ответил ему понимающим взглядом. Они, должно быть, уже разговаривали об этом чугуне.

— Я полагаю, Леонид Иванович, ничего страшного нет,— сказал Урюпин. Авдиев поднял голову и начал внимательно слушать.— Машина новая. Естественно, нельзя требовать от неё того, что давал ручной способ или машинная отливка в формы. Мы можем от руки сделать трубу ещё легче, чем полагается по стандарту. Обточим её на станке — будет даже экономия. Но ведь это одна труба! А машина даёт производительность...

Урюпин воодушевился, и в голосе его зазвенела сталь. Шутиков посмотрел на Дроздова. «Хорошо ты его завёл!» — сказали его затуманенные очками глаза.

— Полагаю, надо войти с ходатайством о замене существующего стандарта новым,— продолжал Урюпин.— Пересчитать надо. Узаконить этот фактический брак...

— Ты неточно выразился,— перебил его с тонкой улыбкой Дроздов.— Брак бывает разный...

— Товарищ Урюпин, конечно, имеет в виду брак в смысле матримониальном,— вставил Авдиев, и сумасшедшее веселье запрыгало в его голубых глазах.

— Какие будут мнения? — спросил Шутиков.

— Я полагаю, что рассуждение инженера Урюпина здоровое,— глухо заговорил Авдиев.— Через год-два, когда мы с его помощью дадим новый вариант машины, позволяющий удвоить выпуск труб,— тогда мы перекроем убытки по чугуну экономией на производительности. А потом мы ведь и вес труб будем снижать! Так что перемена ГОСТа будет у нас временной...

— В общем, я согласен,— сказал Шутиков.— Я подпишу отношение в Комитет стандартизации. Если оно, конечно, будет хорошо обосновано. Полагаю, что наука не откажет нам в помощи...

— Металл транжирили вместе,— вставил Дроздов.— Вместе и ответ придётся держать!

— Куда же денешься! — Авдиев весело развёл руками.— Мы не можем отрываться, так сказать, от практических задач народного хозяйства.

— И медлить с этим нечего,— сказал Шутиков, поднимаясь, глядя на часы.

— Да, сегодня же «Спартак» — «Динамо»! Надо поспеть, товарищи! — заметил Дроздов.

Никто не почувствовал иронии в этих словах. Леонид Иванович, чуть улыбаясь, стал смотреть, как сразу все заторопились, отбросили свои хозяйственные и научные заботы. Кабинет почти мгновенно опустел. Дроздов не спеша пошёл следом за Шутиковым и свернул к себе. «Болезньчики!» — подумал он и с усмешкой кашлянул.

Шутиков, как бы танцуя, легко сбежал по лестнице центрального подъезда. На нём крест-накрест играли свободные складки нового, но такого же светлого, как сухой цемент, костюма. Ботинки его — бледно-жёлтой кожи, с большими, крупными дырками — бесшумно касались ковровой дорожки, прихваченной к лестнице медными прутьями. Улыбаясь встреч-

ным, оборачиваясь и кланяясь, но не прерывая прямого и стремительного движения, заместитель министра промелькнул, вышел на широкий тротуар, оглянулся и собрался нахмуриться, но играющий бликами, словно мокрый, «ЗИМ» уже подкатил к гранитной обочине.

Шутиков хлопнул дверцей, уселся, выставив серый локоть, и машина, зашипев, дунув горячим ветром, с места набрала скорость.

Через минуту они уже неслись по улице Горького в общем неудержимом стаде машин, летящем к стадиону «Динамо».

«Чего же я боялся? — думал Шутиков. — Ведь меня что-то напугало в этой истории... Что? Чего это я вдруг голову потерял? Я же и сам мог увидеть, что перерасхода нет. То есть, конечно, есть, но ведь естественные причины... Через два дня принесут на подпись подготовленные расчёты и чертежи, разработанные институтом, и всё получит свой нормальный вид!..»

Между прочим, Шутиков по опыту знал, что больше всего надо считаться с той тревогой, которой почти не чувствуешь. Неясное ощущение, похожее на то, что делается с человеком летом перед грозой, всегда отражает большую опасность. Шутиков давно уже заметил: если отмахнёшься от этого чувства — завтра обязательно откроется твой серьёзный промах. Поэтому, когда мимо него вдруг пролетал слабый ветерок сомнения, Павел Иванович, узнав его, останавливал всё и начинал думать, проверяя все свои дела.

Вот и сейчас он безошибочно узнал своего старого знакомого — это неясное чувство тревоги — и, выключив всё, перебирал в уме свои дела. Всё было в порядке. «Чёрт с ним, какая-нибудь мелочь, — подумал Шутиков и привычно улыбнулся — так, как улыбается канатоходец во время своей опасной работы. — Чёрт с ней, с этой мелочью».

Он знал, что завтра эта мелочь придёт к нему сама и снимет шляпу: «Вон я какая! Не так уж я мала!»

Футбол всё же развлёк его, подогрел. Когда матч окончился, Павел Иванович даже задержался около стадиона специально для того, чтобы покричать, вмешаться в чей-нибудь спор, послушать, что говорят знатоки. К нему подошли Авдиев и Тепикин — порозовевшие, чуть потные, с круглыми глазами, словно вышли из пивной.

— Видал Лапшина? — сказал профессор. — Что я говорил? Может он бить по воротам?

— Так, милый мой, какая была подача! Левый край что сделал! С такой подачей любой промажет! — возразил Шутиков, и они, блестя глазами, сразу же заспорили о том, как Лапшин *обрабатывает* мяч.

Продолжая спорить, они сели все трое в машину Шутикова и влились в автомобильное стадо, которое в облаке бензиновой гари несло теперь от стадиона к центру.

За Белорусским вокзалом, на улице Горького, их вдруг бросило вперёд. По всей улице пронзительно закричали тормоза. Шофёр выругался: «Куда, куда тебя несёт! Чурка!» Шутиков выглянул и увидел вдали виновника всей этой сумятицы: перебежав улицу, он спокойно шагал по тротуару. Человек этот был коротко острижен, лицо его потемнело от загара, он был в кирзовых сапогах, в военной гимнастёрке, почти белой от многих стирок и от пота, и за спиной нёс небольшой вещевой мешок.

Машина тронулась, человек этот остался позади. И внезапно притихший Шутиков, стараясь рассмотреть его, резко обернулся, налёг на спинку сиденья.

— В прошлое воскресенье вот так же был забит торпедовцами второй гол, — снова начал Авдиев, думая, что Шутиков обернулся к нему и хочет продолжить интересную беседу.

— Погодите... Товарищи, минуточку, — остановил его Шутиков. — Вы ничего не заметили? Ничего? Ведь это был Лопаткин!..

И все сразу умолкли. После долгой паузы первым пришёл в себя Тепикин. Он хитровато улыбнулся.

— Думается, вы ошиблись, Павел Иванович... Выдаёте, так сказать, желаемое за сущее.

— Вот-вот! — Авдиев засмеялся. — Желаемое!

— Мне показалось, что это он.

— Вы про этого? Что улицу переходил? В гимнастёрке? — Авдиев на миг оцепенел, потом махнул рукой. — Какой это Лопаткин!

— Нет, это, конечно, не он, — сказал Тепикин. — Но что-то в нём было... Я тоже заметил.

— Извольте пугать, товарищ Тепикин? — Авдиев подмигнул.

— Чего же не попугать? — И Шутиков улыбнулся дружески, мягко, чувствуя при этом, как заныла в нём та же самая тревога. Только теперь она стала определённой.

— Я не верю в привидения. — Авдиев, смеясь, откинулся на мягкую спинку, запустил пальцы в жёлто-белую кудрявую шевелюру. За ним громко, но немного искусственно рассмеялись Тепикин и Шутиков.

Рассмеялись и умолкли. О футболе уже никто не говорил, и Шутиков заметил это. «Ага!» — подумал он. На секунду глаза его как бы заострились, и опять их заволокло дружеским приветом.

— Да, кстати. Вот вы, Василий Захарович, говорили сегодня что-то о новой машине, — начал он. — Это что — мечты далёкой бедной девы?

— План, а не дева! Кто нам помешает перейти на безжёлобную отливку? Или на конвейерную подачу изложниц?

— За границей, по-моему, это начинает входить в моду... В последнюю поездку я видел что-то похожее... Флоринский уверяет, что здесь приоритет Лопаткина.

— Приоритет! — Тепикин развёл руками, посмотрел недоумевающе. — Ведь у нас всё-таки, товарищи, нет монополий. Изобретение заявлено и принадлежит государству. А государство это кто? Это же мы с вами! Министерство, институт, завод — всё это государство. Государство, оно может распоряжаться тем, что ему по праву принадлежит?

— Смотрите. А то проищете опять года два. Со своими этими... вариантами. Вы любите капитальные исследования! — И Шутиков, говоря это, встретился глазами с Авдиевым.

— И на правильном пути бывают ошибки, — возразил Тепикин.

— Вот так, товарищи. Давайте скорей хорошую машину. И поменьше бы ошибок. Если есть что толковое у Лопаткина, творчески используйте. Тепикин говорит правильно! Имейте в виду, если мы накинём в стандарте два кило на трубу, то это нам разрешат не больше как на год-полтора. Никакой ваш Саратовцев не докажет, что нужно выбрасывать два кило чугуна на каждой трубе. В общем, вот так. Разрабатывайте.

На Пушкинской площади Тепикин и Авдиев вышли из машины. «ЗИМ» свернул на бульварное кольцо, и Павел Иванович опять словно бы заснул с привычным, светлым выражением на лице. «Вот чего ты боялся, — шептал ему внутренний голос. — Случайных прохожих принимаешь за этого изобретателя!.. Было бы не очень весело, если б это оказался он. Вот где твой страх! Вот почему ты перепугался, когда услышал об этих тысячах тонн чугуна... А, чепуха! — И он подставил ветру растопыренные пальцы. — Всё сгорело. Акт есть!»

Шутиков и его спутники знали твёрдо, что стриженный человек в гимнастёрке ни в каком случае не мог быть Лопаткиным. Если они и призадумались, то лишь потому, что прохожий с мешком слегка напоминал Дмитрия Алексеича. Он сделал ясными их скрытые, смутные тревоги, навёл

на мысль о том, что надо поспешить с некоторыми неоконченными делами. Он хорошо их встряхнул, сам того не подозревая.

Но самое важное обстоятельство в этой нечаянной встрече ускользнуло от них: это действительно был Лопаткин.

Недели две назад в далёкий сибирский лагерь, где он был заключён, пришло из Верховного Суда уведомление о том, что приговор трибунала отменён и дело прекращено за отсутствием в действиях осуждённого состава преступления. Тут же Дмитрий Алексеевич был вызван с участка, где он соединял электросваркой железные прутья арматуры на строительстве огромного моста. Ему дали денег на дорогу, дали справку, и по глубокой колее, накатанной самосвалами, он вышел из ворот на свободу.

В Москву он приехал в тот самый день, когда на стадионе «Динамо» состоялся футбольный матч. Он заметил громадную афишу: «Динамо» — «Спартак» — и улыбнулся. Ничто не изменилось, Москва осталась Москвой. Комсомольская площадь была так же велика, как два года назад, люди на ней так же малы, так же их было много и двигались они до того постоянными потоками — от вокзала к вокзалу, — что Дмитрий Алексеевич вдруг усомнился, действительно ли прошло полтора года.

Он спустился в метро и вышел у Кропоткинских ворот; и здесь всё было таким же, как и полтора года назад. Те же троллейбусы, те же дома и всё тот же деревянный забор вокруг котлована с фундаментом Дворца Советов. Постояв под колоннами станции метро, окинув взглядом всю площадь, Дмитрий Алексеевич словно бы раскрыл крылья и радостно взвился к небу, как выпущенная на волю птица. Улыбаясь, нетерпеливо и счастливо покашливая, он побежал, окунул в знакомые переулки. Как сейчас встретит его Евгений Устинович? «Профессор, снимите очки-велосипед! Это я приехал!» — приготовил он грозно-весёлое приветствие и свернул в Ляхов переулок.

Он никогда не задумывался ещё над тем, что время может стоять на месте, но может и бежать. Если смотреть на ручные часы, то оно течёт неумовимо, как часовая стрелка. На большом уличном циферблате оно неподвижно стоит, потом — прыг! — и уже стрелка на новом месте! Дмитрию Алексеевичу предстояло увидеть такой скачок времени.

Войдя в свой переулок, он поднял голову и замер. Старинного деревянного особняка не было. Он исчез. Вместо него рядом с высоким серым домом была разбита большая круглая клумба, вся в красных, оранжевых и жёлтых цветах. Вокруг неё полукругом были поставлены четыре решётчатые скамейки. На них сидели няньки и матери, каждая около своей коляски с младенцем, и у ног их копошились в красной земле дети. А дальше был — как на ладони — открыт двор с сараями и голубятнями.

Да, полтора года всё-таки прошло! Постояв против клумбы некоторое время, окинув взглядом соседние каменные дома, Дмитрий Алексеевич пересек мостовую и, всё ещё не веря глазам, шагнул на посыпанную толчёным кирпичом дорожку с таким чувством, как будто он вступил под невидимую крышу. Он сел на скамью рядом с молодой курносой толстушкой домработницей и посмотрел на неё в упор.

— По-моему, здесь был дом...

Толстушка подумала, видимо, что с нею хотят завести знакомство, повела плечом и отвернулась.

— Был, был, — ответила пожилая женщина с другой скамьи. — Сгорел. Зимой прошлой.

— А что случилось? Почему — не знаете?

— Старичок один, говорят, профессор, с огнём возился. Опыты, видать, делал. Задремал или что — от его комнаты огонь пошёл. В два счёта весь дом занялся. Ночью. Как ещё успели барахлишко выкинуть.

— Ну, а старичок?..

— Старичка вытащили. Жильцы вовремя хватились, а то к нему бы уж и не добраться. Вытащили, вытащили... На воздухе он быстро в сознание пришёл, кинулся сразу в огонь: деньги, видать, у него были спрятанные. Скупой был старичок, в заплатках, а деньги-то у него водились. Люди удержали, чего ж тут — весь пол уже сгорел, провалился. «Под полом!» — кричит, а пола-то уж нет...

Дмитрий Алексеевич ничего не сказал на это. Он долго ещё сидел на скамье, слегка склонив голову набок, и большая клумба тлела перед ним, как груда догорающих углей.

В три часа дня он поднялся, вскинул на плечо свой мешок и не спеша побрёл по переулку, который теперь стал для него чужим. Миновав Арбатскую площадь, он пошёл бульваром к Никитским воротам. Здесь он вдруг увидел столовую и полтора часа обедал, сидя за столиком около окна, глядя вверх занавески на яркую июньскую улицу, медленно обдумывая свои дела. «Почему не было писем ни от него, ни от неё? — думал он, медленно шевеля ложкой в супе. — Правда, я переменял за это время несколько мест, и притом дело далёкое, письмо туда быстро не дойдёт, — поспешил он оправдать Надежду Сергеевну и профессора. — Но всё-таки интересно — писали они мне?»

Потом он задумался над другим делом: с чего начинать? И на миг им овладело сладкое мстительное чувство. Он решил неожиданно появиться в институте. «Здравствуйте, товарищи! Нельзя ли мне получить мои документы?» Нет, это было не то. «Позвоню по телефону Невраеву!» — решил он. И ему отчётливо представилось: он звонит по телефону, Невраева нет, и он просит передать Ваде, что звонил Лопаткин. «Нет, так действовать не годится, — тут же оборвал он эти весёлые мысли и помрачнел. — С ними не шутить надо».

Пообедав, он пошёл дальше — к Пушкинской площади, чуть опустив голову, продолжая обдумывать свой план. «Собственно, обдумывать нечего, — спохватился он вдруг. — Я уже иду к ней!» И внутренний голос, недоверчивый и смущённый, сейчас же принялся пугать его: «Зайду к ней, а она одумалась... всё-таки семья, ребёнок и всё прочее. Ну, а мне что? Мне же и нужно всего-навсего узнать. И до свидания! Больше ничего!»

На Пушкинской площади он остановился, посмотрел направо, налево. Всё было так, как будто он был здесь только вчера. Затем Дмитрий Алексеевич свернул на улицу Горького и так же медленно побрёл к Ленинградскому шоссе. «Ну хорошо, — думал он. — Прежде всего надо взять документы и чертежи. Только вот где они? Чертежи всё-таки добудем. Не здесь, так в другом месте. Напишу Араховскому! Араховский скопирует. А вот переписка... Если она пропала, дело будет хуже...»

Миновав площадь Маяковского, Дмитрий Алексеевич хотел перейти улицу, чтобы сесть в троллейбус. Но по улице двигался от стадиона к центру плотный поток машин. «Ах да, ведь футбол!» — подумал Дмитрий Алексеевич и решил подождать. Прошло несколько минут. Лавина машин весело неслась по улице и не иссякала. Тогда он выбрал удобный момент и, перебегая от одного узкого промежутка между машинами к другому, смело форсировал препятствие. Несколько пешеходов бросились за ним, и из-за них-то две или три машины резко затормозили, и по всей улице волной прокатился визжащий скрип тормозов. А Дмитрий Алексеевич даже не оглянулся. Подошёл к остановке троллейбуса и встал в очередь.

Надежда Сергеевна работала в утреннюю смену и уже несколько часов была дома, когда на лестнице послышались шаркающие шаги. Человек потоптался, пошаркал около двери, нерешительно нажал кнопку звонка, и звонок так же нерешительно звякнул и затарахтел. Соседка пробежала из кухни в переднюю, щёлкнула замком, и наступила тишина. Потом раздался стук в надину дверь.

— Надежда Сергеевна, к вам!

Надя вышла. В полумраке передней стоял, сверкая белками глаз, высокий незнакомец, худощавый и меднолицый. Остриженные под машинку волосы его уже немного отросли, стояли густой белёсой щетиной. Он был неподвижен, чего-то ждал, и в ту же секунду Надя узнала его. В передней, может быть впервые с того времени, как был построен дом, раздались звонкие и частые поцелуи, и молодая соседка, которая знала всё и поглядывала из кухни, поспешила закрыть дверь. Надя обняла Дмитрия Алексеевича, вернее, положила руки ему на грудь и на плечи и почувствовала идущий от его гимнастёрки могучий запах рабочего — запах трудового пота и махорки.

— Дмитрий Алексеевич, не могу! — сказала она и уткнулась головой ему в грудь, виновато улыбулась и пальцем вытерла под глазами.

Но вот прошли первые секунды радости. Надя спохватилась и с неловким, беспокойным чувством осторожно взглянула на Дмитрия Алексеевича. Да, это были только её поцелуи, только её слёзы. Это только она бросилась на него, чуть не сбила его с ног. Надя зажгла электричество и, держа Дмитрия Алексеевича за плечо, за руку, стала рассматривать его обветренное лицо, говоря что-то радостное, какую-то неправду, потому что правда уже зародилась у неё иная. Сквозь все приличные для этого момента вздохи и восклицания смотрела другая Надя — любящая стыдливо и безмерно, но глубоко обиженная. С болью смотрела она на него, не находя в его лице долгожданного ответа, не понимая: что же это такое? Ведь полтора года не виделись, а он стоит и терпеливо отдаёт себя этим минутам встречи, помня о правилах *внешней жизни*, боясь, как бы чего не забыть из этих правил. А внутренний взор его уже горит нетерпением. Там накопилась какая-то другая страсть, какая-то готовность. И Надя вдруг всё поняла. Та, любящая, которая должна была по велению природы победить этого человека, завладеть им, подсказала ей нужные слова.

— Ну пойдёмте в комнату, — сказала Надя, светлея. — У меня есть для вас такие новости, что их нельзя откладывать ни на минуту.

И Дмитрий Алексеевич стал ещё суровее. Он был готов ко всем новостям. За ними он и пришёл. И она, почувствовав, что путь её верный, взяла его за руку и мягко втолкнула в комнату.

У стула стоял чистенький мальчик в синих штанишках на помочах и в белой рубашонке с вышивкой. Он складывал из зелёных, красных и жёлтых кубиков дворец. У него было умное черноглазое личико — широкое в бровях, остренькое вишу, — лицо отца.

— Ах ты, разбойник! — сказал Дмитрий Алексеевич. — Здравствуй!

Но это тоже была дань внешним правилам. Сказав, что следовало сказать малышу, Дмитрий Алексеевич сел на свободный стул и приготовился слушать новости.

— Я не разбойник, — отчётливо и спокойно сказал Николашка. Но чужой дядя уже не слышал этого.

Взгляд Дмитрия Алексеевича рассеянно скользнул по знакомой комнате, и вдруг он увидел у стены свою чертёжную доску — «комбайн», подаренный ему когда-то профессором.

— Ого, старый приятель! — Он вскочил, шагнул к доске, и Надя, которая теперь с тревогой следила за ним, заметила, что в нём ожил прежний Дмитрий Алексеевич.

— Да, это Евгений Устинович для вас просил сохранить... — сказала она. — Ах, с ним такая беда... Даже не знаю, как начать...

— Я был там. Мне сказали, — проговорил он.

— А вы знаете?.. Ведь он умер...

Дом не обрушился от этой новости, и день не потемнел. И Дмитрий Алексеевич встретил эту весть без содрогания. Как и там, на скамье перед клумбой, ум его оцепенел, не принимая этой перемены в жизни.

— Я его к себе взяла, он у меня жил почти год,— задумчиво рассказывала Надя.— Ничего не восстановил из своих изобретений, не пытался даже. Только о чертёжной доске заботился, просил сохранить для вас. Тихий какой-то стал. И ещё — напряжённый, всё время казалось, что он дрожит. По ночам почти не спал. Галицкий был здесь, настаивал, чтобы он занялся своими делами. Обещал помочь. А Евгений Устинович, знаете, что сказал? Ясно так, в первый и последний раз: «Это никому не нужно. Ни изобретения, ни ваша помощь. Огонь опередил нас с вами, похитил секрет своей гибели». Видите, даже шутил. А потом у него отнялась левая сторона... Через несколько дней после отъезда Галицкого. Лежал спокойно — три дня или четыре. Вас упоминал, ещё сказал несколько раз: «Человек умер полностью. Обе половинки. Никакого следа...» И вот осталась чертёжная доска... Мы её с Николашкой каждый день вытираем. Бережём для Дмитрия Алексеевича память о дедушке Бусько.

— Спасибо,— тихо сказал Дмитрий Алексеевич. И его усталые, глубоко посаженные глаза остановились на Наде, постепенно теплея. И он обнял её! Но это он благодарил её за дружбу и за память о старике Бусько.

Тогда Надя выпрямилась, спокойно подошла к этажерке и вытащила зажатый между книгами портрет Жанны Ганичевой.

— Вот ещё я для вас у него взяла. Как только вас арестовали... Что это меня надоумило? — беспечно проговорила Надя, поглядывая на него.— Мог ведь сорвать!

Дмитрий Алексеевич взял портрет.

— Да... Евгений Устинович...— сказал он. Мельком взглянул на портрет и рассеянно положил его на крышку пианино.

Что-то отраднo дрогнуло в Наде. Но глаза Дмитрия Алексеевича снова стали суровыми. Прежний живой и даже влюблённый человек опять ушёл куда-то. Он ушёл от Жанны, но ушёл и от неё, чуть виднелся где-то вдали. А на месте его сидел каменно-твёрдый исполнитель долга, глядящий сквозь пальцы и на смерть и на жизнь. Длинная дорога, уставленная верстовыми столбами, поглотила его, и он стал вечным её ходоком. Он упорно, спокойно шёл по ней и сейчас, и впереди него туманились безразличные пространства — большие, чем те, что он пересек.

— Да, так вы говорите, новости? — спросил он голосом этого ходока, глядя только вперёд, на дорогу, находясь целиком во власти привычного движения.

А женщина сверкнула на миг глазами и тут же их погасила. Стала тихой, мягкой...

— Дмитрий Алексеевич...— Она подошла к нему сзади.— Я вижу, вы сидите здесь...— с каждым словом она нажимала ему мягкими руками на плечи,— и думаете, наверно, с чего начать... А? Я ведь вижу...— И Надя загнулась, порозовела. Потом приблизилась к его уху и шепнула: — А машина уже работает! Честное слово! Хорошо работает! Два или, кажется, даже три месяца. Уже об этом знают многие. И ещё строятся две! Ещё!

Дмитрий Алексеевич не вскочил, не подпрыгнул. Он только наклонил голову, как бы прислушиваясь, сказав: «Ага-а!» У него не раз уже бывали удачи, приливы, после которых он опять оставался на мели.

— А где, вы говорите, работает машина?

— На Урале. У Галицкого!

— Так-так... Ну-ну, рассказывайте.

Оказывается, Галицкий, приехав однажды в Москву, узнал обо всём, позвонил Наде, а потом явился и собственной персоной прямо на квартиру. Надя часа три рассказывала ему всю историю, а он ерошил свою бесформенную, как у нестриженного мальчишки, шевелюру и водил глазами. «Вот так»,— и Надя повела глазами на потолок, потом на дверь и устала в пол:

— Ну и что, значит, вы говорите, машина рабстаёт? — перебил её Дмитрий Алексеевич.

— Ну конечно же!

И она продолжала рассказывать, торопясь, время от времени захватывая воздух для новой фразы. А он смотрел на неё, как в окно, за которым туманился далёкий Урал. Галицкий, выслушав трёхчасовой подробный рассказ Нади, ни разу не перебив, вдруг спросил: «А где живут эти — Крехов и Антонович?» Надя этого не знала, но дала ему номер телефона. «Попробуем что-нибудь сделать», — сказал Галицкий. Потом вдруг вскочил и стал прощаться. «Да у вас ведь телефон! Можно, — говорит, — позвонить?» Вышел и стал набирать телефон института. Вызвал Крехова. «Товарищ Крехов? Очень хорошо. Говорит с вами некто Галицкий. Ну, раз вы знаете меня, тем лучше. Давайте встретимся с вами. Приходите ко мне, — говорит, — в министерство вместе с товарищем Антоновичем. Вы не возражаете против «левого» заработка? Вот я вам и Антоновичу дам хороший договорный проект. Нет, чепуха, — он так сказал, — это вы за неделю... Будете по вечерам прихватывать часа по три, и всё... Приезжайте. Кончатся занятия — и сразу ко мне».

— У нас же был готовый проект! — перебил её Дмитрий Алексеевич. Он уже горел, уже сиял, как тогда, в лучшие свои голодные, но весёлые дни.

— Все чертежи сожгли, — сказала Надя. — Комиссия во главе с Урюпиным.

— Ага!.. — сказал Дмитрий Алексеевич, темнея. — Ну-ну, я слушаю...

Крехов и Антонович отлично всё поняли и вместе с Галицким сделали несколько основных листов эскизного проекта за двенадцать дней. Прихватывали, правда, не по три часа, а часов по шести. Ночами работали все трое в комнате у Нади. А Надя подавала им чай и выбрасывала окурки из пепельницы. А Евгений Устинович, белоголовый, тихий, сидел в валенках около батареи и смотрел на них, не веря ни во что.

Галицкий увёз эти листы и на свой страх и риск приказал заводским конструкторам закончить проект и построил на заводе первую машину. Оказывается, Галицкий применил принцип машины Дмитрия Алексеевича и построил установку для литья одного из тех «тел вращения», о которых когда-то шла речь у генерала. Завод у него громадный — через два месяца машину уже установили на фундамент в литейке и опробовали. Надя была там, на заводе, и видела всё. Машина сразу же стала давать правильные отливки, начала выталкивать их одну за другой. Народ собрался — у Нади рука заболела от пожатий. Но конвейер, или питатель, как его там называли, оказался маловат, и изложницы быстро перегрелись. Это был просчёт самого Галицкого. Через неделю увеличили длину конвейера — и с тех пор машина работает в три смены, без остановки. Галицкий говорит, что она заменила целый участок в литейном цехе. Он послал подробный доклад своему министру. Все расходы были утверждены, и Крехов с Антоновичем получили свой гонорар, которого они, правду говоря, не ожидали.

— Они, конечно, сидели ночами не для того, — сказала Надя. — Они всё подтрунивали над этим гонораром. «Как бы не пришлось, наоборот, с вас, товарищ Галицкий, если машина не пойдёт». А Галицкий помалкивал и торопил их. Торопил — и сам, как машина, работал, молча. Он — на столе, Крехов — на этой вот чертёжной доске, а Антонович — свою принёс. На кровать уложил и чертил.

— А как эти... наши друзья? Живы и здоровы? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Здоровы. Машину свою в газетах всё время хвалят. Завод, по моему, строят. Шутиков за границу уже два раза ездили.

— А про нашу они знают?

— По-моему, пет ещё. А узнают — не страшно. Машина уже в работе!
— Говорите, хвалят в газетах? Как же так? Кое-что, значит, скрывают. У них на этих машинах всё гладко идти не может... Так что нам, Надежда Сергеевна, ещё предстоит...

— Неужели ещё?..— И Надя сразу словно бы осунулась. Она верила теперь всем предсказаниям Лопаткина.— До каких же это пор, Дмитрий Алексеевич!

— Чья возьмёт на этот раз — мы ещё посмотрим,— сказал Дмитрий Алексеевич, угрожающе глядя в сторону.— Но драться они будут. Не могут иначе... Работающая машина, а теперь, как вы говорите, их будет три — три наши машины станут против их завода, и сразу всё будет ясно. Гласность, спор, сравнение — всё это для них крест, скандал. Придётся списывать миллионные убытки, а за это, знаете, иногда по шапке дают. Как только они узнают про нашу машину — сразу что-то начнут придумывать, это наверняка...

В эту минуту Николашка, который не спускал глаз с гостя, оставил свои кубики, нерешительно оторвался от стула, подошёл и остановился против Дмитрия Алексеевича.

— Вы Дмитрий Алексеевич? — спросил он.

— Я! — сказал Лопаткин.

Мальчик подошёл ближе.

— Вы были в далёком путешествии? Правда?

— Правда. В очень далёком...

И мальчик отошёл, задел локтями свой дворец, и кубики с грохотом посыпались со стула. Собирая их, ползая по полу, Николашка о чём-то размышлял и изредка поглядывал на Дмитрия Алексеевича чёрными умными глазами — глазами Дроздова.

— Поди, Коленька, погуляй во дворик,— сказала ему мать.

— Я вырасту большой и тоже поеду в далёкое путешествие,— ответил он.

— Ох, лучше не ездить.— Надя со слабой улыбкой посмотрела на Дмитрия Алексеевича.

Он ответил ей таким же взглядом.

— Путешествий бояться не надо. Кто боится путешествий, тот, конечно, не поедет. Но он и не уйдёт далеко!

Он замолчал, задумался и машинально вытащил из кармана кисет, сшитый из рукава старой гимнастёрки. Достал сложенную книжечкой газету, оторвал листок, спохватился и встал.

— Курите, курите, пожалуйста!

— Нет, я выйду...

— Да нет же, курите здесь. Мне хочется с вами сидеть и говорить...

— Нет, я в коридоре. И позволю Захарову. Как по-вашему, надо?

— Они вас ждут. Мы думали, что вы приедете раньше.

Дмитрий Алексеевич свернул цыгарку корявыми, мозолистыми руками, вышел в коридор, там чиркнул спичкой и, прислонясь спиной к стене, несколько раз подряд глубоко затянулся дымом. И как все курильщики, он выдал себя этими частыми затяжками. Украдкой наблюдая за ним, Надя видела не простые затяжки курильщика, а скрытые от людей вздохи — те вздохи, у которых нет дна. Леонид Иванович — тот курил гораздо спокойнее, это Надя заметила ещё там, в Музге.

Большая, толстая цыгарка, несколько раз мигнув красным огоньком, догорела до пальцев, покрытых на концах коричневой коркой. Морщась, Дмитрий Алексеевич докурив её, погасил о подошву сапога, вышел в кухню, вернулся и снял трубку телефона. Цыгарка успокоила его, как материнская рука.

Но спокойствия его хватило всего лишь на полминуты. Он набрал номер, услышал басистое «да», и рука его сильнее сжала трубку, а голос задрожал:

— Товарищ Захаров! Это я! Это Лопаткин говорит. Лопаткин, который...

— А-а-а! — радушно заревела трубка. — Наконец-то! Здравствуйте, товарищ Лопаткин! С приездом! Мы уже месяц целый вас ждём. Как здоровье?

— Здоровье неплохо, товарищ Захаров!.. Я слышал, машина построена.

— Да-а! — задорно отвечал Захаров. — Ещё бы! Она уже внесла, так сказать, поправку в наш промфинплан! Так что же нам по телефону... Приезжайте! Давайте завтра утром. Я шофёру скажу. Вы где остановились?

— Ещё пока нигде не остановился. Я так приеду.

— Что значит «так»? Вы утром позвоните мне, и я подошлю! Договорились? Так до завтра! Жму руку! Будьте здоровы.

Повесив трубку, Дмитрий Алексеевич опять прислонился к стене и стал свёртывать новую цыгарку. Он закурил, пустил дым к потолку, и Надя, стоя в дверях, сказала ему как бы шутя:

— Вижу, вы теперь не следите за нормой...

— Последняя, — сказал Дмитрий Алексеевич.

Когда он докурил, Надя опять, взяв за руку, легко втокнула его в комнату.

— Я кое-что поняла из вашего разговора. Как это так, не остановились нигде? А у меня?

— Я думал, может быть, неудобно?

— Бойтесь меня скомпрометировать? — весело сказала Надя. В эти слова было нечаянно вложено что-то такое — какое-то грустное воспоминание, и Дмитрий Алексеевич постарался ничего не заметить.

— Вы что-то всё оглядываетесь, — сказала Надя. — *Его* здесь нет. Он давно уже здесь не живёт. Так что можете располагаться у вашего соавтора, как дома.

Мимоходом Надя взглянула на себя в зеркало, и оттуда на неё глянуло похудевшее и насторожённое, странно белое лицо с большими тёмными глазами.

Они сели друг против друга. Наде показалось, что Дмитрий Алексеевич украдкой посматривает на неё какими-то горящими глазами, и она опустила ресницы, чтобы не мешать ему. Ей многие говорили, что у неё за эти годы появилась новая, грустная красота. «Если она действительно появилась, пусть помогает мне», — подумала Надя.

Немного погодя она, затаив дыхание, взглянула на Дмитрия Алексеевича. Оказывается, только ей одной было тесно в этой комнате. Он уже чувствовал себя здесь, как дома. Достал блокнот и, прикусив губу, смотрел в него теми же горящими глазами.

— Что это у вас? — тихо спросила Надя.

— Кое-какие мысли. Эскиз небольшой. — И он, счастливо покраснев, спрятал блокнот в карман гимнастёрки.

— Это вы там сделали?

— Там, — ответил он и улыбнулся. — Как видите, слова «лишение свободы» неточны. Кто научился думать — того полностью лишить свободы нельзя.

— Ну, и что вы там надумали?

— Так, небольшую вещь... Если наша машина действительно пойдёт... В общем, автоматический цех по производству труб. Знаете, я убедился.

— В чём?

— Прав Евгений Устинович. Прав Араховский. Мыслитель не может не думать. Когда человек долго упражняется, перебирает в уме какой-нибудь клубок вопросов, он постепенно достигает совершенства в этой области. И тогда что-то растормаживается в голове и наступает цепная реакция. Одна мысль рождает другую. Это целый мир. Я вижу огромные возможности. То, что раньше мне казалось решением только частного вопроса, в действительности ключ ко многим большим делам. В первый раз я задумался над этим, когда вы мне подали мысль о двуслойных трубах. Помните? Я тогда увидел вдруг краешек того, что там открылось мне полностью. Так что естественно: когда тебя посетит такая мысль, разве можно сидеть и горевать о том, что твоё физическое передвижение ограничено забором? Наоборот: я там был свободен от этой дурацкой переписки, от всех этих обвинений в клевете, в корысти, в лжеизобретательстве. Сидишь себе высоко-высоко на ферме моста, вверху — небо, внизу — река, пороги. Электричества нет. Что-то случилось с трансформатором. Слезать вниз нет смысла. Вот и думаешь, пока внизу чинят. Два часа! Или вечером сядешь около барака...

Да, это был человек, в котором чуткая готовность к бою стала привычкой.

«Ничего», — сказала себе Надя, ласково посмотрев на его спину, обтянутую белой вылинявшей гимнастёркой, и ушла на кухню ставить чайник. Там она немного замешкалась, а когда вернулась, то можно было бы заметить, что губы её с помощью соседкиной помады стали чуть-чуть краснее, самую малость, а лицо как будто стало матовым, хотя родинка на щеке оставалась такой же милой и бархатистой.

— Ну? — сказала она, глядя на него и слегка краснея.

Вопрос этот был задан оттуда, из другой жизни, и Дмитрий Алексеевич его не услышал.

— Что «ну»? — спросил он, смеясь. — Вы же ещё не закончили свой рассказ! Закончите, тогда наступит моя очередь.

— Ну-ну, — прозвучал тот же голос, и Надя, сев против Лопаткина, стала рассказывать. Это была уже новая глава в её рассказе — о том, как и почему Дмитрий Алексеевич был освобождён.

Одним из первых героев этой главы, неожиданно для Лопаткина, Надя назвала Андрея Евдокимовича Антоновича. Оказывается, в тот час, когда он вместе с Максютенко спускался в котельную, чтобы по решению комиссии сжечь два мешка документов, им овладел вовсе не страх, как это показалось Максютенко. Бояться, собственно, нечего было. Боялись Максютенко и Урюпин. У Антоновича ноги подкашивались по другой причине: он слышал, что Надя просила выдать ей папку с несекретной перепиской Лопаткина и что ей отказали. Во время работы комиссии он осторожно заговорил об этом, и Урюпин, громко гогоча, поднял его на смех. Антонович знал, что в папке не только свобода — вся жизнь Дмитрия Алексеевича. И притом у него было своё мнение по поводу всей этой истории: он считал, что Лопаткина осудили неправильно. Теперь, спускаясь в котельную исполнять то, что он недавно подписал, Антонович чувствовал, как у него слабеют ноги. Но это была слабость особого рода. В душе Андрея Евдокимовича родилось мужество, и оно-то раскачивало и толкало из стороны в сторону этого неподготовленного, хилого и молодящегося человека.

Он сам не знал, для чего ему понадобилось бегство из котельной, но когда Максютенко завёл разговор о лампочке, что-то подбросило Андрея Евдокимовича. Он убежал — и не для того, чтобы искать лампочку, — ноги вынесли его кратчайшим путём к воротам. Он мелко затоптал по мокрому асфальту Спасопоклонного переулкa. На углу взял такси и через пять минут был около того здания за решётчатой оградой, где помещалась военная прокуратура и трибунал. Здание было словно опущено в самую

глубокую тень ночи. Оно поразило Антоновича своей нежилой затемнёностью — в нём как будто не было окон. Андрей Евдокимович поднялся по пустынной лестнице на второй этаж трибунальской половины. У входа в полутёмный коридор его встретил солдат с винтовкой. В трибунале, оказывается, никого не было. Работа окончилась, все разошлись по домам.

— Телефон, молодой человек, телефон! — горячо зашептал Андрей Евдокимович. — Домашний телефон председателя!

Но солдат не мог ничем ему помочь. Он посоветовал обождать, когда придёт с ужина сержант. Минут сорок, не больше.

— Что делать, что делать?.. — Андрей Евдокимович прошёлся несколько раз по площадке и вдруг быстро-быстро загремел по лестнице вниз. Машина ждала его у ворот.

— Спасопоклонный, — коротко приказал он. — И быстрее, пожалуйста.

Когда начали жечь бумаги, Антонович прощупал мешок и сразу узнал твёрдый выступ — толстую тяжёлую папку. Если бы он не нашёл её здесь, он бы перешёл к другому мешку. Но она была здесь. Он сунул её подальше в мешок и затрясся, чуть ли не заплясал от лихорадки. Потом он достал опять и уронил эту папку в тень, наступил на неё. Затем отодвинул ногой назад, к загородке с углем, а через несколько минут незаметно бросил её туда, за дощатый борт, и проворно завалил углем. Сразу в нём всё запело, и вот здесь-то пришёл Урюпин, и Андрей Евдокимович сказал ему свои гордые, исторические слова о порядочности.

Весь следующий день Андрей Евдокимович то и дело спускался во двор, к котельной, похаживал там, а иногда даже заглядывал вниз, к истопникам, прикурить. Молодой рабочий ни о чём не догадывался. А старый истопник, по фамилии Афончев, смекнул что-то и однажды молча вышел вслед за Андреем Евдокимовичем и во дворе так же молча, вытянув шею, уставился на него. Старик, наверно, решил, что речь пойдёт о каком-нибудь неплановом заработке. Он ещё больше уверился в этом, когда Антонович пригласил его сходить *на уголок*. В пивной они заняли отдельный столик в углу, Антонович заказал всё, что полагается. Афончев выпил раз, выпил два и, чем дальше шло дело, становился как будто всё трезвее и всё осторожнее вытягивал шею. Наконец Андрей Евдокимович спросил: «Ты мне веришь?» — «Как же не верить?» — возразил Афончев и насторожился. И тогда Антонович рассказал ему по порядку всё. Сначала о том, кто такой Дмитрий Алексеевич. Затем о его машине, о том, что машина нужна для государства. «Ты понимаешь?» — спросил он. «Ещё бы!» — ответил Афончев. Тогда Андрей Евдокимович, как мог, стал объяснять ему историю борьбы Дмитрия Алексеевича. Здесь он запутался, и истопник положил на его рукав свою тёмную от угля, правдивую руку. «Ты скажи короче, Андрей Евдокимович. Скажи, не бойся, не вилай». И Антонович, посмотрев в сторону, ещё раз взглянул на безразличное и потому страшное лицо истопника, решился, сказал о папке. «Вона что!» — протянул Афончев. Андрей Евдокимович засуетился, хотел ещё заказать что-нибудь, но Афончев остановил его. «Сейчас я на работе. Завтра вечером приходи ко мне на квартиру. Я живу далеконько, но ничего, на метро, потом на трамвае — доедешь. Там и поговорим». Антонович с готовностью выхватил карандаш и записал адрес. Допили остатки, простились и разошлись.

На следующий вечер Антонович сидел в тёплой и тесной комнатке истопника. Афончев был чисто умыт, причёсан, приветлив и осторожен. Папка, которую он, по его словам, без лишних разговоров *капитулировал* из котельной, лежала на столе. Перелистав множество жалоб Дмитрия Алексеевича и ответов на эти жалобы, полученных из разных канцелярий, и показав Афончеву отзывы академика Флоринского и доктора наук Га-

лицкого, Андрей Евдокимович наконец почувствовал, что в старике что-то повернулось, что он всё понял и даже на что-то решился. На что — это осталось неясным. Афончев принёс из кухни чайник, достал из-под оконной занавески четвертинку и ударил ладонью по столу: «Ну, хватит о делах. Будем чай пить». Было выпито много чашек чаю, но Афончев так и не проговорился. «Я сделаю всё, что надо, — сказал он, — не бойся».

А решил он вот что. Старик он был осторожный и поэтому не отдал папки Антоновичу. «А вдруг дело повернётся не так». Но он не отдал папки и в институт, потому что уж очень было похоже на правду то, что говорил этот причёсанный инженер в узких брючках и с галстучком. Он решил отослать папку в военный трибунал, считая, что Надя по своей доверенности там её и получит, если всё, что говорил Антонович, правда. Но так как старик был не только осторожен, но и соображал кое-что, то он прикинулся темноватым мужичком и, готовя папку к отправке в трибунал, приложил к ней такую бумагу:

«В Ревтрибунал от Афончева Прохора Васильевича, проживающего в посёлке Хлебозавода, Новые дома, корпус 6, кв. 2 — заявление. Я, Афончев Прохор Васильевич, работая истопником в котельной института «Гипролит», в ночь на пятое ноября, будучи набирая угля из ящика, нашёл секретное «дело» Лопаткина, суждённого Ревтрибуналом. О чём и сообщаю для Вашего сведения и препровождаю при настоящем заявлении «дело» Лопаткина, по ошибке комиссии, как полагаю, попавшее в ящик с углем. Афончев».

Истопник сам отнёс пакет в трибунал. Секретарь, распечатав самодельный конверт, прочитал «заявление» и сразу же пошёл докладывать председателю трибунала. Афончеву было приказано подождать, и он, играя свою роль, смиренно сел на край стула. Вскоре его вызвали к председателю. «Говоришь, дело Лопаткина принёс?» — весело закричал ему седой подполковник. «Так точно, товарищ полковник», — ответил Афончев. «Какое же это дело? Это простая переписка! — ещё громче и веселее закричал председатель, словно перед ним стоял глухой. — Где же ты его раскопал, это «дело»? — «Я там написал в заявлении. В угле». — «Как же оно туда попало?» — «Должно, когда сжигали секретные бумаги». — «Какая же это секретная бумага? Тут нигде не написано, что секретная!» — закричал председатель. Потом вдруг вскочил и заходил перед Афончевым, подозрительно поглядывая па него. «Вот какой вопрос возникает, — заговорил он вдруг. — Почему у тебя именно эта папка оказалась?» — «Ничего не знаю, товарищ полковник, — сказал старик, всё время поворачиваясь в ту сторону, куда шагал председатель, — то вправо, то влево, проводя его испуганным взглядом. — Должно, из комиссии кто забыл». — «Подожди... а почему ты не отдал комиссии? Почему сюда притащил?» — «Так я же не украл, не спрятал! Я — к вам! Написано: «Дело» — я подумал, что Ревтрибуналу виднее, что с ей делать...» — «С ей, говоришь?» Председатель ещё раз пристально взглянул на истопника, сел за стол и снял трубку телефона. Набрал номер и стал разговаривать с генералом — директором института. Был он, видать, из тех, кто мягко стелет — жёстко сплет. Разговор с директором он начал так: «Товарищ генерал? Вы мне звонили как-то относительно архива Лопаткина. Говорите, сожгли? Ну, а как с теми бумагами, относительно которых доверенность... Ах, комиссия не нашла! Да-а! А мне тут принесли какие-то бумаги... Я подозреваю, что ваша комиссия постановила их сжечь и не сожгла. Каким образом? Комиссия разбросала их по котельной и ушла. А один человек собрал и принёс в трибунал. Вернуть вам? Да вот я что-то на них не вижу грифа. По-моему, эти деятели решили сжечь и те бумаги, на которые выдана доверенность. Товарищ генерал, простите, но и я несу ответственность за эти бумаги. Лопаткин отбудет срок и придёт ко мне требовать свои документы! У него здесь, я вот вижу, авторское свидетель-

ство подшито... Имеете вы право лишать автора документа, который выдан ему государственным комитетом? Не знали? Вот я говорю вам. Сообщаю... Поскольку эти бумаги не находятся под вашей юрисдикцией, я их выдаю Дроздовой, она уже не раз приходила. Вот так... Приветствую вас...» Он положил трубку, седым орлом посмотрел на Афончева и весело крикнул ему: «Можешь идти, Афончев!» Истопник, послушно наклонив голову, вышел, держа кепку в руке. В тот же день всё было рассказано Антоновичу. Андрей Евдокимович поспешил передать новость Наде, и, выждав для порядка несколько дней, она явилась к секретарю трибунала с жалобой на то, что директор института отказал ей в выдаче секретных бумаг Лопаткина. «Вот ваши бумаги,— сказал секретарь, доставая из стола знакомую папку с коричневым корешком.— Распишитесь, пожалуйста, вот здесь, на вашей доверенности...»

— Значит, и папка у вас? — нетерпеливо спросил Дмитрий Алексеевич.

Но Надя с лёгкой улыбкой посмотрела на него, сказала: «Сейчас всё узнаете» — и вышла из комнаты. Вскоре она вернулась, неся чайник. Открыла шкаф, поставила на стол три чашки — не те прозрачные пузатенькие чашки, из которых когда-то пил Дмитрий Алексеевич, а новые — простые тяжелые чашки из сероватого фаянса с цветочками. И пальцы у Нади теперь были в царапинках — они имели дело и с картошкой и со стиральной содой. Тихая пауза наступила в комнате. Дмитрий Алексеевич украдкой любовался этими туповатыми пальцами и, покачивая головой, вспоминал тот зимний день, когда он с ненавистью оглянулся на эту женщину и шепнул: «Бледная повилика».

Но вот чай разлит по чашкам, на один из стульев положена стопка книг и посажен Коля, который сразу припал к блюдечку и запыхтел. Села и Надя и, подняв на Дмитрия Алексеевича ласковые серые глаза, сказала:

— Папка не у меня. Вы её получите. А история здесь вот такая.

И началась третья глава рассказа, героем которой был уже новый человек, некто майор Бадьин.

— Простите, я не знаю его. Кто это такой? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— А это тот член трибунала, который сидел справа, который говорил: «Дрооздоова».

Дмитрий Алексеевич и не подозревал того, что майор Бадьин на процессе всё время держал его сторону и даже написал по делу особое мнение. Впрочем, мнение это не сыграло своей роли, потому что дело Лопаткина, как выразился председатель, было «чистое». Если бы подполковник усомнился в чём-нибудь, он, конечно, проанализировал бы всё вокруг неясного вопроса. А так как сомнений у него не было, то и протокол судебного заседания получился таким, каким было всё дело в глазах председателя. Потому что в нужных местах председатель повторял вслух ответы подсудимого, чтобы их мог записать секретарь. И он по давней привычке осторожно освобождал ответы от разных околичностей, способных лишь затемнить простую и ясную мысль. Он любил короткую, ясную форму. Стало быть, материалы, которые поступили в высшую инстанцию, были очень похожи на то дело Лопаткина, которое создалось в представлении этого старого и уверенного в себе человека. Поэтому особое мнение Бадьина было оставлено без последствий.

Майор решил бороться. Он вызвал в трибунал Евгения Устиновича Бусько, чтобы побеседовать с ним, но старик не явился. Тогда майор сам приехал к нему. Вошёл в его комнату, представился, огляделся и, скрыв удивление, стал задавать профессору вопросы о Лопаткине и Наде. Он получил жестокий ответ: «Поскольку не часто можно видеть таких людей, которые столь странно выполняют свои судейские обязанности, позвольте

мне не сообщать вам ничего». Майор не имел права рассказывать старику ни о подробностях своего спора с председателем, ни даже о своей позиции в деле Лопаткина. Он сделал лишь несколько полупрозрачных намёков, и они окончательно запугали Евгения Устиновича. Так Бадьин и ушёл ни с чем.

— Евгений Устинович больше не принимал его,— сказала тихо Надя.— Не открывал даже дверь. А потом произошёл пожар... А майора захлестнула работа, и он забыл про дело и про своё особое мнение. Тут как раз подъехал Галицкий, и мы решили, что вас может выручить только ваша машина. Это его мысль была: если машина получится, то можно будет и автора вытащить...

И так прошёл год. Однажды Надя пришла домой и увидела в кухне, на своём столе, письмо со штампом трибунала. Ей предлагали явиться и принести с собой ту переписку Лопаткина, которую Надя получила по доверенности. Письмо было отпечатано на машинке и подписано майором Бадьиным. Надя пришла в трибунал без папки. Майор Бадьин разочарованно всплеснул руками и закричал: «Вы поймите, в этих документах его спасение!» И Надя побежала домой, полетела на такси и вернулась с папкой. Майор при ней стал быстро листать бумаги, приговаривая: «Вот, так и знал. Всё теперь понятно! Вот, ещё лучше! Ах, какая история, какая печальная история, Надежда Сергеевна! Какие бывают люди! А сколько кругом слепых!» И не удержался, растолковал ей, что это за люди и кто здесь оказался слепым. Сам-то он, видно, не был слепым, потому что, просматривая прошлогодние дела в связи с каким-то специальным заданием, он увидел в деле Лопаткина новые бумажки и внимательно их прочитал. Хитрость Афончева от него не ускользнула. Он сразу смекнул, что здесь поработали друзья Лопаткина, и старое упрямство зажглось в нём. Он решил просмотреть эти бумажки, чувствуя, что это та самая шестилетняя переписка, о которой говорил Лопаткин на суде.

Бадьин побеседовал с Надей и дал понять, что ей следует написать жалобу в Верховный Суд. В тот же день Надя отнесла в Верховный Суд длинное письмо за тремя подписями — своей, Крехова и Антоновича. Через три дня Надю вызвали для беседы с заместителем председателя Верховного Суда. Эта быстрота немного удивила Надю, но всё объяснилось: на столе заместителя уже лежало представление майора Бадьина и дело Лопаткина.

— И что, вы думаете, там ещё было? — Надя прервала свой рассказ.— Ну, догадайтесь же скорей! Какой вы! Там было несколько писем из Музги... От двух известных вам человек. Сьянов, оказывается, вас разыскивал и кто-то черкнул ему из Гипролита, что вы осуждены. Воинственное письмо написал наш дядя Пётр! Прямо в Верховный Суд! И Валентина Павловна...

Заместитель председателя предложил Наде принести папку с документами. И она тут же вынула её из своей продуктовой сумки. Медлительный пожилой человек с изнурённым лицом долго беседовал с нею, то и дело перебивая её и требуя говорить строго по порядку. Надя сообщала ему, между прочим, что машина уже построена на Урале, что первая проба дала хорошие трубы и производительность почти вдвое большую по сравнению с машинами Гипролита. Потом Надю пригласил референт. Этот ещё дольше расспрашивал её о работе над машиной Лопаткина, несколько часов вместе с Надей перелистывал документы в папке и всё время что-то записывал.

Вскоре после этого Надя получила из Верховного Суда письмо, где было кратко сказано об отмене приговора и о прекращении дела.

— И вот вы здесь!.. — закончила Надя свой рассказ.

Весь следующий день Дмитрий Алексеевич ходил по делам то к Захарову, то к генералу, то к ещё более важному генералу — с двумя жёл-

тыми звёздами на каждом серебристом погоне. Ночевал он у Надежды Сергеевны на диване, встал рано утром и опять ушёл. С ним был заключён новый договор, и на третий день, когда Надя пришла из школы, она увидела в комнате у себя другого человека — это был Дмитрий Алексеевич, но уже в новом, темно-сером дорогом костюме. Под расстёгнутым пиджаком его была видна шёлковая сорочка. Там был и галстук в мелкую серую клеточку, он словно бы моросил, как осенний дождик. Надя заставила Дмитрия Алексеевича встать, осмотрела со всех сторон и, конечно, одобрила его вкус. Но этим дело не кончилось. У Дмитрия Алексеевича появилась ещё и шляпа, а на стуле висело пальто из серого габардина. Дмитрий Алексеевич надел все эти вещи, и Надя, отойдя к двери, увидела сурового, представительного мужчину с мягкими серыми глазами и остро врезанной складкой на лбу.

Дмитрий Алексеевич купил и чемодан, а в чемодане было полно разной мелочи: полотенце, мыло, бельё и даже хлеб — целых три батона!

— Что это вы, Дмитрий Алексеевич? — Надя, покраснев, обиженно посмотрела на него. — Будем на немецкий счёт?

Он мягко взглянул на неё из-под шляпы.

— Я забыл сказать. Я сегодня уезжаю на Урал. К Галицкому.

— Надолго?

— Может, на две недели, а может, и на два месяца.

— Так я сейчас побегу в магазин! Пирожков вам хоть испеку...

— Ну что ж... Нате вот вам деньги...

Надя обернулась, чтобы ответить с достоинством, и осеклась. Он протягивал ей толстую пачку сотенных билетов.

— Так много получили?

— Да, мне дали кое-что. Вы берите, они мне не нужны. Берите!..

— Это что — вы мне долг отдаёте? — Она покраснела.

— Да нет... для долга это мало, — спокойно и мягко ответил он. — Просто они мне не нужны. Я уже всё купил себе. Знаете, как это говорится: «Кроме свежесмытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо!» Давайте берите. Нам с вами давно пора оставить это... Я ещё вам буду приносить — мне ведь оклад положили.

Надя взяла деньги, сунула в ящик стола, оглянулась. Дмитрий Алексеевич уже что-то писал, положив на колено блокнот, не снимая шляпы. Она подошла, сняла с него шляпу, и он, не отрываясь от своего писания, махнул рукой, сказал:

— Не надо, я сейчас уйду.

Вот такой он стал — не то рассеянный, не то слишком сосредоточенный, не поймёшь... Надя посмотрела на него, потом надела фартук и пошла на кухню ставить тесто. Минут через двадцать она вернулась — Дмитрия Алексеевича уже не было, он ушёл.

А ушёл он специально для того, чтобы ещё раз побывать в Ляховом переулке, у клумбы, похожей на грудку тлеющих углей. Все московские дела его были сделаны. Он взял такси и через двадцать минут вышел из машины против этой клумбы и сел на скамью, на то самое место, где он сидел три дня назад.

Лето ещё только начиналось, листья на кривом тополе, пролезшем на улицу со двора, через дыру в заборе, были влажно-зелёные. Кругом стояла обеденная тишина. Няnek на скамьях не было, они ещё не прикатали своих колясок. «Евгений Устинович!..» — звучало вокруг. Дмитрий Алексеевич всё ещё думал о профессоре, как о живом. Опыт делал! Ну, конечно, так оно и было... «Моя профессия — огонь!» Тут память вынесла из тьмы маленький пузырёк с белым порошком и поставила его перед Дмитрием Алексеевичем. И он понял, что нет не только постоянно встревоженного человека в очках и с белыми усами, — пропала навсегда и его вторая часть — дело, которое он хотел оставить людям и прятал для

этого то в сундук, то под половицу. «Человек состоит из двух частей — из физической оболочки, которая исчезнет, и из его дела — оно может существовать вечно», — вспомнил Дмитрий Алексеевич и задумался. Да... теперь попробуй. Расскажи где-нибудь о бензиновом пожаре, который был ликвидирован одним взмахом руки... Никто не поверит. Человек исчез полностью. Никаких следов!

Взгляд его остекленел, остановился на тлеющих, мерцающих под лёгким ветром красных цветах. Потом Дмитрий Алексеевич очнулся — уже не философ, а деловой человек, вздохнул, вскочил и быстро зашагал по переулку, чтобы уже никогда больше сюда не возвращаться.

3.

Поезд уходил в час ночи. Весь вечер Дмитрий Алексеевич провёл у Нади. Он держал на колене Николашку и рассказывал ему о своём далёком путешествии, умело обходя скользкие места и оттеняя суровые красоты сибирского Севера. Потом мать уложила наконец Николашку в постель, и он заснул. А взрослые посмотрели друг другу в глаза и пошли гулять на Ленинградское шоссе. Погода была хорошая, они долго тихо шли в тёмной тени деревьев. Дмитрий Алексеевич молчал, думал, должно быть, о том, что ждёт его на Урале, а Надя то смотрела на небо, то, держась обеими руками за его локоть и глядя под ноги, сравнивала его шаг со своими. Потом решила и положила голову ему на плечо.

— У вас хорошее имя, — сказал он вдруг. — Надежда. Оно на вас похоже.

«Нет, — хотела она сказать. — Не похоже. Моё имя — Любовь». Хотела сказать и не решилась.

В половине двенадцатого они зашли домой, и Дмитрий Алексеевич взял свой чемодан и картонную коробку с пирожками. Надя проводила его до шоссе. Здесь он остановил такси, пожал Наде локоть, поцеловал её в волосы и в висок, сел в машину и укатил.

Приехав на вокзал, он задержался у окошка телеграфа и послал «молнию» Галицкому. Потом он прошёл на платформу, освещённую сверху яркими лампами. Здесь стоял поезд, который, казалось, въехал в здание вокзала: Дмитрий Алексеевич рассеянно предъявил билет, прошёл в мягкий вагон, в какое-то купе. Кто-то показал ему диван, и он положил туда коробку с пирожками и чемодан, бросил пальто, сел и нетерпеливо поморщился. Барабанив пальцами по столику, он сидел так несколько минут, пока не почувствовал мягкого толчка, пока не поплыли огни мимо его окна. После этого он успокоился, лёг на свой диван и все два дня был в купе самым неразговорчивым пассажиром.

Через двое суток поезд остановился на дне долины, среди округлых зелёных гор. Шёл четвёртый час, уже начался холодный летний рассвет. Дмитрий Алексеевич сошёл по ступенькам на землю, перешагнул рельсы, направляясь к станционному зданию. Издалека он увидел высокую фигуру в плаще защитного цвета и в серой фуражке, отдельно стоящую перед ярко освещённым окном станции. Человек в плаще повернулся и, ровно шагая, пошёл к Дмитрию Алексеевичу. Это был Галицкий.

— Приехали? — раздался его дружелюбный басок. Он пожал руку Лопаткину и, не ослабляя рукопожатия, повёл его к светлomu окну.

— Дайте посмотреть, какой вы теперь... — У окна он снял с Дмитрия Алексеевича шляпу; коротко стриженные волосы Лопаткина замерцали сединой. — Да, обожгли вас хорошо, — задумчиво сказал Галицкий. — Огня не жалели, кирпич получился славный. Тепикин, пожалуй, больше не решится пробовать вас на твёрдость. Зубы сломает, а?

— Я ещё не получил достаточных сведений о твёрдости кирпича, — сказал Дмитрий Алексеевич.

— Кирпич первоклассный! — воскликнул Галицкий.

— Да...— Дмитрий Алексеевич вздохнул.— Я тоже был... Пойдите, кем же я был? Фантазёром, лжеизобретателем, выскочкой... Даже *сломанным* человеком!..

— А фонарик горит — и на него летят помощники! Оказывается, много фантазёров на свете! А фонарик у вас, Дмитрий Алексеевич, очень привлекательный. Помните — тогда, на техсовете, в институте... Он многих тогда привлёк...

— Кого же ещё?

— А Крехов? А Андрей Евдокимович? Они, правда, не выступили тогда, но сделали для вас не меньше, чем судья Бадьин. Но, Дмитрий Алексеевич, конечно, самое большое ваше счастье, которое прилетело на огонёк,— это Надежда Сергеевна... Берегите её. Это та белая лебёдушка, которая за вас подставит грудь под стрелу. Вообще, должен сказать...

Голос Галицкого вдруг охрип и оборвался. Он что-то знал и, видимо, решил не вмешиваться в чужую сложную жизнь. И опять в машине наступило молчание и задумчиво замигали огоньки папирос.

Сизые сосны неслись навстречу машине справа и слева. Свет фар стал рыжим, и вокруг всё холодно поглубело. Кочковатая дорога летела под колёса, и не было ей конца.

— Где же завод? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— Ещё километра четыре, — отозвался шофёр.

— Значит, вам тоже пришлось повоевать? — помолчав, сказал Дмитрий Алексеевич Галицкому.

— Нет, в отношении вас у меня всё гладко прошло. Все были заинтересованы, в том числе и министр. У него ведь задание, план. Положение было критическое. Он чуть не взял машину у гипролитовцев. Вовремя отказался. Слух дошёл до него, что у них намечается колоссальный перерасход чугуна. Притом машины работают медленно, и литьё получается дорогое. Вашу машину он приветствовал весьма бурно.

— Но ведь вы-то рисковали!

— Чем я рисковал? Чем, скажите, вы рисковали, бросив своё учительство, занимаясь машиной? Вы были уверены в ней?

— Так это я...

— А я, ведь я тоже что-нибудь понимаю в литье? Никакого риска у меня не могло быть, вы это оставьте и не лепите из меня героя. Я не гожусь в натурщики, моя фигура, знаете, не удовлетворит любителей античности.

Потом он посмотрел на Дмитрия Алексеевича и вдруг добавил:

— Мы, наверно, будем с вами дружить.

Машина неслась по пустой широкой улице заводского посёлка. Справа и слева мелькали палисадники и белые одноэтажные дома с высокими крышами из оранжевой черепицы. Посёлок спал. Потом побежал высокий бесконечный забор — это уже был завод.

У проходной будки машина остановилась. Дмитрий Алексеевич достал паспорт. Галицкий черкнул что-то в блокноте, вырвал листок и передал его вместе с паспортом Лопаткина вахтеру. Открылись ворота, и машина покатилась по асфальтированной улице, между освещёнными корпусами цехов.

— К литейному, — сказал Галицкий шофёру.

Машина свернула на другую улицу, потом на третью, пронеслась мимо пяти или шести корпусов, опять свернула и стала. Дмитрий Алексеевич открыл дверцу и выскочил. «Сюда!» — сказал Галицкий. И они вошли в цех. Сначала они попали в формовочное отделение. Здесь мерно стучали машины, встряхивая железные ящики с чёрной землёй, шипел и свистел сжатый воздух, на вагонетках стояли готовые формы. Всё было запорошено чёрной пылью. Галицкий и Дмитрий Алексеевич прошли через всё отделение, потом попали в заливочную. Пять вагранок стояло здесь, как

пять мощных колонн, а в стороне, вдоль стены, словно догорали маленькие костры — это были формы, только что залитые чугуном. «Здравствуйте, Пётр Андреевич!» — крикнул рабочий с синими очками над козырьком. Галицкий помахал ему. «Сюда, сюда», — сказал он Лопаткину, и они пошли дальше.

И вдруг Дмитрий Алексеевич увидел вагонетку. На ней были уложены в ряд чугунные уступчатые трубы.

— Эту деталь можно на моей машине отлить! — крикнул он.

— Мы это тоже понимаем, товарищ автор! — прокричал над его ухом Галицкий. — Это и сделано на вашей машине!

Дмитрий Алексеевич увидел ещё несколько вагонеток с такими же уступчатыми, круглыми отливками и вдруг спохватился: с самого начала, как только они вошли в заливочное отделение, он заметил вдали розовый свет, то вспыхивающий на несколько секунд, то угасающий — через ровные промежутки. Он не обратил сначала внимания на эту мерную игру отсветов. Но теперь Дмитрий Алексеевич вдруг почувствовал: это она! Вот опять разлился в дальнем углу розовый свет, и что-то сразу запело, быстро вращаясь.

— Залили? — крикнул Дмитрий Алексеевич.

Галицкий обернулся на него, показал пальцем в сторону розового света и кивнул.

Они миновали кирпичный простенок, и Дмитрий Алексеевич сразу увидел всё. Семь с половиной лет он каждый день, закрыв глаза, видел эту машину, пускал её в ход, менял в ней детали. Теперь машина из тёмных глубин сознания, словно созрев, шагнула в цех и прочно стала на бетонный фундамент. Вот зашипел воздух. Облитый маслом шток опустился на два сантиметра и выровнял изложницу. Это был тот самый *нормальный узел*, о котором говорил сердитый вихрастый Коля, приятель Араховского. Вот изложница остановилась и скатилась вниз. Конвейер передвинулся, пустая изложница встала на её место. Воздух зашипел, вспыхнул яркий свет — это наклонился ковш-дозатор, и между ним и изложницей мелькнул глазок жидкого огня...

— Отойдите, товарищ, вам говорят! — крикнул рабочий в брезентовой рубаше и рукавицах. — Брызнет, тогда...

Этот человек один управлял всей машиной! Дмитрий Алексеевич послушно шагнул назад и потянул за собой Галицкого.

— Пётр Андреевич! Почему один рабочий? У меня ведь два...

— Мы здесь распорядились... посамовольничали, — ответил Галицкий. — Мы тут, знаете, сами всё. Начальники у меня трусоваты тоже. Если им дать знать — начнут советовать, позовут всех мамонтов и мастодонтов из НИИЦентролита, и те затопчут.

И они опять замолчали. Галицкий достал часы. Рука Лопаткина тоже потянулась к карману, к ремешку часов. «Четыре двадцать», — сказал Галицкий. С часами в руках директор завода и автор стояли перед машиной десять минут. Потом Галицкий торжествующе повёл на Дмитрия Алексеевича чёрным глазом. За десять минут машина сделала восемь отливок — она работала почти вдвое быстрее, чем револьверная машина института Гипролита.

Дмитрий Алексеевич стоял перед нею и — странное дело! — видел не цех и не машину, а канаву на улице Горького и рабочих, укладывающих в неё чёрную, покрытую лаком трубу.

— Проснитесь, автор! — крикнул Галицкий. — Ну что, видели машину?

— Видел.

— Она?

— Она.

— Довольны?

— Доволен.

— Отлегло от сердца?

— Отлегло.— Дмитрий Алексеевич засмеялся.

— Теперь, когда она весит двенадцать тонн, когда днём и ночью стреляет вот этими штучками,— Галицкий шагнул и упёрся ногой в вагонетку с готовыми отливками,— теперь её не очень-то в карман положишь, а? Авдиев ведь ещё не знает! Узнает — сразу скиспет. А мы ещё с вами статью напишем — сравнительные данные опубликуем!

Дмитрий Алексеевич махнул рукой.

— Чёрт с ними! Мне они не нужны. Знаете, Пётр Андреевич, я увидел машину — и сразу подобрел. Смотрю на неё — и больше мне ничего не надо! Ещё вчера в поезде как я издевался над ними, какие строил им козни! А сейчас у меня сразу отпала всякая охота с ними драться.

— А у меня — нет! Если вы пасуете, я сам возьмусь за это дело. Не-ет, друзья! Пока эта шайка сидит у пирога, я не успокоюсь. Новый учебник писать затеяли! Слышите? Студентам мозги чепухой забивают. «Авдиев, Тепикин и другие виднейшие учёные!» Не-ет, друзья! Я этих сарацинов спёшу!

Высказав всё это, Галицкий несколько раз воинственно кашлянул, постепенно остыл и тогда уже проговорил:

— Здесь вопрос более важный, чем внедрение вашей машины. Погодите, вы ещё станете и политиком. Ну ладно... Поедемте,— соснём часа три.

«Победа» ждала их. Было раннее ясное утро. Розовая заря играла за корпусом литейной. Они выехали с завода, свернули на широкий проспект, застроенный двухэтажными домами. Потом ещё раз повернули, и машина остановилась в промежутке между двумя восьмиэтажными зданиями. Вслед за Галицким Дмитрий Алексеевич прошёл в подъезд и взбежал по лестнице на третий этаж. «Чш-ш! — сказал Пётр Андреевич, отпирая дверь.— Давайте лучше разуемся».

Они разулись в передней и неслышно прошли в комнату, одна стена которой ярко порозовела от зари. Прежде всего Дмитрий Алексеевич увидел здесь большой овальный стол и на нём нож и каравай пшеничного хлеба, обрезанный с двух сторон. У розовой, солнечной, стены на двух кроватях крепко спали совсем голые ребята — один мальчик лет семи, другой лет двенадцати. Оба в позе бегунов, у обоих одеяла были сбиты к ногам, свисали на пол.

— Ваши? — шепнул Дмитрий Алексеевич.

— А чьи же? Это только две пяток. — Он кивнул на дверь. — Там ещё тройка! Вот здесь ложитесь. — Он обошёл вокруг стола, остановился против дивана, где уже были постелены свежие простыни и лежала большая подушка с кружевами. Для верности он тут же её взбил и ткнул в неё кулаком. — Давайте.

Пока Дмитрий Алексеевич раздевался, Галицкий заботливо укрывал сыновей, умиrotворяюще шептал над ними. Потом вернулся и подсел к Дмитрию Алексеевичу.

— Ну вот, значит, выпитесь и утречком — на завод...

— Пётр Андреевич, меня интересует, что вас заставило...

— Что меня заставило? — переспросил Галицкий. — Вы о чём?

— Я говорю, что вас заставило мною заниматься?

— Так я же говорил!..

— Нет, я знаю. Вы занимались не только машиной. Вы и мной занимались и этими, сарацинами...

— Знаете что? Я скажу! Сердце закипает — вот что! Это будет точнейший ответ. Возьмите того же Бадьина. По-настоящему партийный человек не терпит никакой неправды. Он её чувствует, как бы она ни была замаскирована. И не может её терпеть! — Эти слова Галицкий глухо

проревел, и сразу стало ясно, что он может быть не только другом. — Никакую ложь! Никакую фальшь!

Он замолчал, глядя на розовую от зари стену. Сунул руку за воротник, под рубаху, засопел — ему хотелось спать.

— А Антонович! — вдруг опять заговорил он. — Человек ведь совершил подвиг! Он рисковал быть обвинённым. Формально он ведь совершил преступление! Поди заберись к нему в душу. Вы сами знаете, что не каждый судья любит копаться в душе! Этот человек шёл по ниточке — почему? У него тоже закипело сердце!

— Антонович, по-моему, беспартийный...

Галицкий потянулся, встал.

— Я первым дал бы ему рекомендацию. Ну, спите... Я ему ещё и дам рекомендацию! Партии такие нужны.

В квартире Галицкого, в семье его, всё было проникнуто особой, милой простотой, которой невозможно подражать, которая недоступна подделке и встречается потому не часто. Это была семья, где много детей, где всё чисто, но разбросано как попало, где мебель проста и дешева и где подают на стол большие куски.

Всё это Дмитрий Алексеевич увидел утром. Проснулся он внезапно и несколько секунд наблюдал отчаянную драку между двумя Галицкими — двенадцатилетним и младшим. Пощёчины звенели чётко и откровенно. Оба бойца были ожесточены и норовили попасть в лицо. Старший всё же вытолкнул противника из комнаты и, мстительно улыбаясь, запер дверь стулом. Дверь затряслась от ударов, но старший спокойно приступил к делу. Он решил разрезать ножницами жестяную банку. Потом младший отошёл от двери и заорал с обидой и невыразимым злорадством: «Хунхуза! Хунхуза!» И замолчал, прислушиваясь. Дмитрий Алексеевич не выдержал и засмеялся. У старшего Галицкого действительно было что-то в лице не то монгольское, не то японское. В коридоре долго стояла тишина, потом через замочную скважину донеслось ласковое: «Хунху-уза! Хунхузочка!» Старший бросил банку на пол, выхватил из двери стул, и в передней раздалось звонкие затрешины. На всю квартиру разнёсся рёв побеждённого, но не сломленного младшего драчуна. И сейчас же из другой комнаты сонный домашний бас Галицкого-отца пресек беспорядок: «Лёшка, отстань от него!» Затем послышалось любящее: «Иди сюда! Чего он тебя трогает?» Младший, всхлипывая, провыл: «А чего он не даёт мне резать?..»

В соседней комнате начался домашний суд. Дмитрий Алексеевич поднялся и стал одеваться. Но тут внимание его привлёк стук маленьких босых ножек. В комнату проковылял из передней голый толстенный мальчик с белыми длинными волосиками, шелковистыми, как кукурузное рыльце, — самый младший из Галицких. Он, должно быть, недавно научился ходить и теперь, убежав от кого-то, весело смеялся, пока не увидел чужого дядю. Тут он сразу стал серьёзным и показал на дядю пальцем. Потом, мягко ступая ножками, обошёл вокруг стола, согнулся и показал пальцем на шкаф с книгами, на фикус и на кровати ребят. «Ты здесь?» — сказала девушка лет четырнадцати с толстой светлой косой и такими же монгольскими чертами лица, как и у Лёши, и вошла в комнату, заставив Дмитрия Алексеевича нырнуть под одеяло. Не обращая внимания на гостя, она схватила малыша и, целуя, унесла.

Завтракала вся семья на кухне, сидя на лавках за большим столом, покрытым новой клеёнкой. С одной стороны в ряд сидели дети: девушка с косой, оба драчуна и ещё одна девочка. Сгорбленная басистая старуха, которую Галицкий называл мамой, держала на коленях младшего, кормила его кашкой. Жена Галицкого — полная и, должно быть, всегда спокойная женщина — поставила на стол блюдо с крупно нарезанным хлебом и большую сковороду. На ней возвышалась гора картошки, кра-

сиво поджаренной крупными плоскими ломтями. Картошка была немедленно разложена по тарелкам. Застучали ложки, и сейчас же раздался скрик старшей сестры: «А ну, не стучать!» Сковороду убрали, и вместо неё появилась высокая кастрюля с какао и около десятка эмалированных кружек.

— Сашок, как это всё называется? — спросил Галицкий и развёл руками, словно сбнимая весь стол.

— Майне фамилие, — ответил младший драчун.

— Моя фамилия, — подтвердил Галицкий, оглядывая своё семейство. — Ничего, везём. Куда приедем?

— Куда я тебя привезла — туда и приедете, — весело пробасила старуха. — Все туда приедем, с рельсов не сойдём! Все, скажи, приедем! — И стала целовать внука. — Вам, Дмитрий Алексеевич, тоже надо завести такую семью. Скажи, нечего по свету холостяком гулять! Вот таких, скажи, как мы, заводите пора — толстых да красивых!

— Дмитрий Алексеевич, — заговорила вдруг жена Галицкого. — Мы тут спорили с Петром. О вашем Антоновиче. Может, лучше было бы, если б он подождал сержанта?

— Положение у него было щекотливое... — осторожно начал Дмитрий Алексеевич, чтобы помягче подать свою точку зрения.

— Ей нравится, когда идут мирно, по инстанциям, — весело загремел Галицкий. — Пишут начальству, в редакции — так ты хочешь? А Урюпин и Максютенко, мол, подождут...

— Ну и что ж? А так он мог ошибиться...

— Слушай, Нина. Этим он и хорош — тем, что в сложной обстановке, как хирург, быстро нашёл единственно верный, спасительный путь. И, заметь, законный путь. Закон охраняет существо, а не форму. Антонович проявил, я бы сказал, суворовское мужество. А человечиска, если бы ты посмотрела!..

И, обращаясь к Дмитрию Алексеевичу, Галицкий добавил:

— Она у меня умеренная.

— А он у меня всё время в драку, в чужую, лезет! — Жена перевела в сторону Галицкого прощающий взгляд. — Вроде этих вот, боксёров моих. Чужие синяки ловит. Пора бы отдохнуть.

— Ещё отдохнём! — Галицкий засмеялся. Он, подбоченясь и выпятив бритый кадык, сидел за столом в сиреневых подтяжках и белой шёлковой сорочке, которую он расстегнул, обнажив грудь, густо обросшую до ключиц. Он пил какао из «папиной», высокой кружки. — Отдых не уйдёт! — сказал он смеясь. — Сейчас нам бабушка скажет, прав я или нет.

— Все отдохнём! — весело отозвалась старуха, ловко сунув в рот внуку ложечку с кашей. — Если смолоду отдохнуть, когда же жить?

— Дмитрий Алексеевич! — сказал Галицкий, прихлёбывая из кружки. — Я тут недавно статистикой занимался. Над нашей машиной трудились вы, Крехов с Антоновичем, ну и немюжко я. Из сорока восьми узлов не пошёл только один узел. Мы ахнули — всего только два процента! Девяносто восемь уложили в мишень! А над машиной Гипролита трудился целый институт. Два института! Академик, три доктора, два кандидата и целый отдел инженеров! Первую авдиевскую машину сделали — полмиллиона затратили, и трубы вышли дороже, чем при ручном способе. На балансе завода повисли два миллиона убытка. Во второй раз полтора миллиона пустили в дело, и опять не вышло! Перерасход чугуна! А ведь разрабатывают, совещаются, обсуждают. Всё солидно, с поклоном в сторону авторитетов. Тридцать три богатыря решают проблему, а у нас только четыре — и наша берёт! Вот вам тема для диссертации — что такое монополия, почему всё валится у неё из рук и чем она отличается от настоящего коллектива.

— Один паренёк, инженер молоденький, сказал мне года три назад: «Это, говорит, вам не авдиевское Конго!»

— Да, их кое-кто уже чует. Но ещё больше слепых. Если Авдиев вдруг провалится, для многих ваших коллег в Гипролите это будет гром среди чистого неба.

— Невидимый град Китеж... — проговорил Дмитрий Алексеевич.

— А ведь с каким апломбом говорят о коллективе! Помните ваш первый техсовет? Спросить бы у того же Тепикина, что он понимает под словом коллектив...

— Тепикин всё понимает. Он знает, что это такое, и знает главную примету коллектива, которую я только теперь по-настоящему понял, когда в меня пальцем ткнули: «Вот он, одиночка, шкурник!» Теперь-то я знаю, что такое коллектив. Если взять самую большую или самую маленькую единицу в авдиевской бражке, в душу к любому если забраться, — там бесконечное одиночество свищет, как ветер в половецких степях. Хоть их там и целая компания, но это не коллектив. А сколько лет стучался я к ним под крышу! С пальмовой ветвью! Ничего ведь не знал!

— А я! Я ведь был у Авдиева в институте. Верил в него! Как барышня — восхищаюсь, а он передо мной павлином... По плечу: «Ничего, брат, учись... Это всё доступно... Труд, только труд!» Я сам себя ещё не знал, а он уже застраховался. Что-то во мне подметил. Послал в докторантуру — старый приём! И действительно, три года он у меня на этом выиграл. А потом я смотрю — он тему мне такую дал, чтоб подальше от его тучных пастбищ!

— Но как крепко держится!

— Ничего нельзя было поделаться. Сам я не мог... Разговорами здесь не сдвинешь ничего. Они скажут, что чёрное есть белое, и проголосуют «за». И Саратовцев подтвердит. Здесь нужен факт вроде вашей машины. И нужен ещё завод, не подвластный Шутикову, — вроде нашего завода. У себя они не дали бы построить. Вы говорите, почему я вами занимался? Потому, что вы сделали всё, что мог сделать один для всех. Вы сделали и для меня — дали мне в руки возможность освободить Гипролит от этих пиратов. Я рад, что вы нашлись. Пейте, пейте ещё! — Галицкий ухнул Дмитрию Алексеевичу из кастрюли полную кружку какао. — Пейте! Укрепляйтесь! Перемирие недолго продлится!

— Боец! Так тебя и испугались! — сказала жена Галицкого, и Дмитрий Алексеевич почувствовал, что она любит мужа именно за эти стороны души. — Иди уж, вояка! — Она мягко толкнула Петра Андреевича в спину. — Иди, на завод вон уже пора!

— Да, — сказал Галицкий, поднимаясь. — Да, надо идти. Нам с Дмитрием Алексеевичем предстоит работа. Новая работа. — И, взглянув на Лопаткина, он выставил вверх палец.

4

Павел Иванович Шутиков переживал горячие дни. Прежде всего подозрительно долго затянулась разработка нового стандарта на трубы. Наконец все чертежи и расчёты вместе с пояснительной запиской прибыли из НИИЦентролита. К ним были приложены заключения специалистов и даже мнение академика Саратовцева, который с расчётами был согласен и считал возможным временно увеличить вес труб, учитывая перспективы дальнейшего улучшения литейной машины.

— Прекрасно! — весело сказал Шутиков и прострочил зелёными чернилами бумагу, которую ему подsunул Тепикин. Он докладывал всю эту историю.

Но бумагам этим не суждено было уйти дальше канцелярии министерства. День только начинался, и Павел Иванович вызвал для беседы

по личному вопросу Вадю Невраева. Вадя ждал в приёмной и сразу же вошёл. Серый пиджак его был застёгнут, галстук — точно посредине, и голубые глаза смотрели с непонятной сдержанной мукой. Опустив руки по швам, Вадя проплыл серой утицей через кабинет и остановился. Шутиков достал из стола его заявление об уходе с работы.

— Что это? — спросил он, уже в который раз прочитав бумагу, и удивлённо, ласково просиял. — Что это вы, товарищ Невраев? Меняете климат? Перекочёвываετε?

— По состоянию здоровья. Хочу полечиться и потом думаю пойти на учёбу. Вот имеются медицинские справки.

— Справки — что! — Шутиков, улыбаясь, пристально посмотрел на вадино лицо. Там была всё та же неподвижная мука. — Ну что ж! — сказал Шутиков. — Когда вы уходите?

— Я сейчас думаю на отпуск... И хотелось бы не возвращаться.

Шутиков молча прострочил: «В приказ. Уволить по собственному желанию». Вадя молча взял заявление, повернулся и выплыл из кабинета с тем же дурацким выражением на лице.

«Что ж тебя гонит отсюда? — подумал Шутиков, глядя ему вслед.— Ведь будто никакой бури не предвидится. Что же это ты потемнел, заволновался?» Потом Шутиков засмеялся: он подумал, что и самый чуткий флюгер иногда ошибается. Дует ураган с юга, а он, дрожа, показывает точно на север. «Но что же он чувствует? Пусть это будет южный ветер — но что же это?»

Если бы Дроздов был в Москве, Павел Иванович вызвал бы его и они сообща нашли бы, в чём гвоздь. Но Дроздова не было в Москве. С тех пор, как Леонид Иванович разошёлся с женой, он всё время пропадал в командировках, на заводах — вплотную занялся вопросами новой техники.

Ближе к полдню у одного из телефонов зашипел сигнал. Шутиков снял трубку и сразу оскалился и засиял всем жёлтым золотом, которое было на нём. Звонил Авдиев и просил во что бы то ни стало задержать материалы по новому стандарту.

— Что такое? Я уже отослал! — сказал Шутиков, нажимая кнопку звонка.— Так что вы говорите, Василий Захарович, что?

«Есть некоторые соображения,— ответил в трубке глухой голос Авдиева.— Да, кстати... Лопаткин освобождён, вы знаете? Это — раз...»

— Верните материал, который утром...— сказал Шутиков вошедшей секретарше.— Узнайте в экспедиции и сейчас же мне... Что? — закричал он в трубку.— Василий Захарович, повторите!

«Приехал в Москву и уехал опять. Машину строит. Или уже построил...»

— А на каком заводе — не знаете? А министерство? Тоже не знаете?

«Министерство — можно догадаться,— ответила трубка.— У них, по моему, договор. Уже работают. По-моему, основные узлы уже в металле...»

— А откуда узнали?

«Сведения верные».

— Очень приятно! — сказал Шутиков.

«Мне тоже,— ответил Авдиев.— Надо бы покалякать, Павел Иванович...»

— Завтра должен Дроздов приехать, поговорим. Давайте созвоняться завтра с утра.

Он положил трубку, позвонил секретарше. Прошла минута, две — никто не появлялся. Он вышел в приёмную — там никого не было. Он мягко просиял, что было у него на этот раз выражением растерянности, и вернулся в кабинет. Через несколько минут появилась секретарша с бумагами в папке.

— Их не отправляли. Леонид Иванович хотел сам по приезде..

— Вот и прекрасно. Оставьте здесь.

Когда секретарша ушла, Шутиков раскрыл папку, и аккуратно исполненные бумаги, вид которых ещё утром так приятно облегчил его,— эти бумаги сейчас испугали его своей ясностью, откровенно и любовно сделанным подлогом. Они были красивы красотой ядовитого гриба. Шутиков поворошил их и вернулся к первому листу, где красовалась его беспечная, сделанная наискосок подпись.

«Я направил эту стряпню в комитет! — подумал он. Взял бумагу со своей подписью и положил её отдельно на столе.— Хорошо. Ну, допустим, мы опоздали и всё это ушло в комитет. Дроздов доложил, и новый стандарт, скажем, утвердили. Что дальше?» — «А дальше вот что,— тут же пришёл ответ.— Становится известным, что есть машина Лопаткина, которая льёт трубы точно по старому стандарту. И комитет говорит: отказать. Не к чему выбрасывать по два кило металла на каждой трубе! Но и это не всё. Лопаткин, конечно, поднимет шум, напомним, где сможет, что он предлагал свою машину нам, и что это было восемь лет назад, и что мы возмутительно, безобразно, беспрецедентно...— как ещё пишут в газетах?..» — и Шутиков не очень весело улыбнулся, стал смотреть в сторону, шаря при этом по столу. Ему сразу вдруг захотелось закурить.

«Постой! — вдруг ударила его новая мысль.— А шестьдесят тысяч тонн чугуна? Куда ты их теперь денешь?»

В ту же секунду он почувствовал нарастающее жжение в сердце, которое перешло в сильнейший укол. Застонав, он нажал кнопку звонка, быстро прошёл к дивану и тяжело опустился на него.

Он лежал и, держась рукой за грудь, улыбался, сияя жёлтыми коронками. Секретарша, войдя, сразу поняла по этой улыбке, что Павел Иванович страдает: у него уже бывали приступы и он всегда так скалился от боли. Она подбежала к телефону, позвонила вниз, в поликлинику, и через несколько минут в кабинет вошла женщина в белом халате и с чемоданчиком. Она потрогала лоб, пощупала пульс у Павла Ивановича, отвернула на нём шёлковую рубашку и, обнажив его белую жирную грудь, осторожно прижала к ней мембрану фонендоскопа.

— Полежите часок,— сказала она, выслушав Шутикова.— Когда боль пройдёт, пожалуйста, домой, в постель.

Взяла графин, налила полстакана воды, каинула туда из маленького пузырька и подала Шутикову. Павел Иванович выпил и лёг. Но когда женщина в белом ушла, он сел на диван и рукой подозвал секретаршу.

— Машину...

Она тут же позвонила в гараж.

— Все эти бумаги мне в портфель,— сказал Шутиков, морщась, заправляя рубаху в штаны.— С собой возьму.

И он уехал домой.

Назавтра он приехал в министерство среди дня. Высокий парадный подъезд смотрел на него, как ловушка. Прошли сутки — гигантский срок! Павел Иванович знал, чего стоят сутки в *такое время*. Он быстро прошёл на второй этаж и дальше, особым коридором, к себе в кабинет. Сразу же позвонил. Как только открылась вдали дверь из приёмной, спросил: «Дроздов приехал?» И вздохнул с облегчением, когда секретарша сказала: «Он уж справлялся о вас».

Леонид Иванович вернулся из командировки ночью. В десять часов утра он уже был в своём министерском кабинете и снимал трубки телефонов. Ему с утра начали звонить. Через двадцать минут он узнал всё то, что так испугало вчера Шутикова, и вдобавок кое-что такое, чего Павел Иванович ещё не знал. Ему сообщили, что вся переписка Лопаткина воскресла и попала в Верховный Суд, а оттуда в районную прокуратуру, к

помощнику прокурора Титовой, которая проявляет к делу какой-то повышенный интерес. Сведения эти передал Дроздову по телефону испуганный шестидесятилетний старик, заведующий министерским бюро по изобретениям, который вчера давал объяснения Титовой.

— Ты, видно, ещё мало жил на свете, — закрыв глаза, с раздражением сказал ему Дроздов. — Паникёр! Чего ты испугался? На то они и прокуратура, чтобы копаться в наших дебрях, искать наши прорехи. Ты говоришь, документы! У нас тоже есть документы. Мы тоже храним бумаги! Ну-ка, принеси мне все наши исходящие по этому делу, мы сейчас посмотрим...

«Да... — подумал Леонид Иванович и, выйдя из-за стола, принялся разгуливать по ковру. — Недооценил я товарища Лопаткина... А почему? Всё из-за этого политика (так Леонид Иванович называл Шутикова). Дела затевает большие, а знать — ни шиша не знает. Куда тебе! Сук давно перегнул, а ты всё на нём сидишь, ничего не понимаешь, только улыбаешься. Когда надо бы на другой перелезть. Не-ет, рано или поздно всё равно загремишь! В такую историю влез — и других ещё тащит!»

Здесь надо заметить, что Леонид Иванович этим утром задумался об *истине* в деле Лопаткина, о том, что можно было ещё в сорок шестом году поддержать этого изобретателя, взять на себя какой-то риск, ударить с ним вместе на противников, в том числе и на Шутикова. «Нет, нет, нет! — сказал он тут же. — Тогда это лежало за пределами здравого смысла. Нельзя было. Проиграли бы вместе. Тогда — нет! А вот сейчас...»

В эту минуту к нему вошёл заведующий БРИЗом, неся перед собой семь папок. Он прикрыл дверь ногой и опустил папки на тот стол, который был придвинут к письменному. Леонид Иванович надел роговые очки и, держа руку в кармане, поставив колено на стул, закрыл глаза, солидно заспел.

— Ну давай, давай... Что тут у тебя...

Старик тоже достал очки, протёр их платком и, посадив на нос, раскрыл папку с крупно напечатанными на обложке цифрами: «1945». У него была заранее заложена бумажкой нужная страница.

— Ну-ка, что здесь? — спросил Леонид Иванович.

— Мы, министерство, отвечаем вам, Леонид Иванович... Вы ещё в Музге были. На ваш номер...

— Ага, помню. Он ведь у нас подавал заявку! Да, да, я отослал в министерство. Ты давай найди это. Это будет нужно!.. Так... Дальше. Или нет, давай так — отнеси машинисткам и пускай скопируют все исходящие и моё отношение из Музги. В трёх экземплярах. Давай поскорее.

Через час Леониду Ивановичу принесли копии всех нужных бумаг. Министерство, оказывается, не раз писало институту Гипролито о необходимости срочно спроектировать машину Лопаткина.

«Пожалуйста! Допрашивайте! — подумал Леонид Иванович, нажимая кнопку звонка. — У нас козырей хватит. Вот мы такого-то пишем. Вот напоминаем. Вот приказ министра...»

— Вызовите ко мне, — сказал он вошедшей секретарше, — вызовите, значит... да, вот: Бочарова Сергея Сергеевича, потом ещё Графова и кого же третьего? Ну хотя бы Севрука. И скажите, чтоб принесли бутылок пить воды.

Бочаров — это был тот начальник отдела, который на узком совещании докладывал о перерасходе чугуна. Тихий человек этот пережил несколько полных составов коллегии министерства. Остальные двое были рядовыми и притом молодыми инженерами. К большому начальству их вызывали не часто. И поэтому, войдя в кабинет Дроздова, они сразу превратились в студентов.

— Садитесь, товарищи, — сказал Дроздов, и все трое сели. — Извините, жарка начинается. — Он показал на свой расстёгнутый китель и кивнул на

открытое окно, за которым светился и кричал автомобильными гудками сумасшедше-яркий день.— Вы как, Сергей Сергеевич, свободны сейчас? — спросил он, становясь с каждой минутой всё более строгим и как бы старея.— Я просил бы вас возглавить комиссию по расследованию ряда фактов. Вы что-нибудь знаете об изобретении Лопаткина?

— Что-то слышал,— поспешил ответить Севрук.— Он в каком отделе работает?

— Нет, это другой Лопаткин. Я специально пригласил вас, как людей нейтральных. Сергей Сергеевич, впрочем, должен знать о центробежной машине Лопаткина.

— Да, я, вообще говоря, кое-что знаю... но видел я только одну машину конструкции Гипролиты, о которой мы говорили...

— Очень хорошо. В таком случае я вас проинформирую. Инженер Лопаткин около восьми лет назад предложил нам конструкцию новой машины для центробежной отливки труб. Я сразу отослал его заявку в министерство — дело было ещё в Музге. Восемь лет он пытался внедрить эту машину, и всё время какая-то невидимая сила отбрасывала его назад...

Открылась дверь, и буфетчица внесла на подносе пять бутылок лимонаду и стаканы. Откупорила бутылки, налила каждому и бесшумно удалилась. Леонид Иванович выпил стакан, налил ещё и выпил. И инженеры скромно отхлебнули из своих стаканов.

— Четыре раза технический совет министерства принимал решение о проектировании машины,— продолжал Дроздов посвежевшим голосом.— Министр издал два приказа. Товарищ Шутиков и я много раз устно и письменно напоминали... Да что там говорить — вот некоторые документы, которые мы подняли. Вы ознакомьтесь с ними. В вашу задачу входит установить виновников этой беспрецедентной в-волокиты.— Тут Леонид Иванович вышел из-за стола и принялся ходить по ковру.— Теперь о машине Гипролиты.— Он прошёл на другой конец кабинета и там остановился.— В то время, как этот институт всячески тормозил изобретение Лопаткина, ряд его работников, совместно с нашими учёными корифеями, спешно проталкивал свою машину, ту самую, Сергей Сергеевич, которая вам причинила столько хлопот. Им удалось протолкнуть её. Они ввели в заблуждение руководство министерства, дав неправильную оценку машине Лопаткина, а свою расхвалили сверх меры, где могли, скрыв один существеннейший её недостаток. Теперь из-за этого мы имеем перерасход металла порядка шестидесяти тысяч тонн.

Дроздов подошёл к членам комиссии и остановился перед ними — усталый, мужественно открывший глаза навстречу суровой правде.

— Это ещё не всё, товарищи. Авторы институтской машины — Урюпин, Максютенко и центролитовцы,— чтобы скрыть этот перерасход, за который пришлось бы крепко ответить перед государством, знаете, что придумали? Они предложили ни больше, ни меньше, как изменить государственный стандарт на трубы! Накинуть по два кило на каждую трубу! И, таким образом, списать весь перерасход! Они приготовили прекрасные научные аргументы, втянули в эту грязную историю старика Саратовцева. Подсунули ему какую-то рекомендацию, а он и подписал. И, таким образом, ввели в заблуждение и меня, и Шутикова, и даже министра, которому всё было доложено. До чего додумались!

— Да-а,— сказал Севрук. Графов что-то записал в блокнот. Бочаров неопределённо наклонил голову.

Дроздов молча прошёлся ещё раз по кабинету — туда и обратно — и сел за стол.

— Вы должны будете составить план работы. Распределить обязанности. Можете привлечь людей себе в помощь. Возьмите, Сергей Сергеевич, того честягу, который чугуно-то... Который обнаружил... Его возьмите обязательно. В Гипролиты толковый есть инженер Крехов, рекомендую!

Он хорошо разбирается в технических вопросах. Имейте в виду, вам придётся покопаться. Может быть, даже в трибунал заглянуть придётся, кое-что спросить там. Ведь Лопаткин был арестован — здесь, правда, я не всё знаю: суд был закрытый. В связи с некоторыми секретными обстоятельствами. Но обвинение исходило опять-таки из Гипролита и НИИЦентролита. Оттуда, от авторов револьверной машины! Стало быть — за работу. В вашем распоряжении все архивы. Я думаю, что дней в шесть, может быть в восемь, вы уложитесь.

Проводив членов комиссии в приёмную, Леонид Иванович вернулся и сел на одно из кресел перед своим столом.

«Значит, Лопаткин на свободе,— подумал он.— И вдобавок я ему помогаю! И, конечно, *они* уже встретились...»

Его охватила тоска, которую он не мог никому высказать. Неужели он за всю жизнь не видел настоящего чувства, такого, как у *них*! Он стал вспоминать. Да... так это и прошло мимо него. А было рядом несколько раз! Судя по *ней*, это что-то необыкновенное. То-то она температурила, бегала, всё волосы мыла. «По Дроздову так не вздыхали,— сказал он себе с усмешкой.— Собственно, повода не было...» Леониду Ивановичу стало страшно, когда он представил, как Надя могла смотреть на *того*. Наверно, так же, как она смотрела на себя в зеркало,— он видел однажды. «Продала манто! — Он усмехнулся.— Кошка! Всего-навсего!»

И вдруг отчётливо понял: нет, это чувство есть — он сам видел, как Николашка обнял её платье. Малыш был один в комнате, а он стоял за дверью и смотрел... Пусть у тех двоих что-то другое. Оттенек... Но всё, всё это — смертельное чувство любви, без которой умерло бы и это маленькое существо. И она — тоже... «А я вот не умер...»

Поборов оцепенение, он снял трубку и набрал номер телефона. «Шеф у себя?» — спросил он негромко. Секретарша ответила, что Павел Иванович вряд ли приедет, у него вчера был приступ. «Понятно,— сказал Леонид Иванович и положил трубку. И повторил: — Поня-атно!»

После обеда он опять позвонил Шутикову. Павел Иванович был у себя, и Дроздов пошёл к нему.

— Я назначил комиссию,— приветливо сказал он, входя в просторный кабинет Шутикова.

— Какую комиссию? — Шутиков с весёлым выражением на лице заёрзал в кресле.— Садись, Леонид Иванович. Что за комиссия?

— Что за комиссия, создатель? — сказал Дроздов, опускаясь в кресло.— Комиссия по установлению виновников безобразной волокиты с машиной Лопаткина, перерасхода металла и афёры с государственным стандартом.

— Ка-а-ак! — тихо взыв, сдерживая себя, начал Шутиков.— Вы что же это... Вы что же это делаете! Такой шаг — и не сказать...

— Промедление в таких делах — смерти подобно,— отчеканил Дроздов и прихлопнул жёлтой рукой по мягкому подлокотнику.— Вы знаете, что бумаги Лопаткина не сгорели и лежат в сейфе у прокурора Титовой? Ах, не знаете... По-моему, всякий начальник должен расследовать все известные ему б-безобразия, не ожидая упрёков в бездействии. Дело, в общем, сделано, чего тут говорить. А шефа не мешало бы подготовить... Он ничего ещё не знает?

— Да нет...— сказал Шутиков рассеянно. Он думал о чём-то другом, глядя в сторону.

«Думает об уплывающем кресле»,— сказал себе Дроздов.

— Вы предупредите Афанасия Терентьевича.— Он пристально взглянул на Шутикова и опустил глаза.

— Значит, комиссия? — проговорил Шутиков, обдумывая что-то.— Ну что ж. Это, по-моему, правильно...

Дней двадцать спустя во всех отделах министерства был получен отпечатанный в типографии приказ министра номер 222, или *три двойки*, как его называли после этого целый год. Описательная часть приказа занимала четыре страницы и полностью соответствовала тому, что было вскрыто комиссией. Правда, фамилию академика Саратовцева комиссия постеснялась назвать. Люди учли то, что академик в скором времени должен был праздновать своё восьмидесятилетие и решили не портить старику юбилей. И Авдиев отделался легко. Анализ разных документов и переписки за семь лет показал, что профессор выступал по поводу машины всего лишь два раза. Первый раз он подверг сомнению некоторые детали проекта, а позднее отозвался положительно. Имена Дроздова и Шутикова тоже не попали в приказ. Но они угадывались в одном месте — там, где было сказано, что «в своей противозаконной практике Максютенко и Урюпин, а также некоторые работники НИИЦентролита докатились до прямого обмана руководителей министерства». Комиссия подсчитала, кроме того, размеры убытков и ту огромную растрату чугуна, которую принесла с собой машина Урюпина и Максютенко. Но этот пункт вычеркнул сам министр, сказав, что незачем оглашать такие факты. Народ несознательный бывает — может неправильно истолковать...

Тем не менее и в министерстве и в курилках обоих институтов, когда обсуждали вопрос о том, за что влетело *именинникам*, знающие люди сразу сказали: «За чугун». Если бы не было этого перерасхода, приказ звучал бы совсем иначе!

А звучал он так: «Инженеров Максютенко и Урюпина, скрывших недостатки сконструированной ими машины, что привело к серьёзным убыткам, с занимаемой должности снять. Поставить вопрос перед руководством НИИЦентролита о привлечении к ответственности научных сотрудников Тепикина и Фундатора, которые, давая недобросовестные заключения, в течение нескольких лет препятствовали внедрению в народное хозяйство центробежной машины Лопаткина и, наоборот, активно содействовали продвижению негодной «револьверной» машины».

Дальше следовало ещё несколько пунктов, например, такой: «Начальнику Технического управления установить строжайший контроль за продвижением и внедрением ценных предложений, поступающих от изобретателей и рационализаторов». Этот пункт был всем знаком, его называли «дежурным». Комиссия переписала его из другого приказа, который был издан года два или три назад.

5

В сентябре Дмитрий Алексеевич приехал с Урала в Москву для участия в важном совещании. Представители нескольких министерств должны были обсудить, нужно ли создавать конструкторское бюро по проектированию центробежных машин, которое обслуживало бы сразу несколько ведомств. Дмитрий Алексеевич сделал доклад о возможностях предложенного им принципа. После этого выступало много незнакомых солидных людей — все они поддержали полезную и своевременно высказанную инициативу. Оказывается, и нефтяная, и химическая промышленность, и промышленность строительных материалов, не говоря уже о машиностроении, — все были заинтересованы в получении автоматической, быстро работающей центробежной машины.

Совещание шло шесть или семь часов. Дмитрий Алексеевич сидел за длинным столом между заместителями министров и членами коллегий, и все эти строгие деловые люди наперебой спешили захватить свою долю в плане работы ещё не существующего бюро. Они беспокойно перебирали свои бумаги и, вскакивая с места, требовали слова. Личность Дмитрия Алексеевича, его история и то, что он сидел и с интересом наблюдал за всеми, — это не касалось их. Они бегло посматривали на автора, но видели

только машину, позволяющую решить какой-то очень острый вопрос, — и каждый хотел получить эту машину для себя, в первую очередь, как можно скорее.

В перерыве к Дмитрию Алексеевичу подошёл рослый мужчина в темно-синем костюме, грузный, широколицый, с гладким чёрным зачёсом назад. Он взял Лопаткина под руку. Это был второй заместитель министра, который временно исполнял обязанности Шутикова.

— Что, Шутикова снимают наконец? — вырвалось у Дмитрия Алексеевича.

— Да, он теперь у другого министра. У Фаддея Гаврилыча. Кажется, членом коллегии...

— Всё-таки членом коллегии!

— Ну что ж, работник он ценный, этого у него не отнимешь. А то, что он с тобой не разобрался, — так слушай, что ты от него хочешь — он же цементник! У Фаддея Гаврилыча он будет как раз на месте!

— Не нам судить... — сказал Дмитрий Алексеевич.

— Вот именно! Переезжай-ка, давай, в Москву. Чего ты там застрял на Урале? У тебя же есть где голову притулить! — Это был, несомненно, намёк. Но черноволосый преемник Шутикова остался серьёзным. — Переезжай!

— Вот решат относительно бюро — придётся переезжать.

— Когда там решат! Это будет не раньше, как с нового года. А ты сейчас переезжай. Надо же довести дело до ума. Машину-то ты забраковал, а нам взамен ничего не дал. Что же, я теперь буду ждать и потом заказывать тебе в бюро? Нет, ты давай обосновывайся и садись в свою группу — с Креховым и Антоновичем. Заканчивай. Квартиру надо? Дадим. А насчёт палок — не бойся, никто не будет совать. Головы поснимаем. Между нами говоря, это предложение Афанасия Терентьевича...

Вот как всё повернулось! После совещания, выйдя под вечер на улицу, Дмитрий Алексеевич по привычке рванулся с места, сделал несколько быстрых шагов. «Куда полетел?» Он, смеясь, остановился, наклонил голову, подумал. Ему некуда было спешить!

И вдруг в мире наступила тишина. Он миновал грохочущие пороги, и теперь ему надлежало, сняв шапку, креститься на тихую текучую воду, на тихие и безмолвные осенние леса. Эти леса были прекрасны, но он добрых восемь лет не поднимал на них глаз. И что-то в нём произошло от этого бесконечного мелькания струй и опасных камней, от постоянной заботы о плоте, на котором он плыл, от той бесконечной дороги, по которой шёл.

Война была окончена, и он победил! Победитель улыбался, торжествовал, но и ему была нанесена рана. Он сам это почувствовал. Вспомнились вдруг две вещи: сначала он подумал о своей любви. Он вспомнил о ней, а не почувствовал! Вот любопытно! Девушка осталась та же, а любовь ветром выдуло из головы. «Что же, интересно, с нею? — подумал он с живым любопытством. — Не вышла ли она замуж за своего капитана? Вышла, конечно, — годы идут, пора предпринимать разумные шаги. Зайти или не заходить к ним? Не напугать бы ещё чету!»

И вот второе, о чём он вспомнил. Вернее, он никогда это не забывал. Сейчас, в тишине, ничто уже не мешало ему, и он опять ясно представил себе ту минуту, когда следователь объявил ему об окончании следствия и, как полагается по закону, дал всё дело обвиняемому в руки, для ознакомления. Дмитрий Алексеевич нашёл там протокол допроса Нади. От начала и до конца в нём была документирована её любовь. О любви говорили все её ответы — осторожные, полные бессознательного самоотречения. Не мысль, а чувство сквозило даже в строках, написанных чужой рукой: «Вопрос. Скажите, свидетель, как вы относитесь к обвиняемому Лопаткину? Ответ. Я его люблю».

Сам же Дмитрий Алексеевич в те дни думал не о женщине, а о своей машине.

Сейчас можно было остановиться на минуту, подумать и о женщине. И Дмитрий Алексеевич стал думать. «Люблю ли я её или просто привык? Не жестоко ли это — вот так уезжать, ходить без конца по своим делам, не замечать её чувства? Ведь она моя жена, ведь она имеет право так называться! Но разве я сумею обманывать её, прикидываться молодым, влюблённым? Какой же я влюблённый, если я могу целые сутки сидеть в её присутствии и корпеть над чертежом, как я это делал вчера и позавчера? Какой же я молодой — ведь я должен был бы бросить всё и бежать к ней! Да, да, да! — сказал он себе. — Она молодая, ей нужны цветы, а я уже старый, седой холостяк, вроде Антоновича. Много рассуждаю и забыл, что такое чувство».

Он стоял посреди тротуара и улыбался. «Могло бы, конечно, этого не быть», — подумал он со вздохом. Но тут речь повёл в нём философ: «Если бы могло не быть, значит не было бы... Верно говорил Сьянов: два счастья в одни руки не даются». Хорошо! Но нет ли здесь просчёта? Может быть, юность чувств, зелёные леса, зов тополей ценнее? «Нет, нет! Я, конечно, счастлив со своей машиной. И если бы пришлось, я бы повторил весь путь сначала. Я бы мог и двадцать пять лет плыть, как Бусько...»

«В чём же существо этого счастья? — опять спросил философ. — Вот машина сделана, удачно работает. Из недр общества была протянута незримая рука, и я положил в неё трубу. И рука приняла, не бросила. В этом — главное: я вручил то, что должен был вручить. А теперь? А дальше... Что же дальше?» Дмитрий Алексеевич не смог ответить на этот вопрос и с удивлением подумал: «Что же это такое? Остановка?»

Поразмыслив и взглянув на часы, он вдруг решил сходить на Метростроевскую, потом заколебался, хотя уже знал, что обязательно пойдёт туда. И он пошёл. «Она, наверняка, вышла замуж и переехала из той комнаты, так что я иду напрасно», — обманул он себя. И тут же, заметив этот обман, он подумал, что вот так и преступника влечёт к тому месту, где он когда-то совершил злодеяние. В таких случаях всегда, наверное, что-нибудь придумывают, чтоб оправдаться! «Но разве я в чём-нибудь здесь согрешил?» — подумал он. И тут же услышал в глубине своей совести отчётливое: «Девчонке было семнадцать лет, когда ты начал петь ей о высоком призвании человека. Засверкал всеми красками, повёл. А куда привёл?»

Когда начались знакомые переулки, Дмитрий Алексеевич почувствовал, что он ещё не готов для встречи с Жанной. Тем не менее он прошёл по Метростроевской к высокому дому, где она жила, отыскал подъезд и первый раз в жизни вошёл сюда, поднялся на четвёртый этаж. И сразу увидел высокую дубовую дверь с круглой табличкой: «26». В этой квартире она жила у каких-то своих родственников по отцу. Он поднял руку к костяной кнопке. Далёкое и покойное сипенье звонка было последним решающим сигналом: теперь уже нельзя отступать!

«Я найду, — подумал Дмитрий Алексеевич. — Что в этом особенного? Я обязан зайти. Она может узнать, что я был в Москве. Подумает, что вот и вся цена человеку: немного наладились дела — вот уже и нет у него времени для старых знакомых. В конце концов мы остаёмся товарищами. Так надо же зайти! И потом мои бесконечные обещания — пусть узнает, что я был прав. Пусть, пусть узнает...»

Раздался скользкий щелчок замка. Дмитрий Алексеевич мгновенно выпрямился, поднял голову, снял и надел шляпу. Дверь была уже открыта. Кто-то стоял там, за щелью, в полумраке, кто-то крикнул шёпотом: «Дима!» Вот дверь стала медленно отходить, и тогда Дмитрий Алексеевич увидел Жанну. Он узнал её глаза, слегка оттянутые к вискам, и — что это? Она остригла свои девичьи косы, и голову её окружала тяжё-

лая темно-каштановая колбаска — веночек из умело подвёрнутых внутрь блестящих волос. На ней был коричневый халат с какими-то золотыми нашивками, тонко перехваченный в поясе. В общем, это была она, но без того юного сияния, которое раньше везде сопровождало её. Дмитрий Алексеевич не знал, что сияние это лилось в *те времена* из его души.

Вокруг них никого не было. Но, так как он сейчас ещё больше страдал бы от малейшей лжи, он не стал целовать её. А она не сводила глаз с его серой шляпы и дорогого пальто. И глаза её были по-детски удивлены, полны странной зависти и восхищения.

Так, так, так... Вот он и капитан! Он здесь, он вышел из дальней двери и медленно идёт к ним. Он заметно пополнил, и плечи его округлились. Дмитрий Алексеевич поклонился ему. Капитан подошёл ближе, протянул мягкую руку. Да, он сильно пополнил — так, как полнеют люди, которым от природы положено быть сухощавыми. Нос и подбородок были по-прежнему острыми, губы — тонкими, лоб — сухим. Зато вокруг — на щеках, около ушей — поднимались налитые подушечки жира.

— Это Лопаткин,— сказала ему Жанна и встала, как бы закрывая собой Дмитрия Алексеевича. И военный наклонил голову. Он, должно быть, знал кое-что о нём.

— Рад познакомиться, товарищ капитан.— Дмитрий Алексеевич сказал это и почувствовал тут же неловкость: на округлых плечах вчерашнего капитана были мягкие погоны с двумя просветами. Но военный был не таков, чтобы замечать подобные мелочи.

— Майор Девятов,— сказал он о себе.

— Это мой товарищ,— негромко сказала Жанна Дмитрию Алексеевичу. На этот раз она встала, будто прикрывая собой майора.

И мужчины, чувствуя отчуждение, поглядывая друг на друга с сухим любопытством, прошли в комнатку, где были диван, столик и белая кровать Жанны. Из окна комнаты были видны крыши и лиловый, не очень спокойный закат.

Майор сел на диван и закурил. Дмитрий Алексеевич, сняв шляпу, стал посреди комнаты, посмотрел направо и налево и сел, обхватив спинку стула. Жанна стояла в дверях и смотрела на него во все глаза. Перед ней сидел тот, кем Дмитрий Алексеевич когда-то ей обещал стать. Нет, это было что-то большее, что-то суровое, сильное и необыкновенно устойчивое.

— Позвольте спросить, Дмитрий... Николаевич,— заговорил майор.— Вы где-то отсутствовали эти годы?

— Я сидел в тюрьме,— ответил Дмитрий Алексеевич.

Майор опустил глаза и стал смотреть на папиросу.

— Я не хотел вам писать об этом,— сказал Лопаткин, взглянув на Жанну.

— Почему?.. Вы могли бы написать...— прошептала она.

Они как-то естественно перешли на вы.

— Простите, Дмитрий Николаевич,— сказал майор, уступая любопытству.— За что же вы, так сказать, попали?

— История очень длинная. Долго рассказывать...

— Вы легко отделались. Года два?

— Полтора. Меня неправильно осудили.

— Как так неправильно? — Майор покраснел.— Разве это может быть?

— Вы где работаете?

— Я адъютант у командующего.

— Ну что же, командующий всегда вами доволен? Ни разу не распекал вас за какую-нибудь ошибку?

— Может быть, и распекал! — Майор повеселел.— У него это от настроения зависит.

— Вот видите! Даже командующий и тот, оказывается, не святой. Меня приговорили к восьми годам. А Верховный Суд выпустил.

— Ага!..— И майор опять посмотрел на свою папиросу.— Ну, и что вы теперь намерены делать?..

— Как «что»? Работать...

— У вас, по-моему, как мне говорили, было какое-то изобретение, — сказал майор тоном старшего, хотя было ему не больше двадцати семи. При этом он взглянул на Жанну, и она сильно покраснела.

«Догадываюсь, что тебе здесь говорили про меня», — подумал Дмитрий Алексеевич.

— Так вот, Дмитрий Николаевич... вас, кажется, так звать? В каком это у вас положении? Почему я спрашиваю: я имею некоторые возможности...

Дмитрий Алексеевич широко улыбнулся, но тут же смял улыбку. Он не хотел обижать майора.

— Спасибо,— сказал он.— Поздновато. Я сейчас имею тоже кое-какие возможности.— Он весело блеснул глазами.— Если что — могу...

— Вы хотите сказать, что у вас получилось? — вмешалась Жанна, лихорадочно розовея.— Вы это...— она хрипло откашлялась,— это хотите сказать?

Дмитрий Алексеевич подумал: «Может, не следует так прямо объявлять ей о победе? Зачем мстить? Человек что-то вспомнит, начнёт перечитывать старые письма, о чём-то будет жалеть...»

— Вы что замолчали? — Глаза Жанны горели непонятым восторгом, она упорно добивалась своего.— Вы что — сделали то, о чём говорили?

— Почти...

— «Почти» — это было ещё тогда... Помните когда?

— Ну, сейчас дело значительно продвинулось вперёд. Сейчас по-настоящему «почти».

— Всё-таки, может, вы мне расскажете что-нибудь?

— Соловья баснями не кормят,— сказал Дмитрий Алексеевич смеясь,— это я теперь хорошо знаю.

— Гм...— кашлянул майор и поднялся.— Вы продолжайте, продолжайте! К сожалению, я вас должен покинуть... Жанна, такое обстоятельство...— Он заговорил вполголоса: — К восьми часам... штаб...

— Я тоже с вами.— Дмитрий Алексеевич поднялся.

— Нет, вы останетесь,— сердито приказала Жанна, и он сел.

— Да, так я очень рад!..— Майор пожал руку Лопаткину. Надев фуражку, он повернулся к Жанне, сказал ей что-то глазами, и она, мягко ступая, вышла проводить его. У выходных дверей они остановились. Там произошёл какой-то быстрый тихий разговор. Наконец дверь хлопнула.

Дмитрий Алексеевич приготовился к решительному объяснению. Жанна всё не шла. Закат за окном догорел, и всё небо словно бы подёрнулось тёмной золой. Сидя на стуле, Дмитрий Алексеевич осматривал комнату. Вся эта чистая комнатка просила о пощаде. Здесь всё было хорошо эти два года, вот и портрет майора Девятова в рамочке — как маленький краб, подобрался весь и смотрит... Сумерки и тишина тоже были подосланы и настраивали Дмитрия Алексеевича на мирный лад.

Внезапно, как хлопущка, щёлкнул над ним выключатель. Яркий свет ослепил его.

— Вы подождите, я поставила чай...— Жанна несмело подошла к нему. Постояла, помешкала, села на диван. Вдруг подняла на Дмитрия Алексеевича глаза — карие, плавающие в слезах. «Я была не права, можешь судить меня!» — сказала её вызывающий взгляд. «Нет, нет, нет, что ты!» — ответили испуганные добрые глаза Дмитрия Алексеевича.

— Трудно было? — спросила она.

— Особенно в тот год, когда мы в последний раз с тобой...

— Что же это было? — чуть слышно спросила Жанна. — Условия или человек?

— Человек... — Все обиды поднялись, запели в его голосе.

— А я вот ничего не знала... А почему оттуда не писал?

— Оттуда?

Она услышала в этом слове то, что Дмитрий Алексеевич больше всего старался скрыть. В комнатке наступила тишина.

— Если бы я тебе написал оттуда, то это было бы вроде моих злых музгинских писем.

— Говори, Дима, говори, — шепнула она.

Взглянув на неё, Дмитрий Алексеевич сразу остыл, не сказал ничего.

— Ну хорошо, — твёрдо заговорила она. — Я знаю, что ты должен мне сказать. Не можешь — скажи тогда вот что. Машину твою признали? Существует она?

Она не могла смотреть прямо на Дмитрия Алексеевича. Её косой, ревнивый взгляд испугал его. «Что, если скажу «да»?» — подумал он.

— Нет, Жанна, ты сначала расскажи о себе...

— Чайник кипит! — донеслось из коридора.

Жанна выбежала. Вскоре вернулась с чайником, поставила на стол две чашки, ажурную фарфоровую вазочку с зефиром. Дмитрий Алексеевич повесил пальто на спинку стула, подсел к столу.

— Ну что я скажу о себе? — заговорила Жанна, разливая чай. — Не хочу о себе говорить. Сам видишь — всё в порядке. Кончила университет. Летом была на Кавказе, потом в Музге гостила. Ну что ещё? Мама по случаю окончания университета подарила мне манто...

— Какое же манто? — спросил Дмитрий Алексеевич, глядя в свою чашку, низко наклоняясь над нею.

— Дорогое. Из норки. Но вообще-то... вот, собственно, и всё. Кроме манто, — она невесело усмехнулась, — мне нечего тебе сказать. Поеду вот скоро в Кемерово на коксохимзавод.

— Чего ж тебе туда ехать, когда капитан этот, майор, может тебе, наверно, устроить Москву?

— Он обещает... — Жанна покраснела. — Но ты мне так и не сказал, сбываются твои мечты?

— Сегодня ничего определённого не скажу.

Они замолчали.

— Ты чего смотришь на меня? — спросила она.

— Так, — ответил он, улыбаясь, словно сквозь грустный сон. — Просто так. Давно не видел.

И он продолжал смотреть на неё.

— Ты от меня что-то скрываешь. По-моему, ты победил и теперь пришёл мне мстить. Что ж ты не мстишь?

— Значит, ты чуть-чуть верила? — Он улыбнулся. — Или, может, тебя эта моя шляпа смутила? Ты на неё не смотри. Это шляпа обыкновенного служащего. Я поступил на работу. На штатную, добропорядочную работу, с окладом, который позволяет одинокому холостяку иметь такую шляпу.

— Ты не сбивай меня с толку. — Она пристально посмотрела на Дмитрия Алексеевича. — Мне кажется, что мы теряем друг друга. Ты меня видишь?

— Очень слабо.

— А я тебя совсем не вижу. Ты почему не говоришь правду?

— Успокойся. — Он продолжал вяло её обманывать и уже подумывал о том, чтобы уйти. — Ты, в общем, была права. Я рад, что тебе не пришлось разделить со мной множество неприятностей.

— Ты меня жалеешь! — воскликнула она.

— А! — сказал он, почувствовав вдруг усталость, и решил покончить со всем. — Чего тут врать! Ну, конечно же, я всё сделал и стал начальни-

ком. Буду скоро резолюции накладывать: «Тов. Петрову на реагирование». — Он засмеялся.

И Жанна развеселилась так, что у неё даже красные пятна пошли по лицу.

— Ты пей, пей чай! — сказала она весело.

— Мне идти пора. — Он поднялся. — В общем, я вижу, все живы, здоровы, окончили университет, имеют манти. Покажи-ка мне его...

Это манти висело на стене под марлевой занавеской. Жанна откинула её, и Дмитрий Алексеевич увидел то, что ожидал: знакомый нежно-каштановый мех.

— Недурно, — сказал он, запуская пальцы в этот мех, и задумчиво посмотрел на Жанну. — Хороший подарок. Наверно, дорогой?..

Он сам взял из её рук край марлевой занавески и медленным движением задёрнул манти. Надел шляпу, бросил на руку пальто и шагнул к двери. И как будто сразу ушёл очень далеко. Там, вдали, остановился и целую минуту смотрел издали на маленькую фигуру Жанны. Опять приблизился и медленно открыл дверь.

— Ну что ж, пойдём! — Вся эта церемония ещё больше развеселила Жанну.

У выхода она взяла Дмитрия Алексеевича за руку, несколько раз её встряхнула.

— А теперь уходи скорее... — Засмеялась сквозь слёзы. — Иди, иди, — и вытолкнула его за дверь.

Дмитрий Алексеевич давно уже понял, что она плачет. Уже несколько минут слёзы текли по её внутреннему лицу, в то время как лицо видимое смеялось, светясь лихорадочными розовыми пятнами. А сейчас, когда всё в ней прорвалось наружу, он попробовал остановить дверь — вернуться и успокоить Жанну. Он нажал на дверь. И Жанна в ответ нажала оттуда, изнутри. Её неверная, ожидающая сила сказала ему, что нужно сильнее рвануть дверь. Но он не смог лгать — подчинился этому слабому сопротивлению. Он уступил — и дверь медленно закрылась и щёлкнула замком.

«Почему она захлопнула дверь? — думал он, спускаясь по лестнице. — Почему вытолкнула?» Ответ был такой: потому, что ждала от тебя решительного движения. Или да, или нет! Ты должен был сломать дверь, если любишь, она так понимала это. Положение вещей таково, что ей нужна ласка. «Положение вещей! — подумал он вдруг с ужасом. — Какие слова!»

Он вышел на тротуар. Огляделся, понёсся вперёд привычным широким шагом.

«Да, я был всё время спокоен, — думал он. — Но это хорошо, что я не сломал дверь. Всё-таки *нет* было сказано. Печально как получается — тащил, силился оторвать от Ганичевых, а теперь толкаю обратно...»

Впрочем, он тут же забыл обо всём, пришёл в себя. Сначала его отвлек милиционер. Он засвистел, как только Дмитрий Алексеевич сощёл с тротуара, чтобы перейти улицу, и свистел, стоя вдали, до тех пор, пока нарушитель не понял, что это относится к нему. Потом Дмитрий Алексеевич попал в переулок и заметил, что спустилась ночь и в камнях ожило эхо. Затем он подумал, что надо будет зайти к этому, с чёрным зачёсом, пока Афанасий Терентьевич не забыл о том, что старая машина забраквана, а новой нет. «Надо строить как можно больше машин, — сказал он себе. — Надо закреплять достижение!» Он на чём-то ехал, что-то перебежал, опять ехал, потом щёл и, наконец, открыв последнюю дверь, оказался в комнате, наполненной тёплым полумраком. Надя лежала в постели. Рядом с нею, на одеяле, был пристроен электрический ночник. Она читала книгу и, как только Дмитрий Алексеевич вошёл, устремила на него тёмные глаза, полные грустной, почти материнской ласки.

— Ешьте вон там, на столе,— мягким, ночным голосом сказала она. В это же время материнское чутьё её определило, что Николашка сбросил с себя одеяльце. Протянув белую руку к его кровати, она поправила всё, как надо, и опять стала смотреть на Дмитрия Алексеевича.

— Всё решили в нашу пользу,— сказал он о дневном совещании. — Все говорят, что вопрос о конструкторском бюро будет встречен благо-склонно.

— Замечательно,— сказала Надя тем же мягким, ночным голосом. — Вон там ваши любимые печёные яблоки с сахаром.

Он снял пиджак, умылся и через несколько минут, сидя на краю своей постели, за столом, рассказывал Наде о дневных делах.

— Между прочим,— сказал он,— я сегодня был ещё знаете где? На Метростроевской.

— Ну и что?

— Очень много было слёз...

— С обеих сторон? — Надя тихо улыбнулась.

— С одной. Я тоже был на грани... Но с той стороны... я лишнего мно-го сказал. У неё уже наметилась какая-то определённая дорога, а тут я... затопал сапогами в передней!..

«Ты и сейчас топаешь сапожищами!» — одёрнул его внутренний резкий голос. И, набрав в ложечку кисло-сладкой яблочной мякоти, он спокойно, как мог, перевёл стрелку на другой путь:

— Пока тут будут разговаривать про конструкторское бюро, я решил довести до конца нашу машину в Гипролит. Тем более, что был по этому поводу посол от министра.

6

В конце октября — в воскресенье, среди дня — Надя была дома и играла с Николашкой. Мальчик покушал и теперь сидел на столе, свесив ноги. Надя стояла перед ним и, рыча, показывала, что она сейчас схватит его и съест. Николашка, смеясь и вскрикивая, брыкался и отмахивался, но Надя всё же успевала схватить его, и тогда из волка она превращалась в милую маму. Надя забыла, что сыну надо днём спать,— игра шла уже целый час. Она была однообразна, но мальчику очень нравилась. А мама находила в этой игре особое наслаждение, она словно бы хотела залить свою какую-то бездонную и горькую глубину.

Всего лишь несколько раз Дмитрий Алексеевич неосторожно топнул сапогами — обмолвился о Жанне,— и вот друг его стал болеть и сохнуть. Дмитрий Алексеевич заметил это, обеспокоился. Чуть ли не каждый день подходил к Наде, ласково и тревожно спрашивал о здоровье. Но эти его маленькие ласки действовали ещё хуже. Надя брала Дмитрия Алексеевича за руку, смотрела, как бы прощаясь с ним, и один раз, вдруг забыв обо всём, они опять прыгнули с поезда, как однажды ночью, в комнатке Бусько. Но и после этого Надя не почувствовала себя увереннее. И был ещё один прыжок, и ещё один — и от неё совсем ничего не осталось, только одна лишь беззащитная любовь и сын, которого она теперь и сжимала в бесконечных и горьких объятиях.

За окном на всех крышах и на земле был снег. Он выпал в этом году рано и валил каждый день. Кто-то позвонил с лестницы, но Надя не обратила внимания на звонок. Она только тогда оглянулась, когда на неё повеяло от дверей холодом и улицей. Быстро повернулась и увидела в дверях девушку в манто из нежно-каштанового меха. Это манто и ей было широко в плечах и чуть съехало набок: вот что прежде всего заметила Надя. Она увидела своё манто, за которое Ганичева дала ей тогда шесть тысяч. Зинаида Николаевна забыла об окончательном расчёте. Но не это сейчас встревожило и накалило Надю. В это манто, которое она отдала, чтобы тайно помочь Дмитрию Алексеевичу и чтобы каждый день мучиться

при встрече с Дроздовым,— в это манто была одета Жанна Ганичева. Это она, похожая на сестру-школьницу, с её глазами, наводящими на мысль о бинокле, спокойно пришла сюда, чтобы увести навсегда Дмитрия Алексеевича. Не раньше, а именно теперь, когда всё сделано, когда высохли все слёзы и сам Дроздов забил отбой.

«Что ж, поговорим»,— подумала Надя.

Она ещё раз взглянула на Жанну и увидела низко нависающий на её лоб венчик каштановых волос, словно бы надетый на голову вместе с мягкой скорлупкой из малинового фетра.

Жанна, должно быть, чувствовала себя неловко: Надя что-то слишком долго рассматривала её.

— Мне Дмитрия Алексеевича Лопаткина,— сказала она.

— Его нет,— ответила Надя.— Вы раздевайтесь, он должен прийти.

Жанна сняла манто, и Надя, надев его на деревянные плечики, на те же, специально для него купленные плечики, повесила его в передней, в стенной шкаф. Проходя мимо Жанны, Надя взглянула на неё сбоку. Вернее, та, что являлась ей когда-то в зеркале, вдруг беспокойно и злобно зашевелилась, увидев рядом другую — такую же... Да, из глаз Жанны смело и жарко смотрело такое же существо. Она напудрилась и подкрасила брови, для встречи с Дмитрием Алексеевичем.

— Садитесь, пожалуйста,— сказала Надя, возвращаясь.

Жанна села, посмотрела за окно, на снег, потом протянула руки к Николашке.

— Это ваш сын? Какой мальчик хороший!

И Николашка — бочком-бочком — отошёл к маме.

— Меня, собственно, вот что интересует,— сказала Жанна, чувствуя, что от неё ждут объяснения.— Я вот зачем пришла. Я окончила институт и должна вот-вот уехать на работу, в Кемерово. А мне очень хотелось бы...

— Остаться в Москве? — спросила Надя.

— Не совсем так. В Москве я могла бы остаться. Предлагают. — Жанна умолкла и наклонила голову. Потом решилась: — Мне вместе с Дмитрием Алексеевичем хочется работать. Мы с ним знакомы очень давно, он у меня ещё в школе учителем был.

— Но что же... Он сейчас как раз комплектует бюро...

— Вы простите меня, я даже не представилась. Меня зовут Аня.

— Как? — Надя подняла бровь.

— Аня...

— По-моему, вас зовут Жанна.— Весёлые искорки подпрыгнули в глазах Нади.— Я же вас очень хорошо знаю.

— Правда, у меня в паспорте Жанна... Только, знаете, я в последнее время стараюсь избегать... Анна — как-то лучше, по-русски... А откуда вы меня знаете?

— Я даже ваш портрет спасла от пожара.— И Надя достала из стола портрет Жанны — тот, который висел ещё там, в Музге, в землянке Сьяновых.

— Неужели от пожара! — Жанна взяла в руки свой портрет, и на лице её понемногу стали выступать розовые пятна. Она долго смотрела на себя. Потом как-то гордо и неестественно вскинула голову, и тяжёлая колбаска из каштановых волос подпрыгнула у неё на лбу.

— Давайте-ка я спрячу его всё-таки,— сказала Надя, отбирая у неё портрет.— Хоть он и ваш, но он всё-таки не ваш.

— Он у вас снимает угол? — спросила Жанна.

— Да, он у меня остановился,— уклончиво проговорила Надя.— Он скоро должен прийти.

— Вы не знаете, как у него дела?

— А что, вы не знаете?

— Он мне ничего не сказал, почти ничего...

— *Сейчас* можно сказать, что дела у него прекрасны. Лучше, чем когда бы то ни было. Он добился многого. Машины его работают уже на одном заводе. А скоро будут работать на сотне заводов. Вы же знаете — он назначен начальником конструкторского бюро... То никому не был нужен, а теперь всем вдруг понадобился!

Это случилось у Нади нечаянно. Она сказала, не подумав о том, что Жанна может принять это на свой счёт. И Жанна сделала вид, что так она и поняла: речь идёт, конечно, о тех, кому Дмитрий Алексеевич писал свои жалобы и заявления.

— Да, это ужасно,— сказала она.— По-моему, он даже был в тюрьме!..

— Тюрьма как раз не самое ужасное,— задумчиво и тихо проговорила Надя.— Ужасное — то, что было до тюрьмы.

— Теперь я догадываюсь... Но вы знаете, сам он мне ничего об этом не говорил. Не писал и не говорил. «Всё очень хорошо»,— только и слышишь. Он скрывал это от всех.

— Скрывал-то он от всех... — проговорила Надя ещё тише и грустнее.— Скрывал-то он действительно от всех. Только от настоящих друзей ведь не скроешь ничего...

— А были у него?..— спросила Жанна и спохватилась, покраснела. Не ей бы задавать этот вопрос.

— Были, конечно! — Надя посмотрела на сына, который обнимал её колени, погладила его уже начинающие темнеть волосы, улыбнулась, почесала у него за ушком.— Были, были друзья! Были и есть!

— И кто такие?

— Кто? Всякие были — старики и молодые. Больше стариков.

— И женщины?..

— А как же! Без нашего брата никаких серьёзных историй не бывает. Никаких серьёзных дел. Одна женщина его очень любила... Не бойтесь, Аня, она не смогла его отобрать у вас.

— А кто она — не знаете?

— Знаю... Он не смог ничего скрыть от неё. Она всё увидела. И начала помогать. И вот она-то очень многое сумела от него скрыть. Он о многом и сейчас не догадывается.

Эти слова Надя сказала с гордостью, но тихий стон послышался в них. При этом она посмотрела куда-то мимо Жанны. И сразу стало ясно, кто эта женщина. Жанна с простенькой улыбкой спросила:

— Это, наверно, вы?

— Ну что вы! Куда мне — у меня вот есть, моё единственное.— И она стала целовать сына.— Моя забота, моё горюшко — золотое, дорогое. А та женщина думала только о нём и даже о своём ребёнке иногда забывала, как будто его не было. Та была совсем другая, сумасшедшая дурочка. Не знаю, найдётся где ещё такая! Свои вещи продавала для него...

Тут Надя спохватилась, почувствовала, что говорит не для Жанны, а для себя. И тихонько сбавила тон.

— Вообще, Дмитрий Алексеевич такой человек: с кем встретится, тот сразу идёт ему навстречу, помогает, чем может. Или становится ему врагом. Вот он познакомился с одним старичком профессором. Нелюдимый был старичок... Поговорили всего один час, и профессор подарил ему эту вещь.— Надя показала Жанне чертёжный «комбайн» Евгения Устиновича.— А сам сидел на одном хлебе!

— Знаете,— сказала Жанна тихим и жалким голосом,— мне всё-таки кажется, что это вы...

— Не-е-ет,— спокойно протянула Надя.— Какое там я! Я сейчас вам покажу, кто это. Вот...— И она, выдвинув ящик стола, переложила там несколько бумажек и достала надорванный конверт. Вытащила из конвер-

та сложенный листок и, не развёртывая его, подала Жанне.— Вот кто, читайте.

Жанна развернула письмо, стала читать его с середины.

«...Я сделала своё маленькое дело,— писала неизвестная женщина,— и воспоминание о нём будет для меня достаточной наградой. С Вашей стороны, милый Дмитрий Алексеевич, это деликатность, которую я одна могу понять до конца и за которую Вас не могу не поблагодарить. Вы пишете, что работа интересная, и даже про оклад... Но мы с Вами понимаем, что не в окладе дело. Я не поеду к Вам, потому что Вы теперь знаете моё отношение к Вам, как и я знаю Ваше отношение ко мне. Я не должна больше Вас видеть. Я знаю также, что есть женщина, которая принесла большие жертвы, чем я, и которая, наверное, Вас больше любит, чем я. Хотя это последнее я не могу себе представить...»

Последние строки сказали Жанне всё. Она была достаточно сообразительна — она была всё-таки Ганичева,— и поэтому, отложив письмо, она сделала вид, будто оно полностью всё для неё разъяснило. Но и Надя была настороже. Она тоже увидела кое-что и поспешила поправить дело.

— Это моя подруга. Дмитрий Алексеевич послал ей приглашение работать у него — она хорошо знает языки. И она, конечно, прилетела бы. Но ей известно, что вы в Москве. Чудачка! Золотой человек!

— Вы, значит, были в Музге? Простите, а как вас зовут?

— Надежда Сергеевна...

— Дроздова?

— Дроздова, Надежда Сергеевна. — И Надя с невинной ясностью посмотрела на неё. «Будь как будет,— подумала она.— Если она знает что-нибудь, пусть знает. Если ничего не знает — незачем ей тогда вообще вникать во все эти истории...»

Но Жанна что-то знала. Может быть, ей рассказала мать, может быть, сестра написала. Имя Надежды Сергеевны было ключом, который соединил всё и мгновенно прояснил.

И Жанна, не сводя восхищённых глаз с сидящей перед нею героини, сразу поднялась, стала прощаться.

— Я засиделась у вас... Наверно, я не дождусь его. Уж ладно, я зайду как-нибудь в другой раз или позвоню...

— Я передам ему,— сказала Надя, проходя за нею в переднюю.

Здесь Жанна привычным движением набросила на себя мантию, а Надежда Сергеевна сразу словно удалилась куда-то и издалека посмотрела на маленькую фигурку Жанны. Потом приблизилась и подала Жанне руку.

— До свидания, Аня... Заходите. Я ему всё передам...

Она вышла за Жанной из подъезда, к очищенному от снега тротуару, и здесь увидела новенькую, словно облитую стеклом «Победу» песочного цвета. В машине сидел жиренький военный — кажется, майор. Увидев Жанну, он нажал кнопку сигнала, и «Победа» весело запела.

Жанна ещё раз попрощалась с Надеей и пошла к машине. Мантию попрежнему сидело на ней чуть косо, его даже не передельвали.

«Девочка-загадочка»,— подумала Надя.

Вечером приехал Дмитрий Алексеевич. Он провёл весь день у Крехова — знакомился с машиной для литья из стали под давлением, которую Крехов уже много лет проталкивал вместе с изобретателем. По лицу Дмитрия Алексеевича было видно, что изобретение оказалось очень интересным. Он ничего не замечал, рассеянно улыбался, морщил нос, ум его продолжал работать над машиной. Долго ещё глаза его смотрели куда-то за пределы комнаты. Потом он начал остывать — Надя и это определила по его лицу. У него появилось то мягкое, усталое выражение, которое больше всего нравилось ей. В такие минуты сн как бы снимал суровую стражу и Надя входила в его душу, часами тихо блуждала в этом лаби-

ринте, изредка встречая то наглухо запаянную, неведомую дверь, то дверь, закрытую лишь для виду, а за нею — неожиданные подарки.

Они сели вместе за стол пить чай. Надя собралась с силами и, как могла беспечно, проговорила:

— Жанна к тебе приходила сегодня. Часа полтора сидела.

— А что она?.. — Дмитрий Алексеевич посмотрел на Надю.

— Хочет просить тебя, чтобы ты устроил её к себе в бюро.

— Бюро-то ещё нет! Потом мы же с нею как будто всё сказали. Она сама закрыла дверь. Говорит: «уходи» и дверью — хлоп.

— Значит, она тебя любит. И ты должен серьёзно отнестись к этому и сделать всё, что можешь. Ты должен, по-моему, поехать, успокоить её и устроить на работу.

— Она же химик! Если в литейный цех? Правда, там металлургический уклон. Неужели я обязан?..

— Конечно, обязан...

О майоре Надя ему ничего не сказала. Умолчала и о новом манто Жанны. «Незачем говорить. Девочка не виновата».

«Раз она велит...» — подумал Дмитрий Алексеевич и на следующее утро поехал к Жанне. Дверь ему открыла незнакомая женщина. Он прошёл по коридору, стукнул два раза в белую дверь, подождал, ещё два раза стукнул, и Жанна быстро открыла её и отступила на шаг.

Она тут же пришла в себя и поставила перед ним стул. Дмитрий Алексеевич сел, огляделся, увидел на кровати и на диване какие-то свёртки, что-то шёлковое, розовое, что-то нежно-сиреневое, что-то бледно-фишашковое с тёмными кружевами.

— Тут я имущество своё разбираю. — Жанна смутилась и набросила газету на кровать.

— Ты чего ж меня не дождалась? — спросил он дружелюбно. — Чего ж ушла?

— Да так... Я подождала немного...

— Раз пришла наниматься, — пошутил он, — значит, надо ждать начальника. Ты кем можешь работать?

— Наверно, никем... Я же химик...

— Химик-аналитик? Верно ведь? Будешь в литейке заниматься составом и свойствами металла. У нас целая группа будет этим ведать.

— Как жа-аль... — проговорила Жанна нараспев. — Нет, невозможно. Боюсь, что не смогу, — сказала она.

— Что там ещё?

— Это я так... — Стоя к нему боком, она повернула голову и посмотрела на него всей душой, как бы спрашивая: «А?», как бы говоря ему: «Ну! Ну же!»

Потом она прошлась по комнате, взяла сумочку, открыла, стала перебирать в ней бумажки.

— Я тебе дам ответ, — сказала она твёрдо. — Знаешь когда? Вот... Второго ноября. Через три дня. Второго ноября в девять вечера приезжай ко мне... Хорошо? Во-о-от... И я тебе дам ответ.

— Второго, говоришь? Второго я, пожалуй, не смогу. Это же у нас суббота? В девять не получится. У меня чествование академика Саратова. Восьмидесятилетие. Велят быть... В президиуме буду сидеть.

— А в восемь?

— В восемь тоже нет. В семь тридцать забегу. И тебя прихвачу, хочешь? Посмотришь на нашу ассамблею.

— Ну хорошо. В семь тридцать. Раньше не приходи — меня не будет дома. Запомнишь?

— Чего запоминать? Если минут на двадцать раньше приеду — подожду, вот и всё. Договорились? Ну, тогда до свидания.

И он повернулся и понёсся по коридору своими привычными метровыми шагами.

— Дмитрий! — окликнула его Жанна.

Он остановился. Жанна подошла к нему вплотную, даже нажала плечом. Взяла его за руку, сильно сжала.

— Надо же попроситься! Желаю вам счастья, Дмитрий Алексеевич.

И он ушёл. И все эти три дня он работал в Гипролитом над первым своим проектом, тем самым, который был когда-то забракован Шутиковым. Этот проект был на девяносто пять процентов готов ещё тогда. Но теперь у Дмитрия Алексеевича, у Крехова и у Антоновича появились новые мысли, в связи с чем проект пришлось кое-в чём заново «перенграть».

Второго ноября с утра Дмитрий Алексеевич сходил в баню, побрился и надел «Фундатора» — так он назвал свой новый чёрный костюм. В таком виде он появился в Гипролитом — в той комнате, где трудилась его группа. И его встретили Крехов и Антонович, которые были в новых кителях с зелёным кантом. В этот день часов до пяти группа работала ровно и сосредоточенно, как всегда. В пять часов Крехов и Антонович вышли и минут через сорок вернулись, причём ещё издали Дмитрий Алексеевич услышал их громкие весёлые голоса: эта сорокаминутная отлучка, как они пояснили, входила в программу чествования академика.

В шесть часов у институтского подъезда остановился большой жёлтый с красным автобус. Его заполнил рядовой состав института, и, так как чествование академика было уже начато не только Креховым и Антоновичем, в автобусе сразу же пошла громкая переключка молодых и старых подвыпивших остряков и грянули дружные взрывы смеха. Автобус загудел и тронулся, а к подъезду неслышно стали подкатывать запылённые свежим снегом машины начальников.

Дмитрий Алексеевич позвонил Наде, поторопил её, посмотрел на часы и, выбежав из подъезда, остановил такси. Он должен был в семь тридцать заглянуть к Жанне.

По дороге Дмитрий Алексеевич в первый раз подумал о том, что это звучало несколько странно: «Я скажу вам второго ноября, в восемь».

На Метростроевской он выскочил из такси, попросил шофёра подождать и широкими, машистыми прыжками вбежал под арку. Вот двор, весь, как загром, наполненный сиреневым снегом. Вот подъезд. Ещё под аркой он обратил внимание на цепочку узких следов в снегу. У подъезда он остановился. Следы шли от дома к улице. «Не может быть. Пустяки», — подумал он, распахивая тяжёлую дверь, и лестница загудела, вибрируя под его решительными шагами.

На звонок его опять вышла незнакомая женщина в несвежем переднике. Дмитрий Алексеевич поблагодарил её и направился в комнату Жанны. Она была заперта.

— Товарищ! — услышал он за спиной повелительное. — Товарищ, я же говорю вам: она уехала.

— Куда? Она же мне в семь тридцать...

— Она уехала на вокзал. Она же в Кемерово сегодня.

— Ах, вот оно что... Во-от что... — проговорил он, хмурия брови. — И ничего не передавала? Говорила что-нибудь?

— Вы Дмитрий Алексеевич? Она оставила вам письмо. Вот...

Дмитрий Алексеевич подошёл поближе к лампочке, разорвал белый конверт, в два мгновения прочитал всё письмо.

«Я уезжаю в Кемерово. Ты сейчас поймёшь всё. *Есть женщина, которая принесла для тебя жертвы большие, чем я.* Она и любит тебя больше, только недавно я поняла, что это возможно. Я не смогу жить рядом с тобой и с твоими товарищами и подругами, из которых каждый и каждая лучше, чем я, и доказали это на деле. Прекрасно понимаю, что, глядя на меня и на Надежду Сергеевну, ты поневоле будешь сравнивать, потому

что разница налицо. Береги своё счастье, она тебя любит. Я тороплюсь на поезд. Дорогой мой учитель, Дмитрий Алексеевич...» Здесь она, должно быть, спохватилась, времени у неё не было, она написала: «Жан», гневно перечеркнула и расписалась рядом: «Анна».

— Во сколько уходит поезд? — спросил Дмитрий Алексеевич.

— В семь тридцать, она говорила, — ответила женщина.

Дмитрий Алексеевич взглянул на часы. «Без пяти восемь. Всё рассчитано верно. Молодец! Твёрдая, как и была».

Он не заметил, как вышел из подъезда. Письмо Жанны что-то в нём глубоко задело. Должно быть, потому, что душа её ещё не израсходовала сил, которые нужны, чтобы страстно любить и горько рыдать. Загадка! Никакой загадки — всё ясно. *У неё открылись глаза.*

И тут же он увидел цепочку узких ямок в снегу. Он оглянулся, несмело поднял из ближней ямки воздушный ком снега и смотрел на него, пока он не растаял. Потом он спохватился и выбежал из-под арки. Машина с шахматным пояском стояла на месте.

По дороге к Таганке, в индустриальный институт, где должно было состояться чествование академика, Дмитрий Алексеевич думал о том, что, пожалуй, всё сложилось к лучшему. В общем-то, конечно, дела сложились не очень счастливо, скорее, пожалуй, грустно. Он даже сказал вслух: «Грустно!» — и посмотрел при этом на часы — на много ли он опоздал. Он тут же увидел нелепость этой мелкой заботы перед лицом события, которое, он чувствовал, никогда не уйдёт из его памяти. И он задумался: «Отчего бы это — этот земной взгляд на часы?» Но тут как раз машина затормозила перед подъездом института. Дмитрий Алексеевич поспешно расплатился, пробежал в раздевалку, затем, причёсываясь на ходу, раскланиваясь со знакомыми, поднялся по широкой лестнице, мимо старинных зеркал, наверх, в ровно и весело гудящий актовый зал.

Академика ещё не было. Президиум, который был намечен и оповещён заранее, собрался за кулисами — множество новых кителей и чёрных костюмов. Здесь был генерал — директор Гипролиты; в стороне Дмитрий Алексеевич заметил жёлтое и умное лицо и новый китель Дроздова. От группы к группе переходил застёгнутый на одну пуговицу Вадя Невраев. Он подошёл к Дмитрию Алексеевичу и сердечно пожал его руку, сказав: «Смотрите-ка, старик Флоринский не приехал!»

Потом в зале раздался жаркий грохот. Все встали. Это появился академик. Он медленно шёл по центральному проходу к сцене. Свита — генералы с лампасами и учёные в чёрных костюмах, и среди них чёрная гора с жёлто-белой верхушкой — Авдиев, — свита шла за ним, как взвод музыкантов, улыбаясь, шевеля губами, неслышно ударяя в ладоши. А сам академик — розовый здоровячок с небольшой плешью и с остро торчащими вверх концами усов — раскланивался и улыбался направо и налево.

Президиум взошёл на сцену. Дмитрий Алексеевич сел с краю, в третьем ряду. Кто-то далеко впереди него объявил вечер, посвящённый чествованию академика Петра Венедиктовича Саратовцева, открытым. Кто-то ещё дальше поднялся, прошёл на другой конец сцены — к трибуне, и начался доклад о научных заслугах академика. Академик, оказывается, написал много трудов и ещё в 1928 году разработал некоторые важные проблемы, которые до сих пор не утратили своей ценности. Кроме того, он заложил основы той теории, которая позволила затем прийти к решению...

Дмитрию Алексеевичу не удалось дослушать доклад. Неизвестный человек осторожно тронул его плечо, поманил за кулисы и повёл дальше, кривыми проходами, в коридор, к узкой лестнице. Здесь, у стены, стоял майор Девятков, бледный, с плотно сжатыми губами.

— Я от Анны, — сказал он. — Она просит, чтобы вы приехали на вокзал.

— Как? — Дмитрий Алексеевич недоверчиво посмотрел на майора. — Она же уехала в семь тридцать.

— Это она сказала так дома. Поезд отходит в двадцать сдин ноль две. Анна просила меня привезти вас.

— Ну что ж, хорошо. — Дмитрий Алексеевич стал спускаться по лестнице к выходу. Над лестницей висели круглые часы. Было без двадцати трёх девять.

— До отхода осталось двадцать пять минут, — сказал майор. — Давайте поспешим, Дмитрий Алексеевич. Ей нужно вас увидеть.

Дмитрий Алексеевич не стал одеваться. Они вышли из подъезда в переулок. Как раз против выхода поблёскивала на фоне ночи светло-песочная «Победа».

— Пожалуйста, — сказал майор, — это моя машина.

— Вы поезжайте. — Дмитрий Алексеевич шагнул в сторону, в темноту, где дремала длинная вереница автомобилей. — Я поеду сам.

Майор, не сказав ни слова, хлопнул дверцей. Застучал стартер в его машине, мотор завёлся, дохнул, фыркнул, и новенькая «Победа» ушла.

Дмитрий Алексеевич огляделся. Такси нигде не было видно. Он прошёл за угол, к главному подъезду, и остановился. В его распоряжении было всего две или три минуты.

— Хозяин! Садись, куда тебе? — позвали его сразу несколько шофёров из дремлющих машин.

Но тут Дмитрий Алексеевич вдруг спросил себя: «Зачем? У неё билет, она едет в Кемерово, она стала на верные рельсы...»

И, не отвечая на весёлые зазывания шофёров, он медленно пошёл назад по тротуару. «А люблю ли я Надю? Когда-то ведь я её почти ненавидел! Да, я, должно быть, привык к ней. Но разве это — то? То было другим... Даже не вспомнишь толком, что это такое, — всё равно, что вспоминать молодость!»

И Дмитрий Алексеевич попытался припомнить свою молодость. Кое-что вспомнилось. Это было чувство здоровья во всём теле. Невольно на каждую девушку смотрел — в метро, в трамвае, на улице, и ухо само слушало их голоса. И все они были красавицы. Даже те, что считались явно некрасивыми, и у них была своеобразная, нежная красота. Где они? А запахи? А постоянное ожидание неизвестного счастья! Готовность засмеяться, только был бы повод! А сейчас дают на десять лет больше — и не удивляешься...

«Можно было бы всё вернуть», — подумал он. И ему показалось, что он слышит отдалённый зов сибирских тополей, то, что он когда-то слышал рядом. Бери ружьё — теперь ты свободен — и уезжай на край света дикарём! Не послушаться ли этого зова, пока ещё слышно? Хотя зачем? Дуб потому и растёт по тысяче лет — ведь ему время не нужно! Ему что десять, что тысяча лет! «А для меня время — это всё. Ни одной минуты не отдам. Они все нужны для дела! — И он усмехнулся, поймав себя на этой мысли. — Да, родной, у тебя появился любимый конёк! А это говорит, что мы, дорогой товарищ, постарели!»

Он свернул в переулок, вошёл в подъезд, поднялся по лестнице. Маленькая дверь на сцену была приоткрыта, виднелась фанерная перегородка.

— Пётр Венедиктович, славный наш юбиляр, — шамкая, с проникновенной дрожью читал кто-то за фанерой на трибуне, — постоянно являл нам... да, благородный пример принципиальности и научной объективности. Он умеет понять ошибки молодых и, поправляя их, щедро раздаёт чистое золото своего драгоценного опыта...

Где-то в зале слушала эти слова и Надя. Она должна была бы уже прийти. «Как бы суметь пробраться в зал?» — подумал Дмитрий Алексеевич.

В эту минуту откуда-то сверху по лестнице мелко и мягко просеменил вниз Вадя Невраев. Он что-то жевал, лицо его было краснее обычного. Увидев Дмитрия Алексеевича, он будто остолбенел — затих, затем показал бутерброд с колбасой и молча несколько раз ткнул пальцем вверх. Потом подошёл вплотную, дохнул винцом и опять настойчиво показал пальцем на лестницу и вверх.

— Только вам сообщаю. По дружбе. Идите скорей! — И он уплыл за фанеру, в президиум.

Дмитрий Алексеевич поднялся на третий этаж. Здесь тоже была маленькая, чуть приоткрытая дверь, но за нею виднелась не фанера. Там сверкали стеклом и никелем, белели камчатным полотном два длиннейших стола, приготовленных для юбилейного банкета. Вокруг них хлопотали люди в белых куртках — одну за другой приносили и ставили на столы вазы с апельсинами, словно зажигали один за другим уличные фонари.

— Можно пройти через зал? — спросил Дмитрий Алексеевич у одного из них и, получив разрешение, быстро прошёл вдоль столов на тот конец, к главной лестнице.

Ещё сверху он увидел все три входа в актовый зал с открытыми настежь дверями. «Дорогой Пётр Венедиктович! — звонко донеслось оттуда вместе с волнами тёплого, обжитого воздуха. — В день вашего восьмидесятилетия мы, научные сотрудники и служащие института, с чувством глубокой благодарности шлём...»

Бесшумно ступая, Дмитрий Алексеевич сошёл по лестнице, приблизился к центральному дверям и увидел Надю. Прислонясь к блестящему красенному откосу двери, держа под мышкой сумочку, она слушала оратора. На ней был её темно-серый, с сиреневым отливом костюм — уже не новый. Свои тёмные с бронзовыми струями волосы она свернула на затылке в тугий и длинный пучок, и вокруг него, как и раньше, как и в юности, витала непокорная золотистая дымка.

Дмитрий Алексеевич подошёл к Наде и осторожно взял её под руку. Она не вздрогнула, не оглянулась. Она порозовела чуть-чуть и прижала его руку. Целая минута прошла — и вот она медленно повернула к нему лицо. Оно было грустное, и в глазах был всё тот же знакомый Дмитрию Алексеевичу вопрос.

Вокруг них не было никого. Он спокойно подал Наде письмо Жанны. Она прочтала, подняла на Дмитрия Алексеевича глаза.

— Уехала?..

— Уехала.

И они замолчали. Стали смотреть на сцену. Там, на трибуне, негромко, но внушительно Вадя Невраев читал приветственный адрес министра и посматривал при этом на академика. Юбиляр слушал приветствие стоя. Сам министр неподвижно сидел в центре президиума, и был он в эту минуту больше, чем когда-нибудь, похож на портрет Бетховена.

Вадя дочитал адрес, сошёл с трибуны, передал папку академику и хотел было пожать его руку и даже подался вперёд, чтобы поцеловать заслуженного человека, но наткнулся вдруг на его несколько округлую, но всё же крепкую спину. Академик, взяв красную с золотыми буквами папку, торжественно направился к министру. Само собой очистилось в рядах президиума место для встречи двух больших людей. Они встретились, троекратно поцеловались, тут же неожиданно вспыхнул магний фотоаппарата, и весь зал загремел, загрохотал. «Очень хорошо, очень, очень хорошо!» — сказал кто-то неподалёку от Дмитрия Алексеевича.

— Я тут надумал одну вещь,— сказал Дмитрий Алексеевич в этом шуме, притягивая к себе мягкий, уступающий локоть Нади. Сказал и умолк.

— Ты что? — Она оглянулась.

— Я надумал одно дело. Мы же всё-таки с тобой не первый день... Надо бы к венцу, а?

Она ничего не сказала.

— Надюша... Я серьёзно предлагаю. Руку и сердце. — Он неловко улынулся.

Она закрыла глаза, губы её чуть-чуть вздрогнули. Она словно бы перевела дыхание и тяжело посмотрела на Дмитрия Алексеевича.

— Мне знаешь что показалось? Мне показалось, что ты только сейчас это надумал... Она уехала, и ты... так у тебя получилось. Ты имей в виду, я не требую, не прошу. Ничем ты не связан. Ничем! Говори только со мной всегда правду, как ты до сих пор говорил... Я ведь и так твоя жена... Я же знаю, что ты меня... любишь, но не так...

И она уткнулась в уголок, между ним и стеной.

— Надя! — зашептал он ей. — Надя! Успокойся, милый! Ты чего?

— Ничего, — шепнула она, копошась пальцами в его рукаве.

В эту минуту вдаль на сцену поднималась делегация из трёх человек, неся на полированной доске модель какой-то машины. Модель была установлена перед академиком на стол президиума. Один из делегатов наклонился над ней, что-то тронул, и машина не спеша задвигала своими рычагами и завертелась, замелькала её колёса.

Зал ответил на это дружными аплодисментами, и в ту же минуту Дмитрия Алексеевича словно подменили. Рука его стала жёсткой. Он изумлённо замер, будто вдруг прозрел, — не то улыбаясь, не то собираясь закричать.

— Что делается! — шепнул он. — Неужели ты не видишь?

Что Надя видела? Вдали на столе президиума что-то, поблёскивая, вращалось, и весь зал и президиум дружно аплодировали.

— Машина-то! Это же револьверная! Шестиствольку преподнесли академику! Урюпинскую! Миллионы, понимаешь? Миллионы с того света вышли на стол. Угробленные!

Ничего не подозревавший директор какого-то далёкого завода старательно готовил этот дар. До него ещё не дошли из Москвы вести о машине Лопаткина, и он, наверно, не прочитал ещё приказа «три двойки». И вот поднёс академику как раз то, о чём полагалось сегодня молчать!

Модель продолжала своё дело — поворачивала барабан и целилась в президиум по очереди всеми шестью патронами. Пётр Венедиктович побагровел, посмотрел на неё боком, потом с ядовитой благодарностью взглянул на Авдиева, и усы его начали дрожать. Дроздов чуть заметно улыбался, но аплодировал. Авдиев хлопал своими толстыми руками, наклоняясь к соседу, и что-то говорил ему, гневно кивая на блестящую машинку, встряхивая жёлто-седыми кольцами волос. А в общем, понимали всё это немногие — восемь или десять человек. Ещё человек двадцать догадывались об ошибке директора, но эти не подавали виду — усердно хлопали. А весь зал гремел. Что ни секунда, то громче: потому что имя академика было известно каждому, минута была торжественная, машина занята мерцала на столе, работала сама, без посторонней помощи, олицетворяя собой технический прогресс. В зале почти никто не видел горькой стороны этого торжества.

«Ну, а я? — думал Дмитрий Алексеевич. — Что же, и мне закрыть глаза? Вот я наконец вижу невидимый град Китеж. Видят его только сами китежане... и вот я. Если я выйду сейчас туда и скажу: вот что это за машина — меня никто не захочет слушать! Будут смотреть на меня, как Заря тогда смотрела. — И он почувствовал на миг, что краснеет. —

Что же, выходит, что после такой долгой борьбы я победил только для одного себя? Значит, верно, «эгоист»? Несужели для них, сидящих здесь, я не сумел разогнать туман, не вооружил хоть чьё-нибудь зрение?»

А Надя смотрела на него и качала головой. Потом осторожно взяла его за руку, вывела из невидимого города.

— Может, вернёмся к первому вопросу? — сказала она, тихо смеясь.

— К какому? — Дмитрий Алексеевич встrepенулcя.

— Ты уже забыл... Ты ведь предлагал мне руку и сердце. Руку я вот держу, а сердце где?..

— Вот сердце, — сказал Дмитрий Алексеевич, прикладывая её руку к своей груди. — Вот оно. Слышишь, как колотится?

— Да... — задумчиво проговорила Надя. — Придётся принять это сердце... Оба мы с тобой такие. Сломанные, как говорит Дроздов. Сломал он нас с тобой. Куда же мы денемся друг от друга?

— Слома-аа! — сурово вдруг пропел Дмитрий Алексеевич. — Ну нет. Он только нас высоко настроил, как две струны. Он нас свёл, показал друг другу. Спасибо ему...

— Ты правду говоришь?

— Ну, конечно, правду! Ну, верно, герой романа во мне как-то устал или заболел... Я сам чувствую, что не похож на юного де Грие... Один только изобретатель, драчун во мне сейчас...

— Ах ты, беда моя... Вот и хорошо! Значит, я буду уверена, что ты мне не изменишь. Милый Дмитрий Алексеевич! А мне можно будет любить тебя?

Она думала, что он этого не видит, и быстро прижалась губами к его рукаву. Но он увидел это. Слёзы бросились ему в голову, закипели в глазах. Он схватил её за локоть, вытащил из зала за дверь и прижался щекой к её мокрой щеке. И она засмеялась.

— Пойдём? — и за руку повела его вниз по лестнице.

Внизу он подал ей пальто, оделся сам, и они, чувствуя необыкновенную лёгкость, держась палец за палец, выбежали на улицу.

7

И опять они тихо прогуливались по каким-то переулкам, под какими-то деревьями, уходящими в зимнюю ночную высь, — как в тот вечер, на Ленинградском шоссе. И Надя, держась за его локоть обеими руками, смотрела вниз, сравнивала его шаги со своими. Минутная необыкновенная лёгкость оставила их, оба далеко ушли в свои мысли. «Что же дальше? — думал Дмитрий Алексеевич, начиная ненавидеть свой нынешний тихий и спокойный плот именно за эту бестревожную ясность будущего. Раньше, в дни борьбы, он был не то чтобы счастливее, но моложе. И сегодня, с этой своей спокойной позиции, он вдруг полюбил бесконечную суровую дорогу с её верстовыми столбами, — к сожалению, уже пройденную.

И Надя думала почти о том же. Она посматривала на Дмитрия Алексеевича и твердила себе: вот наконец он отдохнёт. Тревожный человек станет спокойным, его нервная зоркость, его готовность к схватке — всё это теперь ни к чему. И, может быть, даже оттенок сожаления проникал в эти мысли: «пробуждение на мгlistом рассвете» — это уже никогда не повторится...

Так они прошли весь центр — сначала наобум, по запутанным московским переулкам, потом через три площади, словно через Азовское, Чёрное и Средиземное моря, — и где-то около Манежа вспомнили о том, что вечер ещё не кончен: у Дмитрия Алексеевича в кармане лежали два билета на юбилейный банкет. Шёл уже одиннадцатый час.

— Опоздали немножко... Пойдём посмотрим? — сказал Дмитрий Алексеевич.

«Веди меня, куда захочешь,— сказали ему глаза Нади.— Только дай мне хоть на секунду взглянуть на наше завтра».

Серая машина с шахматным пояском подвезла их к подъезду института. Они прошли в пустынный вестибюль и сразу услышали ликующий рёв трубы и долетающее сверху, как лёгкий ветер, шарканье вальса. Не спеша они сняли пальто, вышли к мраморной лестнице, к зеркалам, и здесь Надя вдруг остановилась, схватила своего *мужа* за руку.

Впереди, чуть повыше, на площадке металось что-то чёрное, какая-то тень. Можно было подумать, что это обезьяна, убежавшая из клетки, бросается на зеркала, ищет выхода. Это был Леопид Иванович. Он расхаживал, кружил по площадке и курил. Круги его сегодня были особенно искривлены и замысловаты. Он и Надю не заметил, когда она, гордо потупя глаза, прошла мимо него. Нет, кажется, заметил, сощурился на миг ей вслед и снова заколесил.

Надя сразу узнала эти кривые круги. Они свидетельствовали о высшем деловом волнении Дроздова. Но что же, какая страсть заставила его уединиться здесь, на площадке?

И вдруг Надя вспомнила:

— Да, я же видела сегодня здесь наших, музгинских! Как это они сказали... Да, беспроволочный телеграф передал сегодня новость. Дроздова готовят в замы, на место Шутикова. Официальных известий ещё нет, но говорят, будто решено... Он сам тоже, наверное, только что узнал.

Не сговариваясь, они оглянулись вниз, туда, где продолжала метаться между зеркалами чёрная тень. И дальше, вплоть до самого входа в актёрский зал, оба думали о Дроздове. Но тут за открытыми настежь высокими дверями по-особенному весело взревел оркестр. Там, за порогом, кружилась, текла в одну сторону тесная и разгорячённая карусель танцующих, вынося из своей середины на край чёрные костюмы, бархатные платья, голые руки, проборы, лысинки, золотистые гнёзда женских причёсок.

Постояв у дверей, Дмитрий Алексеевич и Надя поднялись на третий этаж, туда, где был зал, меньший по размеру, но для многих более привлекательный. Здесь попрежнему сверкали стеклом и никелем, белели полотном два стола, но стройность сервировки была основательно нарушена, вазы стояли без апельсинов, как погашенные фонари, и за столами почти никто не сидел. Мужчины в чёрном и в серых кителях группами и парами прогуливались по залу, стояли у окон, в нишах, и у раскрытых настежь дверей — курили и наполняли зал ровным весёлым жужжанием.

Нет, и за столом ещё сидел кое-кто. В дальнем — председательском конце, где два стола соединялись перемычкой,— там даже собралась небольшая компания. В центре её сидел академик Саратовцев. Из-за его плеча виднелась рыжая голова Авдиева. Там же стояли генерал — начальник Гипролита, заместитель министра — временный преемник Шутикова, Вадя Невраев с багровым круглым лицом, солидный Фундатор и остроносый белёсый Тепикин. И ещё там стояли несколько человек, которые имели *багаж*, достаточный для того, чтобы без приглашения подойти и наряду с известными деятелями слушать академика и смеяться тому, что он говорил. Поодаль собрались тоненькие молодые люди, которые не имели ещё достаточного багажа. Они взирали издали и улыбались, должно быть зная, о чём говорит академик. Но перейти мёртвое пространство не осмеливался никто. Не так-то легко их пройти, эти пятнадцать шагов...

Пётр Венедиктович, розовый от многих тостов, держал в вытянутой руке вилку остриями вперёд. Левая рука его была слегка поднята, как полагается при фехтовании, и отведена назад. Усы академика грозно смотрели вверх. Он рассказывал о поражении некоего барона — не о том

известном поражении, что было нанесено ему Красной Армией, а о другом, более раннем, свидетелями которого были только секунданты...

— Дмитрий Алексеевич! Товарищ Лопаткин! — закричали в это время в противоположном, дальнем конце зала. — Идите к нам! Сюда!

Там, в нише, собралось общество подвыпивших конструкторов из Ги-пролита, и душой его были Крехов и Антонович.

Дмитрий Алексеевич и Надя подошли. Кружок раздался пошире. Крехов взял Дмитрия Алексеевича за рукав, притянул к себе.

— Каково! — Он понизил голос, но так, чтобы весь кружок слышал. — С подарком-то что получилось! С машинкой! Ай-яй-яй! Видали лица?

— Особенно у вашего любимца, — весело заметил Дмитрий Алексеевич.

— Вы о ком?

— О ком же! Взе́ о том, который пришёл в лаптях, упёрся лбом и раздвинул всё и вся!

— А-а... Я действительно... Было, было такое. А я не жалею! Новое сознание тем прочнее и светлее, чем дольше сидел в вас обман...

— Не в нас, а в вас, — заметил Антонович.

— Ну да, во мне. Правильно. Да, ты прав. Я сегодня смотрел на сцену и сек в себе пятидесятилетнего мальчишку, который так долго молился на этого деревянного, понимаете, идиотского бога...

— Ну ладно о боге, — сказал Антонович. — Мы отпускаем ваши грехи. Вот что, Дмитрий Алексеевич, тут мы спорили. Подтвердите нам — здесь товарищи не верят, что Галицкий отказался от награды...

— Это и я знаю, — перебила его Надя. — Он мотивирует тем, что скоро будет получать орден за выслугу лет. Я читала его письмо. «Я сделал то, что должен был сделать всякий порядочный человек, тем более коммунист, — так он написал. — Если я возьму ещё и эту награду, то получится, что, занимаясь делами Лопаткина, я выгадывал что-то для себя».

— Чепуха! — сказал Дмитрий Алексеевич. — Это он перегнул.

— Вообще оригинальное рассуждение, — заметил Антонович. — Не часто такое услышишь. У нас не принято ложку мимо рта проносить.

— Он заслужил обе награды, — сказал Дмитрий Алексеевич. — И ту и другую.

— Я поддержал бы его рассуждение, — продолжал Антонович с упрямцей. — Награды нельзя обесценивать. Не так уж наша Россия, товарищи, бедна честными людьми, чтобы их искать днём с огнём и награждать только за то, что они не сбились с пути, ровненько служили. Нет, если награждать, то за выдающиеся дела или за многолетнее служение, в котором каждый день ты себя ведёшь так, как Пётр Андреевич, помните? — Он обратился к Крехову и Наде.

— Венедиктыча повели спать! — сказал Крехов, повернулся и громко захлопал в ладоши.

Весь зал разразился треском аплодисментов. Буря передалась на лестницу. Музыка внизу смолкла. Академик, стоя посреди зала, несколько раз приложил руку к груди, поклонился во все стороны и проследовал в сопровождении аплодирующей свиты к лестнице и вниз. Оркестр нестройно, но весело сыграл туш, и всё мало-помалу стало успокаиваться.

Когда буря улеглась, Крехов широким жестом вожака пригласил всю компанию к столу — продолжать то, что было уже начато.

— А то сейчас займут, — пояснил он, когда все уселись, и постучал своим золотым кольцом по рюмке. — Всех, кто хочет с нами выпить, прошу сюда...

— Или сюда! — раздалось сзади Дмитрия Алексеевича. Он обернулся и увидел почти рядом с собой за соседним столом сухопёкий затылок Тепикина. А из-за покатога тепикинского плеча с другой стороны стола на

Дмитрия Алексеевича пристально смотрел глаз Шутикова. Этот глаз, чуть уменьшенный стеклом очков, был добродушен.

— За здоровье лосося! — крикнул Шутиков, поднимая маленькую рыбку. — Товарищ Лопаткин! За здоровье мощного лосося!

Дмитрий Алексеевич поблагодарил его, кивнул — и Шутиков выпил один. Вытер рот салфеткой, что-то шепнул своему соседу Фундатору. Там, справа и слева от него, собрался почти весь Китеж.

— А, вот кто у нас сосед! — закричал Тепикин, дружески оборачиваясь, обнимая спинку стула. — Давно тебя не видел. Поздравляю, Дмитрий Алексеевич! Ну и кашу же ты заварил!

— Ничего, потомки расхлебают, — жуя, добродушно вернул Фундатор.

— Зачем же потомки? — заговорил Шутиков, лукаво просяив. — В этой каше, товарищи, есть кусочек хорошего мяса — машина Дмитрия Алексеевича. Вот этот кусочек и достанется потомкам...

— Правильно, товарищ Шутиков, — негромко, но внятно заметил кто-то из молодых инженеров, из компании Крехова. — А остальное съедят не потомки, а современники. Всё съедят! Они у нас терпеливые, а?

— Не о-о-чень, — протянул Шутиков. — Вот Дмитрий Алексеевич, о нём этого не скажешь. Он что не по вкусу не станет есть. Не-хе-хет, товарищи, не пройдёт! Сами ешьте свою кашку!

И весь Китеж, вся их компания засмеялась.

— Хе-хе-хе! Ешьте, ешьте!

— Не подави-хе-хе-тесь!

Как будто речь шла не о них, а о ком-то третьем, кто и должен был съесть до дна всю кашку!

— Послушай-ка, товарищ Лопаткин, — громко сказал вдруг Тепикин. — Ты сегодня победитель. И мы все поражены, как ты сумел пройти насквозь огонь и воду. Но натура у тебя, дорогой товарищ, эгоистическая. Ты единоличник. У нас в стране в одиночку бороться — до тебя я сказал бы — невозможно. А сейчас говорю — трудно. Коллектив — он и поможет, и защитит, и заботу проявит, и материально вовремя поддержит... Чурался, чурался ты коллектива. А мы ведь всегда готовы протянуть тебе...

Глаза китежан заблестели. «Э, да ты, оказывается, не такая простая штучка!» — подумал Дмитрий Алексеевич и оглянулся. Его кружок ещё больше увеличился, здесь тоже блестели глаза — народ был молодой, почти студенты. Восемь лет назад, когда контуры машины Дмитрия Алексеевича в первый раз легли на ватман, эти молодые люди, пожалуй, заканчивали десятый класс.

Дмитрий Алексеевич задумался на миг. Он вспомнил об Араховском и о молодом человеке, изобретателе литейной машины с магнитными полями. Их дело можно было считать выигранным — Дмитрий Алексеевич давно уже принял нужные меры. Но тут из самых тайных глубин памяти вышел профессор Бусько со своими стеклянными пузырьками. Его открытие исчезло без следа. И ещё Дмитрий Алексеевич подумал о том неизвестном счастливец, таком же молодом, как эти, что сидят здесь, который, может быть завтра, найдёт эту потерянную мысль. Понесёт её людям. Побегит молодыми ногами по обманчивой дороге: она покажется ему такой короткой! Он помашет своей семнадцатилетней девочке, окружённой сиянием, скажет: погоди, я только добегу — вон до того столбика! Добежит ли? А вдруг пойдёт — от версты к версте, — и так все восемь лет... Или даже исчезнет, как Бусько...

Он подумал об этом, и что-то вдруг начало в нём быстро, гневно нагреваться. Потом пролетели воспоминания — о Сянове, о рабочем, который управлял его машиной на Урале, о неизвестном доброжелателе, пожившем в сумку двадцать картофелин... Эти люди и сейчас работали —

каждый на своём месте — и ничего не знали о существовании Тепикина, Авдиева и Дроздова...

И вдруг Дмитрий Алексеевич заметил, что тихий плот его понёсся и запыргал по камням.

— Мы к вам не руки протягивать... за материальной поддержкой, мы с вами драться будем, — сказал он, и было непонятно, что загорелось в его глазах — озорство или скрытая ненависть. — А сейчас мы будем дразнить друг друга, как делали бойцы в старину: я буду вас, вы — меня, чтоб злее...

— Так мы ж тебе и наставим синяков!

— Сегодня нуждаемся в примочке не мы... — заметил Антонович.

— Ты-то чего, интеллигентный инженер? — Тепикин ласково на него посмотрел и опять обернулся к Дмитрию Алексеевичу. — А ты, товарищ Лопаткин, зря тут... Лучше давай разопьём мировую. Ради приличия старрой дружбы. Нам пора на покой, кости старые холить, раны заживлять. «Победу» теперь покупай. Дачу...

— Телевизор... — подсказал кто-то из молодых.

— Что ж, и телевизор. Вещь неплохая...

— Не единым хлебом жив человек, если он настоящий, — прозвучал в тишине голос Дмитрия Алексеевича.

— Ты теперь добился, чего хотел, — продолжал Тепикин, словно не слыша. — А молодые — пусть их дерутся...

— Ты знаешь, Тепикин, что такое БУП? — вдруг спросил Дмитрий Алексеевич с тем же выражением озорства и ненависти.

— А? — Тепикин приоткрыл рот, но тут же спохватился, махнул рукой. — Ты лучше ответь на мой вопрос. Вот такое я тебе задам. — Гремя стулом, он придвинулся поближе к Дмитрию Алексеевичу. — Вот ты, товарищ Лопаткин, теперь будешь их светлость начальник конструкторского бюро. И представь, твой подчинённый, тот же Крехов, придумает чего-нибудь лучшее...

— Вам этот вопрос кажется каверзным, — сказал Дмитрий Алексеевич.

— Погоди... Я уверен, если Крехов родит, ты сразу начнёшь сочетать общественные интересы с личными. Знаешь, так это... гармонически!

— Ха-а-а! — дружно разразился весь Китеж.

— Вы, конечно, будете разрабатывать и это, но под своей вывеской! — добродушно вставил Фундатор. — Под вывеской «КБ Лопаткина!» Машина будет называться «Л-2»!

— Я смотрю на вас с Тепикиным, — сказал Дмитрий Алексеевич, — и прихожу к выводу, что вас, к сожалению, невозможно оскорбить...

— Вы проще, проще! — крикнул Фундатор, краснея.

— Да чего тут... У вас огромное преимущество! Вы себя срамите беспощадно — и не чувствуете! Погодите, я вам разьясню. У меня есть знакомый слесарь. Сьянов, дядя Пётр. Похвалите его за деталь, которую сделал не он. Он немедленно откажется от ваших похвал — у него есть своя рабочая гордость и честь. Он бы плюнул сейчас и ушёл, услышав это ваше «Л-2». Но вы, я вижу, и сейчас ещё не понимаете меня...

— Ладно, не намекай, — сказал Тепикин. — За это дело министр с нами рассчитался сполна...

— Я не об этом вам... Но спасибо, что напомнили, мы-то ещё с вами не рассчитались. Министр вам легонько всыпал, а мы будем с вами обходиться иначе. Как велит БУП.

— Что же это такое? — любезно спросил Фундатор.

— Боевой устав пехоты. Найдёте — прочитайте. Там сказано, что мы намерены с вами делать. Я там был обозначен словами «одиночный боец». А теперь мы — «отделение в бою».

— Ну, ну... Раз ты такой драчун, раз тебе понравилось, подставляй

скулу... Ты, конечно, не обидишься на меня за мои слова? Я когда выпью — мне море по колено. — И Тепикин, добродушно махнув рукой, посмотрел на Дмитрия Алексеевича безоблачными глазами. — Люблю побеседовать, пошутить с хорошими ребятами за стопкой.

И за его простовой улыбкой проглянула на миг огромная выдержка, тренировка зрелого бойца.

— На этот счёт и я любитель, — ответил ему Дмитрий Алексеевич серьёзно. — О, мы с вами так ли ещё будем шутить! Вот идёт сюда Василий Захарович, у него, я вижу, тоже хорошее настроение...

Действительно, сюда, к этому концу стола, двигался громадный детина в чёрном — Авдиев. Он издалека увидел Дмитрия Алексеевича; пухлая, крапчатая его физиономия заулыбалась. Он остановился, развёл руками, словно для объятий, и запел довольно приятным грудным басом:

— Мне мнится соперник счастли-и-вый!..

И двинулся было к Дмитрию Алексеевичу обниматься — напролом, через стулья, через людей. Но тут откуда-то сбоку на него набежал Вадя Невраев, багровый, точно из бани, с непонятной нежностью в дурных голубых глазках.

— Друзья! — Голос Вади был ошеломлён водкой и нёсся, не разбирая дороги. — Друзья! Это прекрасный романс! Давайте споем!

И, глядя на Авдиева, выставив плечо, он затынул:

— И та-айно и зло-о-бно, — здесь он отчётливо погрозил Авдиеву пальцем, — ор-ружия ищет рука-а!..

Авдиев даже вздрогнул. Наступила тишина. «Точно попал, — проговорил кто-то в кулак. — Как ворона каркнула». Корифей так и не смог оправиться. Посмотрел вниз, покачал головой, шагнул ко второму столу и там сел в компании с Фундатором и Тепикиным.

— Плохо ему, — сказал Крехов. — Эта ворона зря не каркнет.

В час ночи, когда гости начали разъезжаться, Дмитрий Алексеевич и Надя через распечатанную кем-то дверь вышли из душеного зала на балкон, лунно-белый от свежего снега. Оставляя чёрные следы на нежном снегу, они подошли к каменному барьеру. За ним внизу, под горой, вдали, как под ночным самолётом, темнела земля, испещрённая множеством огней. Смахнув снежную пыль с серой гранитной плиты, Дмитрий Алексеевич налёг на неё, задумался, глядя вдаль, в темноту.

— Ты о чём думаешь? — спросила Надя.

— О многом. Вот... Об этом обо всём... — Дмитрий Алексеевич чуть заметно кивнул в темноту. — Ты как, не устала?.. Если я тебе скажу «пойдём дальше»...

Надя не ответила. Только приблизилась — и исчезла, потому что её и не было, а была чистая речка, чтоб он мог напиться и смочить лицо на своём тяжёлом пути. Он понял это. Ещё тяжелее навалился на гранит, двинул плечом, словно поправляя свой груз перед дорогой — чтоб удобнее лежал. Плечо его стало теперь мощным, но и груза прибавилось. Это был груз новых забот — забот о людях.

«Вы станете ещё и политиком!» — вспомнил он слова Галицкого. Может быть, в первый раз он по-настоящему понял этого человека, который с недавнего времени стал для него как бы старшим братом. И хоть машина Дмитрия Алексеевича была уже построена и вручена, он вдруг опять увидел перед собой уходящую вдаль дорогу, которой, наверно, не было конца. Она ждала его, стлалась перед ним, манила своими таинственными извилинами, своей суровой ответственностью.



Н. РЫЛЕНКОВ



КОКТЕБЕЛЬ

Есть что-то от древней Эллады
В тебе, коктебельская синь.
Трещат, не смолкая, цикады,
Горчайшая пахнет полынь.

Горят черепичные крыши
Домишек, стоящих не в ряд.
На взгорья всё выше и выше
Ползёт из долин виноград.

А море всегда пред глазами,
Забыть его мы не вольны,
Торжественный слыша гекзаметр
В размеренном плеске волны.

И вновь его вечной красе я
Дивлюсь на твоём берегу
И верю: корабль Одиссея
Отсель я увидеть могу.

И верю: у скал Кара-Дага
В сияньи осеннего дня,
Как моря шипучая влага,
Столетия входят в меня.

Все волны, собой не владея,
Спешат, чтоб к ногам моим лечь,
И чувствую здесь, как нигде, я
Не возраст, а время у плеч.

ГАЛЬКА

Сколько гальки у кромки прибоя
Перекатывает волна!
Розоватое и голубое
Сочетает с лиловым она.

Вся мозаика эта цветная
В переливах глазури морской.
Ты стоишь очарован, не зная,
Что достать тебе лёгкой рукой.

Каждый камешек кажется глазу
Самоцветом, куда ни взгляни,
Но возмёшь на ладонь их — и сразу
Весь свой блеск потеряли они.

Цвет поблѣк, и оттенки иссякли,
Только мутная синева.
...Ты художник, подумай: не так ли
Нас обманывают слова?

Как блестит, как играет иное,
А проверь его, выставь на свет...

Не пленяйся же галькой цветною,
Бойся лёгких и скорых побед!

ВО ВРЕМЯ ШТОРМА

Который день уж колобродит море,
Кипит котлом.
За валом вал, со всем вокруг в раздоре,
Прѣт напролом.

А ты на берегу, обняв колени,
Сидишь одна.
У ног твоих, вся в мутно-жѣлтой пене,
Гремит волна.

Как под дождѣм, всё в крупных брызгахъ платье
Волна растѣт,
И страшно мне: вот-вот тебя подхватит
И унесѣт.

Но ты глядишь, чуть побледнев от счастья,
В простор морской.
Как странно, что увидел лишь сейчас я
Тебя такой.

Что в юности твоей не мог заметить
Я той черты,
Когда уже любые бури встретить
Готова ты!

ПОСЛЕ ШТОРМА

После шторма море пахнет йодом,
Берег в голубых цветах медуз.
Дышишь так, как будто мимоходом
Сбросил с плеч давно томивший груз.

Будто, разбиваясь в ярой сшибке,
Растекаясь пеной по песку,
Смыли волны все твои ошибки,
Растворили всю твою тоску.

Чуть подѣрнут тонкой поволокой,
Пред тобой лежит простор большой.
И опять готов ты в путь далѣкий
С чистым сердцем, с лёгкою душой!



ПЕРЕЦ МАРКИШ

★

ТВОЙ ВЗГЛЯД

За счастьем призрачным бродя во мгле безбрежной,
Унижен, возвращусь туда, где только ты.
О том, каким я стал, твой взор расскажет нежный,
Мне ласково блеснув с неожиданной высоты.

И есть лучистый свет в твоём прекрасном взоре,
Что позволяет мне не опускать глаза
В тот час, когда душа своё оплачет горе
И по щеке течёт раскаянья слеза.

Пускай гоняюсь я за призраком летучим —
Всё чаще и светлей мои пути к тебе,
И сердце шлю тебе через моря и кручи,
Хотя даю обжечь себя чужой судьбе.

1948 г.

Перевод с еврейского
А. Ахматовой.

МИРУ НЕ ВЕДАТЬ ВТОРОЙ ГАЛИЛЕИ

Женщина сына несёт на руках,
Несёт на руках его, словно мадонна,
И горный рассвет, зажигаясь впотьмах,
Их путь осветил вдоль кремнистого склона.

Женщина сына несёт на руках.
Мерцает над ними рассвет, зеленея,
А верба их путь осеняет в горах...
И вспомнилась мне в этот миг Галилея.

Женщина сына несёт на руках,
Вокруг неё ткань голубая струится,
Трепещет косынка на узких плечах...
Мне вспомнились ясли, и хлев, и ослица.

Женщина сына несёт на руках.
Над ними сияющих радуг свеченье.
Как хорошо, что в безгрешных глазах
Не светится будущих мук отраженье!

Певучей походкой идёт на восход,
Лёгкая, нежная, в воздухе тая...

Нет, не мадонна ребёнка несёт,
Казачка идёт по тропе молодая.

Казак её муж? А быть может, еврей?
Крестьянин? Не плотник ли старый скорее?
Я счастлив, колени склонив перед ней,
Что миру не ведать второй Галилеи!

1947 г.

*Перевод с еврейского
Сергея Наровчатова.*

В СУМЕРКИ У МОРЯ

Быть может, ты сейчас уже идёшь домой,
Последняя из всех купальщиц деловитых,
А море за тобой — расплавленной каймой
В бурлящем золоте, в лазури, в хризолитах.

А волны говорят: нас на плечи накинй,
Дай наглядеться нам на твой загар румяный!
До неба поднялась морская гладь и синь,
Слепая синева под кровлей златотканной.

Пусть морю по плечу могучие суда,
Ты маленькой ему в мгновения свиданий
Совсем не кажешься... Нет! Даже и тогда,
Когда склоняешься над ремешком сандалий.

Когда, распавшись вдруг, волос твоих пучок
Струится по спине с тревожным чёрным блеском
И открывается мерцанье плеч и щёк,
Как полированный янтарь в луче нерезком,

Ты маленькой совсем не кажешься ему,
Хотя и весела, хотя и тороплива!
Вот ты встаёшь. И вновь вступаешь в синь-кайму
Лишь на мгновение. И жадно ждёшь прилива.

Закат надела ты, как солнечный венок,
Чтоб влажные глаза простору удивлялись,
Чтоб камушки, ложась у обнажённых ног,
Вступали в спор с волной и шумно рассыпались.

Торжественный закат над водами расцвёл,
Взметнулись руки волн, лучом посеребрённых:
Так, чудо увидав, за матери подол
Хватается порой испуганный ребёнок.

1947 г.

*Перевод с еврейского
Александра Голембы.*

ЗАБОТА

Лишь только луч цветка коснётся, щекоча,
А ветерок, кусты взъерошив, захохочет,
Как, крылья подоткнув, кузнечик сгоряча
У наковаленки своей уже хлопочет.

Усами жёсткими он грозно шевелит,
Усы в ночах спуют с зелёным нетерпеньем,
А мошкаре лесной стрекочет он, сердит:
— Мне надобно ковать! Отстаньте с вашим пеньем!

Кузнечик прыгает — такая суета, —
От кустика к цветку легко перелетая,
Травинку хилую догонит у куста
И спросит: — Припаять? Работа непростая!

Впивается его зовущий молот сам
Во множество забот, звенящих и летучих.
Кузнечик приумолк и вновь к своим трудам
Вернётся он, когда блеснёт заря сквозь тучи.

1947 г.

*Перевод с еврейского
А. Ахматовой.*



Н. ЗАБОЛОЦКИЙ



ПРОТИВОСТОЯНИЕ МАРСА

Подобный огненному зверю,
Глядишь на землю ты мою,
Но я ни в чём тебе не верю
И словословий не пою.
Звезда зловещая! Во мраке
Печальных лет моей страны
Ты в небесах чертила знаки
Страданья, крови и войны.
Когда над крышами селений
Ты открывала сонный глаз,
Какая боль предположений
Всегда охватывала нас!
И был он в руку — сон зловещий:
Война с ружьём наперевес,
В селеньях жгла дома и вещи
И угоняла семьи в лес.
Был бой, и гром, и дождь, и слякоть,
Печаль скитаний и разлук,
И уставало сердце плакать
От нестерпимых этих мук.
И над безжизненной пустыней
Подняв ресницы в поздний час,
Кровавый Марс из бездны синей
Смотрел внимательно на нас.
И тень сознательности злобной
Кривила смутные черты,
Как будто дух звероподобный
Смотрел на землю с высоты.
Тот дух, что выстроил каналы
Для неизвестных нам судов
И стекловидные вокзалы
Средь марсианских городов.
Дух, полный разума и воли,
Лишённый сердца и души,
Кто о чужой не страждет боли,
Кому все средства хороши.
Но знаю я, что есть на свете
Планета малая одна,
Где из столетия в столетье
Живут иные племена.
И там есть муки и печали,
И там есть пища для страстей,

Но люди там не утратили
Души естественной своей.
Там золотые волны света
Плывут сквозь сумрак бытия,
И эта малая планета —
Земля воскресшая моя!



ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛЕВА



СНЕГ В АПРЕЛЕ

Ветра и вьюги были виноваты.
Газеты — нет. При чём газета тут?
Газеты только сообщали даты —
Когда какие вишни расцветут.
И вот он — час цветения сакуры!
И собрались под вишнями японцы,
Озябшие, продрогшие фигуры
В Уэно-Парке, замершем без солнца.
Шёл снег в апреле.

Зимний снег в апреле.
Но, встав сплошной стеной,
друг с другом рядом,
На ветви вишен люди так смотрели,
Как будто почки раскрывали взглядом.
И, может быть, молились по-японски,
И, может быть, клялись, строги и немые,
И, может быть, об этом Маяковский
Мечтал когда-то написать поэмы.
Но — так или иначе — встрепенулась
И, выпустив два светлых лепесточка,
Раскрылась, как застенчивая юность,
Внезапно расхрабрившаяся почка.
...Снег покрывал деревьев нежных кроны.
Но розовели, розовели дали,
И раскрывались тёплые бутоны.
Шёл снег.

А вишни расцветали.

ТОКОНОМА

Токонома — в доме уголок,
Где причуды тлеет уголёк.
Ветка вишни — розовый апрель —
Может быть поставлена сюда.
Можно здесь повесить акварель,
На которой светлая вода.
Здесь положат даже пустячок,
Даже не красу, а тень красы —
Клёна полированный сучок,
Бусинку, как капельку росы...
Дом не дом: бумага и бамбук.
Жизнь не жизнь: терпенья вечный круг.
Ну, а всё же токонома здесь!
И в лачуге токонома есть!

Даже если чайница пуста,
Если боги с каждым часом злей,—
Всё же есть на свете красота,
Всё же можно радоваться ей!

«ЧОТО МАТЭ!»

Завела нас дальняя дорога
В Токио, от вишен розоватый.
Что ни слово — «Подожди немного!»
По-японски это — «Чото матэ!»

Токио — витрины и прилавки,
Туфли, сумки, коврики, булавки,
Кимоно, подержанные платья...
«Всё мы продаём! Мы так богаты!
Нет, не покидай нас, покупатель,
Подожди минутку. Чото матэ!»

Ночь. Улыбки ценятся дороже.
Скрыла тьма морщины и заплаты.
«Подожди, пожалуйста, прохожий!
Подожди минутку. Чото матэ!»

И в торговле и в любви — убытки.
Подожди минутку. Чото матэ...
Здесь — американские зенитки.
Здесь — американские солдаты.
Танки и зенитки не от бога.
Нет, не бог, а люди виноваты.
«Надо ли нам ждать ещё немного?
Надо ли твердить нам: «Чото матэ?»»



БЕРТОЛЬТ БРЕХТ



ГОСПОДИН ПУНТИЛА И ЕГО СЛУГА МАТТИ

Народная комедия

Бертольт Брехт (1898—1956) — один из крупнейших драматургов современности — был замечательным режиссёром, театральным педагогом, теоретиком сценического искусства и руководителем всемирно известного театра «Берлинский ансамбль». Перу Брехта принадлежит более тридцати пьес («Трёхгрошовая опера», «Матушка Кураж и её дети», «Кавказский меловой круг» и другие), «Трёхгрошовый роман» и цикл новелл, множество своеобразных и ярких стихов.

«Я пишу и стихи и прозу — это верно. Но прежде всего я человек театра, и притом человек, одержимый своей профессией», — говорил о себе в частных беседах Бертольт Брехт.

С творчеством Брехта тесно связана созданная им «теория эпического театра», оказывающая ныне серьёзное влияние на сценическое искусство всех стран мира. Направленная против декадентского театра, отвлекающего зрителя от «проклятых вопросов» реальной жизни и уносящего его в мир утешительных иллюзий, эта теория имела своей целью придать театру социально-просветительную заострённость. Брехт разработал универсальную (поскольку она охватывала все элементы сценического искусства — от драматургии и режиссуры до работы гримёра и осветителя) театральную систему, суть которой заключалась в том, чтобы не вызывать у зрителя смятения чувств, не приводить его в состояние транса, не вовлекать его в хаос действия, происходящего на сцене, а напротив — обращаться к его разуму, к его сознанию. Поэтому Брехт был противником неумеренной эмоциональности, бурных, иногда искусственно взвинченных проявлений актёрского темперамента.

Брехт был художником мысли и как режиссёр и как драматург. В своих пьесах — исторических драмах, сатирических, социально-критических комедиях, дидактических притчах, сценических легендах и сказках, произведениях с традиционными и заново переосмысленными сюжетами — Брехт всегда стремился быть социалистическим просветителем народных масс.

Пафос художественного творчества Брехта всегда находился в полном соответствии с пафосом его общественной деятельности. Он был активным участником движения сторонников мира, членом Всемирного Совета Мира, лауреатом международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами». Последним словом Брехта, обращённым к общественности, было его письмо к западногерманскому бундестагу, письмо протеста против введения воинской повинности. «Ныне, на пороге старости, — писал Брехт, — я слышу, что воинская повинность должна быть введена в третий раз. Против кого же планируется третья война? Против французов? Против поляков? Против англичан? Против русских? И ли прот и в нем же в?»

В лице Бертольта Брехта человечество потеряло выдающегося мастера культуры и страстного борца за мир и социальный прогресс.

Ниже мы печатаем (впервые на русском языке) пьесу Брехта «Господин Пунтила и его слуга Матти».

Право первой постановки пьесы принадлежит Московскому театру сатиры.

ПРОЛОГ

Почтенная публика! В наши дни
 беззаботны лишь дураки одни.
 Но и умным не грех посмеяться подчас.
 Потому мы комедию ставим для вас.
 А уж смех наш — пусть зритель будет утешен —
 не на весах аптекарских взвешен.
 Мы отвалим его, как картофель, тоннами,
 чтобы в зале вы не сидели сонными.
 А иногда — признаемся в том —
 нам придётся орудовать и топором.
 Итак, дорогие друзья, теперь
 вам будет показан допотопный зверь,
 или помещик-аграрий
 из семейства прожорливых и бесполезных тварей.
 В местах, где поныне водится он,
 хозяйству сельскому — крайний урон.
 Вы в этом легко убедитесь сами.
 Сейчас он появится перед вами
 в одной небольшой, но хорошей стране.
 В какой? Вы из пьесы поймёте вполне.
 А если кто не поймёт, быть может,
 то пусть его это и не тревожит.
 Не всё ли равно, какая страна, —
 важно, что существует она.
 Вот этот край. Он вам незнаком.
 Звенят бидоны с парным молоком.
 По берёзовым рощам тянется стадо за стадом.
 Белая ночь над задумчивым спит водопадом.
 Деревни розовые тихи.
 Кукарекают ранние петухи.
 Поутру над крышами сизый кружится дым.
 Я надеюсь, мы всё это отобразим,
 чтоб не быть перед вами в долгу,
 в нашей пьесе про господина Пунтилу и его слугу¹.

Картина первая

ПУНТИЛА НАХОДИТ НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

Отдельный кабинет в ресторане гостиницы в парке Тавастус. Помещик Пунтила,
 судья и официант. Пьяный судья падает со стула.

Пунтила. Эй, кельнер! Сколько мы здесь находимся?

Официант. Уже два дня, господин Пунтила.

Пунтила (с упрёком судьбе). Вот видишь, два денька всего, и ты готов! А я только-только собрался распить с тобой бутылочку и высказать своё мнение о нашем парламенте... Да и о себе самом... Ведь я один как перст. А ты делаешь вид, что скапутился. Все вы такие: стоит вам только малость потрудиться — и тут же с копыг долой. Духом-то вы крепки, а плоть — никуда. К примеру, доктор. Вчера он бросал вызов всему свету — один против всех готов был идти. А куда он девался? Его уже унесли отсюда. Начальник станции был при этом. А где теперь сам начальник? И этот тоже вчера был готов, ровно в семь часов. Да ещё бормотал, что героически сопротивлялся, что не хотел, мол, сдаваться. Апте-

¹ Перевод стихов Льва Гинзбурга. (Ред.)

карь видел, как было дело. Да, кстати, куда пропал аптекарь? И его нет? Ну люди! А ещё слынут у нас в округе важными персонами. Нет, я в них разочаровался. Не по пути мне с ними. *(Снова обращается к спящему судье.)* Какой пример они подают народу? Что можно требовать от простого люда, если судья не в состоянии лишний раз завернуть в трактир! Это тебе и на ум не приходило, наверное? Ленивого работника — вздумай он только прохладиться на моём поле так, как ты прохладяешься за столом, — я бы прогнал в два счёта. И сказал бы ему: «Я паучу тебя, собака, выполнять свой долг...» Почему, Фредерик, ты не подумаешь, какая ответственность лежит на образованных людях? Ну вот, таких, как ты... Ведь мы должны подавать пример выдержки. Ведь мы за всех в ответе. Возьми себя в руки! Посиди со мной. Давай поговорим. Неужели у тебя не хватит на это силёнок? *(Обращаясь к официанту.)* Какой сегодня день?

Официант. Суббота, господин Пунтила.

Пунтила. Странно... По-моему, сегодня должна быть пятница.

Официант. Извините, но сегодня суббота.

Пунтила. Ах так! Не смей возражать! Впрочем, ты мне нравишься, ты кельнер что надо. Грубишь своим гостям, чтобы скорее спровадить их. Но не беспокойся, я ещё закажу водку. Слушай меня внимательно, не то ты снова перепутаешь всё на свете: мне нужна ещё бутылка водки и пятница. Тащи сюда водку и пятницу. Понял?

Официант. Так точно, господин Пунтила. *(Убегает.)*

Пунтила *(к судье)*. Вставай, нюня! Не дело бросать меня одного. Разве мы можем отступить перед какой-то парочкой бутылок. И всего-то ты выпил каплю. Я вёл нашу лодку по волнам спирта, а ты ухитрился епрятаться на самое дно её. Ты даже не осмелился взглянуть за борт. Стыдись! Смотри, я вылезая из лодки и шествую по волнам. А разве я тону... *(Замечает Матти, своего шофёра, который уже некоторое время стоит у двери.)* Кто ты есть?

Матти. Ваш шофёр, господин Пунтила.

Пунтила *(недоверчиво)*. Кто? Повтори!

Матти. Ваш шофёр.

Пунтила. Это каждый может сказать. Я тебя что-то не узнаю.

Матти. Очень может быть. Возможно, вы так и не успели разглядеть меня как следует. Ведь я служу у вас всего пять недель.

Пунтила. А откуда ты сейчас взялся?

Матти. С улицы. Я жду вас в машине уже двое суток.

Пунтила. В какой ещё там машине?

Матти. В вашей. В студебсккере.

Пунтила. Очень странно. А как ты можешь доказать это?

Матти. Да будет вам известно, что я не собираюсь больше ждать на улице. Баста! Я сыт по горло. Так не обращаются с людьми.

Пунтила. Что значит — с людьми? Разве ты человек? Ты ведь только что сам сказал, что ты шофёр. Вот я тебя и поймал! Верно? Признавайся!

Матти. Придётся вам доказать, господин Пунтила, что я человек. Не позволю я, чтобы со мной обращались, как со скотиной. И не буду больше ждать на улице, пока вы сообразоволяете выйти отсюда.

Пунтила. Значит, ты утверждаешь, что твоему терпению конец?

Матти. Да. Давайте расчёт. Уплатите мне сто семьдесят пять марок, а свидетельство я получу в имении.

Пунтила. Твой голос мне знаком. *(Он ходит вокруг Матти, рассматривая его, словно это какой-то диковинный зверь.)* Он действительно звучит совсем по-человечески. Садись-ка, выпей рюмку. Мы должны узнать друг друга поближе.

Официант *(входит с бутылкой)*. Пожалуйста, вот водка, господин Пунтила, и пятницу я вам тоже обеспечил.

Пунтила. Правильно. *(Показывая на Матти.)* Это мой друг.

Официант. Так точно. Это ваш шофёр, господин Пунтила.

Пунтила. Значит, ты действительно шофёр? Я всегда говорю, что в дороге можно встретить интереснейших людей. Наливай!

Матти. Любопытно, что вам опять взбрело в голову. Не знаю, стоит ли мне пить с вами.

Пунтила. Я вижу, ты недоверчивый человек. Я понимаю тебя. Не следует выпивать с незнакомыми. А почему? Да потому, что, если ненароком уснёшь, могут обчистить. Но меня ты не бойся — я Пунтила из Ламми, парень честный! У меня девяносто коров. Со мной, брат, можешь пить спокойно.

Матти. Прекрасно. А я Матти Альтонен. Очень рад познакомиться с вами. *(Чокается и выпивает.)*

Пунтила. Я тоже рад. У меня, знаешь, сердце доброе. Как-то я поднял на дороге жука, чтобы не раздавить его, и унёс в лес. По-моему, я даже чересчур добрый. Я позволил ему вскарабкаться на прутик. Мне кажется, у тебя тоже доброе сердце. Знаешь, я не выношу, когда люди пишут «я» с большой буквы. Их надо за это наказывать плетьюми. Частенько встречаются хозяева, которые готовы отнять последний кусок хлеба у своего батрака. А по мне, так лучше всего, когда мой работник каждый день ест мясо. Ведь он тоже человек и не прочь полакомиться жирным куском. А ты какого мнения на этот счёт?

Матти. Такого же.

Пунтила. Неужели я вправду заставил тебя ждать два дня на улице? Это нехорошо с моей стороны. Мне очень неприятно. Прошу тебя, Матти, если я поступлю так ещё раз, возьми гаечный ключ и стукни меня разок по башке! Ведь ты мне друг, Матти?

Матти. Нет.

Пунтила. Благодарю тебя. Я ждал, что ты так ответишь, Матти. Погляди мне в глаза! Что ты там видишь?

Матти. Если сказать правду, то я вижу вот что: передо мной толстый чурбан, к тому же в стельку пьяный.

Пунтила. Теперь ты поймёшь, как обманчива внешность. Я, Матти, не такой. Я просто больной человек.

Матти. Очень больной.

Пунтила. Ты меня обрадовал, Матти. Это не всякий сразу заметит. Посмотришь на меня — и никак не догадаешься. *(Мрачнеет, пристально смотрит на Матти.)* А я ведь припадочный.

Матти. Неужели?

Пунтила. Да, тут уж, друг, не до смеха... Самое меньшее раз в три месяца на меня находит. Проснёшься вдруг совершенно трезвый, ни в одном глазу. Что ты на это скажешь?

Матти. А что, припадки трезвости случаются с вами регулярно?

Пунтила. Регулярно. Это происходит обычно так: я абсолютно нормален, одним словом, такой, как сейчас. То есть полностью владею всеми своими чувствами, ясной памятью и ясным рассудком. Но затем на меня находит. Начинается обычно с того, что у меня пошаливает зрение. Вместо двух вилок *(поднимает одну вилку)* я вижу одну.

Матти *(с деланным ужасом)*. Значит, вы наполовину слепнете.

Пунтила. Да, всё на свете я вижу только наполовину. А бывает ещё хуже. Я становлюсь настоящим скотом. У меня перестают действовать сдерживающие центры. Что я творю в это время, братец, просто непостижимо. И всему причиной эта дурацкая, никому не нужная трезвость. Знаешь, как это горько мне — человеку с таким чувствительным сердцем. Ведь я сознаю при этом, что болен. *(С ужасом в голосе.)* Я тогда совершенно вменяемый человек. А тебе известно, голубчик, что значит быть вменяемым? Вменяемый человек на всё способен. Он, например, перестаёт

заботиться о благе своего собственного ребёнка. Он не понимает, что такое дружба. Он готов перешагнуть через свой собственный труп. И всё это только потому, что он вменяем, как выражаются судейские...

М а т т и. Почему же вы не боретесь со своими припадками?

П у н т и л а. Как не борюсь? Борюсь, насколько в силах человеческих. Борюсь больше, чем я, никто не сможет. (*Берёт в руки стакан.*) Вот моё единственное лекарство. И я его проглатываю, не моргнув глазом. Можешь поверить, лекарство это я принимаю никак не по чайной ложечке. Если я вообще могу чем-нибудь похвастать, так только тем, что борюсь против трезвости, как настоящий мужчина. Да что толку? Припадки всё равно повторяются. Ты ж сам видел, как грубо я с тобой обошёлся! А ведь ты замечательный парень! Ешь! Я бы хотел знать, какой счастливый случай свёл меня с тобой. Как ты попал ко мне?

М а т т и. Меня уволил прежний хозяин. Хотя я, правда, ни в чём не провинился.

П у н т и л а. Но всё-таки за что?

М а т т и. Мне являлись привидения.

П у н т и л а. Настоящие?

М а т т и (*пожимает плечами*). Да. Это было в имени господина Папмана. Даже непонятно, откуда там взялась нечистая сила! До меня у них никто и не слыхивал о привидениях. Если вы вправду хотите знать, в чём дело, то я расскажу. Привидения появились потому, что хозяйка кормила работников чёрт знает чем. А при чём здесь привидения, спросите вы? А вот при чём: когда тебя каждый день кормят одной баландой, у тебя становится тяжело в желудке. А когда тяжело в желудке, то и сны тяжёлые. Даже кошмары мучают. Я лично совершенно не переношу дрянной пищи. Я уж начал было подумывать, не уволиться ли мне. Но в то время не подвёртывалось другой работы. И вот я стал рассказывать на кухне всякие мрачные истории. И что вы думаете? Скоро судомойкам померещилось, что по вечерам на заборе торчат детские головки. Девушки сразу же уволились. Потом случилась история с серым шаром. Он прикатывался из конюшни. И был точь-в-точь человечья голова. Коровница упала в обморок, когда я ей только шепнул об этом. А горничная, как только услышала, что часов в одиннадцать вечера у бани прохаживался чёрный человек, держа свою голову под мышкой, и просил у меня огня, чтобы зажечь трубку,— так сразу же потребовала расчёта. Ну, а господин Папман поднял крик. Он клялся, что привидений у него сроду не водилось, и уверял, что прислуга разбежалась из-за меня. Но я ему сказал, что он жестоко ошибается. Ведь я собственными глазами видел, как из окна комнаты, где живёт скотница, вылезал белый призрак и поднимался в комнату господина Папмана. Так было две ночи подряд. И это случилось, между прочим, как раз тогда, когда моя хозяйка, госпожа Папман, находилась в родильном доме. Против этого господин Папман уж ничего не смог возразить. И всё же он уволил меня. На прощание я ему сказал, что если он возьмётся за ум и начнёт лучше кормить работников, то привидения немедленно исчезнут. Потому что призраки — это уж как пить дать — не выносят запаха мясного.

П у н т и л а. Понятно. Ты потерял место из-за того, что хозяйка экономил на еде для прислуги. Я тебя не осуждаю за то, что ты любишь покушать. Для меня важно другое — ты должен хорошо водить трактор, не быть смутьяном и ценить своего хозяина Пунтилу. Добра у Пунтилы на всех хватит. Его у меня как деревьев в лесу — не счесть! Отчего же не жить в добром согласии? С Пунтилой всегда можно договориться. (*Поёт.*)

Зачем, голубка, судишься со мной, на самом деле?

Ведь мы с тобою никогда не спорили в постели!

...С какой радостью валил бы Пунтила вместе с вами деревья, убирал

камни с полей, водил трактор. Но разве мне позволят такое? На меня прямо-таки надели ярмо. Это ярмо стёрло оба мои подбородка. «Ах, папа пашег?! Но ведь это неприлично... Папа щиплет девушек?! Неприлично! Папа пьёт кофе с работниками?! Это тоже неприлично». Оказываешь, всё это мне не подobaет делать. Но я решил: буду делать, что мне нравится, пусть это им и не нравится. Я специально еду сейчас в Кургелу, хочу договориться о помолвке дочки с господином атташе. Когда они поженятся, можно будет позволить себе хотя бы снять за обедом пиджак. Некому будет блюсти мою нравственность. А Клинкманша будет молчать. Я её быстро, быстро... и баста. А вам всем я дам прибавку. С лесом я не расстанусь. Его хватит на всех и на хозяина Пунтилы тоже.

М а т т и (*смеётся громко и долго, затем говорит*). Ну и дела! А теперь успокойтесь. Пора разбудить господина старшего судью. Только осторожно, не то он с перепугу засудит нас на сто лет...

П у н т и л а. Значит, наши разногласия улажены? Нас уже больше не разделяет пропасть? Скажи мне, что нас больше не разделяет пропасть!

М а т т и. Ваши слова для меня закон, господин Пунтила. Между нами нет больше разногласий.

П у н т и л а. Теперь, брат, мы должны поговорить о деньгах.

М а т т и. Безусловно.

П у н т и л а. Но говорить о деньгах недостойно!

М а т т и. Тогда не будем говорить о деньгах.

П у н т и л а. И опять ты не прав. Почему, спрашиваю я, мы должны быть обязательно достойными? Мы же свободные люди!

М а т т и. Нет.

П у н т и л а. Да! Мы свободные люди. И имеем право делать всё, что угодно. А теперь нам угодно стать недостойными. Иначе никак не сколотить приданого для единственной дочери. Надо смотреть правде в лицо, надо взвесить все обстоятельства спокойно, холодно и, конечно же, выпив как следует. У меня есть две возможности. Либо продать лес, либо продать самого себя. Что ты мне посоветуешь?

М а т т и. Я бы скорее предпочёл продать лес, чем самого себя.

П у н т и л а. В таком случае, ты не понимаешь, что значит продать лес. Я в тебе совершенно разочаровался. Да знаешь ли ты вообще, что такое лес? Для меня лес — это не просто десять тысяч сажен дров. Зелёный лес приносит человеку радость. Значит, ты хочешь продать человеческую радость? Стыдись, брат!

М а т т и. Тогда продавайте себя.

П у н т и л а. И ты, Брут! Ты в самом деле хочешь, чтобы я продал себя?

М а т т и. А кому это вы продадите себя?

П у н т и л а. Госпоже Клинкман...

М а т т и. Это коготорой же? Тётке атташе? Из Кургелы? Мы ведь туда едем?

П у н т и л а. Она ко мне равнодушна.

М а т т и. И вы хотите продать ей себя? Вот ужас!

П у н т и л а. Никакого ужаса! А впрочем, ведь я потеряю свободу, брат? И всё же придётся пожертвовать собой. Стоит ли дорожиться?

М а т т и. Правильно.

С у д ь я просыпается. Он ищет звонок. Но звонка нет. Тем не менее он трясёт рукой, словно держит колокольчик.

С у д ь я. Соблюдайте тишину в зале!

П у н т и л а. Он думает, что находится в зале суда. А почему? Да потому, что он привык спать в суде. Ну, брат, ты уже решил, что лучше: такие леса, как мои, или такой человек, как я? Ты замечательный па-

рень! Возьми-ка мой бумажник, заплати за водку и положи его себе в карман, а то я его ещё потеряю. *(Показывает на судью.)* Поднять его и вынести!.. Я всё теряю. Я хочу, чтоб у меня вообще ничего не было. Так будет лучше. Деньги скверно пахнут, заметь себе это. Я хочу быть гол, как сокол. Вот тогда мы побродим по нашей прекрасной стране. В крайнем случае можно и поездить на маленьком автомобильчике. Немножко бензину мы всюду перехватим. А если устанешь, можно завернуть в первый попавшийся трактир, такой, как этот, и выпить по стаканчику. Деньги ты сможешь заработать колкой дров. Это тебе ничего не стоит.

Уходит. М а т т и выносит с у д ь ю.

Картина вторая

ЕВА

Холл в поместье Кургела. Е в а П у н т и л а в ожидании отца ест шоколад. Наверху, на лестнице, появляется совершенно сонный атташе А й н о З и л а к а.

Е в а. Можно себе представить, как расстроена госпожа Клинкман.

А т т а ш е. Тётя никогда серьёзно не расстраивается. Я ещё раз звонил и справлялся о них. Через деревню проехала какая-то машина, в ней горланили двое мужчин.

Е в а. Это они. Одно хорошо — моего отца ни с кем не спутаешь. Я всегда знаю, когда речь заходит о нём. Если какой-нибудь мужчина гонялся с кнутом за работником или дарил первой попавшейся бобылке автомобиль, то мне уже сразу ясно, что это отец.

А т т а ш е. Да, но ведь здесь он не у себя в Пунтиле... Я только опасаюсь скандала. В арифметике я, конечно, не силен. Даже не знаю, сколько литров молока продаёт такое поместье, как ваше; молока я вообще не пью, но зато у меня особый нюх на скандалы. Когда атташе французского посольства в Лондоне выпил подряд восемь рюмок коньяку и, обращаясь через весь стол к герцогине фон Катрамплъ, крикнул ей, что она шлюха, я немедленно сказал: быть скандалу. И я оказался прав... По-моему, это они. Я немного устал, Ева. Позволь мне удалиться. *(Быстро уходит.)*

Ворота с шумом распахиваются. В холл въезжает студебеккер Пунтилы. В машине — П у н т и л а, с у д ь я и М а т т и.

П у н т и л а. Ну вот и прибыли. Не надо поднимать шума. Никого не буди. Мы разопьём бутылочку в своей компании и ляжем спать. Ну, а как ты? Счастлива?

Е в а. Мы ждём вас уже три дня.

П у н т и л а. Нас задержали в дороге. Но мы всё довели в целости и сохранности. Возьми чемодан, Матти. Надеюсь, там всё в порядке? Ты ведь держал его всю дорогу на коленях. Ничего не разбилось? А то мы умрём от жажды. Мы очень торопились. Я всё время помнил о том, что ты нас ждёшь.

С у д ь я. Тебя можно поздравить, Ева?

Е в а. Папа, ты невыносим. Целую неделю я торчу в чужом доме в обществе атташе и его тётки и читаю старый роман. Я умираю от скуки.

П у н т и л а. Мы очень торопились. Я всё время торопился и убеждал их: нам нельзя опаздывать. Мне ведь ещё нужно кое о чём переговорить с атташе в связи с помолвкой. Счастье, что ты была не одна, а с ним. Нас всё время задерживали. Смотри за чемоданом, Матти, как бы с ним чего не случилось. *(С необычайной осторожностью помогает Матти вынуть из машины чемодан.)*

С у д ь я. Ты поссорилась с атташе? Почему ты жалуешься, что мы бросили тебя одну?

Е в а. О, я право не знаю. С ним, по-моему, даже и поссориться невозможно.

Судья. Слушай, Пунтила, на мой взгляд, Ева совсем не в восторге от своего жениха. Она уверяет, что с ним нельзя даже посориться. У меня однажды слушалось бракоразводное дело. Жена подала жалобу на мужа — она никак не могла вывести его из себя. А бедняжка так старалась. Она даже кидала в него настольную лампу. Эта женщина чувствовала себя совершенно заброшенной.

Пунтила. Так. Всё хорошо, что хорошо кончается. А любое дело, за которое берётся Пунтила, кончается хорошо. Ты действительно не чувствуешь себя счастливой? Впрочем, это и понятно. Если хочешь знать моё мнение, не выходи замуж за атташе. Разве это мужчина?

Ева (*замечает, что разговор происходит в присутствии улыбающегося во весь рот Матти*). Что я, собственно, сказала? Только то, что сомневаюсь, не будет ли мне скучно с атташе.

Пунтила. Вот этого-то я как раз и боялся. Выходи лучше замуж за Матти. С ним никогда не соскучишься.

Ева. Ты, папа, невозможен. Ведь я ничего такого не сказала. Я сказала только, что сомневаюсь. (*Обращаясь к Матти.*) Отнесите чемодан наверх.

Пунтила. Стой! Сначала вынь бутылку или лучше уж сразу две. Только за бутылкой вина можно выяснить, подходит ли мне атташе. Надеюсь, ты уже обручилась с ним?

Ева. Нет, мы и не говорили о таких вещах. (*К Матти.*) Не открывайте чемодан.

Пунтила. Что? Так вы ещё не обручились? За три дня-то? Чем же вы тогда занимались? Такой человек меня совершенно не устраивает! Я могу обручиться за три минуты. Давай его сюда! И позови кого-нибудь из прислуги. Я ему покажу, как можно в одну секунду обручиться с первой же кухаркой. А ты, Матти, вынь бургундское или, ещё лучше, ликёр.

Ева. Нет, хватит с тебя! (*К Матти.*) Отнесите чемодан в мою комнату, от лестницы вторая направо.

Пунтила (*встревожен, так как Матти берёт чемодан*). С твоей стороны это нехорошо, Ева. Не можешь же ты запретить отцу утолить жажду. Обещаю тебе, что мы с Фредериком очень чинно разопьём эту бутылочку в компании кухарки или горничной. Фредерика тоже мучает жажда. Ну, разреши же нам, будь человеком!

Ева. Вот почему я и не ложилась спать: я знала, стоит тебе только появиться, и ты поднимешь на ноги всю прислугу.

Пунтила. Я могу посидеть и с госпожой Клинкман. Уверяю тебя: она не откажется. Кстати, где она? Фредерик всё равно очень устал, пусть он идёт наверх. А мы побеседуем кое о чём с госпожой Клинкман. Так или иначе, я это собирался сделать. Мы ведь всегда питали слабость друг к другу.

Ева. Успокойся. Госпожа Клинкман уже и так взбешена из-за того, что ты прибыл на три дня позже. Я сомневаюсь, что ты вообще увидишь её завтра.

Пунтила. Сейчас я к ней зайду и всё улажу. Я-то знаю, чего ей надо. А ты, Ева, в этом ничего не смыслишь.

Ева. Я смыслю вполне достаточно. Ни одна женщина не захочет разговаривать с тобой, пока ты в таком виде. (*Обращаясь к Матти.*) Отнесите чемодан наверх. С меня хватит и этих трёх дней.

Пунтила. Не глупи, Ева. Если не хочешь, чтобы я подымался к госпоже Клинкман, вызови ту маленькую толстуху. Это, кажется, их эконома. Я могу побеседовать кое о чём и с ней.

Ева. Не выводите меня из себя, папа. А то я сама понесу чемодан наверх. Смотри, чтобы я нечаянно не уронила его на лестнице. (*Пунтила встаёт, он в ужасе. Матти уносит чемодан. Ева идёт за ним.*)

Пунтила (*тихо*). Так вот, значит, как дочь обращается со своим собственным отцом! (*Он резко поворачивается и садится снова в машину.*) Фредерик, садись!

Судья. Что ты ещё выдумал, Иоганнес?

Пунтила. Я уезжаю отсюда, мне здесь не нравится. Почему, спросишь ты? Я тебе отвечу: я ехал сюда, торопился. Явился среди ночи. А как меня здесь встретили?! С распростёртыми объятиями? Как бы не так. Помнишь притчу о блудном сыне? Меня тоже объявили блудным сыном, только, вместо того чтобы заколоть в мою честь тельца, меня осыпали градом упрёков. Нет, прочь отсюда!

Судья. Куда? Зачем?

Пунтила. И ты ещё спрашиваешь? Не понимаю тебя. Родная дочь не даёт мне выпить. Что же мне ещё остаётся делать, как не уехать среди ночи! Авань кто-нибудь сжалится надо мной и даст бутылку-другую.

Судья. Образумься, Пунтила. Разве в половине третьего ночи можно достать вино? В такое время продажа спиртного без рецепта запрещена законом.

Пунтила. И ты меня покинул? Выходит, я уже не в состоянии достать выпивку законным путём? Увидишь, я хоть из-под земли достану вполне законную водку. В любое время дня и ночи.

Ева (*появляется на лестнице*). Папа, сейчас же выходи из машины!

Пунтила. Помолчи, Ева! Надо почитать отца с матерью. Только тогда долго проживёшь на свете! (*Крайне возбуждён. Встаёт в машине.*) Нечего сказать, хорош дом! У гостей в этом доме могут все кишки пересохнуть. Выпить не дают. Побеседовать с какой-нибудь дамой тоже не дают. Но ты не беспокойся, я найду, с кем побеседовать. А Клинкманше можешь передать, что она мне не нужна. Можешь передать ей, что она для меня — тьфу! Глупая старая дева, у которой в голове не все дома. Ну, а теперь я отчаливаю. Дорогу Пунтиле! Пусть дрожит земля от страха, а все повороты выпрямляются! (*Одним рывком выезжает из холла задним ходом.*)

Ева (*спускаясь*). Эй, вы, задержите его!

Матти (*идёт за ней*). Поздно. Он чересчур прыткий.

Судья. По-моему, мне нет смысла дожидаться его. Мои годы уже не те, Ева. Думаю, что с ним ничего не случится. Он ведь родился в сорочке. Где моя комната? (*Идёт наверх.*)

Ева. От лестницы третья. (*Обращаясь к Матти.*) Теперь мы можем спокойно ждать его. А когда он вернётся, надо следить за тем, чтобы он не пил с прислугой и вообще не был слишком фамильярен с ней.

Матти. Да, излишняя фамильярность с прислугой ни к чему хорошему не приводит. Когда я работал на бумажной фабрике, швейцару пришлось попросить расчёт, потому что директор очень заинтересовался его сыном.

Ева. Зная слабости отца, кое-кто пытается злоупотреблять ими. Он чересчур добр...

Матти. Да, к счастью, он частенько напивается до чёртиков и действительно становится добрым. Тогда он даже своих чёртиков готов пригласить, вот как он добр.

Ева. Так не говорят о хозяине. Мне это не нравится. Я хочу, например, чтобы вы не поняли буквально его слов об атташе. Болтать об этом, во всяком случае, не следует. Ведь отец сказал это просто в шутку.

Матти. О чём болтать? О том, что атташе не мужчина? А кто знает, что такое мужчина? На этот счёт существуют разные мнения. Когда-то я служил на пивоваренном заводе. У хозяйки была дочь. Однажды зовёт меня эта барышня в купальню и велит принести ей купальный халат. Она, видите ли, очень стыдливая. «Принесите мне халат, — говорит

она, стоя совсем нагишом, — а то мужчины пляят на меня глаза, когда я вхожу в воду».

Е в а. Не понимаю, что вы хотите этим сказать?

М а т т и. Ровным счётом ничего. Я говорю просто для того, чтобы сократить время и развлечь вас. Когда я беседую с хозяевами, то никогда не выражаю своих мнений и взглядов. Ведь мне давно известно: хозяева терпеть не могут, если у слуг есть какие-то мнения или взгляды.

Е в а (*после краткой паузы*). В дипломатических кругах с атташе очень считаются. Перед ним открывается блестящая карьера, этого не следует забывать. Среди молодых дипломатов он один из самых умных.

М а т т и. Понятно.

Е в а. То, что я говорила раньше в вашем присутствии, означало лишь одно: мне было не так весело с атташе, как предполагал отец. Но какое вообще имеет значение, интересен ли мужчина как собеседник?

М а т т и. Я знал одного господина. Он был на редкость неинтересным собеседником. И всё же сумел нажить миллион на маргарине и сале.

Е в а. Наша помолвка — дело решённое. Мы знакомы с детства. Одно меня смущает — я, пожалуй, слишком живая натура и не привыкла скучать.

М а т т и. Этого я не сказал.

Е в а. И поэтому вы сомневаетесь? Не знаю, почему вы не хотите понять такую простую вещь. Вы, наверное, устали? Почему бы вам не пойти спать?

М а т т и. Не хочу лишать вас общества.

Е в а. Об этом не беспокойтесь. Мне хотелось бы лишь подчеркнуть, что атташе в высшей степени интеллигентный и достойный человек. О нём нельзя судить ни по внешнему виду, ни по его словам и поступкам. Ко мне он очень внимателен. Он буквально угадывает каждое моё желание. И он никогда не будет вульгарен или излишне фамильярен. Свои мужские качества он тоже не выставляет напоказ. Я о нём очень высококого мнения. Но вас, кажется, клонит ко сну?

М а т т и. Продолжайте говорить. Я закрываю глаза, чтобы лучше сосредоточиться.

Картина третья

ПУНТИЛА ПРАЗДНУЕТ ПОМОЛВКУ С ДЕВУШКАМИ, КОТОРЫЕ РАНО ВСТАЮТ

Раннее утро. Деревенская площадь. Деревянные домики. На одном вывеска «Почта», на другом — «Ветеринар», на третьем — «Аптека». В центре площади высится телеграфный столб. Пунтила наехал на столб и бранится с ним.

Пунтила. Дорогу Пунтиле! Как ты смеешь, собака, мешать Пунтиле? Кто ты такой? Есть ли у тебя лес? Имеешь ли ты коров? Ах, нет? Тогда назад! Не то позову полицейского и скажу, чтоб он быстро забрал тебя. Ведь ты «красный». Вот тогда ты начнёшь выкручиваться, но будет поздно. (*Выходит из машины.*) Ну вот, давно пора посторониться.

Подойдя к одному из домиков, стучится. Эмма-самогонщица выглядывает из окна.

Пунтила. Доброе утро, сударыня! Как спали, уважаемая? У меня к вам, сударыня, есть маленькое дельце. Я помещик Пунтила из Ламми. Мне законным путём надо достать спирт для моих коров. Понимаете, беда какая — заболели все скарлатиной, да в такой тяжёлой форме! Где изволит проживать ваш ветеринар? Если ты мне не ответишь сейчас же, я разнесу в щепки весь твой дерьмовый домишко.

Эмма-самогонщица. Что с вами? Вы прямо не в себе! Наш ветеринар живёт совсем близёхонько. Если я правильно поняла, господину нужен спирт. Спирт есть и у меня — отличный, крепкий спирт. Я его сама гоню.

Пунтила. Убирайся, чёртова баба! Как ты смеешь предлагать мне незаконный спирт? Я пью только законный. Любой другой моя глотка не примет. Я скорее умру, чем стану на путь нарушителей законов. Даже если я захочу кого-нибудь убить, я и это сделаю по закону. Иначе я не желаю...

Эмма-самогощица. Пусть вас, сударь, хватит кондрашка от вашего законного спирта! *(Исчезает в своём домике.)*

Подбежав к дому ветеринара, Пунтила звонит. Из окна высовывается ветеринар.

Пунтила. Эй, лекарь! Наконец-то я тебя нашёл! Я помещик Пунтила из Ламми. У меня девяносто коров, и все девяносто больны scarлатиной. Мне нужно как можно быстрее получить законный спирт.

Ветеринар. По-моему, вы ошиблись адресом... Отправляйся-ка по добру-поздорову, парень.

Пунтила. Как ты смеешь так грубить мне, даже если ты и вправду ветеринар! А может, ты и не ветеринар вовсе? Иначе бы ты знал, что Пунтиле никто не посмеет ни в чём отказать, тем более, если у него коровы больны scarлатиной. Я говорю чистую правду. Ведь я же не сказал тебе, что у моих коров сап. Это было бы ложью. Но раз я говорю, что мои коровы больны scarлатиной, то образованный человек сразу должен понять, в чём дело. Ведь это намёк.

Ветеринар. Ну, а если я не понимаю твоих намёков?

Пунтила. А раз не понимаешь, то придётся доложить тебе, что Пунтила самый отчаянный драчун во всей округе. Об этом даже песня сложена. На счету Пунтилы уже три ветеринара. Теперь-то ты, надеюсь, понял меня, господин ветеринар?

Ветеринар *(смеясь)*. Теперь понял. Ежели вы и вправду такой все-сильный, то, конечно, получите рецепт. Только я не уверен, что коровы действительно больны scarлатиной.

Пунтила. Они уже покрылись красными пятнами. А две коровы — даже чёрными. Наверное, болезнь приняла опасный оборот? Голова у них прямо разламывается. Они не могут сомкнуть глаз от бессонницы. Всю ночь напролёт переваливаются с боку на бок и каются в своих грехах.

Ветеринар. Раз так, мой долг — облегчить их участь. *(Бросает Пунтиле рецепт.)*

Пунтила. А счёт пришли мне в Пунтилу, в Ламми!

Пунтила подбегает к аптеке и громко звонит. Из своего домика выходит Эмма-самогощица.

Эмма-самогощица *(полощет бутылки и поёт)*:

А когда созрели сливы,
Прикатил в деревню к нам
Развесёлый да красивый
Кавалер — губитель дам.

Идёт обратно в свой домик. Из окна аптеки выглядывает Аманда-продавщица.

Аманда-продавщица. Не оборвите звонок.

Пунтила. К чёрту звонок! Разве можно дожидаться столько времени! Цып-цып-цып, моя птичка! Мне нужен спирт для коров, для девяноста коров, толстущечка!

Аманда-продавщица. По-моему, вам скорее нужен полицейский. Я его сейчас позову.

Пунтила. Ах, детка, детка! Звать полицейского, когда к тебе пришёл сам Пунтила из Ламми! Одного полицейского для меня мало, зови тогда сразу двух. Но зачем тебе, собственно говоря, полицейские? Полицейских я люблю. У них всё в порядке — у каждого по две крепких ноги,

а на ногах по пяти пальцев. И у меня всё в порядке! (*Передаёт ей рецепт.*) Здесь, моя голубка, всё по закону и в полном порядке.

Аманда-продавщица уходит за спиртом. Пунтила ждёт. В это время снова выходит Эмма-самогонщица.

Э м м а-с а м о г о н щ и ц а (*поёт*):

А когда мы рвали сливы,
То прилёт он у плетня
И невиданное диво
Вдруг увидел у меня.

Возвращается обратно в свой домик. Аманда-продавщица приносит спирт.

Аманда-продавщица (*смеясь*). Вот вам самая большая бутылка. Надеюсь, когда ваши коровы будут опохмеляться, они получают ещё и селёдку! (*Передаёт ему бутылку.*)

Пунтила. Глоток, глоток, глоток-ток-ток! Вот это, я понимаю, музыка. Лучшей музыки на всём свете не услышишь. Боже мой, я чуть было не забыл о самом главном! Ведь теперь у меня есть вино, но нет девушки. А у тебя нет ни винца, ни ухажёра. Прелестная барышня, я хотел бы с тобой обручиться!

Аманда-продавщица. Премного благодарна, господин Пунтила из Ламми. Но и я обручусь только по всем правилам. Для помолвки нужны кольца и вино.

Пунтила. Согласен. Ты только обручись со мной. Тебе уже давно пора обручиться. Расскажи мне про себя. Как ты живёшь? Раз я с тобой обручаюсь, мне нужно всё знать.

Аманда-продавщица. Как я живу? А вот как: четыре года я училась. А теперь аптекарь платит мне меньше, чем кухарке. Половину жалованья я посылаю матери, потому что у неё большое сердце. И у меня тоже большое сердце. Через день я дежурю ночью. Аптекарь пристаёт ко мне. Аптекарьша ревнует. У доктора плохой почерк. Как-то я уже перепутала рецепты. Лекарства портят платье. А одежда, сами знаете, почём теперь. Дружка мне не найти. Полицмейстер, лавочник и книготорговец уже женаты. По-моему, в моей жизни нет ничего хорошего.

Пунтила. Вот видишь! Держись за Пунтилу. На, глотни.

Аманда-продавщица. А где же кольца? Ведь по правилам, кроме вина, нужны ещё кольца.

Пунтила. Разве у тебя нет колец от занавесок?

Аманда-продавщица. Сколько же колец вам нужно — одно или сразу несколько?

Пунтила. Разумеется, мне нужно много колец, деточка. Пунтила любит, чтобы всего было много. Для него одна девушка — раз плюнуть. Понятно?

Э м м а-с а м о г о н щ и ц а (*поёт*):

А когда варила сливу,
Стал шутить со мной дружок
И засовывал игриво
Палец свой ко мне в горшок.

Аманда-продавщица передаёт Пунтиле кольца от занавесок.

Пунтила (*надевая ей кольцо*). Приходи в Пунтилу в следующее воскресенье. У нас будет большая помолвка. (*Идёт дальше. Навстречу ему Лизу-коровница с подойником.*) Стой, голубка! Ты-то как раз мне и нужна. Куда идёшь в такую рань?

Л и з у-к о р о в н и ц а. Дойти коров.

Пунтила. А в коровнике, бедняжка, ты совсем одна. Сидишь себе с подошником меж ног. Разве тебе не хочется иметь мужа? Что за жизнь у тебя? Расскажи мне, как ты живёшь. Ты мне сразу понравилась.

Лизукоровница. Как живу? В пол четвёртого встаю, убираю навоз, чищу скотину. Потом дою коров, потом мою подошники. Сода и наждак разъедают мне руки. Затем я снова убираю навоз. Пью вонючий кофе, потому что он самый дешёвый, заедаю куском хлеба и ложусь спать. К обеду я варю себе картошку с подливой. Мяса я и не нюхаю. Иногда экономка даст мне яичко, или я сама найду. Потом я опять убираю навоз, чищу скотину, дою коров и мою бидоны. За день я должна надоесть сто двадцать литров молока. На ужин я ем хлеб и пью молоко. Мне дают два литра молока в день, а всё остальное я покупаю в имении. Выходной день у меня каждое пятое воскресенье. Но по вечерам я иногда хожу на танцы. Конечно, можно влипнуть, тогда придётся родить ребёнка. А имущество моё — два платья да велосипед...

Пунтила. А у меня имение, паровая мельница и лесопилка. Только жены нет. Как ты на это смотришь, голубка? Вот кольцо. Выпей глоток, и всё будет в порядке, по закону. В следующее воскресенье приходи ко мне в гости, в Пунтилу. Ну как, замётано?

Лизукоровница. Замётано!

Пунтила идёт дальше.

Пунтила. Пройдусь ещё немного. Интересно, есть ли ещё здесь ранние пташки? Перед ними не устоишь: глаза у этих грешниц блестят — ведь они только-только вылезли из своих постелей... До чего ж ещё молод мир!

Подходит к телефонной станции. Там стоит Сандра-телефонистка.

Пунтила. Доброе утро, недремлющее око! Ты ведь всезнайка! Тебе всё известно по телефону. Здравствуй!

Сандра-телефонистка. Здравствуйте, господин Пунтила! Что с вами приключилось в такую рань?

Пунтила. Я ищу невесту.

Сандра-телефонистка. Значит, это из-за вас я названивала полночи по телефону?

Пунтила. Выходит, так. И ты не спала из-за меня полночи, да при том была одна-одинёшенька. Хотел бы я знать, как ты живёшь.

Сандра-телефонистка. Ну что ж, могу рассказать. Мне платят пятьдесят марок. И вот уже тридцать лет я прикована к этой станции. За домом у меня небольшой огород. Там я сажаю картошку. К картошке я прикупаю салаку. А кофе всё дорожает и дорожает. Я первая узнаю обо всём, что случается в деревне и в округе. Вы не можете себе представить, чего только я не знаю! Поэтому-то меня никто не берёт замуж. Я секретарь рабочего клуба. Мой отец был сапожником. Я работаю телефонисткой, жарю картошку и знаю обо всём на свете. Вот и вся моя жизнь.

Пунтила. Пора тебе начинать другую жизнь. Не мешкай. Немедленно посылай телеграмму начальству, что ты выходишь замуж за Пунтилу из Ламми. Вот тебе кольцо и вино. У нас всё по закону. А в следующее воскресенье приходи ко мне в Пунтилу.

Сандра-телефонистка (смеясь). Приду. Я знаю, что вы в этот день празднуете помолвку вашей дочери.

Пунтила (обращаясь к Эмме-самогоннице). Вы, конечно, слышали, сударыня, что я обручаюсь здесь со всеми. Надеюсь, что и вы мне не откажете.

Э м м а с а м о г о н щ и ц а и А м а н д а - п р о д а в щ и ц а (поют):

А как сливу я сварила,
Смылся парень без следа,
Но его я не забыла
И запомню навсегда.

Пунтила. Ну, я еду дальше. Проеду мимо пруда, через лес и всё же явлюсь на ярмарку вовремя. Кис-кис-кис, цып-цып-цып, тавастландские девчонки! Много лет вы зря вставали на заре. Но вот приехал Пунтила, и вы встали не зря. Все сюда! Скорей сюда! Все, кто на рассвете растапливает печи, все, кто возится у своих очагов! Выходите босиком! Только росистая трава слышала ваши шаги, а сейчас и Пунтила их услышал...

Картина четвёртая

СКАНДАЛ В ИМЕНИИ ПУНТИЛЫ

Двор в имении Пунтилы. Баня. Часть её открыта для зрителей. Повариха Лайна и горничная Фина прибывают над дверью щит с надписью: «Добро пожаловать на помолвку».

Через ворота во двор входят Пунтила и Матти с несколькими лесорубами.

Лайна. Добро пожаловать! С возвращением вас в Пунтилу! Фройлен Ева, господин атташе и господин старший судья уже прибыли. Они завтракают.

Пунтила. Прежде всего я хотел бы знать: что происходит с Зуркалой? Почему он пакует вещи?

Лайна. Ведь вы обещали священнику, что вышвырнете его вон, потому что он красный.

Пунтила. Как? Вышвырнуть Зуркалу! Единственного толкового человека в имении! Да ведь у него четверо детей! Что он обо мне подумает? А священник пусть и носа не кажет в мой дом. Какой бессердечный человек! Сейчас же позвать Зуркалу. Я должен извиниться перед ним и его семьёй. И детей пусть приведёт всех. Я хочу перед ними извиниться за то, что причинил им столько огорчений.

Лайна. Это ни к чему, господин Пунтила.

Пунтила (*серьёзно*). Нет, это обязательно надо сделать. (*Показывая на лесорубов.*) Эти господа могут остаться. Принесите им водки, Лайна. Я пошлю их рубить лес.

Лайна. А я думала, что вы продаёте лес.

Пунтила. Кто? Я? Ни за что на свете не продам. Приданое моей дочери — её собственные ляжки, верно? А лесорубов я привёз сюда потому, что не выношу нанимать работников на ярмарке. Если мне надо купить лошадь или корову, я преспокойно отправляюсь на рынок. Но ведь вы-то люди! Разве можно покупать вас на ярмарке! Куда это годится? Верно?

Измощённый лесоруб. Конечно.

Матти. Простите, господин Пунтила, вы не правы. Им требуется работа, а вам требуются рабочие. Вот потому-то вы и заключаете между собой сделку. И где бы это ни происходило — на ярмарке или в церкви, — один чёрт!

Пунтила. Ты что, брат, так смотришь на меня, точно коню в зубы?

Матти. Да что смотреть! Какой уж вы есть, таким и будете.

Пунтила (*указывая на измощённого лесоруба*). А он не так уж плох. Мне нравятся его глаза.

Матти. Я не хочу вам перечить, господин Пунтила, но он для вас не годится. Ему будет не под силу в Пунтиле.

Измощённый лесоруб. Вот ещё новость! Откуда ты взял, что мне будет не под силу?

Матти. Летом здесь работают по одиннадцати с половиной часов. Я хочу, чтобы вы потом не раскаивались, господин Пунтила. Ведь его всё равно придётся прогнать — он не выдержит.

Пунтила. Я пошёл в баню. Пусть Фина принесёт кофе. Пока я буду раздеваться, ты приведи сюда ещё двух-трёх работников, чтобы я смог выбрать. *(Уходит в баню, раздевается. Фина приносит лесорубам водку.)*

Матти *(к Фине)*. Принеси ему кофе.

Рыжий лесоруб. Как живётся в Пунтиле нашему брату?

Матти. Так себе. Молока дают четыре литра. Молоко хорошее. Картошку они, по-моему, тоже дают. А помещение тесное.

Рыжий лесоруб. А школа далеко? У меня ребёнок.

Матти. Час с четвертью ходу.

Рыжий лесоруб. В хорошую погоду это пустяк. А как хозяин?

Матти. Любит залезать в душу. Впрочем, тебе на это наплевать... ты ведь будешь в лесу. А я должен сидеть с ним рядом в машине. Я, так сказать, дан ему на откуп... Моргнуть не успеешь, а он уже трезвый... Нет, придётся мне всё-таки удирать от него.

Приходит Зуркала с четырьмя детьми.

Матти. Ради бога, Зуркала, уходи поскорей! Ты же знаешь. Стоит ему только попариться в баньке и вылакать кофе, как он сразу же протрезвится. И тогда горе вам, если он вас заметит во дворе. В ближайшие два дня я не советую вам попадаться ему на глаза.

Зуркала молча кивает и быстро направляется с детьми к воротам.

Пунтила *(раздевается, прислушиваясь к тому, что говорят во дворе. Последние слова Матти он не расслышал. Выглядывает из предбанника и замечает Зуркалу и его детей)*. Я сейчас к вам выйду, Зуркала! *(К Матти.)* Дай ему десять марок.

Матти. А нельзя ли поскорее решить, кого вы наймёте, иначе люди опоздают вернуться на ярмарку.

Пунтила. В таком деле спешить нельзя. Что я, бездушный чурбан? Ведь это не простая покупка — я же людей нанимаю. Моё имение должно стать для них родным домом.

Рыжий лесоруб. Тогда я лучше уйду. Мне нужен не дом, а работа. *(Уходит.)*

Пунтила. Стой! Ушёл. А ведь он мог бы прийти ко двору. *(К измождённому лесорубу.)* Не давай прогонять себя. Ты справишься. Даю слово. А вы знаете, что такое слово тавастландского помещика? Гора может обрушиться, хотя это мало вероятно, но слово тавастландского хозяина нерушимо. Это все знают. *(К Матти.)* Входи, ты мне нужен. Окажи меня водой. *(К измождённому лесорубу.)* И ты входи сюда.

Пунтила, Матти и измождённый лесоруб входят в баню.

Пунтила. Хватит одной шайки, я терпеть не могу воду.

Матти. Ещё парочка ведер вам не повредит. Потом вы должны выпить кофе и тогда можете выйти к гостям.

Пунтила. Я и так могу к ним выйти. Ты нарочно мучаешь меня.

Измождённый лесоруб. Мне тоже кажется, что этого достаточно. Господин Пунтила не выносит воду, это сразу видно.

Пунтила. Вот послушай, Матти, что говорит человек, который ко мне расположен. Расскажи ему, как я отбрил на ярмарке того толстяка.

Входит Фина.

Пунтила. А вот и ты, моё золотко. Принесла кофе? Кофе крепкий? К нему не мешало бы, пожалуй, рюмочку ликёра.

Матти. Тогда и кофе ни к чему. Нет, ликёра вы не получите.

Пунтила. Я знаю, за что ты на меня сердиться. За то, что я заставил людей дожидаться. Ты прав. Но расскажи им историю с толстяком. Пусть и Фина послушает. *(Рассказывает.)* Представь себе против-

ного, прыщавого толстяка. Настоящий буржуй. Он хотел перехватить у меня работников. Но я его сразу же накрыл. А когда мы вернулись к машине, то увидели, что его одноколка стоит рядышком. Рассказывай, Матти, дальше, а я выпью кофе.

М а т т и. Увидев господина Пунтилу, толстяк просто взбесился и так огрел лошадь кнутом, что она взвилась на дыбы.

П у н т и л а. А я просто не выношу людей, которые мучают животных.

М а т т и. Господин Пунтила схватил лошадь под уздцы и успокоил её. А толстяку он выложил всё, что думал о нём. Я было решил, что толстяк огреет и его кнутом. Но он не посмел. Нас было больше. Он только пробормотал что-то насчёт необразованных людей. Наверно, думал, что мы не расслышим. Но у господина Пунтилы тонкий слух. Когда ему надо, он всё слышит. И господин Пунтила тут же выдал толстяку: ежели он такой образованный, то должен знать, что людям его комплекции один апоплексический удар — и крышка.

П у н т и л а. Продолжай, продолжай. От злости он покраснел, как индюк, и не пашёлся, что ответить.

М а т т и. Он покраснел, как индюк. Тогда господин Пунтила сказал, что таким жирным, как он, вредно раздражаться. Ведь жир-то у них не от здоровья! Потом господин Пунтила заметил, что краснеть ему тоже вредно — ведь это кровь приливает к голове. А таких вещей надо избегать, надо помнить о последствиях.

П у н т и л а. Ты забыл сказать, что я говорил всё это, обращаясь не к нему, а к тебе. Помнишь? Я просил тебя не раздражать его, шадить... Он потому и взёлся так. Заметил?

М а т т и. Мы говорили о нём так, будто его вовсе не было. Народ вокруг смеялся всё громче, а он становился всё краснее и краснее. Собственно, он только к концу стал похож на индюка. Вначале он походил скорее на кирпич, который малость выгорел на солнце. Поделом ему. Зачем бил лошадь? Как-то при мне один человек со злости растоптал свою собственную шляпу. Это случилось в поезде, в битком набитом вагоне. Он разозлился потому, что потерял билет. А билет он засунул за ленту шляпы, чтобы не потерять...

П у н т и л а. Но ты потерял нить рассказа. Я сказал ему, что любое физическое усилие — даже удар кнутом — опасно для него. И уже из одного этого следует, что он не должен плохо обращаться с лошадьми.

Ф и н а. Этого вообще делать не следует.

П у н т и л а. Золотые слова! Выпей винца за это, Фина. Принеси рюмочку.

М а т т и. Пусть пьёт кофе. Ну, теперь вам лучше, господин Пунтила?

П у н т и л а. Нет, хуже.

М а т т и. Я был доволен, что господин Пунтила срезал толстяка. Ведь он мог рассудить иначе — мол, моя хата с краю. Зачем мне наживать врагов среди соседей?

П у н т и л а (*медленно трезвея*). Я не боюсь врагов.

М а т т и. Правильно. Не каждый может сказать это о себе. Но вы можете. А для ваших кобыл поищем жеребца в другом месте.

Ф и н а. Зачем нам искать жеребца в другом месте?

М а т т и. Этот толстяк как раз тот самый хозяин, который купил недавно поместье Зумала. На всю округу у него единственный стоящий жеребец.

Ф и н а. Значит, это новый хозяин Зумалы? А раньше вы этого не знали?

П у н т и л а встает, идёт в баню и выливает себе на голову ещё ведро воды.

М а т т и. Нет. Господин Пунтила об этом знал. Он даже крикнул толстяку, что для наших кобыл его дохлый жеребец не подходит. Так, как-жестся, вы сказали?

Пунтила (*односложно*). Вроде так.

Матти. Так, да не так. У вас это здорово вышло.

Фина. Вот мученье-то новое! Недоставало ещё нам водить за три-девять земель своих кобыл на случку.

Пунтила (*мрачно*). Дай ещё кофе.

Фина наливает чашку.

Матти. А ещё говорят, что тавастландцы славятся любовью к животным. Потому-то толстяк меня и удивил. Между прочим, потом я узнал, что он шурин госпожи Клинкман. Если бы господин Пунтила знал это раньше, он бы его ещё и не так отчитал.

Пунтила смотрит на Матти.

Фина. Кофе достаточно крепкий?

Пунтила. Не задавай глупых вопросов. Ты же видишь, что я его выпил. (*Обращаясь к Матти.*) А ты, парень, что тут расселся? Довольно бить баклуши! Почисть-ка мне сапоги да вымой хорошенько машину, не то она опять будет грязнее навозной кучи. Не возражай. А если я ещё раз тебя накрою, когда будешь трепать языком и распространять злостные слухи, берегись! Получишь волчий билет. Запомни! (*Выходит из бани в халате.*)

Фина. Зачем вы позволили хозяину напасть на этого толстяка из Зумалы?

Матти. А я при чём? Что я ему — ангел-хранитель? Он вёл себя, как вполне порядочный человек, то есть достаточно глупо, поскольку поступал себе же во вред. Какой смысл было его удерживать? Да мне и не удалось бы это сделать. Когда он напьётся, в него словно бес вселяется. Он просто возненавидел бы меня. А я не хочу, чтобы он ненавидел меня, когда пьян.

Пунтила (*зовёт со двора*). Фина!

Фина выходит из бани с его бельём.

Пунтила (*обращаясь к Фине*). Слушай внимательно, что я скажу, а то потом вы опять перевернёте всё, как водится. (*Указывает на одного из лесорубов.*) Вот этого я бы взял. Но штаны у него чересчур хороши. Он не очень-то будет гнуть спину. Надо присматриваться, как они одеты. Если у них хорошая одежда, они боятся испачкаться. А если они ходят в рваньё, то они тоже никуда не годятся. Садовник, например, может ходить в заштопанных штанах, если они заштопаны на коленях, а не на заднице. У садовника штаны обязательно должны быть заштопаны на коленях... С первого взгляда я узнаю, чего кто стоит. Возраст интересует меня меньше всего. Старики могут работать почище молодых — они боятся потерять место. Меня интересует человек как таковой. На ихнее образование мне наплевать. Образованные целыми днями подсчитывают, сколько часов они проработали. А это мне ни к чему. Я хочу быть со своими работниками на короткой ноге. (*Обращаясь к здоровяку лесорубу.*) Ты иди со мной! Я тебе дам задаток... Вот что мне пришло в голову. (*К Матти, который вышел из бани.*) Дай-ка мне твою куртку. Слышишь? Давай куртку! (*Матти даёт ему куртку.*) Ну, малый, я тебя поймал. (*Показывает ему свой бумажник.*) Я нашёл его в кармане твоей куртки. Так я и полагал. С первого же взгляда я понял, что ты каторжное отродье. Отвечай: чей это бумажник? Мой?

Матти. Да, господин Пунтила.

Пунтила. Теперь ты пропал. Получишь свои десять лет тюрьмы. Для этого мне достаточно позвонить в город.

Матти. Да, господин Пунтила.

Пунтила. Только нет, я не сделаю тебе такого одолжения! Я знаю, ты был бы не прочь валяться на тюремной койке, бездельничать и жрать

даром хлеб, за который платят налогоплательщики. А? Это как раз в твоём духе — бездельничать, когда все на уборке. Тебе лишь бы не водить трактор. Но я запишу тебе такое в твоё свидетельство, что ты рад не будешь.

М а т т и. Да, господин Пунтила.

П у н т и л а взбешён. Он направляется к дому. На крыльце стоит Е в а с соломенной шляпкой в руках. Она слышала весь разговор.

И з м о ж д ё н н ы й л е с о р у б. Мне идти с вами, господин Пунтила?

П у н т и л а. Ты мне не нужен. Тебе не справиться.

И з м о ж д ё н н ы й л е с о р у б. Но ведь ярмарка уже закрылась.

П у н т и л а. Надо было об этом думать раньше. Напрасно ты пытаешься использовать моё хорошее настроение. Я сразу вижу, кому это на руку. *(Обращаясь к здоровяку лесорубу, который идёт за ним.)* Знаешь, я передумал. Мне никто не нужен. Я, наверно, продам лес. А во всём виноват он *(показывая на Матти)*, он не напомнил мне об этом вовремя. И всё с умыслом. Но я уж отплачу ему как следует за это. *(Мрачный, идёт к дому.)*

З д о р о в я к л е с о р у б. Все они такие. Привёз сюда на машине, а теперь изволь-ка топтать обратно девять километров. Да и без работы остались. Вот как влипаешь, когда доверишься им!

И з м о ж д ё н н ы й л е с о р у б. Я буду жаловаться.

М а т т и. Кому?

Разозлённые лесорубы уходят со двора.

Е в а *(к Матти)*. Почему вы ему ничего не ответили? Ведь все знают: когда отец сильно выпьет, он отдаёт кому-нибудь свой бумажник, чтобы тот платил.

М а т т и. Что толку отвечать? Я уже давно заметил, что господа не любят, когда им возражают.

Е в а. Не притворяйтесь. Вы совсем не такой уж тихий и безропотный... Мне сегодня не до шуток.

М а т т и. Конечно, ведь сегодня ваша помолвка.

Е в а. Какой вы грубый! Атташе очень милый человек, но что это за муж!

М а т т и. А-а, так часто бывает. На свете много милых людей, и атташе тоже много. Но ведь всё равно вам придётся выбрать одного.

Е в а. Да, но отец разрешил мне выбрать, кого я захочу. Вы же сами слышали! Он сказал, что я могу выйти замуж хоть за вас. Но в то же время он уже обещал мою руку атташе. А вы знаете, папа не любит отказываться от своего слова. С этим надо тоже считаться. Поэтому-то мне, пожалуй, придётся выйти замуж за атташе.

М а т т и. В хорошенькую ловушку вы попали.

Е в а. Какая же это ловушка? До чего вульгарно вы выражаетесь. Я вообще удивляюсь, зачем мне понадобилось обсуждать с вами такие деликатные вопросы.

М а т т и. Ничего удивительного в этом нет. Человек уж так устроен, что должен с кем-то поделиться. Именно этим он выгодно отличается от животных. Если бы, например, коровы могли сговориться между собой, то все бойни пришлось бы закрыть.

Е в а. Какое это имеет отношение к тому, что говорила я? Я сказала, что, возможно, не буду счастлива с атташе. Лучше всего, если бы он сам отказался от помолвки. Но как ему на это намекнуть?

М а т т и. Если намекнуть ему палкой по голове, этого будет мало. Надо, пожалуй, намекать дубиной, и притом потолще.

Е в а. Что вы этим хотите сказать?

М а т т и. По-видимому, намекать придётся мне, ведь я грубиян.

Е в а. Не представляю себе, как вы можете помочь мне в таком щепетильном деле.

М а т т и. А что, если бы я воспользовался любезным предложением господина Пунтилы жениться на вас, которое он сделал спьяна?.. Допустим, я вам нравлюсь. Собственно, моя грубая сила. Вспомните Тарзана. Аташе застигнет нас врасплох и скажет себе: «Нет, она меня недостойна. Она связалась с простым шофёром».

Е в а. Но не могу же я от вас требовать этого.

М а т т и. А почему бы и нет? Я сочту это просто за службу. Ну вроде как за мойку машины. Да и вообще это пятнадцатиминутное дело. Нужно только, чтобы он понял, что между нами что-то есть.

Е в а. Но как это сделать?

М а т т и. Ну хотя бы так: в его присутствии я назову вас по имени.

Е в а. Как?

М а т т и. У тебя, Ева, скажу я, расстегнулась блузка на спине.

Е в а (*протягивает руку за спину*). Вовсе нет. Ах, да, ведь вы репетируете. Но это слишком тонко для него. Он не настолько щепетилен. Для этого у него слишком много долгов.

М а т т и. Тогда я мог бы полезть в карман за носовым платком и как будто нечаянно вытащить ваш чулок. Конечно, это надо делать так, чтобы он заметил.

Е в а. Это уже лучше. Но он может сказать, что вы его просто стасшили у меня и спрятали в карман, потому что вы меня втайне обожаете. (*Молчит.*) Однако у вас неплохо работает воображение! Вы изобретательны в таких делах.

М а т т и. Изю всех сил стараюсь, фройлен Ева. Прежде чем остановиться на чём-то определённом, надо вообразить себе самые разные случаи. Мало ли в каких рискованных положениях мы могли бы с вами очутиться!

Е в а. Ах, оставим всё это.

М а т т и. Ладно, оставим.

Е в а. Что именно?

М а т т и. Да всё. Если у него действительно так много долгов, то его ничем не проймёшь. Остаётся только одна возможность — выйти вдвоём из бани. Для остального он всегда найдёт оправдание. Если я, например, поцелую вас, он скажет, что я нахал, что всему виной ваша красота, перед которой я не мог устоять, и так далее.

Е в а. Вас не поймёшь. Мне кажется, вы всегда подшучиваете надо мной. А за моей спиной вы просто насмехаетесь, наверно? Ненадёжный вы человек.

М а т т и. А почему это вас беспокоит? Вы же не собираетесь доверить мне свои деньги. Ненадёжность — это обычное для людей явление, вполне человеческое, как говорит ваш отец. Мне даже нравятся ненадёжные женщины.

Е в а. Это сразу видно.

М а т т и. Видите, и у вас воображение неплохо работает.

Е в а. Но я ведь только сказала, что по вас никогда не узнаешь, чего вам, собственно, нужно.

М а т т и. А, сидя в кресле у зубного врача, вы всегда знаете, чего ему от вас нужно?

Е в а. Вот видите, я опять убеждаюсь, что с вами нельзя будет устроить эту штуку с баней. Вы наверняка захотите воспользоваться случаем.

М а т т и. Ну, вот теперь вы знаете что-то наверняка. Если вы будете так долго размышлять, то у меня, фройлен Ева, вообще пропадёт охота вас компрометировать.

Е в а. Будет гораздо лучше, если вы сделаете это без особой охоты... Хорошо, я согласна на баню. Я вам доверяю... Они уже кончают завтра-

кать... Опять, конечно, начнутся разговоры о помолвке. А потом они наверняка пойдут на балкон. Сейчас самый подходящий момент... Идёмте в баню!

М а т т и. Идите вперёд, а я захвачу карты.

Е в а. К чему карты?

М а т т и. А что нам делать в бане без карт?!

Матти заходит в дом. Ева медленно идёт в баню. Входит повариха Лайна с корзинкой.

Л а й н а. Доброе утро, фройлен Пунтила. Я иду за огурцами. Не пойдёте ли вы со мной?

Е в а. Нет, у меня немного разболелась голова. Я хочу вымыться.

Ева входит в баню. Лайна смотрит ей вслед, качая головой. Из дома выходят Пунтила и атташе. Они курят сигары.

А т т а ш е. Знаешь, Пунтила, я думаю отправиться с Евой на Ривьеру. Я попрошу у барона Вюрбена его «роллс-ройс». Вот будет реклама для нас и наших дипломатов! Разве в нашем дипломатическом корпусе так уж много заметных женщин?

П у н т и л а *(обращаясь к Лайне)*. Где моя дочь? Куда она пошла?

Л а й н а. Она в бане, господин Пунтила. У неё ужасно болит голова, и она решила помыться. *(Уходит.)*

П у н т и л а. Вечно капризы! Первый раз слышу, чтобы при головной боли мылись.

А т т а ш е. Это оригинально... Знаешь, о чём я сейчас думаю, Пунтила? Мы слишком мало внимания уделяем тавастландским баням. Однажды, когда зашла речь о том, где б нам получить заём, я сказал советнику министра, что мы должны совсем иначе пропагандировать тавастландскую культуру. Меня интересует, почему, например, на Пиккадили нет тавастландской бани?

П у н т и л а. Слушай, а меня интересует другое: приедет в Пунтилу на помолвку твой министр или нет?

А т т а ш е. Он сказал, что будет непременно. Он мне обязан. Я ввёл его в дом к Лейтиненам. Знаешь, к тем, из коммерческого банка. Мой министр интересуется никелем.

П у н т и л а. Я бы с ним хотел поговорить.

А т т а ш е. Он ко мне очень благоволит. Это все знают в министерстве. Он мне как-то сказал: «Вас можно послать куда угодно. Вы ничего не разболтаете, потому что политика — не ваша сфера. Вы просто созданы для представительства».

П у н т и л а. У тебя котелок варит, Айно! Будь я проклят, если ты не сделаешь карьеры. Но имей в виду — насчёт министра я говорю всерьёз. Я настаиваю на том, чтоб он был на помолвке. Это покажет мне, как ты котирешься.

А т т а ш е. Насчёт этого можешь не сомневаться, Пунтила. Мне везёт. У нас в министерстве это даже вошло в поговорку. Если я что-нибудь теряю, то потом сразу же навёрстываю. И это уж точно. *(Входит Матти с перекинутым через плечо полотенцем. Он направляется в баню.)*

П у н т и л а *(обращаясь к Матти)*. Что ты здесь околачиваешься? Постыдился бы болтаться без дела. За что только тебе деньги платят? Вот прогони тебя и не дам документа. А без документа кому ты нужен? Грош тебе цена в базарный день. Подохнешь, как собака!

М а т т и. Совершенно верно, господин Пунтила.

Пунтила снова поворачивается лицом к атташе. Матти спокойно входит в баню. Вначале Пунтила не видит в этом ничего особенного, но потом ему приходит в голову, что в бане Ева. Изумлённый, он глядит вслед Матти.

Пунтила (*атташе*). А каковы, собственно, твои отношения с Евой? Атташе. У нас хорошие отношения. Правда, она немножко холодна, но такой уж у неё характер... На дипломатическом языке мы называем такие отношения корректными. Пошли. Знаешь, мне хочется нарвать для Евы букет белых роз.

Пунтила (*уходит вместе с ним, поглядывая на баню*). Пожалуй, это будет самое лучшее.

Матти (*из бани*). Они видели, как я входил. Всё в порядке.

Ева. Меня удивляет, что отец вас не задержал. Лайна же сказала ему, что я здесь.

Матти. Это дошло до него слишком поздно. У него сегодня голова вообще не в порядке. Да и потом задерживать меня сейчас было бы преждевременно. Ведь одного желания скомпрометировать недостаточно. Ещё ничего не случилось.

Ева. Сомневаюсь, что они вообще заподозрят что-нибудь плохое. Что может случиться среди бела дня?

Матти. Ошибаетесь. Может случиться многое. И если это случается днём — значит страсти разыгрались не на шутку... Во что будем играть? В «шестьдесят шесть»? (*Раздаёт карты.*) У меня был один хозяин, который мог есть во всякое время суток. Только он отобедает и собирается выпить кофе, как уже приказывает, чтобы ему снова зажарили курицу. Еда была его страсть. Он был в правительстве...

Ева. Как вы это можете сравнивать?

Матти. А почему бы и не сравнивать? И в любви бывает точно так же. Конечно, у тех, кто особенно интересуется этим делом... Вам сдавать. По-вашему, в коровнике тоже дожидаются ночи? Сейчас лето, и все не прочь позабавиться. А с другой стороны, повсюду люди. Вот и приходится укрываться в бане. Жарища. (*Снимает куртку.*) Вы тоже можете снять с себя что-нибудь. Вас от этого не убудет. Сыграем по полпфеннига?

Ева. Я не уверена, что вы не говорите пошлостей. Запомните — я не скотница.

Матти. Что ж, скотница — это не так уж плохо.

Ева. Я не вижу в вас должной почтительности.

Матти. Это мне часто говорили. Вообще шофёры — испорченный народ. Они не питают уважения к тем, кто стоит выше них. А всё потому, что мы слышим, о чём говорят эти вышестоящие люди. Ведь они сидят в машине сзади нас... У меня шестьдесят шесть... А что вы скажете?

Ева. Скажу, что в пансионе, в Брюсселе, я слышала только вполне приличные разговоры.

Матти. При чём здесь приличие и неприличие? Вы говорите невпопад. Вам сдавать. Но раньше надо снять, чтобы всё было, как полагается.

Пунтила и атташе возвращаются. В руках у атташе букет роз.

Атташе. Она очень остроумна. Я ей как-то говорю: «Ты была бы изумительна, если бы не была так богата!» А она мне сразу же, не задумываясь, отвечает: «По-моему, быть богатой скорее приятно». Ха-ха-ха! Знаешь, Пунтила, точно так же ответила мне как-то мадемуазель Ротшильд, когда я был представлен ей у барона Вольфенбухена. Она тоже очень остроумна.

Матти. Хихикайте! Им должно казаться, что я вас щекочу. Иначе они пройдут мимо. (*Играя в карты, Ева слегка хихикает.*) У вас это не так уж хорошо получается.

Атташе (*останавливаясь*). Мне послышался смех Евы.

Пунтила. Не может быть. Это кто-то другой.

Матти (*громко говорит, продолжая играть в карты*). А вы, оказывается, боитесь щекотки.

Атташе. Прислушайся!

М а т т и (*тихо*). Сопровитляйтесь хоть немножко!

П у н т и л а. В бане шофёр. Лучше отнести букет в дом.

Е в а (*громко, входя в роль*). Нет! Не надо!

М а т т и. Да!

А т т а ш е. А знаешь, Пунтила, мне кажется, это всё-таки её голос.

П у н т и л а. Попрошу тебя без намёков.

М а т т и. Теперь надо на ты, и хватит вам сопротивляться!

Е в а. Нет! Нет! Не надо! (*Шёпотом.*) Что ещё говорить?

М а т т и. Говорите, что я не должен этого делать. Входите же в роль!
Будьте страстной!

Е в а. Не делай этого!

П у н т и л а (*громовым голосом*). Ева!

М а т т и. Дальше. Валяйте дальше. Изображайте безумную страсть.
(*Собирает карты, продолжая разыгрывать любовную сцену.*) Если он
войдёт, нам придётся перейти к действиям. Тут уж ничего не попишешь.

Е в а. Это невозможно.

М а т т и (*опрокидывая ногой скамейку*). Тогда выходите, только вид
у вас пусть будет, как у мокрой курицы.

П у н т и л а. Ева!

М а т т и осторожно приводит в беспорядок её причёску. Е в а расстёгивает пуговицу на
блузке у шеи и выходит.

Е в а. Ты звал меня, папа? Я хотела было переодеться, чтобы пойти
поплавать.

П у н т и л а. Да ты соображаешь, что делаешь? Почему ты торчишь в
бане? Думаешь, у нас ушей нет?

А т т а ш е. Не горячись, Пунтила! Почему Еве нельзя быть в бане?

Из бани выходит М а т т и и становится позади Е в ы.

Е в а (*не замечает Матти. Она слегка испугана*). А что ты слышал, па-
па? Ведь ничего не произошло...

П у н т и л а. И это называется ничего не произошло! Может быть, ты
оглянешься?

М а т т и (*делая вид, что он смущён*). Господин Пунтила, мы с фрой-
лен Евой всего-навсего играли в «шестьдесят шесть». Вот карты, если вы
мне не верите. Это просто недоразумение.

П у н т и л а. Молчи! Ты уволен! (*Обращаясь к Еве.*) Что о тебе поду-
мает Айно?

А т т а ш е. Знаешь, Пунтила, если они действительно играли в «шесть-
десят шесть», то в этом нет ничего предосудительного. Однажды прин-
цесса Бибеско, играя в баккара, так разволновалась, что порвала на себе
жемчужное ожерелье. Я принёс тебе белые розы, Ева. (*Он подаёт Еве бу-
кет.*) Пойдём, Пунтила, сыграем в биллиард. (*Тянет Пунтилу за рукав.*)

П у н т и л а (*в бешенстве*). С тобой, Ева, я ещё поговорю! А ты, него-
дяй, не смей приближаться к ней за версту. За версту ты должен скиды-
вать свою грязную шапку и вытягиваться перед ней в струнку. Если же
я узнаю, что ты, бесстыжая рожа, нарушил мой приказ, я вышвырну тебя
вон со всеми твоими потрохами! На дочь своего благодетеля ты должен
смотреть, как на существо высшего порядка... Оставь меня, Айно. Ты ду-
маешь, я могу потворствовать таким вещам? (*Обращаясь к Матти.*) По-
втори, что ты должен делать!

М а т т и. Я должен смотреть на дочь своего благодетеля, как на су-
щество высшего порядка, господин Пунтила.

П у н т и л а. Смотри на неё с разинутым ртом и удивляйся.

М а т т и. Ладно, смотрю и удивляюсь, господин Пунтила.

П у н т и л а. Да что с тобой говорить! Когда ты был ещё сопляком,
на уме у тебя уже были одни только пакости. Сгореть со стыда, прова-

литься сквозь землю должен ты, когда перед тобой такая невинность...
Понял?

М а т т и. Понял.

А т т а ш е уводит П у н т и л у в дом.

Е в а. Не вышло.

М а т т и. У него долгов ещё больше, чем мы думали.

Картина пятая

РАЗГОВОР О РАКАХ

Кухня в имени Пунтилы. Вечер. Время от времени с улицы доносится танцевальная музыка. М а т т и читает газету.

Ф и н а (*входит*). Фройлен Ева хочет поговорить с вами.

М а т т и. Ладно. Допью только кофе.

Ф и н а. Смотрите-ка, он вовсе не торопится... И к чему ломаться? Я-то знаю, почему вы так о себе воображаете. Конечно, фройлен Ева интересуется вами. Но только потому, что ей здесь просто не с кем перемолвиться словечком.

М а т т и. В такой чудный вечер не грех и повообразать. Вот сейчас, Фина, я вообразил, что вы хотите прогуляться со мной к речке. Ну как, пошли? А что до приглашения фройлен Евы, то я воображу, что его просто не было.

Ф и н а. Откуда вы взяли, что я хочу с вами гулять?

М а т т и (*опять берётся за газету*). Значит, учитель крепко засел у вас в голове?

Ф и н а. У меня с ним ничего не было. Просто он хороший человек. А книги он давал мне, чтобы я училась.

М а т т и. Жаль, что учителям так мало платят. Я получаю триста марок, а ваш учитель — двести. Правда, с меня и спрос больше. Если учитель ничего не смыслит в своём деле, то беда небольшая — просто в деревне не сумеют читать газет. В прежнее время это было бы плохо, а нынче читать газеты вовсе не обязательно. Ведь в них всё равно ничего путного не прочтёшь из-за цензуры. Если бы школьных учителей вообще упразднили, то государству была бы прямая выгода. Не надо было бы держать цензоров и платить им жалованье. А представьте себе, я застрял где-то по дороге. Господам тогда придётся шлёпать по грязи пешком, и они спяну могут свалиться в канаву.

М а т т и подзывает к себе Ф и н у. Она садится к нему на колени. Входят судья и адвокат. Они только что из бани — с полотенцами через плечо.

С у дья. Нет ли у вас чего-нибудь попить? Кислого молочка, что ли? Я у вас всегда пью его.

М а т т и. Сказать горничной, чтобы она подала?

С у дья. Не надо. Покажите нам только, где оно стоит.

М а т т и наливает молоко. Ф и н а уходит.

А д в о к а т. Великолепное молоко.

С у дья. В Пунтиле я всегда после бани пью молоко...

А д в о к а т. До чего ж хороши наши летние ночи!

С у дья. Зато у меня из-за них уйма хлопот. Последний аккорд летней ночи — иски на алименты. В зале суда ты узнаёшь, например, что берёзовая роща просто-таки заколдованное место. А рска? У реки они вообще не могут и двух минут побыть, не впав в грех. Передо мной на суде стояла девушка, которая во всём обвиняла сено, потому что оно слишком хорошо пахнет... Собирать ягоды им опядать-таки опасно... Что же касается доения коров, то и оно им дорого обходится. Все кустарники вдоль дороги я бы обнёс колючей проволокой. Мужчины и женщины, чтобы не впасть в иску-

шение, должны ходить в разные бани. Не то после они парочками уходят на луг. Летом им просто удержу нет. Стоит им только соскочить с велосипеда, как они тут же забираются на сеновал. В кухне это случается, потому что она заперта. А на дворе — потому что там веет свежий ветерок. Одни делают детей из-за того, что лето слишком короткое, а другие — из-за того, что зима чересчур длинная...

А д в о к а т. Это не так уж плохо... Даже мы, люди пожилые, получаем в некотором роде удовольствие. Мы всё видим, всё слышим, а потом выступаем в суде как свидетели. Мы замечаем, как парочка исчезает в лесу, видим деревянные башмаки, брошенные у сеновала, видим, как пылают щёки у девушек, когда они возвращаются из леса, хотя они вовсе не так уж усердствовали, собирая ягоды. Пожилые люди многое видят. Да и слышат тоже немало. Бидоны гремят, кровати скрипят... Так что и мы вроде не обойдены... И для нас лето — приятная пора.

Слышится звонок.

С у д ь я (*обращаясь к Матти*). Может быть, вы всё же узнаете, что им понадобилось? Хотя мы можем подтвердить, что по закону у вас восьмичасовой рабочий день...

Уходит вместе с адвокатом. Матти снова углубляется в газету. Входит Ева в руках у неё длинный мундштук. Она подражает соблазнительной походке кинозвезды из последнего фильма.

Е в а. Это я звонила. Вы ещё заняты?

М а т т и. Я? Нет, мой рабочий день начинается только завтра в шесть часов утра.

Е в а. Мне пришло в голову, знаете что... Не съездить ли нам на остров, чтобы наловить раков? Ведь завтра помолвка, будут гости!

М а т т и. А не кажется ли вам, что время сейчас позднее?

Е в а. Но я ещё не хочу спать. Летом я вообще очень плохо сплю. Не знаю, что со мной. А вы разве заснёте, если ляжете сейчас?

М а т т и. Конечно.

Е в а. Могу только позавидовать... Тогда я поеду одна — приготовьте для меня бредень. Отец хочет, чтобы завтра к обеду обязательно были раки.

Е в а поворачивается на каблуках и направляется к двери, снова подражая походке кинозвезды.

М а т т и (*передумав*). Ладно, я тоже поеду с вами. Буду грести.

Е в а. Но вы ведь, кажется, устали?

М а т т и. Нет, я уже отдохнул и чувствую себя совершенно бодрым. А вам надо переодеться, а то как же вы полезете в воду?

Е в а. Бредень в чулане. (*Уходит.*)

М а т т и надевает куртку. Вскоре возвращается Ева в коротких штанишках

Е в а. А где же бредень?

М а т т и. Мы будем ловить руками. Это очень забавно. Я научу вас.

Е в а. Бреднем удобнее.

М а т т и. Мы на днях вместе с горничной и кухаркой ездили на остров и ловили раков руками. До чего ж забавно! Спросите у них. Я это ловко делаю. Раз-два, и готово. А вы? Конечно, раки — увёртливые бестии, да и камни скользкие... Но теперь светло. На небе ни облачка.

Е в а (*колеблется*). А всё-таки лучше взять бредень. Мы тогда наловим больше.

М а т т и. А разве нам много нужно?

Е в а. Отец любит, чтобы всего было много. Иначе он вообще не захочет сесть за стол.

М а т т и. Так вы всерьёз? А я думал, что мы словим несколько штук, а потом позабавимся. Ночь уж больно хороша.

Е в а. Вам всё кажется хорошим. Принесите лучше бредень.

М а т т и. Стоит ли так серьёзно относиться к этому? Пожалейте раков! Наберём в карманы, и хватит. Я знаю одно местечко, где их полным-полно. За пять минут мы наловим их вполне достаточно — будет что показать...

Е в а. Это ещё что такое? Может, вы вообще не намерены ловить раков?

М а т т и (*после паузы*). Пожалуй, уже поздновато... В шесть утра я уже должен быть на станции, встречать атташе. Если мы будем болтаться на речке до трёх-четырёх часов ночи, то спать почти не придётся. Но я, конечно, не отказываюсь ехать с вами. Раз вы уж так настаиваете...

Е в а, не сказав ни слова, поворачивается и уходит. М а т т и снимает куртку и снова принимается за газету. Из бани выходит Л а й н а.

Л а й н а. Фина и скотница собираются спуститься к речке. Они ещё не ложились.

М а т т и. Я устал сегодня. Ездил на ярмарку, а до этого водил трактор на болото, и у меня порвались канаты.

Л а й н а. Я тоже валюсь с ног. Весь день проторчала у плиты. На кой чёрт сдались эти помолвки? До чего светло на улице! Просто грех спать. Нет, не могу заставить себя лечь... (*Уходя, смотрит в окно.*) Я всё же выйду ненадолго. Конюх будет играть на гармошке. Люблю слушать гармошку. (*Смертельно усталая, она решительно идёт на улицу.*)

Входит Е в а, как раз в то время, когда М а т т и собирается выйти в другую дверь.

Е в а. Я хочу, чтобы вы отвезли меня на станцию.

М а т т и. Через пять минут машина будет готова. Я буду ждать вас у ворот.

Е в а. Хорошо. Вы даже не спрашиваете, зачем я еду на станцию?

М а т т и. Очевидно, вы хотите поспеть к одиннадцатичасовому поезду.

Е в а. И вас это не удивляет?

М а т т и. Нет. Шофёры привыкли ничему не удивляться. Удивляйся не удивляйся, всё равно это никого не интересует.

Е в а. Я еду на несколько недель к подруге в Брюссель. Но отца я пока не хочу беспокоить. Одолжите мне двести марок на билет... Разумеется, отец вернёт их вам, как только я напишу ему.

М а т т и (*без всякого энтузиазма*). Ладно.

Е в а. Надеюсь, вы не боитесь одолжить мне? Хотя моему отцу безразлично, с кем я буду помолвлена, но это ещё не значит, что он захочет быть вашим должником...

М а т т и (*осторожно*). Я только не уверен, будет ли он считать себя моим должником, если я дам деньги вам.

Е в а (*после паузы*). Очень жаль, что я вас об этом попросила.

М а т т и. Уехать среди ночи, накануне помолвки, когда свадебный пирог уже в печке! Вряд ли ваш отъезд будет так уж безразличен господину Пунтиле... Знаете, вы вообще придаёте слишком большое значение его словам насчёт нас с вами. Ведь он говорил тогда не подумавши. Господин Пунтила хочет вам только добра, фройлен Ева. Он мне на это сам намекал. Но только, когда он пьян, или, вернее, выпил лишний стаканчик, он перестаёт понимать, что для вас значит добро. Он тогда делает то, что ему подсказывает чувство. Зато, когда он трезв, он снова становится рассудительным. И тогда он готов купить вам в мужья атташе. А атташе, конечно, стоит тех денег, которые за него платят. Выйдя за него, вы станете женой посла в Париже или в каком-нибудь другом городе. И тогда, в такой вот чудесный вечер, вы сможете делать всё, что вашей

душеньке угодно. Если, конечно, вашей душеньке что-нибудь угодно... А если нет, то и не надо.

Е в а. Значит, вы советуете мне выйти за атташе?

М а т т и. По-моему, у вас, фройлен, не так уж много денег... Не стоит огорчать вашего уважаемого отца.

Е в а. Значит, вы уже изменили своё мнение. Вы флюгер!

М а т т и. Правильно. А чем плох флюгер? Его ругают по недомыслию. Ведь он железный. Что может быть прочнее железа? А вот у вас-то нет прочной опоры. Поэтому вы и неустойчивы. К сожалению, у меня тоже нет прочной опоры.

Е в а. Вот потому я и отношусь к вашим советам осторожно. Вы ведь сами признали, что у вас нет прочной опоры. Значит, вы не можете дать верного совета. По-моему, все ваши красивые слова насчёт того, что отец желает мне добра, вызваны только одним — вы просто боитесь за свои деньги.

М а т т и. Не только за деньги, но и за место. А оно не такое уж плохое.

Е в а. Я вижу, господин Альтонен, что вы порядочный материалист. Или, как выражаются в вашей среде, вы своего не упустите. Вы первый так откровенно даёте мне понять, что заботитесь только о своих деньгах и о своём благополучии. Значит, о деньгах думают не только те, у кого их много?

М а т т и. Мне вовсе не хотелось вас огорчать. Но что поделаешь, если меня спросили напрямик. Вам надо было говорить намёками, так сказать, между строк. И не задавать прямых вопросов. Тогда нам вообще не пришлось бы говорить о деньгах. А от таких разговоров всегда неприятный осадок.

Е в а (*садится*). Я не выйду замуж за атташе.

М а т т и. Знаете, я вообще перестал понимать, почему вы не хотите выходить за него замуж. Такие господа — все на одно лицо. Я хорошо их знаю. Они образованные. Даже под пьяную лавочку они не швырнут в вас сапогом. Они не интересуются деньгами, особенно если это не их деньги. И они смогут разобраться в вас так же, как они разбираются в винах. Ведь этому их учили с детства.

Е в а. Я не выйду за атташе. Скорее я выйду за вас.

М а т т и. Что вы?

Е в а. Мой отец мог бы дать нам лесопилку.

М а т т и. То есть вы хотите сказать, дать вам?

Е в а. Если мы поженимся, то это уже будет нам.

М а т т и. Мне пришлось служить в одном поместье, где хозяином был бывший батрак. Когда к ним приходил в гости пастор, хозяйка посылала хозяина удить рыбу. А когда съезжались другие гости, он сидел за печкой и раскладывал пасьянс. Разумеется, после того, как он откупорил все бутылки. У них уже были взрослые дети. Дети называли его просто по имени: «Виктор, довольно глазеть по сторонам! Подай калюши!» Мне такие порядки не по душе, фройлен Ева!

Е в а. Я вижу, вы хотите быть в доме главным. Могу себе представить, каково будет вашей жене.

М а т т и. А вы пытались это себе представить?

Е в а. Конечно, нет. Вы воображаете, что я весь день только о вас и думаю. Откуда вы это взяли? Однако хватит. Мне надоело слушать ваши рассказы. Меня мало интересует, что вам нравится, что вы слышали и чего вам хочется. Я вас раскусила. Мне всё понятно — и ваши невинные истории и ваше нахальство. И вообще я вас терпеть не могу. Не выношу эгоистов! Имейте это в виду. (*Уходит.*)

М а т т и снова берётся за газету.

Картина шестая

СОЮЗ НЕВЕСТ ГОСПОДИНА ПУНТИЛЫ

Двор в поместье Пунтилы. Воскресное утро. На веранде дома бредет Пунтила; он спорит с Евой. Издалека доносится колокольный звон.

Пунтила. Ты выйдешь за атташе, и точка. Иначе я не дам тебе ни пфеннига. За твоё будущее отвечаю я!

Ева. Но ты сам говорил, что я могу не выходить за него, раз он не мужчина, и что я могу взять себе в мужа, кого люблю.

Пунтила. Мало ли что я говорю, когда выпью лишнее! И тебе незачем цепляться за каждое слово. Если я тебя ещё раз застукаю с шофёром, то ты у меня узнаешь, где раки зимуют. Что, если бы тебя увидели посторонние, когда ты выходила с ним из бани? Представляешь, какой был бы скандал! (*Вглядывается в даль. Кричит.*) Кто пустил лошадей в клевер?

Голос. Конюх недоглядел!

Пунтила. Гоните их оттуда сейчас же! (*Ева.*) Стоит мне отлучиться на полдня, как всё идёт кувырком. Почему, спрашиваю я, лошади очутились в клевере?.. Да потому, что конюх завёл шашни с огородницей. А почему тёлку случили с быком, ведь ей только год и два месяца, теперь она перестанет расти! Да потому, что скотница завела шашни с практикантом. Ей, видите ли, некогда, где там следить за быком! Пускает его на все четыре стороны, и ладно! Чёрт знает что! А если бы огородница не путалась с конюхом, то разве ж я продал бы только сто кило помидоров? Помидоры — это клад! Я всегда выручал за них кругленькую сумму. Но ей на всё это наплевать. Ничего, я ещё поговорю с ней... Ты видишь, как дорого обходятся мне их шашни! Нет, хватит этих безобразий в моём доме! Это и тебя касается, тебя и твоего шофёра. Я не допущу, чтобы разорялось поместье. Я положу этому конец...

Ева. Из-за меня, во всяком случае, поместье не разорится...

Пунтила. Предупреждаю, я не допущу скандала. Твоя свадьба стоит мне шесть тысяч марок. Я делаю всё, чтобы выдать тебя замуж за человека из высшего общества. Ради этого я жертвую лесом. Знаешь ли ты, что значит для меня лишиться одного из моих лесов? А ты что позволяешь себе? Якшаешься со всякой швалью, вроде этого шофёра!

Матти появляется внизу, во дворе. Он прислушивается к их разговору.

Пунтила. А ведь я тебя за границей воспитывал. Мне это влетело в копеечку. Не для того я тратил свои деньги, чтобы ты вешалась на шею какому-то шофёру. Я тратил их для того, чтобы ты умела держаться с подобающим достоинством. Прислуга должна знать своё место, иначе она совсем облагодетельствует и сядет нам на голову. Понимаешь, она должна знать своё место, и никаких фамильярностей быть не может. Не то всё пойдёт насмарку. Это мой принцип. И я от него не отступлю. (*Уходит в дом.*)

У ворот появляются четыре женщины из Кургелы. Посовещавшись между собой, они снимают платки и надевают на голову соломенные венки. Одна из них выступает вперёд и входит во двор. Это Сандра-телефонистка.

Сандра-телефонистка. Доброе утро! Я хочу поговорить с господином Пунтилой.

Матти. Вряд ли он пожелает с вами разговаривать. Он сегодня не в форме.

Сандра-телефонистка. Но свою невесту он всё же примет?

Матти. Вы с ним помолвлены?

Сандра-телефонистка. Кажется.

Голос Пунтилы. ...я запрещаю тебе произносить слово «любовь»! Выкинь его из головы! «Любовь, любовь» — всё это сплошное скотство! Я не потерплю больше этого в моём имени. Помолвка назначена. Я уже

заколол свинью, и она не оживёт, не захрюкает снова в хлеву только потому, что ты передумала. Такого одолжения она нам не сделает. И вообще, я уже всё рассчитал и взвесил. Пора мне иметь покой в своём доме. А твою комнату я заколочу. Имей это в виду.

Матти берёт метлу и подметает двор.

Сандра-телефонистка. Голос этого господина мне вроде знаком.

Матти. Не удивительно, ведь это голос вашего жениха.

Сандра-телефонистка. Похоже, что его голос... Но в Кургеле он звучал иначе.

Матти. Ах, это случилось в Кургеле? Когда он покупал там «законный» спирт?

Сандра-телефонистка. Конечно, там всё было иначе... Он приехал к нам на машине... У него было такое добродушное лицо... Его освещало утреннее солнышко...

Матти. Я знаю, кто такой он и что такое утреннее солнышко. Послушайте меня, идите-ка лучше домой. Здесь и без вас хватает.

Во двор входит Эмма-самогонщица. Она делает вид, что не знакома с Сандрой-телефонисткой.

Эмма-самогонщица. Дома ли господин Пунтила? Мне надо срочно поговорить с ним.

Матти. К сожалению, его нет. Правда, тут его невеста. Можете поговорить с ней.

Сандра-телефонистка (*разыгрывает свою роль*). Сдаётся мне, что это Эмма-самогонщица из Кургелы.

Эмма-самогонщица. Кто? Кто я такая? Я самогонщица? Да как ты смеешь так обзывать меня? Разве я для себя гоню спирт? Это жена полицмейстера просит меня растирать ей спиртом ноги. Вот и приходится добывать его. А жена самого начальника станции берёт у меня спирт для вишнёвки... Что ж тут зазорного, что незаконного?! И про какую невесту вы мне говорите? Может, это Сандра-телефонистка из Кургелы хочет объявить о своей помолвке с моим женихом, господином Пунтилой, который, очевидно, здесь проживает? Да? Ну, тут ты уж хватилась через край, голубушка!

Сандра-телефонистка (*сияя*). Да ты, самогонщица, взгляни-ка лучше, что у меня здесь есть. Да, да, на безымянном пальце!

Эмма-самогонщица. Бородавка. Лучше ты посмотри, что у меня на пальце! Господин Пунтила мой жених, а не твой. Наша помолвка была по всем правилам: с вином и кольцами.

Матти. Выходит, обе дамы из Кургелы! Ого! Невест там хоть пруд пруди.

Во двор входят Лизу-коровница и Аманда-продавщица.

Лизу-коровница и Аманда-продавщица (*одновременно*). Здесь живёт господин Пунтила?

Матти. Вы из Кургелы? В таком случае он здесь не живёт. Кому это знать лучше, мне или вам? Ведь я его шофёр. Тот господин Пунтила, с которым вы помолвлены, совсем другой Пунтила. У них только фамилия одинаковая.

Лизу-коровница. Меня зовут Лизу, и со мной этот господин действительно помолвлен. Я могу это доказать. (*Показывая на Сандру-телефонистку*.) И она тоже это может доказать. Она тоже с ним помолвлена.

Эмма-самогонщица и Сандра-телефонистка (*одновременно*). Да, мы все можем это доказать. Мы все законные невесты. (*Все четыре громко смеются*.)

М а т т и. Очень приятно, что вы это можете доказать. Признаюсь, если бы сюда явилась только одна невеста, я бы не обратил на неё особого внимания. Но вас много. А раз массы требуют, приходится прислушиваться. Что, если вам организовать «Союз невест господина Пунтилы»? Но тут встанет интересный вопрос: чего вы будете добиваться?

С а н д р а-т е л е ф о н и с т к а. Сказать ему? Видите ли... Господин Пунтила самолично пригласил всех нас на сегодняшний праздник.

М а т т и. Вы его интересуете сейчас, как прошлогодний снег. Зачем охотнику дичь на болоте, если он уже вернулся домой...

Э м м а-с а м о г о н щ и ц а. Выходит, мы незваные гости?

М а т т и. Да нет, скорее слишком ранние. Сейчас прикину, когда вы станете зваными... Для этого должен наступить подходящий момент. Вот тогда-то я и введу вас в дом. И жених встретит вас, как своих невест. Ведь вы действительно его невесты.

А м а н д а-п р о д а в щ и ц а. Мы хотели пошутить немножко, повеселить гостей, потанцевать...

М а т т и. Повторяю, для этого надо выбрать подходящий момент. Когда господа выпьют, тогда они такие шутки любят и вы придёте ко двору. То-то всполошится наш пастор, как увидит сразу четырёх невест! А ежели пастор попадает впросак, для судьи нет большего удовольствия. Но всё надо делать с головой. Не то господин Пунтила ничего не поймёт, а только рассердится. А ведь здорово может получиться: союз невест входит с пением в залу, размахивая вместо знамени нижней юбкой!

Все снова громко смеются.

Э м м а-с а м о г о н щ и ц а. Надеюсь, что нам предложат по чашечке кофе. А после пригласят и на танец.

М а т т и. Вполне справедливое требование. Союз, может, добьётся этого. Вас обнадёжили, вы поиздержались в дороге... Ведь вы приехали сюда поездом?

Э м м а-с а м о г о н щ и ц а. Вторым классом.

Горничная Ф и н а несёт в дом кадочку с маслом.

Л и з у-к о р о в н и ц а. Сливочное масло!

А м а н д а-п р о д а в щ и ц а. Не знаю, как вас звать, молодой человек, но, может быть, вы дадите нам по стаканчику молока? Мы ведь прямо со станции...

М а т т и. Молока? По-моему, перед обедом не стоит. Вы можете испортить себе аппетит.

Л и з у-к о р о в н и ц а. Насчёт нашего аппетита не беспокойтесь.

М а т т и. Было бы полезней поднести стаканчик вашему жениху, да только не молока, а совсем другого!

С а н д р а-т е л е ф о н и с т к а. В самом деле, его голос мне показался суховатым...

М а т т и. Золотые слова! Недаром ты слывёшь всезнайкой, Сандра-телефонистка. Ты поймёшь, почему я не бегу за молоком для вас, а размышляю, как бы раздобыть вина для него.

Л и з у-к о р о в н и ц а. А верно, что в Пунтиле девяносто коров? Так говорят. Я сама слышала.

С а н д р а-т е л е ф о н и с т к а. Это все слышали, а вот как сегодня господин Пунтила разговаривает, ты не слышала.

М а т т и. Будьте умницами! Довольствуйтесь пока только запахом еды.

К о н ю х и к у х а р к а вносят в дом заколотую свинью.

Ж е н щ и н ы (*хлопают в ладоши*). Вот здорово! Хоть бы зажарили её хорошенько, чтобы корочка хрустела. Немножко майорану свининке тоже не повредит...

Э м м а-с а м о г о н щ и ц а. Как, по-вашему, смогу я за обедом, если, конечно, никто на меня не будет смотреть, расстегнуть крючок на юбке? Она мне уже сейчас тесновата.

А м а н д а-п р о д а в щ и ц а. Господин Пунтила будет не прочь посмотреть, как ты это делаешь.

С а н д р а-т е л е ф о н и с т к а. Но не за обедом же.

М а т т и. А вы знаете, с кем вы будете сидеть за обедом? Вас посадят рядом с самым главным судьёй. *(Он втыкает ручку метлы в землю и разглагольствует, обращаясь к метле.)* Ваша милость! Перед вами четыре бедные невесты. Они боятся, что их отвергнут. Долго брели они по пыльной дороге, чтобы увидеть своего жениха. Ровно десять дней назад с ними обручился этот солидный, благородный господин. Он приехал к ним на своей машине и надел каждой из них обручальное кольцо. Но теперь он может сказать, что это был вовсе не он. Заклинаю вас, ваша милость, выполните ваш долг, рассудите по закону! Если же вы откажетесь защитить их, то в один прекрасный день может не стать и самого суда, в котором вы судите.

С а н д р а-т е л е ф о н и с т к а. Bravo!

М а т т и. И адвокат будет чокаться с вами за столом. Что ты скажешь ему, Эмма?

Э м м а-с а м о г о н щ и ц а. Я скажу ему, что мне очень приятно познакомиться с ним. Я попрошу его оказать мне любезность и объяснить за меня со сборщиком налогов и быть с ним пострее. А ещё я его попрошу сказать, чтобы господин полковник не придирался к моему мужу и отпустил его поскорее с военной службы. Одной мне никак не управиться с хозяйством. И ещё попрошу припугнуть лавочника, а то он обчитывает, когда берёшь у него в долг сахар и керосин.

М а т т и. Молодец! Вот это называется хорошо использовать обстановку! Только зачем тебе беспокоиться насчёт налогов? Если ты получишь в мужья господина Пунтилу, все твои налоги будут уплачены в два счёта... За столом будет сидеть и господин доктор. Он тоже чокнется с вами. Что вы скажете ему?

С а н д р а-т е л е ф о н и с т к а. Господин доктор, скажу ему я, у меня снова ломит поясницу. Но не смотрите на меня так сердито. Не тревожьтесь, теперь я заплачу за все ваши визиты. Ведь я выхожу замуж за господина Пунтилу. Теперь можно не спешить!.. Ведь врачи на то и существуют, чтобы лечить народ.

Р а б о т н и к вкатывает в дом бочонок пива.

Э м м а-с а м о г о н щ и ц а. Смотрите, пива сколько!

М а т т и. И пастор будет сидеть с вами за одним столом. А что вы ему скажете?

Л и з у-к о р о в н и ц а. Я скажу ему, что теперь, когда я стану госпожой Пунтилой, у меня будет время ходить в церковь по воскресеньям.

М а т т и. И всё?! Слишком кратко. Придётся, видно, мне добавить. А я вот что скажу: «Господин пастор, сегодня Лизу-коровница ест, как и вы, с фарфоровых тарелок, и вы должны радоваться этому больше всех. Ведь это в ваших книгах говорится, что перед богом все равны, — но почему же не все равны перед господином Пунтилой? А если Лизу станет помещицей, она не обойдёт вас, не нарушит заведённого порядка. В день вашего рождения она пошлёт вам пару бутылочек вина и ещё чего бог даст. А вы по заведённому порядку будете говорить в своих проповедях о райских долинах, и Лизу это будет приятно, благо ей уже не придётся пасти коров в земных долинах».

В то время, как М а т т и разглагольствует, П у н т и л а выходит на балкон. С мрачным видом он слушает Матти.

Пунтила. Сообщите мне, когда вы кончите. Что здесь вообще происходит?

Сандра-телефонистка *(со смехом)*. Прибыли ваши невесты, господин Пунтила! Вы, конечно, узнаете их?

Пунтила. Кто, я? Я никого из вас не знаю.

Эмма-самогощица. Нет! Вы нас знаете хотя бы по кольцам.

Аманда-продавщица. Да, да, по кольцам! Помните, вы сняли их с занавесок в кургельской аптеке?

Пунтила. Что вам надо? Поскандалить хочется?

Матти. Да нет, господин Пунтила. Мы как раз сейчас рассуждали о том, как бы повеселить ваших гостей. Да, видно, перед обедом нам с вами ещё рано об этом говорить. А мы-то решили основать «Союз невест господина Пунтилы».

Пунтила. Может, лучше уж сразу профессиональный союз?.. Если только ты, бездельник, где появился, хорошего не жди. Я тебя знаю! Я видел, что за газету ты читаешь!

Эмма-самогощица. Что вы, господин Пунтила! Мы просто хотели пошутить! Думали, что вы нас за это угостите чашечкой кофе.

Пунтила. Знаю я ваши шутки. Вымогательством занимаетесь? Хотите, чтобы я заткнул вам чем-нибудь глотку. Для этого вы и пришли сюда.

Эмма-самогощица. Но-но-но!

Пунтила. Я вам покажу! Хотите повеселиться за мой счёт! Я был слишком добр с вами. Но не на таковского напали. Убирайтесь-ка лучше подобру-поздорову! Не то позову полицию и выгоню вас вшаеи. Эй, ты, я тебя узнал, ты телефонистка в Кургеле! Я сейчас же позвоню на почту и скажу, какие ты здесь устраиваешь штучки. А про остальных я тоже дознаюсь.

Эмма-самогощица. Всё ясно. А мы-то, господин Пунтила, пришли к вам с открытой душой. Думали, будет что вспомнить на старости лет. Будет что рассказать. Как звали нас в Пунтилу, как усаживали... Вы, девушки, как хотите, а я сяду... *(Она садится прямо на землю.)* Ну вот, теперь все видят, что я сижу. И надеюсь, никто не узнает, что я сидела здесь не в кресле, а на голой земле. О нашей земле в школьных книжках написано, что хоть с ней и трудно приходится, но зато она отплачивает за все труды. Правда, в этих книжках не говорится, кто на ней трудится и кому она платит... Но и мне от щедрот её кое-чего перепало — разве мы не насытились запахом жаркого в Пунтиле? Разве не отведали глазами масла и пива? *(Поёт)*:

Небеса, и леса, и холмы, и долины
Очень дорого стоят народу рабочему.
От зелёных полей до гидротурбины...

А что, разве я говорю неправду? А теперь хватит. Помогите мне встать. Довольно сидеть в этой исторической позе.

Пунтила. Убирайтесь вон!

Четыре женщины кидают на землю свои соломенные венки и выходят за ворота.
Матти выметает солому.

Картина седьмая

ТАВАСТЛАНДСКИЕ ИСТОРИИ

Широкое шоссе. Вечер. Четыре женщины возвращаются домой.

Эмма-самогощица. Попробуй угадай, в каком они настроении. Когда напьются — валяют дурака, пристают. Тогда гляди в оба. Не то за-тащат в кусты и чёрт знает что сделают. А протрезвели — и как будто их

подменили: гонят, ругаются, грозятся позвать полицию... Ой, у меня в ботинке гвоздь...

С а н д р а - т е л е ф о н и с т к а . И подошва оторвалась...

Л и з у - к о р о в н и ц а . Ещё бы! Разве в таких ботинках пройдёшь пять часов по такой дороге...

Э м м а - с а м о г о н щ и ц а . Они совсем уж сносились. А я должна была ходить в них ещё целый год. Дайте-ка мне камень. *(Все садятся, и она вбивает гвоздь.)* А ведь верно, никак не поймёшь, в каком настроении господа. У них семь пятниц на неделе... Вот жена нашего прежнего полицмейстера... Она часто вызывала меня среди ночи к себе — растирать ноги. И как я, бывало, приду, она каждый раз совсем другая. И всё потому, в ладах она сегодня с мужем или не в ладах. У него, кажется, что-то было с прислугой. Раз она угостила меня конфетами, и я тут же поняла, что муж бросил ту девчонку. Но потом он опять с ней спутался. И я это опять-таки сразу же узнала по ней. Прихожу я, а полицмейстерша, хоть убей, не может вспомнить, сколько раз я её растирала. Твердит, что шесть раз, а я-то знаю, что десять. Вот как с ними бывает — память и ту отшибает.

А м а н д а - п р о д а в щ и ц а . Память у них отшибает вовсе не всегда. Вот, к примеру, Пека-американец. Он в Америке разбогател, а через двадцать лет прикатил к своим родственникам в гости. Они всегда выпрашивали у моей матери картофельные очистки — вот до чего бедны были. Но для Пеки они зажарили телятину, чтобы умаслить его. Телятину-то Пека съел, а потом напомнил им, что они ему деньги должны, двадцать марок. Когда-то он ихней бабушке одалживал. И до чего же он сокрушался, что не сможет получить с них эти деньги.

С а н д р а - т е л е ф о н и с т к а . Богатые над каждой копейкой трясутся. Потому-то они и богатые. Как-то зимой один помещик из нашей округи ночью должен был переправиться по льду через озеро. Он знал, что лёд треснул, только не знал, где именно. Вот он и попросил бедняка крестьянина проводить его. Крестьянин должен был все двенадцать километров идти впереди помещика. Тот со страху обещал ему лошадь, если только они благополучно переберутся. Но когда они дошли до середины, помещик говорит: «Коли ты и дальше не собьёшься с пути и я не провалюсь под лёд, я дам тебе в награду телка». А потом они увидели огоньки на том берегу, и он опять говорит: «Смотри. старайся — часы заработаешь». В пятидесяти метрах от берега он уже заговорил о мешке картошки, а когда они выбрались на другой берег, помещик дал ему марку да ещё сказал: «Долго ты всё-таки проваландался»... Вот какие они... Где уж нам разобраться в их настроениях и шутках. Мы всегда из-за них попадаем в беду. И всё потому, что с виду они такие же, как мы. Вот если бы они на медведей или на гадюк похожи были, тогда бы им нас не провести!

А м а н д а - п р о д а в щ и ц а . Значит, нечего с ними шутки шутить. А самое главное — не льститься на их добро. Ничего у них не брать...

Э м м а - с а м о г о н щ и ц а . Попробуй-ка ничего не брать у них! Ведь у богачей всё есть, а у нас ни черта. Скажи себе, когда у тебя всё внутри пересохло: я ни капли не возьму у реки...

А м а н д а - п р о д а в щ и ц а . А я вот как раз умираю пить хочу!

Л и з у - к о р о в н и ц а . И я тоже пить захотела... В Каузале одна служанка связалась с сыном хозяина. Родила. А парень не захотел платить алименты и на суде от всего отказался. Мать её наняла адвоката, и тот выложил судье письма, которые хозяйский сын писал девушке, когда был на военной службе. Письма были такие, что всё стало ясно, и не миновать бы парню пяти лет за лжесвидетельство. Да только начал судья читать эти письма, а девчонка подбежала и забрала их. Так ей и не присудили алиментов. Суд кончился, и все они пошли домой. Девушка заливалась горячими слезами, мать её ругала, а парень посмеивался. Вот тебе их любовь!

С андр а-т ел е ф о н и с т к а: Ну и дура она!

Э м м а-с а м о г о н щ и ц а: Кто знает, дура или умная. А может, она и правильно сделала, что не захотела брать у него деньги. Я слышала такую историю. Один человек ничего не хотел у них брать. Он был с красными в восемнадцатом году. И за это его посадили в лагерь. Это был совсем молодой парень. Жрать им там ничего не давали. С голодухи они ели траву. И вот его старушка мать решила принести ему немного еды. А идти надо было восемьдесят километров. Она была вдовой. Помещица дала ей рыбину и фунт масла. Пошла она, конечно, пешком, но когда кто-нибудь из деревенских подсаживал её к себе в телегу, то она им рассказывала: «Я иду к моему сыну Ати. Он сидит с красными в лагере, а моя добрая хозяйка дала мне рыбину и фунт масла». Один крестьянин, услышав это, велел ей слезть. Ему не понравилось, что её сын был красным. Но старуха не унималась, и когда проходила мимо речки, где бабы стирали бельё, она опять рассказала им: «Я иду в гости к сыну, он сидит в лагере с красными; помещица дала мне для него рыбину и фунт масла». И в лагере она снова повторила то же самое. Комендант рассмеялся и впустил её, хотя это вообще не разрешалось. Перед лагерем ещё зеленела трава, но за колючей проволокой уже не было ни травинки, ни листочка: всё съели люди. Истинная правда! Своего Ати старуха не видела целых два года — сначала он воевал, потом был в плену. Исхудал парень ужасно. «Ой, какой же ты стал, Ати! — сказала она. — Смотри, что я тебе принесла, — рыбину и масло! Всё это мне дала помещица». Ати с ней поздоровался, справился, не мучает ли её ревматизм, расспросил насчёт соседей. Но масло и рыбину он наотрез отказался взять. И даже рассердился на мать. «Напрасно ты клянчила у помещицы, — сказал он. — Можешь забирать всё обратно. Мне от них ничего не надо». И ей пришлось завернуть свои гостинцы, хоть Ати и изголодался чёрт знает как. Попрощалась она с ним и поплелась обратно — то пешком, а если кто соглашался её подвезти, то и на телеге. И опять рассказывает она всем встречным: «Мой Ати в лагере, но он не захотел взять рыбину и фунт масла, потому что я выклянчила их у помещицы. А он от них ничего не берёт». Дорога была долгая, а она была уже совсем старенькая. Присядет она отдохнуть у обочины, да и отхватит кусочек маслица или рыбки. А они уже успели за это время припортиться и пованивали изрядно. И опять у реки, встретив баб, она сказала им: «Мой Ати отказался взять у меня рыбину и масло, потому что я выклянчила их у помещицы. А он от них ничего не берёт». Это она говорила каждому встречному. А дорога была немалая — целых восемьдесят километров. Так что сами понимаете...

Л и з у-к о р о в н и ц а: Да, и такие люди, как Ати, тоже есть.

Э м м а-с а м о г о н щ и ц а: Только их слишком мало.

Они подымаются и молча идут дальше.

Картина восьмая

ПУНТИЛА УСТРАИВАЕТ ПОМОЛВКУ СВОЕЙ ДОЧЕРИ С НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ

Столовая. Маленькие накрытые столики. Огромный буфет. П а с т о р, с у д ь я и а д в о к а т курят, прихлёбывая кофе. В углу сидит П у н т и л а и молча пьёт водку. В комнате рядом танцуют под патефон.

П а с т о р. В наши дни редко встретишь истинно верующего человека. Повсюду царят сомнение и равнодушие. Можно прямо-таки потерять веру в свою паству. Напрасно я беспрестанно вдалбливаю прихожанам, что без воли господя не может произрасти и самая маленькая былинка — даже кустик черники. Никто не вмешивает этому. Люди принимают дары божьи, как должное, и пожирают их без зазрения совести. Зря думают, что они

не посещают храм божий, потому что устали от трудов праведных, — ведь каждая коровница имеет велосипед и может легко добраться до церкви. Но они не ходят туда. А всё из-за испорченности своей и пороков, в которых они погрязли. Мне приходится читать проповеди перед пустыми скамьями. И в этом одна из причин того, что вера в народе слабеет и чахнет. Чем иначе объяснить такой случай: не дальше как на прошлой неделе, рассказывая у одра умирающего, что ожидает человека в загробной жизни, я услышал от него: «Как, по-вашему, святой отец, не сгниёт ли картофель от дождей?» Поневоле задумаешься: а не идут ли все твои труды коту под хвост?..

Судья. Понимаю вас. Прививать этим варварам культуру — занятие малоприятное.

Адвокат. Да и нам, адвокатам, теперь не сладко живётся. Испокон веков нас кормило адское упрямство крестьянина. Он готов был дойти до нищенской суммы, но не поступался своими правами. А теперь люди стали скрягами. Они, как и прежде, норовят обидеть друг друга, пырнуть ближнего ножом, подложить соседу свинью, но стоит им узнать, что тяжба потребует затрат, как они сразу же идут на попятный. Из-за своей расчётливости и скупости они готовы прекратить отличнейший процесс!

Судья. Да, мы живём в век мелкой расчётливости. Всё мельчает, добрые старые обычаи исчезают. Поневоле разуверишься в людях. Просто руки опускаются, когда — в который уже раз — пытаешься просветить простой народ.

Адвокат. Хорошо Пунтиле. У него голова не болит — знай себе снижает урожай! А вот я с каждым процессом вожусь, как с малым ребёнком. Пока он вырастет — поседеешь. А волнений сколько! То думаешь — вот уж конец, зачах процесс, тянуть его больше нельзя... Потом, глядишь, — снова что-то выплыло. Пошла тяжба на поправку. Больше всего хлопот с тем процессом, который ещё в пелёнках, — среди младенцев-то самая большая смертность! Но если ты его уже вывел из младенческого возраста, поставил, так сказать, на ноги, то уж теперь он твой кормилец. Годы ты будешь тянуть его... А он всё растёт и кормит тебя. Зато сделать его таким — нелёгкая задача. Нет, собачья жизнь у нас!

В комнату входят атташе и пасторша.

Пасторша. Господин Пунтила, вы должны чуточку больше уделять внимания своим гостям. Правда, господин министр танцует сейчас с фройлен Евой, но он уже интересовался вами.

Пунтила не отвечает.

Атташе. Господа! Супруга пастора поразила нас сейчас своим остроумием. Господин министр спросил её, как она относится к джазовой музыке. Ожидая её ответа, я весь превратился в слух, я буквально сгорал от любопытства. Легко ли выпутаться из такого щекотливого положения? Но супруга господина пастора, и глазом не моргнув, ответила министру: «Раз под церковный орган танцевать нельзя, то пусть уж танцуют под любую музыку!» Министр смеялся до упаду. А что ты скажешь, Пунтила?

Пунтила. Ничего не скажу. Не желаю я критиковать своих гостей. (*Жестом подзывает к себе судью.*) Как тебе нравится эта рожа, Фредерик?

Судья. О ком ты говоришь?

Пунтила. Об атташе, конечно. Нет, скажи мне честно!

Судья. Будь осторожен, Иоганнес, пунш весьма крепкий.

Атташе (*отбивая такт ногой, вполголоса напевает мелодию, которая слышится из соседней комнаты*). Так и подмывает пуститься в пляс, не правда ли?

Пунтила (*вновь подзывает судьбу, который пытается делать вид, что он не замечает этого*). Скажи правду, Фредерик, как тебе нравится эта рожа? Ведь я её обменял на свой лес.

Остальные также вполголоса напевают модную песенку «Я ищу Титину...»

Атташе (*ничего не подозревая*). Никак не могу запомнить слов... Это у меня ещё со школы. Но зато я прекрасно чувствую ритм...

Пунтила настойчиво подзывает к себе адвоката.

Адвокат. Может быть, перейдём в гостиную? Здесь душновато. (*Пытается увлечь за собой атташе.*)

Атташе. И всё-таки я недавно запомнил одну строчку по-английски: «We have no bananas» — «У нас нет бананов». Я оптимист. В свою память я продолжаю верить.

Пунтила. Гляди на него, Фредерик, и — решай!

Судья. Помните анекдот об одном еврее, который забыл в кафе свой пальто. Пессимист сказал: «Ему наверняка вернут его». А оптимист возразил: «Нет, не вернут». (*Все смеются.*)

Атташе. Ну и как, вернули ему пальто? (*Все смеются.*)

Судья. По-моему, вы не уловили, в чём соль анекдота...

Пунтила. Фредерик!

Атташе. Нет, вы должны объяснить мне, в чём дело. Не кажется ли вам, что вы перепутали ответы? Наверное, это оптимист сказал: «Да, пальто ему вернут?»

Судья. Нет, это сказал пессимист. Видите ли, анекдот как раз заключается в том, что еврей был в таком старом пальто, что его лучше было потерять...

Атташе. Ах, так! Он был в старом пальто. Но об этом вы забыли упомянуть. Ха-ха-ха! Никогда в жизни не слышал такого замечательного анекдота.

Пунтила (*встаёт с мрачным видом*). Пора и мне сказать своё слово. Таких типов (*указывает на атташе*) я не перевариваю. Зря, Фредерик, ты уклоняешься от ответа на мой вопрос. Ведь я тебя спрашиваю совершенно серьёзно: ты согласен, чтоб этот тип вошёл в мою семью? Да что мне твоё мнение? Я и сам решу. Разве я не мужчина? Человек без чувства юмора для меня не человек. (*С достоинством к атташе.*) Убирайтесь из моего дома! Да, да, вы убирайтесь. Это я про вас говорю. Не притворяйтесь, будто вы не знаете, кого я имею в виду...

Судья. Это уж слишком, Пунтила!

Атташе. Господа, вы ничего не слышали. Прошу вас забыть об этом недоразумении. Вы даже не можете себе представить, как уязвимо положение дипломата! Достаточно самого маленького пятнышка, и он не получит агремана. Как-то в Париже, на Монмартре, тёща секретаря одного посольства поколотила зонтиком своего любовника. И что вы думаете, разыгрался невообразимый скандал!

Пунтила. Ни дать ни взять саранча во фраке! Саранча, которая может сожрать целый лес, мой лес.

Атташе (*с жаром*). Конечно, дело вовсе не в том, что у неё был любовник. Это в порядке вещей. И не в том, что она его побила. Это тоже вполне естественно. Но нельзя было бить его зонтиком. Ведь это вульгарно! Всё дело в нюансах!

Адвокат. Он прав, Пунтила, его честь надо щадить! Ведь он на дипломатической службе.

Судья. Пунш чересчур крепок, Иоганнес.

Пунтила. Ты ничего не хочешь понять, Фредерик! Дело слишком серьёзное.

Пастор (*жене*). Господин Пунтила немного возбуждён. Может быть, ты выйдешь в гостиную, Анна.

Пунтила. Не беспокойтесь, сударыня, я останусь в рамках. Не пунш меня выводит из себя, а рожа этого господина! Меня тошнит от неё!

Атташе. Сама принцесса Бибеско отметила моё чувство юмора. Она сказала леди Оксфорд, что я начинаю смеяться над анекдотом или «бон мо» уже заранее. Это значит, что я схватываю всё на лету!

Пунтила. Как тебе нравится, Фредерик? У него чувство юмора!

Атташе. Чтобы человек почувствовал себя оскорблённым, он должен услышать своё имя. Если имя не произнесено — оскорбление недействительно.

Пунтила (*с мрачным сарказмом*). Что делать, Фредерик? Я забыл его имя... Какой ужас! Теперь мне от него уже не избавиться! Впрочем, нет. Слава тебе господи! Я вспомнил! Вспомнил, ведь я видел его подпись на долговом обязательстве, которое собирался выкупить! Его зовут Айно Зилака! Может быть, теперь он наконец оскорбится и уйдёт? Как ты думаешь?

Атташе. Господа, имя названо! Внимание! Теперь каждое последующее слово должно быть взвешено на золотых весах чести.

Пунтила. Нет, тут уж я пасую. (*Вдруг начинает кричать.*) Немедленно убирайся и больше не показывайся в моём доме! Свою дочь я не выдам замуж за саранчу во фраке!

Атташе (*повернувшись к нему*). Пунтила, ты кажется меня оскорбляешь? Ты заявляешь, что хочешь прогнать меня из дома! Да понимаешь ли ты, что тем самым ты переходишь ту хрупкую грань, за которой начинается то, что мы называем скандалом!..

Пунтила. Нет, это уж слишком! Хватит дурака валять! Я не хотел скандала. Я просто дал тебе понять, что мне противна твоя рожа. Я сделал это среди своих. Но ты не понял, что тебе лучше убраться подобру-поздорову. И теперь ты вынуждаешь меня сказать тебе ясно и отчётливо: «Убирайся вон, дерьмо!»

Атташе. Пунтила, я могу обидеться! Разрешите откланяться, господа. (*Уходит.*)

Пунтила. побыстрей выкатывайся! Ты у меня ещё попляшешь! Я покажу тебе, как дерзить мне!

Пунтила бежит за атташе. Все, кроме жены пастора и судьи, следуют за ним.

Жена пастора. Какой скандал!

Входит Ева.

Ева. Что случилось? Что за шум?

Жена пастора (*подбегает к ней*). О деточка! Произошла ужасная неприятность! Соберись с силами! Будь мужественна!

Ева. Что произошло?

Судья (*берёт со стола рюмку ликёра*). Глотни, Ева! Твой отец выпил бутылку пунша, и у него вдруг обнаружилась идиосинкразия к Айно. Он его прогнал.

Ева (*пьёт*). Ликёр отдаёт пробкой. А что он ему сказал?

Жена пастора. Ты убита этим, Ева?

Ева. Да, конечно.

Пастор возвращается.

Пастор. Это ужасно!

Жена пастора. Ну что? Как было дальше?

Пастор. Во дворе происходит нечто ужасное. Он бросает в него камнями!

Ева. Ну и как? Попал?

Пастор. Не знаю. Адвокат бросился унимать его. Бог мой, ведь в доме министр!..

Е в а. Ну, дядя Фредерик, теперь я почти спокойна. С атташе, кажется, дело кончено. Как хорошо, что мы заполучили министра! Не будь его, эффект был бы не тот.

Ж е н а п а с т о р а. Ева!

Входят Пунтила и Матти, за ними — Лайна и Фина.

П у н т и л а. Только сейчас я понял, до чего испорчен свет! Чинно вхожу я в гостиную, чтобы выполнить долг благородного человека и признать свою ошибку. Ведь я чуть было не выдал свою единственную дочь за саранчу. Но, слава богу, вовремя одумался. Я объявляю гостям, что моя дочь может быть помолвлена только с настоящим человеком. И такой человек есть. Он здесь, среди нас... Его зовут Матти Альтонен. Он первоклассный шофёр и мой друг. И я, как водится, предлагаю осушить бокалы за здоровье молодой счастливой пары! И что, вы думаете, мне на это ответили? Министр, которого я всегда считал образованнейшим человеком, посмотрел на меня, как на ядовитую змею, и велел немедленно подать ему машину. Остальные, конечно, собезьянничали и тоже навострили лыжи. Ну и нравы! Я чувствовал себя христианским мучеником, которого бросили в клетку ко льву. Но не беспокойтесь, я не оробел. Я догнал министра у машины, хотя он очень торопился, и успел сказать ему, что он тоже порядочное дерьмо. Надеюсь, я выразил наше общее мнение?

М а т т и. Не пойти ли нам, господин Пунтила, на кухню, чтобы там обсудить все наши дела за бутылкой пунша?

П у н т и л а. А зачем идти на кухню? Ведь мы ещё не отпраздновали настоящей помолвки! Пока мы праздновали только фальшивую. Это не годится. Составим столы! Несите угощение! Будем пировать! Фина, садись рядом со мной!

Он усаживается посередине комнаты, остальные сдвигают столы. Ева и Матти приносят стулья.

Е в а (Матти). Ты чего так глядишь на меня? Что за недовольный вид? Такой вид бывает у моего папаша, когда ему за завтраком подают несвежее яйцо. Прежде ты смотрел на меня, кажется, иначе.

М а т т и. Это только кажется.

Е в а. Признайся, что ты думал вовсе не о раках, когда собирался ехать со мной на остров сегодня ночью?

М а т т и. Во-первых, то было ночью, а во-вторых, речь шла не о жеманье.

П у н т и л а. Ты, пастор, садись рядом с судомойкой, а вы, сударыня (к пастору), сядете рядом с поварихой. И ты, Фредерик, усаживайся. Посиди хоть раз с порядочными людьми.

Все нехотя рассаживаются. Молчание.

Ж е н а п а с т о р а (к Лайне). Вы уже засолили грибы?

Л а й н а. Я не солю, я сушу грибы.

Ж е н а п а с т о р а. А как?

Л а й н а. Я их нарезаю крупными кусками, потом нанизываю на нитку и вывешиваю на солнце.

П у н т и л а. Позвольте мне сказать пару слов о женихе моей дочери. Матти, я давно уже приглядываюсь к тебе, изучаю твой характер. С тех пор, как ты появился у нас в Пунтиле, мы не знаем, что такое сломанная машина. Но дело не в этом. Я уважаю тебя прежде всего как человека. Ты думаешь, я не помню, что произошло сегодня утром? Отлично помню. Я стоял на балконе и, подобно злодею Нерону, поносил своих дорогих гостей. Слепой безумец! Как сейчас, я вижу твой укоризненный взгляд... Но я ведь предупреждал тебя, что подвержен припадкам. Ты, верно, заметил — впрочем, тебя здесь не было, — как во время обеда меня терзали

угрызения совести. Я представлял себе, как эти четыре женщины плелись пешком в Кургелу... Как встретили их, что поднесли мы им? Одни грубости и ни глотка вина... Немудрено, если они разуверятся в Пунтиле. И вот я спрашиваю тебя: Матти, можешь ли ты всё это забыть?

М а т т и. Считайте, господин Пунтила, что я уже всё забыл... Только прошу вас, убедите свою дочь не выходить за меня замуж. Простой шофёр ей не пара.

П а с т о р. Весьма похвальная мысль.

Е в а. Понимаешь, папа, пока тебя здесь не было, мы с Матти немножко повздорили. Он не верит, что ты дашь за мной лесопилку. И он сомневается, что я смогу быть женой шофёра...

П у н т и л а. А как ты считаешь, Фредерик?

С у д ь я. Не спрашивай меня ни о чём, Иоганнес. И не смотри на меня, как раненый зверь на охотника. Спроси лучше Лайну.

П у н т и л а. Скажи мне, Лайна, такой ли я человек, чтобы жалеть добро для собственной дочери? Неужели ты думаешь, я не дам родной дочери свою лесопилку, паровую мельницу да ещё лес в придачу? Отвечай!

Л а й н а (*по выражению её лица видно, что Пунтила прервал её разговор с женой пастора о грибах, который они вели вполголоса*). Хорошо, господин Пунтила, я сейчас приготовлю вам кофе.

П у н т и л а. А делать детей ты, Матти, умеешь? Прилично?

М а т т и. Говорят, да.

П у н т и л а. Не велика мудрость! А вот умеешь ли ты делать это неприлично? Ты всё равно не скажешь. Я знаю, ты не любишь себя хвалить. Но скажи, с Финой ты этим делом занимался? Да? Тогда я у неё справлюсь. Ах, нет? Ну, этого уж я не понимаю.

М а т т и. Полно, господин Пунтила...

Е в а (*она выпила лишнее. Встаёт и держит речь*). Прошу тебя, дорогой Матти, возьми меня в жёны. Я хочу, чтобы мой муж был не хуже, чем у других. И если хочешь, то давай сейчас же ловить с тобой раков... Ты думаешь, я много о себе воображаю? Ничего подобного. Я согласна жить с тобой, даже если нам придётся туго.

П у н т и л а. Bravo!

Е в а. А если не хочешь ловить раков, если считаешь, что это несерьёзно, то я сейчас же беру свой чемоданчик. и мы едем к твоей матери. Отец не возражает.

П у н т и л а. Как раз наоборот, я приветствую.

М а т т и (*поднимается и опрокидывает один за другим два стакана вина*). Знаете, фройлен Ева, я готов сделать любую глупость. Но привезти вас к моей матери — это уж слишком! Старуху хватит удар. Ведь у нас на всех одна кушетка. Господин пастор, расскажите фройлен Еве, как живут бедные люди, на чём они спят!

П а с т о р (*серьёзно*). Да, у них очень убого...

Е в а. Зачем вы мне это говорите? Я и сама скоро всё увижу.

М а т т и. И спрósите мою бедную мать, где вам можно принять ванну.

Е в а. Я вымоюсь в городской бане.

М а т т и. На деньги господина Пунтилы? Я вижу, что мысль о лесопилке крепко засела у вас в голове. Но из этого ничего не выйдет, потому что не дальше чем завтра утром господин Пунтила опять станет самим собой, то есть вполне разумным человеком.

П у н т и л а. Не говори о нём! Слышишь, не смей упоминать о том Пунтиле! Он наш враг! Сегодня ночью тот Пунтила захлебнулся в пунше. Этого мерзкого типа больше нет в живых. Теперь перед вами Пунтила, в котором проснулся человек! Пейте со мной! Пейте, и вы тоже станете людьми! Не унывайте!

М а т т и (*Еве*). Уверяю вас, вы не должны ехать к моей матери. Хотите знать почему? Мне первому влетит, если я приведу в дом такую вот жену.

Е в а. Ах, Матти, зачем ты говоришь так!

П у н т и л а. Я тоже считаю, что ты перебарщиваешь, Матти. Конечно, и у Евы есть свои недостатки. Возможно, она к старости располнеет. Так было с её матерью. Но будь спокоен, до тридцати или даже до тридцати пяти лет этого не случится. А пока с ней не стыдно показаться на людях.

М а т т и. При чём здесь полнота? Я говорю, что она не знает жизни. Мне, простому шофёру, нужна совсем другая жена.

П а с т о р. Я точно того же мнения.

М а т т и. Не смейтесь, фройлен Ева. Вам будет не до смеха, если моя мать устроит вам экзамен. Тогда вы узнаете, почём фунт лиха.

Е в а. А ну, Матти, устрой-ка мне экзамен сейчас. Вообрази, что я твоя жена. Скажи, что я должна делать?

П у н т и л а. Вот это я понимаю! Фина, принеси-ка бутерброды. Мы будем ужинать, а Матти пусть экзаменует Еву. Задай-ка ей жару, Матти!

М а т т и. Сиди, Фина! У нас с Евой прислуги нет. И если неожиданно нагрянут гости, то угощать их особенно не придётся. Подашь им то же, что обычно подаёшь. Неси селёдку, Ева!

Е в а (*весело*). Мигом слетаю. (*Уходит.*)

П у н т и л а (*кричит ей вслед*). Не забудь масла! (*К Матти.*) Мне нравится, что ты решил жить самостоятельно и ничего у меня не брать. На это не всякий способен!

Ж е н а п а с т о р а (*к Лайне*). Шампиньоны я не солю. Я их варю с лимоном и маслом. Грибы должны быть маленькие, как пуговки. Маслята тоже можно солить...

Л а й н а. Маслята — вкусные грибы. Но они всё-таки не самые лучшие грибы. Самые лучшие — это белые и шампиньоны.

Е в а (*возвращается. Несёт блюдо с селёдкой. Обращается к Матти*). У нас нет масла? Правда?

М а т т и. Вот она, селёдка! Здравствуй, старая знакомая! (*Берёт блюдо.*) Вчера я встречался с твоей сестрой, а позавчера ещё с какой-то родственницей. И так далее и так далее. С тех пор, как я научился держать вилку в руках, я всегда встречаюсь с твоими родичами... Сколько раз в неделю, фройлен Ева, вы намерены есть селёдку?

Е в а. Три раза, Матти. Если это будет необходимо, конечно.

Л а й н а. Ну нет! Вам придётся её есть гораздо чаще. Это наверняка будет необходимо!

М а т т и. Да вы ещё многого не знаете. Моя мать, как и Лайна, была когда-то кухаркой у помещика. Она давала слугам селёдку пять раз в неделю, а ты, Лайна, все восемь. (*Берёт с блюда селёдку за хвост.*) Приветствую тебя, селёдка! Разве не заменяешь ты нам всяческие разносолы! Разве ты не служишь единственной пищей беднякам! Разве твоя соль не разъедает их желудки! Море принесло тебя нам, а земля берёт обратно! Ты даёшь нам силу валить вековые сосны и засеять поля! До сего времени вечный двигатель ещё не изобретён, поэтому тебе приходится приводить в движение машины, которые называются слугами. Будь проклята, селёдка! Если бы тебя не было, мы потребовали бы у господ свинину. Что бы тогда стало с нашими господами?! (*Кладёт селёдку обратно, разрезает её и даёт каждому по кусочку.*)

П у н т и л а. Для меня селёдка — лакомство! Я ем её очень редко. Но я против неравенства. Если бы на земле было устроено всё по-моему, то доходы с моего поместья лежали бы в общей кассе. И каждый мог бы

брать столько, сколько ему нужно. Ведь без вашего труда и в кассе ничего не было бы. Правильно?

М а т т и. Делать это я бы вам не советовал. Вы сразу разоритесь. А именин ваше достанется банку.

П у н т и л а. По-твоему — так, а по-моему — иначе. Ведь я почти что коммунист. Ох, и задал бы я Пунтиле перцу, если бы батрачил у него! Ну, продолжай свой экзамен! Интересно, что будет дальше...

М а т т и. Девушка, которую я приведу к себе в дом, должна много чего уметь... Когда я думаю о ней, мне сразу же вспоминаются мои носки. *(Разувается и даёт Еве носок.)* Можете заштопать носок?

С у д ь я. Вы требуете слишком многого. Когда речь шла о селёдке, я молчал. Но если бы Джульетта могла предположить, что ей придётся штопать носки Ромео, её любовь не выдержала бы подобного испытания. Любовь, способная на такие жертвы, — слишком страстная. А она добром не кончается. Мы, судьи, хорошо это знаем.

М а т т и. Жёны бедняков штопают носки не столько из-за страстной любви, сколько из экономии...

П а с т о р. Не думаю, чтобы девушки из хороших семей, получившие воспитание за границей, были подготовлены к этому.

Е в а возвращается с иголкой и нитками и берётся зашивать носок.

М а т т и. Многовато ей придётся навёрстывать. Её плохо воспитывали. *(К Еве.)* Если вы будете стараться, я не стану попрекать вас плохим воспитанием. Я понимаю: вам просто не повезло с родителями. Они не научили вас ничему путному. Как только мы заговорили о селёдке, я сразу понял, что в вашем воспитании громадные пробелы. Тогда я подумал о носках. Это поможет мне окончательно выяснить, способны ли вы вообще на что-нибудь дельное.

Ф и н а. Я могу показать фройлен Еве, как это делается.

П у н т и л а. Не волнуйся, Ева. Голова у тебя работает неплохо — значит, ты справишься.

Е в а нерешительно подаёт М а т т и носок. Подняв его кверху, он рассматривает работу Евы с кислой улыбкой. Носок безнадежно испорчен.

Ф и н а. Его ведь надо было штопать на грибе. А без гриба и у меня вышло бы не лучше.

П у н т и л а. Почему же ты не взяла гриб?

М а т т и. Необразованность! *(К судье, который смеётся.)* Не понимаю, что здесь смешного? Носок испорчен. *(К Еве.)* Вы же хотите стать женой шофёра, а для жены шофёра испорченный носок — целая трагедия. Потому что, как говорится, по одежке протягивай ножки. А у нас одежка-то худая. Но я предоставлю вам ещё одну возможность показать себя.

Е в а. Признаюсь, с носками у меня не вышло.

М а т т и. Вообразите, что я служу шофёром в именин, а вы берёте у хозяев в стирку бельё, а зимой ещё топите у них печи. Ну вот. Настал вечер. Я возвращаюсь домой. Как вы меня встретите?

Е в а. Ах, Матти, это выйдет у меня гораздо лучше! Приходи домой.

М а т т и удаляется на несколько шагов и делает вид, что входит в комнату.

Е в а. Матти! *(Подбегает к нему и целует его.)*

М а т т и. Ну и ошибка. Я возвращаюсь домой усталый. Значит, всякие нежности и прочая чепуха ни к чему. *(Делает вид, что идёт к умывальнику, чтобы умыться; потом шарит руками, словно ищет полотенце.)*

Е в а *(начинает тараторить)*. Бедный Матти! Ты так устал. Весь день я думала о том, как ты надрываешься. С каким удовольствием я бы помогла тебе.

Ф и н а даёт ей салфетку. Она в расстройстве передаёт её М а т т и.

Е в а. Прости меня, сразу я не догадалась, что ты искал.

М а т т и что-то недовольно бурчит себе под нос, садясь за стол. Потом он протягивает Е в е ногу в сапоге. Е в а пытается снять его.

П у н т и л а (*встаёт и с напряжённым вниманием наблюдает за этой сценой*). Тяни! Тяни!

П а с т о р. Мне кажется, нам преподали весьма полезный урок. Теперь вы понимаете, насколько всё это противоестественно...

М а т т и. Не думайте, что я всегда требую этого. Только сегодня, к примеру, я ужасно намаялся, потому что ездил на тракторе. Надо же с этим считаться. А ты что сегодня делала?

Е в а. Стирала, Матти.

М а т т и. Крупные вещи? Сколько штук пришлось выстирать?

Е в а. Четыре. И всё простыни.

М а т т и. Fiна, объясни ей!

Ф и н а. Самое меньшее, фройлен, вам пришлось перестирывать семнадцать штук крупного белья. Да ещё два узла цветного.

М а т т и. А воду ты носила из колонки вёдрами? Шланг, наверное, испорчен, как у нас в Пунтиле?

П у н т и л а. Крой меня как следует. Я, Матти, никудышный человек.

Е в а. Воду я носила вёдрами...

М а т т и (*берёт её за руку*). Когда ты поломала ногти — во время стирки или когда топила печи? Смажь себе руки жиром. У моей матери к старости руки стали вот какие толстые и красные! (*Показывает.*) Ты, наверное, устала. Но мою спецовку тебе всё же придётся постирать. Завтра мне нужно быть в чистой.

Е в а. Хорошо, Матти.

М а т т и. Если ты её сейчас выстираешь, она ещё успеет высохнуть к завтрашнему утру. А тогда вставай хоть в пол шестого — успеешь выгладить. (*Матти шарит руками по столу.*)

Е в а (*в испуге*). Что ты ищешь?

Ф и н а. Он ищет газету.

Е в а вскакивает, делая вид, что она подаёт Матти газету. Но он не берёт её, продолжая с мрачным видом шарить по столу.

Ф и н а. Положите её на стол!

Е в а кладёт газету на стол. Но она не успела стащить с него второй сапог, и он нетерпеливо стучит им. Чтобы снять сапог, она вновь спускается на пол. Стащив его, она поднимается, с облегчением вздыхает и поправляет волосы.

Е в а. Знаешь, я вышила себе фартук. Это сразу оживило его. Не правда ли? Все вещи можно оживить. Это стоит совсем не так уж дорого... Надо только уметь. Тебе нравится, Матти?

М а т т и, которому помешали читать газету, с усталым видом опускает её на стол и страдальчески смотрит на Е в у. Она испуганно замолкает.

Ф и н а. Пока он читает газету, нельзя разговаривать...

М а т т и (*вставая*). Вот видите?

П у н т и л а. Я в тебе разочарован, Ева.

М а т т и (*почти сочувственно*). Всё она делала неправильно. Она хотела есть селедку только три раза в неделю. Когда ей нужно было заштопать носок, она забыла взять гриб. Когда я, усталый, пришёл домой, у неё не хватило ума, чтобы не болтать попусту. Ну, а что ты сделаешь, Ева, если меня разбудят среди ночи, чтобы ехать на станцию встречать старика?

Е в а. Сейчас покажу. (*Она делает вид, что подходит к окну и начинает быстро выкрикивать.*) Ах, так? Теперь вы взяли себе моду подымать мужа среди ночи? И это после того, как он только что вернулся домой? Разве

ему не надо отдохнуть хоть часок! Нет, это уж слишком! Этот старый пьяница проснется где-нибудь в канаве! Не отпущу я мужа, ни за что. Спрячу его штаны!

Пунтила. Сознайся, Матти, это у неё вышло здорово!

Ева. Вот ещё выдумали будить людей среди ночи, мало вы их мучаете днём?! И так мой муж возвращается домой без сил. А тут на тебе ещё! К чертям такую службу!.. Ну, а это у меня выходит лучше?

Матти. Да, фройлен Ева, это у вас здорово получилось. *(Смеётся.)* Правда, меня за такие штуки выгонят вон. Но моей матери понравилось бы, как вы их разделали. *(Одобрительно хлопает Еву по заду.)*

Ева *(она сначала онемела от изумления, потом сердито говорит)*. Оставьте меня!

Матти. А что такое?

Ева. Как вы осмелились ударить меня по этому месту?

Судья *(встаёт и треплет Еву по плечу)*. Боюсь, девочка, что ты всё же не выдержала экзамена!

Пунтила. Что приключилось?

Матти. Вы на меня обиделись? Мне нельзя было вас шлёпнуть?

Ева *(снова смеётся)*. Нет... Папа, я боюсь, что у меня ничего не выйдет.

Пастор. Этого следовало ожидать.

Пунтила. Не понимаю, чего ты боишься?

Ева. Мне теперь тоже кажется, что меня неправильно воспитывали. Лучше я пойду к себе.

Пунтила. Пора и мне вмешаться. Ева, немедленно садись на место!

Ева. Папа, будет лучше, если я уйду. Твоё сватовство, к сожалению, не удалось. Спокойной ночи! *(Уходит.)*

Пунтила. Ева!

Пастор и судья тоже собираются уходить, но жена пастора ещё не закончила разговора с Лайной о грибах.

Жена пастора *(с жаром)*. Вы меня почти убедили, хотя раньше я всегда солила. Тут-то уж меня не собьёшь. Только сперва их надо почистить...

Лайна. Не надо этого делать. С них нужно просто соскрести грязь.

Пастор. Пошли, Анна, уже поздно.

Пунтила. Ева!.. Мне с ней больше не о чем говорить, Матти. Я предлагаю ей в мужья настоящего человека. Я хочу её осчастливить... С таким мужем, как ты, она бы заливалась, как жаворонок. Но ей, видите ли, образование не позволяет стать твоей женой, она боится... Нет, я прокляну её! *(Бежит к двери.)* Я лишаю тебя наследства! Забирай своё барахло и убирайся из дома! Ты думаешь, я не знаю, что ты готова была выйти за атташе только потому, что я тебе так велел! Ты бесхарактерная тряпка! Ты мне больше не дочь!

Пастор. Господин Пунтила, что вы делаете? Вы просто не в себе!

Пунтила. Отстаньте от меня! Читайте свои проповеди в церкви. Туда всё равно никто не ходит! Никому нет охоты вас слушать!

Пастор. Разрешите откланяться, господин Пунтила.

Пунтила. Да, да, уходите! Бросайте на произвол судьбы убитого горем отца! Не понимаю, откуда у меня такая дочь? Она готова лечь в кровать с саранчой! Любая девка объяснит ей, зачем бог в поте лица своего сотворил ей задницу. Бог дал ей задницу, чтобы она спала с настоящим мужчиной и получала от этого удовольствие. Я показал ей такого мужчину, а она ещё нос воротит. *(К судье.)* Ну уж ты, Фредерик, должен был объяснить ей, какую глупость она делает! А вместо этого ты всё время молчал, как рыба. Раз так, убирайся!

Судья. На сегодня, Пунтила, довольно. Меня, пожалуйста, оставь в покое. Я умываю руки. *(Улыбаясь, он уходит.)*

Пунтила. Это ты делаешь вот уже тридцать лет. Не знаю, как ты ухитрился не размыть свои руки окончательно. Не забудь только, что ты не всегда был судьёй и не всегда умывал руки. Прежде ты был простым крестьянином и руки у тебя были крестьянские!

Пастор *(пытается прервать разговор своей жены с Лайной)*. Пора уходить, Анна!

Жена пастора. Да нет... Их не надо класть в холодную воду... И послушайте меня, ножки надо отваривать отдельно. Сколько времени вы их варите?

Лайна. Они должны только вскипеть.

Пастор. Я жду, Анна...

Жена пастора. Иду. Я их варю десять минут...

Пастор уходит, пожимая плечами.

Пунтила *(снова садится за стол)*. Разве это люди? Я их и за людей не считаю.

Матти. Если разобраться, то они-то как раз и есть люди. У меня был один знакомый доктор. Когда он видел, что крестьянин бьёт свою лошадь, то говорил: «Ну, вот теперь наконец он обращается с ней по-человечески, потому что звери на такое обращение не способны!»

Пунтила. Да, мудро сказано. Я бы с этим доктором охотно выпил. Налей себе ещё полстаканчика... Мне очень понравилось, как ты её экзаменовал, Матти.

Матти. Извините меня, господин Пунтила, за то, что я шлёпнул вашу дочь по задку. Собственно говоря, это было сверх программы. Я просто хотел подбодрить её. Но вы заметили, как раз это и позволило обнаружить, что мы не подходим друг к другу.

Пунтила. Мне не за что тебя извинять, Матти. У меня больше нет дочери...

Матти. Не будьте так суровы с ней! *(Обращаясь к жене пастора и к Лайне.)* Ну, а вы-то по крайней мере договорились насчёт грибов?

Жена пастора. И вы сразу сыплете соль?

Лайна. Да, сразу. *(Обе уходят.)*

Пунтила *(к Матти)*. Прислушайся... Кажется, народ ещё гуляет?

Слышно, как возле пруда поёт красный Зуркала.

Графиня в шведской жила стороне,
Так красива была и бледна.
«Ах, лесничий, подвязку ты мне завяжи,
Завяжи, завяжи», —
Прошептала влюблённо она.

«Ах, графиня, графиня, — лесничий сказал, —
Я служу вам за хлеба кусок.
Ваши груди белы, но черна ваша плеть.
Так черна, так черна!
Страсть прекрасна, да нрав ваш жесток».

И лесничий умчался в ту самую ночь,
Поскакал он на берег морской.
«Ах, рыбак, ты возьми меня в лодку скорей,
Поскорей, поскорей!
И на острове дальнем укрой!»

Полюбила однажды лиса петуха.
 «О, к груди моей жаркой прильни!»
 Ночь была хороша, а наутро нашли,
 Ах, нашли, ах, нашли
 Петушиные перья одни.

Пунтила. Вот так песня! Такие песни выворачивают мне всё нутро.

Матти обнимает Фину. Танцуя, они исчезают.

Картина девятая

НОКТЮРН

Двор. Ночь. Пунтила и Матти стоят в углу двора.

Пунтила. Я не люблю людей, которые не умеют радоваться жнз-ни. Я хочу, чтобы у меня в Пунтиле не было кислых физиономий. Пони-маешь, стоит мне заметить, что мой работник повесил нос, как он для меня уже не существует.

Матти. Согласен с вами. Непонятно только, почему ваши батраки такие все заморённые и зелёные... Просто-таки кожа да кости. Да и вы-глядят лет на двадцать старше своего возраста. Наверное, они нарочно так выглядят: вам назло... Чтó бы им сообразить и не попадаться хозя-ину, зачем огорчать его? Так нет же, даже при гостях на глаза лезут.

Пунтила. Можно подумать, что в Пунтиле голодают.

Матти. А если я скажу, что это правда? Вообще-то наши люди дав-но должны были привыкнуть к пустому желудку. Но они всё не хотят привыкать. Несознательные какие-то. В восемнадцатом году перебили во-семьдесят тысяч таких, как они. Стало меньше голодных ртов... и наста-ло небесное спокойствие...

Пунтила. Этого не следовало делать.

Картина десятая

ГОСПОДИН ПУНТИЛА И ЕГО СЛУГА МАТТИ ВЛЕЗАЮТ НА ВЕРШИНУ ГОРЫ ХАТЕЛЬМА

Библиотека в поместье Пунтилы. Пунтила сидит за столом. Голова у него обмотана мокрым полотенцем. Кряхтя, он изучает счета. Рядом с ним стоит Лайна. Она держит миску с водой и второе полотенце.

Пунтила. Если атташе опять будет часами болтать по телефону с городом, я расторгну помолвку. Это для меня слишком дорогое удо-вольствие. Пусть я лишусь леса. Ладно! Но он ещё залезает ко мне в кар-ман по мелочам. У меня вся кровь кипит, когда я об этом думаю... Скоро мне придётся самому засесть в курятник. В счетах птичницы ничего не разберёшь — всё в кляксах.

Фина (*входит*). С вами хотят поговорить господин пастор и господ-дин адвокат.

Пунтила. Не желаю я с ними разговаривать. У меня голова раска-львается на части. По-моему, у меня начинается воспаление лёгких... Пусть войдут!

Входят пастор и адвокат. Фина быстро уходит.

Пастор. Доброе утро, господин Пунтила. Ну, как отдохнули? Хо-рошо? Мы с господином адвокатом случайно встретились на улице и ре-шили заскочить к вам на минутку. Хотим узнать, как ваше самочувствие?

Адвокат. После, так сказать, ночи недоразумений.

Пунтила. Если вы имеете в виду Айно, то с ним всё улажено. Он передо мной уже извинился.

П а с т о р. Прекрасно, дорогой Пунтила. Но мы вовсе не хотим вмешиваться в ваши семейные дела. Недоразумение с Айно и с господином министром вы, конечно, уладите и без нашей помощи. Нас беспокоит совсем другое...

П у н т и л а. Да не тяните! Говорите прямо, что случилось. Если я что натворил, то готов возместить ущерб.

П а с т о р. С прискорбием должен отметить, что не всякий ущерб можно поправить деньгами. Короче говоря, дорогой господин Пунтила, мы хотим на правах старых друзей поговорить с вами о происшествии с Зуркалой.

П у н т и л а. Не понимаю! Что случилось с Зуркалой?

П а с т о р. А вот что! С ваших же собственных слов нам известно, что вы решили отказать этому человеку от места. Вы сами неоднократно говорили, что Зуркала — отъявленный бунтовщик и что он оказывает глетворное влияние на окружающих.

П у н т и л а. Да, я решил прогнать его.

П а с т о р. Да, но срок увольнения истёк уже вчера. А он ещё не уволен. Я своими глазами видел старшую дочь Зуркалы в церкви.

П у н т и л а. Что? Он ещё не уволен? Лайна! Зуркала не уволен?

Л а й н а. Нет.

П у н т и л а. Каким образом? Кто смел нарушить мой приказ?

Л а й н а. Никто! Вы же сами, встретившись с ним на ярмарке, усадили его в машину и привезли обратно. Об увольнении и речи не было. Наоборот, вы дали ему десять марок.

П у н т и л а. Какое нахальство! Берёт у меня десять марок, зная, что я собираюсь прогнать его! Я ведь говорил ему это много раз. (*Входит Фина.*) Сейчас же позови сюда Зуркалу. (*Фина уходит.*) У меня страшно болит голова...

А д в о к а т. Ерунда!

П у н т и л а. Правильно. Вчера, Пека, я опять напился. Стоит мне выпить лишний стаканчик, как потом хлопот не оберёшься. Бить меня мало. А Зуркалу надо посадить в тюрьму. Воспользовался, подлец, моей слабостью.

П а с т о р. Истинная правда. Но вы не беспокойтесь, господин Пунтила, у вас достаточно прочная репутация! Только под влиянием виновных паров вы смогли поступить столь опрометчиво.

П у н т и л а (*в отчаянии*). Ужасно! Как я объясню всё это? Ведь затронута моя честь... Меня станут бойкотировать, у меня перестанут покупать молоко. А во всём виноват Матти, мой шофёр. Я сейчас вспомнил: Зуркала сидел рядом с ним. Матти отлично знает, что я не выношу Зуркалу. И он видел, как я давал ему десять марок. Почему же он не остановил меня?

П а с т о р. Не принимайте всё так близко к сердцу, господин Пунтила. Такие вещи случаются с каждым.

П у н т и л а. Не говорите! Не утешайте меня. Вы сами знаете, что с другими этого не случается. Что же мне делать? Если так будет продолжаться, именно возьмут под опеку... А если и не возьмут, то я всё равно разорюсь — никто не захочет брать у меня молоко. Не могу же я сам вылакать весь удои от девяноста коров. Ах, Пека, я удивляюсь твоему спокойствию. Ты ведь адвокат. Пиши бумагу, я хочу поднести что-нибудь начальству. А всему виной проклятая водка. Я не переносу её, Лайна!

А д в о к а т. Значит, ты считаешь Зуркалу? Ему у нас не место. Он баламутит весь народ.

П а с т о р. Правильно. Всё улажено, и мы можем со спокойной душой уходить, господин Пунтила. Всё поправимо, если на то есть добрая воля. Добрая воля — это главное, дорогой Пунтила.

П у н т и л а (*жмёт ему руку*). Благодарю вас.

П а с т о р. Не стоит благодарности. Мы только выполняем свой долг и делаем это без промедления.

А д в о к а т. Знаешь, что мне ещё пришло в голову? Поинтересуйся-ка своим шофёром. Он мне тоже не внушает доверия.

П а с т о р и а д в о к а т у х о д я т.

П у н т и л а. Больше я в рот не возьму спиртного, Лайна. Никогда в жизни! Я принял это решение сегодня утром, как только проснулся. Будь проклята водка! Знаешь, что я сделаю? Я дам обет. И не где-нибудь, а в своём коровнике. Коровы мне дороже всего. Если я в чём поклянусь при коровах, то полностью клятву обязательно. (*Торжественно.*) Вынь бутылки из книжного шкафа. Неси сюда все бутылки, какие только есть в доме. Я их немедленно уничтожу. Уничтожу на этом самом месте. Можешь не говорить, что за вино плачены деньги. Я и сам это знаю. Но мне наплевать на деньги. Ведь дело идёт о судьбе всего имения.

Л а й н а. Хорошо, господин Пунтила. Но вы уверены, что так надо?

П у н т и л а. Конечно, уверен. История с Зуркалой послужила мне хорошим уроком. Подумать только, до сих пор я ещё не прогнал его... Пусть Альтонен явится сюда. От него всё зло.

Л а й н а. Ой, как нехорошо получилось с Зуркалой! Они уже уложились, а потом опять всё распаковали.

Л а й н а у б е г а е т. В комнату входят Зуркала и его дети.

П у н т и л а. А это ещё зачем? Кто просил тебя являться со всем выводком? Я желаю рассчитать тебя.

З у р к а л а. Я так и думал, господин Пунтила. Поэтому и привёл детей. Пусть послушают хозяина. Им полезно.

М о л ч а т. В х о д и т М а т т и.

М а т т и. Доброе утро, господин Пунтила. Ну как, болит ещё голова?

П у н т и л а. Вот он — явился чёртов сын. Рассказывай, что ещё навтврил за моей спиной? Ведь я только вчера предупреждал, что выкину тебя вон. Получишь волчий билет.

М а т т и. Очень хорошо, господин Пунтила.

П у н т и л а. Попридержи язык! Не груби! Я всем этим сыт по горло. Мои друзья открыли мне на тебя глаза. За сколько ты продался Зуркале?

М а т т и. Я не понимаю, о чём вы говорите, господин Пунтила.

П у н т и л а. Ах, так! Так ты ещё врешь? Я знаю, что ты с Зуркалой заодно. Такой же красный, как он. Поэтому ты и помешал мне уволить его вовремя.

М а т т и. Позвольте, господин Пунтила. Ведь я только выполнял ваши приказания.

П у н т и л а. Разве ты не видел, что это были неразумные и бессмысленные приказания?..

М а т т и. Попробуй различить, какие приказания осмысленные, а какие бессмысленные. Это не так легко, как вам кажется. Да и зачем это? Если я буду выполнять только разумные приказания, то мне у вас делать нечего. Вы скажете тогда, что я ленивая тварь, и прогоните меня вон.

П у н т и л а. Не смей перечить, бунтовщик! Не желаю я терпеть в своём доме смутьянов, которые баламутят мне весь народ. Дойдёт до того, что мои работники потребуют на завтрак яйца всмятку. Иначе они, видите ли, не захотят копать торф. Я не прогнал Зуркалу вовремя, потому что был пьян. А ты почему его покрывал? Всё махинации. Срок увольнения истёк. Теперь мне придётся заплатить ему за три месяца вперёд. Иначе от него не избавишься. И всё из-за тебя.

Л а й н а и Ф и н а в н о с я т в к о м н а т у в с ё н о в ы е и н о в ы е б у т ы л к и.

П у н т и л а (*обращаясь к Лайне, показывает на бутылки*). Теперь — точка. На этот раз я буду твёрд, как кремьнь. Уничтожу весь спирт до конца. И как я не додумался до этого раньше? Что толку в клятвах, если водка под боком. Достаточно ослабнуть на минутку, и всё начинается сначала. Вот где корень зла. Я как-то читал: если хочешь перестать пить, не покупай спиртного. К несчастью, это не все знают. Но коль скоро водка уже куплена, её надо уничтожить. (*Обращаясь к Матти*.) Тебе полезно посмотреть, как я расправлюсь с этими бутылками. Да, да, именно тебе. Ты наконец поймёшь, что со мной шутки плохи.

М а т т и. Совершенно верно, господин Пунтила. Прикажете расколотить бутылки на дворе?

П у н т и л а. Зачем? Я сам расколочу. Я тебя, подлеца, знаю. Дожидаешься, чтобы я приказал тебе уничтожить бутылки, а сам хочешь вылакать всё моё вино. (*Поднимает бутылку и рассматривает её на свет*.)

Л а й н а. Что там разглядывать? Швыряйте её, господин Пунтила, скорей в окошко!

П у н т и л а. Совершенно верно. (*Холодно, к Матти*.) Больше тебе не удастся спаивать меня, собака! Такие лоботрясы, как ты, только к этому и способны. Работа для тебя — смерть. Ты бы палец о палец не ударил, если бы не боялся сдохнуть с голоду, паразит! Тебе совсем другое нужно: пьянствовать со мной ночи напролёт, рассказывать свои грязные истории и доводить до того, чтобы я оскорблял своих гостей. Только этого ты и добиваешься. Сам дерьмо и всех других хочешь превратить в дерьмо. Курузка по тебе давно плачет. Ты сам признался, почему тебя отовсюду прогоняли. Да и я застал тебя на месте преступления. Думаешь, я забыл, как ты агитировал баб из Кургелы? Бунтовщик проклятый! (*Сам не замечая того, наливает себе в стакан, который Матти услужливо подаёт ему*.) Меня ты, конечно, ненавидишь. Только и ждёшь, чтобы я попал в просак. А сам будешь насмехаться надо мной и повторять, как попугай: «Совершенно верно, господин Пунтила».

Л а й н а. Господин Пунтила!

П у н т и л а. Оставь! Можешь не беспокоиться. Я ведь не пью, а только пробую. Надо же мне знать, не надул ли меня этот чёртов лавочник. Кроме того, я должен отпраздновать своё железное решение — не брать ни капли в рот. (*К Матти*.) Тебя я раскусил с первого взгляда. Всё время я следил за тобой — ждал, пока ты попадешься. Напьюсь, бывало, чтобы лучше следить, а сам с тебя глаз не спускаю. А ты и не заметил этого. (*Пьёт опять*.) Понапрасну ты надеялся сделать из меня горького пьяницу, посмешище для всех. Только ты просчитался — на пользу тебе это не пошло. Спасибо друзьям. Они мне открыли глаза. Я теперь всё про тебя знаю. За это я им буду вечно благодарен. Пью за их здоровье! Какую жизнь я вёл? Можно ужаснуться, когда думаешь об этом. Помнишь, как мы пили в гостинице Тавастус? Помнишь, как ездили за законным спиртом? А женщин из Кургелы помнишь? Чёрт знает, как я жил! Какое бессмысленное, бесполезное существование вёл! Особенно ясно я сознаю это, когда вспоминаю коровницу, с которой мы повстречались поутру. Какая у неё пышная грудь! Наверное, она тоже хотела попользоваться чем-нибудь от меня, потому что я был пьян. Кажется, её звали Лизу. И ты, парень, конечно, был тут как тут. Ох, и славное время! Верно? Но свою дочь я тебе всё равно не отдам, подлец! А ты не дурак, это надо признать.

Л а й н а. Вы опять пьёте, господин Пунтила!

П у н т и л а. Разве это называется пить? (*Хватает вторую бутылку*.) По-твоему, уж пельзя выпить бутылку-другую? А это уничтожь! (*Протягивает Лайне пустую бутылку*.) Разбей её вдребезги, пусть не попадается мне на глаза. Поступай, как приказано. И не смотри на меня, как господь бог на Петра. Не выношу, когда придираются к каждому моему слову. (*Показывая на Матти*.) Этот парень просто дьявол. А вам хочется, чтобы

я подох от тоски! Но по мне лучше провалиться в преисподнюю, чем киснуть на этой земле. Что за жизнь у меня? День-деньской лаешься с прислугой и подсчитываешь, сколько корму надо коровам. Убирайтесь вон, ничтожные людишки!

Л а й н а и Ф и н а уходят, качая головами.

П у н т и л а (*глядя им вслед*). Ничтожные людишки! У них нет ни капли фантазии. (*Обращаясь к детям Зуркалы.*) Слушайте меня! Лучше стать вором, разбойником или бунтовщиком, но не таким мелким ничтожеством! Это вам говорит сам Пунтила. (*Обращаясь к Зуркале.*) Извини, что я вмешиваюсь в воспитание твоих детей. (*К Матти.*) Откупорь бутылку!

М а т т и. Надеюсь, пунш хорош! А то вчера Ускал подsunул нам с перцем. С этими лавочниками надо держать ухо остро, господин Пунтила.

П у н т и л а. Знаю! Я всегда настороже. Сперва я делаю совсем маленький глоток. Так что, если замечу какой привкус, могу сразу же выплюнуть. Осторожность необходима. А то по ошибке проглотить любое дерьмо. А ты почему не пьёшь, Матти? Наливай себе! Ведь сегодня у меня праздник. Я праздную своё решение — не пить ни капли. Да, от этого решения я уже никогда не отступлюсь. А это, между прочим, не так-то хорошо. За твоё здоровье, Зуркала!

М а т т и. Значит, он может остаться, господин Пунтила?

П у н т и л а. Я тебя не узнаю, Матти. Зачем возвращаться к этой теме? Ведь мы люди свои. Отлично знаем, что Зуркала и сам не захочет остаться у нас: в Пунтиле ему слишком тесно. Ему здесь не нравится. И уж кто-кто, а я его хорошо понимаю. На его месте я бы так же рассуждал. И я считал бы Пунтилу обыкновенным буржуем. У меня с ним была бы короткая расправа. Сунул бы его в соляные копи, и шабаш! Пусть этот паразит узнает, что такое работать по-настоящему. Правильно, Зуркала? Говори прямо. Не церемонься.

С т а р ш а я д о ч к а З у р к а л ы. Но мы хотим остаться здесь, господин Пунтила.

П у н т и л а. Нет, говорю я! Зуркала уйдёт, и никакие силы мира его не удержат. (*Идёт к шкафу, открывает его и вынимает деньги, чтобы передать их Зуркале.*) Те десять марок я тебе отсчитываю. (*Обращаясь к детям.*) Вы можете гордиться таким отцом. Он готов пострадать за свои убеждения. Ты, Гелла, должна быть ему опорой. Ты ведь старшая. А теперь давайте попросимся. (*Протягивает Зуркале руку. Зуркала не даёт ему руки.*)

З у р к а л а. Идём, Гелла, пора укладываться. Вы всё слышали. Всё, что только можно услышать в Пунтиле. Пошли. (*Уходит вместе со своими детьми.*)

П у н т и л а (*сильно расстроен*). Заметил, Матти? Он мне не подал руки. А я-то ждал от него доброго слова. Хотел с ним попроситься по-хорошему. Но он не пожелал. Имение для него — дерьмо. Он нигде не пустил корней, и нашу родину он ни во что не ставит. Пусть уходит, если хочет. Я его не держу. Грустная история. (*Пьёт.*) Мы с тобой, Матти, иначе устроены. Ты мой друг, ты ведёшь меня по моему тернистому пути! Знаешь, Матти, стоит мне только на тебя посмотреть, и я сразу же хочу выпить. Сколько я тебе плачу в месяц?

М а т т и. Триста, господин Пунтила.

П у н т и л а. Я буду платить тебе больше — триста пятьдесят. Видишь, как я хорошо к тебе отношусь! (*Мечтательно.*) Мне бы хотелось, Матти, взобраться с тобой на Хательму. С вершины её открываются такие чудесные виды. Я покажу тебе, в какой прекрасной стране мы живём. Ты поймёшь, Матти, что был круглым ослом, не зная этого. Хочешь взойти на

Хательму? Мне кажется, это осуществимо. Попытаемся сделать это мысленно. Нам понадобится всего лишь пара стульев.

М а т т и. Я свои обязанности знаю, бесполезно перечить, если вам что взбрело в голову. Всё сделаю. Хватило бы только дня.

П у н т и л а. Дня-то хватит. А вот хватит ли у тебя фантазии, Матти?

М а т т и молчит.

П у н т и л а (*воспламеняется. Кричит*). Строй гору, Матти! Строй, не жалея сил! Не щади ничего. Кидай на пол утёсы и скалы! Иначе ничего не выйдет, не получится Хательма! А не будет Хательмы — не будет и видов.

М а т т и. Слушаюсь, господин Пунтила. Ваши желания для меня закон. Какой смысл вспоминать, что у шофёра восьмичасовой рабочий день? Кто говорит о таких пустяках, если Пунтиле захотелось воздвигнуть гору на ровном месте!

М а т т и крушит ногами дороге стоячие часы и массивный шкаф с оружием. Из их обломков и нескольких стульев он воздвигает на большом бильярдном столе гору

Хательма. Он в ярости.

П у н т и л а. Возьми ещё этот стул! Выполняй все мои указания, а то у тебя будет не гора, а сплошное недоразумение. Один я знаю, что надо делать в таких случаях и чего не надо. Я отвечаю за всё. Слушайся меня. А то построишь гору, которая себя не окупит. Ведь горы нужны для того, чтобы, взобравшись на них, любоваться видами. Иначе на кой чёрт мне сдалась гора! А тебе этого не понять. Ты ведь только работник. А я хозяин. И я тебе должен всё разъяснить. А теперь построй дорогу. Такую дорогу, чтобы я смог поднять на вершину свои два центнера живого веса. Удобная дорога необходима. Иначе я плевал на твою гору. Понял теперь, что без меня ты нуль? Ведь ты даже не подумал о дороге. Зато я обо всём думаю заранее. Я умею управлять людьми. Куда тебе до меня!

М а т т и. Ну вот, гора готова. Можете взбираться на неё. Есть и гора и дорога. Честное слово, они вышли у меня лучше, чем у самого господ бога. Правда, богу пришлось торопиться — ведь в его распоряжении было всего шесть дней, и за это время он должен был сотворить ещё уйму батраков, чтобы они потом всю жизнь гнули спину...

П у н т и л а (*начинает взбираться*). Как бы не сломать себе шею...

М а т т и (*подхватывая его*). Вы, господин Пунтила, можете сломать себе шею и на ровном месте. Придётся мне поддерживать вас.

П у н т и л а. Для этого я тебя и взял с собой, Матти. Тебе здорово повезло. Ты увидишь нашу прекрасную страну, которая тебя породила. Без неё ты вообще дерьмо. Будь ей за это благодарен!

М а т т и. Я благодарен ей до гроба. Не знаю только, достаточно ли этого. В нашей газете говорилось, что благодарность надо сохранять и за гробом.

П у н т и л а. Смотри! Ты видишь эти поля и луга! А вдали синееет лес. В лесу — сосны. Сосны могут расти даже на голых камнях. Просто диву даёшься, как они неприхотливы.

М а т т и. Вот были бы идеальные работники для вас!

П у н т и л а. Лезем дальше, Матти! Мы подымаемся всё выше! Дома и строения уже позади. Люди далеко. Перед нами дикая природа. Всё пустынно вокруг. Оставь все свои мелочные заботы. Созерцай, Матти, наслаждайся этой величественной картиной!

М а т т и. Стараюсь, как могу, господин Пунтила.

П у н т и л а. О благословенная Тавастландия! Надо глотнуть ещё разок! А то не постигнешь всей твоей красоты!

М а т т и. Обождите минутку! Сейчас я слезу и принесу вам водки. (*Он слезает и вновь карабкается наверх.*)

П у н т и л а. Скажи, Матти! Способен ли ты восторгаться всеми этими красотами? Ты откуда родом? Из Тавастландии?

Матти. Да.

Пунтила. Тогда ответь мне. Разве в других краях может быть такое небо, как у нас? Болтают, правда, что в некоторых странах небеса синее. Но это глупости. Таких облаков, как у нас, нигде нет, и такого ветра тоже. На кой чёрт мне синее небо? Мне нравится такое небо, как у нас. А дикие лебеди? Разве они водятся в других местах? Наши лебеди живут на озёрах среди болот! Послушай, Матти, как шумят их крылья. Всё, что говорят о чужих народах, — это выдумки, дерьмо. От души советую тебе, держись за Тавастландию.

Матти. Хорошо, господин Пунтила.

Пунтила. Одни озёра чего стоят! Я уже не говорю о лесах. Но ты, Матти, посмотри! Ты видишь мои леса? Те леса на перешейке я вырублю. Но не будем сейчас говорить об этом. Смотри на озёра, Матти. Знаешь, сколько в них рыбы? А как они красивы на утренней зорьке! Посмотри, и тебе больше уже ничего не захочется, ты никогда не согласишься покинуть Тавастландию. А если уедешь на чужбину, тебя загрызёт тоска! А ведь у нас таких озёр целых восемьдесят тысяч!

Матти. Ладно. Буду смотреть на озёра.

Пунтила. Вот и хорошо. Обрати внимание на этот маленький буксир. Грудь у него, как у бульдога. По озеру плывут стволы деревьев. Их освещает утреннее солнце. Стволы уже очистили от веток и связали в плоты. Это целое богатство! Запах свежих брёвен я слышу за десять километров. А ты? Ах, боже мой, Матти, какие запахи у нас в Тавастландии. Знаешь, как пахнут ягоды? После дождя особенно! А берёзовые листья?! Вообрази, что ты только вернулся из бани, где тебя здорово попарили берёзовым веником. Даже на следующее утро ты услышишь запах берёзовых листьев. А наши виды? Разве в других странах бывают такие виды?

Матти. Не бывают, господин Пунтила.

Пунтила. Больше всего мне нравятся эти виды, когда они словно уплывают вдаль. Понимаешь, так бывает, когда ты с женщиной: в определённые моменты закрываешь глаза — и всё плывёт. По-моему, это тоже бывает только в Тавастландии.

Матти. В тех местах, где я родился, было очень много пещер. А перед ними камни. Круглые, как кегли, и совсем гладкие.

Пунтила. Вы, наверное, лазили в эти пещеры. Ах, негодники! Лазили в пещеры вместо того, чтобы пасти коров! Гляди! Вон коровы. Они переплывают озеро!

Матти. Вижу. Их штук пятьдесят.

Пунтила. Не меньше шестидесяти. А там прошёл поезд. Помолчи минутку! Слышишь, как звенят подошники?

Матти. Слышу.

Пунтила. А теперь я тебе ещё кое-что покажу. Гляди на нашу старушку Тавастландию и слушай! Вон там виднеется город, а в городе я вижу гостиницу Тавастус. У них подают хорошее вино, учти это. У нас много городов. А вот и замок. Но о замке я не буду долго распространяться. В нём устроили женскую тюрьму для политических... Пусть не суют свой нос куда не надо. А мельницы ты видишь? Издали они очень красивы. Мельницы оживляют ландшафт. А посмотри налево! Что ты там видишь?

Матти. Вот именно, что я там вижу?

Пунтила. Ну, конечно же, поля. Куда ни кинешь взгляд — всюду поля. Вон там поля Пунтилы. Обрати внимание на заболоченные места. Земля там жирная, как масло. Там пасутся мои коровы. А если их ещё пустить в клевер, то коров можно доить хоть три раза в день. А хлеба на моих полях до самого подбородка. И убирать их можно два раза в год. Давай споём!

И нежная Ройна волнами
Целует прибрежный песок.

Входят Ф и н а и Л а й н а.

Ф и н а. Господи!

Л а й н а. Вы разрушили всю библиотеку!

М а т т и. Ерунда! Мы сейчас на горе Хательма и любимся видами.

П у н т и л а. Пойте тоже. Все должны петь. Разве вы не патриоты!

В с е (кроме Матти).

И нежная Ройна волнами
Целует прибрежный песок.

П у н т и л а. О Тавастландия! Бог благословил тебя! Он благословил твои небеса и озёра, твой народ и твои леса! (*К Матти.*) Скажи мне, Матти, можешь ли ты спокойно глядеть на всё это? Разве твоё сердце не бьётся сильнее?

М а т т и. Да, моё сердце бьётся сильнее, когда я вижу ваши леса, господин Пунтила!

Картина одиннадцатая

МАТТИ РАСПРОЩАЛСЯ С ПУНТИЛОЙ

Двор в Пунтиле. Раннее утро. М а т т и выходит из дома с сундучком в руках. За ним Л а й н а несёт узелок с едой.

Л а й н а. Возьмите, Матти! Вот еда! Почему вы уходите? Не понимаю. Подождите хоть, пока господин Пунтила проснётся.

М а т т и. Лучше мне не ждать, пока он проснётся. Он сегодня ночью так напился, что наделал делов. Обещал при свидетелях переписать на меня половину всех своих лесов. Когда он об этом вспомнит, мне не миновать полиции.

Л а й н а. Но ведь ваши документы у него! Что с вами будет? .

М а т т и. Что толку в документах, если он напишет, что я красный или что я «порядочный» человек! Кому нужно такое свидетельство?

Л а й н а. Он так привык к вам. Ему без вас не обойтись.

М а т т и. Ничего. Обойдётся как-нибудь. С меня довольно. После истории с Зуркалой я всё равно не желаю выслушивать его излияния. Спасибо за еду. До свидания, Лайна.

Л а й н а (*всхлипывая*). Счастливым путем! (*Быстро уходит.*)

М а т т и (*пройдя несколько шагов, начинает петь*).

Час расставанья бьёт, суров.

Ну, Пунтила, бывай здоров!

Я на тебя, пожалуй, не в обиде.

Ты человек, когда в нетрезвом виде.

Но мы враги. Сам знаешь отчего.

Хмель улетит. Жизнь спросит: кто кого?

И если нам сейчас с тобой взгрустнётся

(Ах, масло ведь с водою не сольётся),

Жаль тратить слёзы. Нет для них причины,

Все слуги — будет день — тебе покажут спину.

И добрых лишь тогда найдут господ,

Коль господином станет сам народ!

Перевод с немецкого
Л. Чёрной и Д. Мельникова.



БОРИС СЛУЦКИЙ



СЧАСТЬЕ

Л. Мартынову

Словно луг запа́х
В самом центре городского быта:
Человек прощёл, а на губах
Песенка забыта.
Гляньте-ка ему вослед —
Может, пьяный, а скорее — нет.

Все решили вдруг:
Так поют после большой удачи —
Скажем, выздоровел друг,
А не просто выстроилась дача.
Так поют, когда вернулся брат,
В плен попавший десять лет назад.

Так поют,
Разойдясь с женою нелюбимой,
Ненавидимой, невыносимой,
И, сойдясь с любимой, так поют,
Со свиданья торопясь домой,
Думая: хоть час, да мой!

Так поют,
Если с плеч твоих беда свалилась, —
Целый год с тобой пить-есть садилась,
А свалилась в пять минут.
Если эта самая беда
В дверь не постучится никогда.

Шёл и пел
Человек. Совсем не торопился.
Не расхвастался и не напился!
Просто — шёл и пел.

* *
*

Все слабели. Бабы не слабели —
В глад и мор, войну и суховей
Молча колыхали колыбели,
Сберегая наших сыновей.

Бабы были лучше, были чище
И не предали девичьих снов
Ради хлеба, ради этой пищи,
Ради орденов или обнов.

С женотделов и до ранней старости
Через все страдания земли
На плечах,
согбенных от усталости,
Красные косынки пронесли.

ДОМОЙ

То ли дождь, то ли снег,
То ли шёл, то ли нет,
То морозило,
То моросило.
Вот в какую погоду,
Поближе к весне,
Мы вернулись до дому,
В Россию.
Талый снег у разбитых перронов —
Грязный снег, мятый снег, чёрный снег —
Почему-то обидел нас всех,
Чем-то давним
и горестным тронув.
Вот он, дома родного порог, —
Завершенье дорог,
Новой жизни начало!
Мы, как лодки,
вернулись к причалу.
Что ты стелешься над пожарищем?
Что не въёшься над белой трубой?
Дым отечества?
Ты — другой,
Не такого мы ждали, товарищи.
Постояв, поглядев, помолчав,
Разошлись по вагонам солдаты,
Разобрали кирки и лопаты
И, покуда держали состав,
Так же молча, так же сердито
Расчищали перрон и пути —
Те пути, что войною забиты,
Те пути,
по которым — идти.

* *
*

То слышится крик:
 «Не надо, долой!»
То слышится крик:
 «Даёшь, ура!»
Это, придя с уроков домой,
Вершит свои дела детвора.

Она осуждает
 своих дураков.
Она выбирает
 своих вожаков.
Решает
 без помощи кулаков,
Каков их двор и мир каков.

Пускай прирастают к свободе с утра
Дети большого двора!

Пускай они шумят и кричат!
Они сумеют во всём разобраться,
Потому что
 товарищество
 и братство
Взяли за руки наших ребят.



ПУБЛИЦИСТИКА И КРИТИКА

Л. ПОДВОЙСКИЙ



ЗАМЕТКИ ИНЖЕНЕРА¹

Время бежит, как вода...

Дети, которые в год окончания войны пошли учиться в школу, получают аттестат зрелости. Мой сын Глеб родился в 1946 году. Он теперь окончил третий класс.

В декабре мипувшего года в нашей семье отмечены две знаменательные даты: на торжественном сборе приняли в пионеры сына; дочь Марина стала комсомолкой.

А ведь когда я вернулся с фронта, ей исполнилось четыре года и она называла себя «Малина».

За десять мирных лет многое изменилось в стране и жизни каждого из нас. Осмыслить эти перемены, увидеть в них новые ростки коммунизма, самое интересное и важное отобразить в печати — благородная задача не только профессиональных писателей, но и тех, которых иногда называют шутливо на предприятиях: «литератор без отрыва от производства». К таковым принадлежу и я.

АКАДЕМИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Лет за пятнадцать до Октябрьской революции молодой учёный, позже известный советский академик А. А. Байков, назвал Обуховский завод в Петербурге «академией металлургических знаний».

На Обуховском заводе «отцом металлографии» Д. К. Черновым и его последователями были заложены основы современной металлургической науки. Завод, подобный Обуховскому, завод-лаборатория, был единственным тогда в России.

Теперь коллектив каждого металлургического предприятия стремится сделать свой завод «академией металлургических знаний». На каждом заводе в творческом содружестве учёных и практиков рождается новое в металлургической технике. Механизация и автоматизация совершенно изменили условия труда в горячих цехах, некогда с такой убийственной силой изображённых в «Молохе» Куприна. И недалеко то время, когда и на металлургических заводах осуществится предсказание Маркса о том, что человек из мускульной силы производства станет его интеллектуальным руководителем, контролёром и наблюдателем.

«Академией металлургических знаний» является и наш завод «Серп и молот». Вклад московских сталеваров в науку отмечен одиннадцатью Сталинскими премиями, свыше тридцати научных работ написано работниками завода за последние восемь лет; в этот же срок шесть серпомолотцев защитили диссертации. Я, седьмой по счёту, получил в этом году учёную степень кандидата технических наук. За последние десять лет тридцать восемь рабочих из цехов окончили Вечерний металлургический институт и теперь работают инженерами. И это на заводе, где до революции две трети рабочих были неграмотными!

На «Серпе и молоте» создались прочные традиции.

Традицией стало, например, из года в год перевыполнять государственные планы. За десять последних лет не было года, квартала, месяца, когда бы завод не выполнил

¹ Первая часть «Заметок» была опубликована в № 2 журнала «Новый мир» за 1948 год.

плана. За две последние пятилетки только сверх плана мы дали стране такое количество стали, что её с избытком хватило бы на изготовление всех тракторов и других сельскохозяйственных машин, работающих на целинных землях. А их там не одна тысяча!

В три года десять месяцев был выполнен план четвёртой пятилетки. На три месяца раньше срока закончено выполнение пятого пятилетнего плана. А ведь планы из месяца в месяц возрастали. С той же заводской площади в 1955 году выдано в два с половиной раза больше продукции, чем в 1940 году. И это на старом заводе, которому от роду более восьмидесяти лет.

Традицией стало увеличивать темпы работы, совершенствовать свои агрегаты.

В 1950 году нас, двоих инженеров, попросили помочь мастеру стана «750» И. И. Туртанову написать для Профиздата книгу. Решили её назвать «Слиток в минуту». Прокатать 480 слитков за смену было тогда мечтой прокатчиков.

Но пока писалась книга (около года), смена Константина Грачёва стала прокатывать 500 слитков за смену. Невиданный темп прокатки! Двенадцать операций меньше чем за шестьдесят секунд!

Как-то, когда мы работали над второй главой книги, Иван Ильич не пришёл в условленный вечерний час, что было на него не похоже.

На другое утро он извинился по телефону и назначил встречу на тот же день.

— Пожалуй, название книги теперь немного не подходит, — смущённо сказал Туртанов, когда мы собрались втроём. — Вчера вечером смена Алексеева прокатала 563 слитка. Теперь темп «слиток в минуту» нас не устраивает.

— Пока мы будем работать над брошюрой, нынешний стахановский опыт уже устареет. Останется одна история, — сказал я огорчённо.

— Возможно, — улыбнулся Иван Ильич, — нам на месте стоять нельзя. От работы нашего стана зависят все цехи. Недаром его называют: «сердце завода».

— Давайте скорее писать, — предложила инженер Концевая, третий соавтор.

Но как ни быстро создавалась книга, жизнь двигалась быстрее. В начале сентября брошюра была сдана в набор, а в конце сентября смена Ивана Грачёва прокатала за восемь часов 610 слитков, почти на пятьдесят слитков перекрыв достижение Алексеева.

— Значит, брошюру сегодня следовало бы назвать не «Слиток в минуту», а «Четыре слитка в три минуты», — подсчитала инженер Концевая, — а что будет завтра?

Книга Туртанова была названа «На благо Родины».

Это название полностью соответствовало содержанию её и работе коллектива стана. Все три смены этого стана работают одна лучше другой...

В честь XX съезда партии, например, прокатчики смены Ивана Грачёва с удовлетворением записали на доске показатели: 640 слитков. Такого показателя не было ещё ни разу в истории прокатного стана «750».

Метод нашего труда — социалистическое соревнование, в котором главное — поощрять отстающих.

— Один за всех, за тебя весь цех, — говорят на заводе.

У нас почти не встретишь людей, не выполняющих норм. В мартеновском цехе таких в течение нынешнего года насчитывалось всего два человека. Нет теперь и «штатных рекордистов». Было время, когда на заводе слишком возносили отдельных людей. Труд целого коллектива, его производственные успехи приписывались одному мастеру или бригадиру. Случалось, что знатные люди зазнавались и переставали служить примером. Но огромная сила рабочей среды, как коллективного организатора и воспитателя, помогает на заводе быстрее, чем где бы то ни было, исправлять недостатки людей. Как-то на парткоме обсуждали вопрос о невыполнении обязательств сталеварами — лауреатами Сталинской премии. Лауреатам здорово и поделом попало. Это помогло им избавиться от зазнайства. Недаром говорится: «Горьким лечат, а сладким калечат».

Однажды на одном из собраний рабочие, критикуя начальника цеха В. И. Баясникова, посоветовали ему «я» на «мы» переменить. И этот «совет» запомнился Баясникову надолго.

Не надо думать, что сейчас в цехах нет людей, вырывающихся вперёд. У нас бывают рекорды, но рекорд в наши дни — разведка в труде, и эту разведку производят

многие рабочие данной профессии, а те же лица, которым прежде часто создавались для рекордов особо благоприятные условия.

Помню, накануне открытия XX съезда партии я разговаривал с одним из лучших сталеваров Советского Союза — Иваном Васильевичем Ерошкиным. Он заменял мастера. На редкость чётко и слаженно шла работа. Все сталевары вели плавку с опережением графика.

— А кто сейчас впереди? — спросил я.

— Трудно ответить на такой вопрос... Вчера лучше других трудился коллектив печи № 1. На лицевом счёте сталевара Овчинникова 109 тонн сверхпланового металла. У Гусарова — 100 тонн. На сегодня вперёд вышла печь № 2 во главе с Тимофеем Гребешковым, а завтра может оказаться, что впереди будет печь № 4...

...Сегодня трудно сказать, кто из сталеваров работает лучше других. Все они овладели скоростными методами плавки. Скоростное сталеварение, начатое двадцать лет назад в Мариуполе Макаром Мазаем, в Донбассе — Василием Амосовым, на мартенах Москвы — Семёном Чесноковым (теперь он старший мастер цеха № 1 нашего завода) и другими сталеварами, сейчас достигло небывалого расцвета.

Между передовыми и рядовыми сталеварами разница в выполнении норм обычно не больше пяти процентов. Заветная мечта Макара Мазая — дать съём стали с квадратного метра площади пода мартеновской печи более восемнадцати тонн — перевыполнена, если так можно сказать о мечте. Передовые сталевары достигали съёмов, близких к двадцати тоннам, а лучшие образцы труда в наши дни быстро становятся достоянием общим.

Правда, не всегда передача передового опыта проходит гладко. Например, сталевары долго не хотели перенимать опыт мастера скоростных плавков Тимофея Гребешкова, объясняя его хорошую работу «везеньем», а его самого считая чуть ли не «хулиганом в технике».

В стахановскую школу Тимофея Гребешкова другие сталевары не желали идти:

— Не будем мы у него учиться. Он не бережёт печь.

— По его методу хорошую сталь не сделаешь. Поспешешь — людей насмешишь.

Гребешкова всё-таки поставили на соседнюю печь, чтобы он показал свой метод ведения плавки. Первую же плавку Гребешков повёл очень быстро, но в свою смену не успел выпустить её. Сменщик отказался принять плавку.

— Не приму, пока не возьму анализ. Как бы Гребешков брак не подсунул, — заявил он.

Экспресс-лаборатория подтвердила слова осторожного сталеплавильщика: плавка «не попала в анализ».

Тогда Гребешков решил задержаться, чтобы самому выпустить плавку.

— Плавка хорошая. Лаборатория ошиблась, — уверял Гребешков.

В цехе уже собрались «прорабатывать» Гребешкова за самоуправство, но он оказался прав. Когда в центральной заводской лаборатории сделали проверочный анализ, оказалось, что в экспресс-лаборатории ошиблись — там был неисправен прибор.

Так Гребешков добивался передачи своего опыта. Благодаря настойчивости сталевара его скоростной метод ведения плавки был передан на вооружение нашей металлургии.

Многие старые агрегаты на заводе «омоложены» и не уступают теперь своим современным молодым собратьям. Вот проволочный стан. Он самый маленький в цехе. Диаметр его валков всего двести пятьдесят миллиметров. Стан-старик. В его паспорте указан год изготовления — 1912. Не знаю, как этот стан работал при Гужоне, но я помню, как до войны всякая экскурсия, посещавшая завод, подолгу задерживалась у стана, любуясь работой виртуозов вальцовщиков. Словно огненные змеи, вились кольца раскалённой проволоки вокруг прокатчиков. Работа требовала силы, смелости, сноровки.

Экскурсанты восхищались. А мы, инженеры, — не очень. Стан был укором для нас.

Так было до войны. Теперь стан не узнать. Изменились печи — они механизированы. Появились обводные аппараты. И, наконец, тяжёлый труд двенадцати крючочников, на руках оттаскивавших от моталок горячие бунты проволоки, заменил крючочковой конвейер. Проволока прямо с моталок идёт на склад готовой продукции.

Один за другим исчезают на заводе участки ручного и тяжёлого труда. Это происходит не сразу, поэтому часто можно встретить новую технику в близком соседстве с устарелой.

Мартеновский цех имеет как бы два этажа. Плавильная площадка — парадный этаж. Здесь всегда чисто, около печей множество механизмов и автоматических приборов. Многие изменилось за последние годы на верхнем этаже мартеновского цеха. Именно здесь впервые в стране применили кислород для ускорения мартеновской плавки. Сейчас успешно применяется комплексная автоматизация теплового режима печи.

— Без автоматики — как без рук, без приборов — как без глаз, — можно услышать сейчас на плавильной площадке.

В нижнем этаже цеха разливают сталь. Если плавильную площадку демобилизованный моряк как-то назвал «палубой корабля», то литейный зал, или, как чаще по привычке его называют, «канавы», скорее напоминает трюм. Это узкий и тесный пролёт. Здесь нестерпимо жарко летом. Столбы света от фонарей очень высокой крыши, точно лучи прожекторов, прорезают запылённый воздух.

Самое страшное на «канаве» — теснота. Здесь готовят изложницы под плавку. Здесь «раздевают» залитые слитки. Здесь разливают из огромных, больше железнодорожных цистерн, ковшей жидкую сталь по изложницам. За последние двадцать лет каждая мартеновская печь стала выплавлять в два раза больше стали по объёму и в два с лишним раза быстрее по времени, а «канавы» осталась без изменений.

— Давно пора реконструировать нашу «канаву», — требовал на многих производственных совещаниях наш старейший литейный мастер, участник Октябрьских боёв в Москве, Василий Обьедков.

Нелегко было добиться права на новое строительство в Москве. Но сейчас литейщики уже видят конец тесной и душной «канаве». Рядом с мартеновским цехом заканчивается строительство «двора изложниц». В новом пролёте будет происходить наборка поддонов, установка изложниц «под плавку». Потом они на тележках поедут к мартеновским печам и возвратятся обратно, наполненные сталью.

— Скоро и у нас, литейщиков, будет праздник, — говорит мастер Обьедков. — Ещё один участок из неприглядного гужоновского наследия станет неузнаваемым.

В министерстве и главке находятся лица, которым не по душе стремление московских металлургов модернизировать свои цехи.

— Пришивать к пуговице пиджак! — иронизируют кое-какие кригики.

— Да, пришивать, — говорят энтузиасты механизации завода — инженеры и рабочие. — Надо помнить, что именно в результате модернизации старый завод даёт сейчас в восемнадцать раз больше продукции, чем в 1913 году.

При плановом хозяйстве между большими новыми и старыми малыми заводами легко проводится разделение труда. «Серп и молот» не может сравниться по условиям и производительности труда с гигантами металлургии — Магнитогорским и Кузнецким комбинатами или с красавцами качественной металлургии — Челябинским заводом и «Запорожсталью», но и наша лепта в общем балансе металла не так уж мала. Можно на тысячи километров вытянуть нержавеющей стальную ленту, выпущенную заводом за пять лет. Только за один год наши сталевары и прокатчики выпускают столько металла, что его хватило бы на строительство железной дороги Алма-Ата—Урумчи—Ланьчжоу.

Традиция улучшать и совершенствовать непрерывно старое оборудование и технологию — хорошая традиция московских металлургов. Много и других хороших традиций на заводе. Но есть и такие, которых лучше бы не было.

У художников и фотографов долгое время было традицией изображать рабочих с орудиями труда. На всех картинах и фото, например, горняк шагал с обушком на плече, с лампочкой-«шахтёркой» в руке. Землекопы изображались с лопатами, каменщики — с кирпичом в одной руке и гладилкой в другой, и т. д.

В последнее время новая советская техника поставила художников и фотографов в затруднительное положение.

Действительно, нельзя же нынешнего шахтёра сфотографировать с лампой дневного света в руках и угольным комбайном на плече. Невозможно изобразить строителя высотного здания поднимающим без крана целую секцию стены, собранную на

специальном заводе. И только в карикатуре можно нарисовать современного землекопа, держащего в руках шагающий экскаватор с ковшом ёмкостью в двадцать пять кубов.

Но у нас, да и на других металлургических заводах, фотоаграфам и художникам — приверженцам старых изобразительных традиций пока «раздолье». Как раньше, так и сейчас сталеваров, как правило, изображают с длинной железной ложкой в руках, которой они берут пробу жидкой стали из мартеновской печи. Сколько таких сталеваров с ложками можно увидеть на обложках разных книг? Нелёгкая это работа — тащить из огнедышащего зева мартена на тяжёлой ложке жидкость с температурой 1500 градусов!

Как раньше, так и теперь отверстие из мартеновской печи для выпуска жидкой стали пробивается ломом. Когда завод посетил Герой Социалистического Труда, знатный шахтёр Подмосковья Филимонов, он очень удивился: «Вот не думал, что на столичном металлургическом заводе, о котором почти каждый день по радио говорят, такая примитивная техника. Неужели конструкторы ничего придумать не могут?»

Ещё до сих пор в мартеновские печи, даже самые большие, многие материалы забрасываются лопатами. И по-прежнему в горячих цехах, особенно на старых заводах, душно и нестерпимо жарко. «Яйца в земле печь можно», — шутят литейщики.

Давно пора изменить тяжёлые условия труда металлургов на наших старых заводах.

Мы верим — придёт такой день, когда в разгар лета в мартеновский цех нашего старого столичного завода явится какой-нибудь фотокорреспондент и, подивившись прохладе на плавильной площадке и в литейном зале, оглянется кругом и воскликнет испуганно:

— Братцы! Да где же у вас лопаты, ломы и железные ложки? С чем же я теперь литейщиков и сталеваров снимать буду? Пропала традиция! Пропал штамп!

Конечно, в наше время условия труда даже на старом металлургическом заводе совсем не такие, как в «Молохе» Куприна, герой которого, инженер Бобров, говорил: «Работа на металлургическом заводе сокращает жизнь рабочего вдвое...» Он «положительно не встречал на заводах рабочих старше 45 лет».

— Коллега Бобров, — сказал бы я сейчас герою «Молоха», — на нашем металлургическом заводе около трёх тысяч рабочих награждено орденами и медалями за долготельную и безупречную работу в металлургической промышленности. Из них доброй половине людей более чем по полусотне лет. У нас работают участники революции 1905 года: Трещалов, Галеев и Пугачёв. Более полувека трудится «дядя Миша» — вальцовщик Клеймёнов, пятьдесят пять лет работает у мартенов плавильный мастер В. Каёкин.

Конечно, на старом, дореволюционном заводе не могло, а на многих современных капиталистических предприятиях и сейчас не может работать в горячих цехах столько стариков, как у нас.

Охрана труда и техника безопасности на нашем заводе не менее строгие, чем правила уличного движения в Москве. Недаром количество несчастных случаев на московских улицах и на московских заводах неизмеримо меньше, чем в любой столице капиталистических стран.

За десять мирных лет завод построил три огромных многоэтажных жилых дома в лучших районах Москвы. С каждым годом растёт число новых домов в заводском районе, недалеко от Измайловского парка. С жильём ещё плохо, но сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня.

Но, пожалуй, больше всего помогает нашим старикам работать и после шестидесяти в полную меру радость свободного, творческого труда — чувство, которого не может быть ни в одной капиталистической стране.

На заводе больше двадцати пяти лет существует литературное объединение «Вальцовка». Еженедельно мы собираемся на занятия. Поэты-сталевары, писатели-прокатчики — словом, литераторы-производственники — пишут о радости труда, о нравственном удовлетворении, какое доставляет им работа, о гордости своим званием рабочего, своей профессией.

На Втором Всесоюзном съезде советских писателей Семён Кирсанов цитировал стихотворение нашего электросварщика Григория Люшнина «Звезда»:

Я думал, буду астрономом
И в пятьдесят втором году
За миллионы вёрст над домом
Открою новую звезду.

И обязательно «Жар-птицей»
Её по блеску назову.
Но я в тот год пошёл учиться
Совсем другому мастерству.

Порой, бывает, ночью мгlistой
Барю высоко на лесах,
И от звезды моей лучистой
Все звёзды меркнут в небесах.

Съезд встретил эти стихи аплодисментами, а Кирсанов сказал, что рабочие-поэты могут поспорничать с профессиональными авторами в реальном понимании красоты и поэзии труда.

Мне очень нравится стихотворение Люшнина «Зима», удивительно поэтично передающее особенности труда металлурга. Вот оно:

Зима включила жернова,
Знай мелет снег крупчатый.
Соединяют рукава
От холода девчата.

А в нашем цехе бродит жар
И не потеют стёкла.
Стоит у печи сталевар,
На нём рубаха взмокла.

Зима такому не страшна:
Подумаешь — царица!
Ведь не заходит в цех она:
Расплавиться боится!

Гриша Люшнин пишет не только «взрослые», но и «детские» стихи. В его стихотворениях дети так весело и увлекательно играют в сталеваров, строителей, трактористов, моряков, что его первая книга стихов «Моя песня» была раскуплена буквально в несколько часов. Один рабочий канатного цеха, где работает Люшнин, говорил:

— «Моя песня» — любимая книга у дочки. Она не верит, что с автором книги я работаю в одном цехе.

Хорошо известны на заводе талантливые стихи молодого литейщика В. Сергеева. Вместе со «старыми» членами «Вальцовки» — такими, как поэты Александр Филатов, А. Никифоров, К. Чирков, — молодое поколение рабочих-поэтов в своих произведениях раскрывает старую, ещё Вергилием высказанную мысль о том, что «труд всё побеждает». Мне кажется, что в наши дни в нашей стране по-настоящему раскрыть её может только тот, кто сам познал радость труда.

ДОСТИЖЕНИЙ МОГЛО БЫТЬ БОЛЬШЕ...

И всё-таки достижений могло быть и больше, если бы не те недостатки, о которых шёл серьёзный разговор в 1955 году на майском совещании передовиков промышленности в Кремле и на июльском Пленуме ЦК, а в этом году — на XX съезде партии.

Жестокая критика недостатков помогает наметить правильные пути развития промышленности. Главное сейчас — в правильной организации дела, в руководстве.

Старейший русский коммунист, академик Г. М. Кржижановский, вспоминает, что как-то уже большой Владимир Ильич Ленин после одной из своих поездок в Москву с горечью говорил ему о работе одного учреждения: «Бюрократизм. Хаос. Ляпанье».

Не будь у нас этих зол, насколько мы ушли бы вперёд! К сожалению, пока они ещё встречаются.

Почти три года тому назад профессор Вечернего металлургического института П. Н. Бидуля, вернувшись из командировки в Чехословакию, в беседе с заводскими инженерами рассказал, что на одном чешском заводе разрабатывают новый метод обогрева «прибылей» слитков путём сжигания ферросилиция в струе кислорода.

«Прибыльная» часть слитка — «неизбежное зло». Если разрезать слиток по длине, в верхней части его отчётливо видна усадочная раковина. Она идёт вглубь металла и по форме напоминает морковку. Двенадцать, а иногда восемнадцать процентов от слитков качественной стали приходится обрезать при прокатке. Давно сталеплавильщики бьются над проблемой такого утепления «прибылей», которое значительно уменьшило бы усадочную раковину. Первый метод обогрева «прибылей» нашёл на заводе энтузиастов в лице инженеров Лебедькова, Тункова и Жетвина. Провели опыты. Разрезали слитки. Усадочная раковина получилась не как морковка, а похожая на репу — она шла не так глубоко в металл.

— Новый метод обогрева может вдвое уменьшить обрезь слитков и на четыре процента повысить производительность стана «750», — с радостью говорил о результатах опытов инженер Тунков.

Провели ещё серию опытов в цехе; они неизменно давали обнадеживающие результаты. О них доложили на конференции сталеплавильщиков в Ленинграде. Опытами заинтересовались другие заводы. И вдруг, как обухом по голове, техническое управление министерства наложило на опыты вето. Напрасно с завода писали и звонили начальнику управления Равделю и его заместителю Марцимову.

— В старых сапогах покойнее ходить, — оправдывались в министерстве. — Вдруг «белые пятна» на металле появятся, как уже было однажды на Златоустовском заводе после применения энергичных обогревательных смесей.хлопот не оберёшься!

— Там другое дело. Там другие смеси, — нажимали с завода, — у нас проведено подробное исследование.

— Надо провести дополнительное исследование, — отписывались из министерства, — семь раз проверьте.

— Семь раз проверишь, а вы один раз... зарежете, — не без основания говорили заводские инженеры.

Неизвестно, чем бы кончилось всё это дело. Начальником управления стал заместитель Марцимов, а начальник Равдель превратился в заместителя, но от перемены слагаемых мнение не изменилось, храбрости не прибавилось. И только после июльского Пленума ЦК партии разрешения на производственные опыты были наконец получены. Опыты закончены сейчас, и новый метод обогрева, разработанный заводскими инженерами, внедряется с большим экономическим эффектом.

Новая техника без риска не рождается. Разработка и внедрение нового немислимы без борьбы. В этой борьбе могут быть неудачи, даже поражения, но другого пути нет.

Если испытывать в производстве только уже опробованное другими предприятиями, наверняка отстанешь.

— Кто нового боится, тот в мастера не годится, — говорят рабочие.

Несмотря на то, что всё новое в технологии, всякие переделки оборудования на какой-то период связаны, как правило, для рабочих с потерей в заработках, с усложнением в труде, они охотно идут на проведение экспериментов. И мы, исследователи, со стороны рабочих никогда не получаем отказа.

— Пробовать надо. Под лежачий камень вода не течёт, — часто требуют сами рабочие от заводских исследователей и технологов.

На заводе трудятся и творят десятки прекрасных изобретателей и рационализаторов. Но, к сожалению, среди руководителей до сих пор встречаются порой явные или тайные недоброжелатели «нарушителей спокойствия» — бойцов за новую технику.

Друг Владимира Ильича, академик Кржижановский, рассказывал:

«Ленин страстно любил талантливых людей, искал их. Много талантливых людей поддержал Ильич в первые трудные годы Советской власти. Случалось Владимиру Ильичу докладывать, что в предложениях какого-нибудь «изобретателя» нет ничего реального.

— А вы не торопитесь, — просил Ленин, — проверьте ещё раз. Может, в его идеях есть что-нибудь ценное».

«...Дело в поддержке всех и всяческих ростков нового, из которых жизнь обретут самые жизнеспособные». Этот ленинский совет неплохо вспоминать почаще.

Но для того, чтобы поддерживать новое, нужна гибкость, нужна возможность быстрых изменений, экспериментов... Между тем у нас существует большая инерция во всех звеньях индустрии, преодолеть эту инерцию бывает нелегко. Она складывается из разных факторов.

Много у нас недостатков в системе планирования (из окон министерства цехов не видно), излишеств в учёте (один работает, трое записывают), много сложностей в управлении («раз, два, три... четвёртый начальник»), далеко не всё благополучно в организации труда и зарплаты. Всё это мешает быстрому внедрению новой техники. Возьмём, к примеру, рабочее изобретательство. Какое это нужное и большое дело! Только на нашем заводе ежегодно внедряются сотни рабочих предложений с экономическим эффектом в среднем более трёх миллионов рублей. Но недостатки системы сказываются и тут, особенно в оценке предложений, в оплате их. По существующей инструкции за предложение получает тот, кто его подаёт, а тот, кто его разрабатывает, кто внедряет его, получает незначительную долю вознаграждения автора. И это несмотря на то, что идея для предложения может быть заимствована из технического журнала, опыта других заводов и даже из практики соседнего цеха.

Естественно, что при такой системе часто возникают споры: кто первый сказал «э». Особенно если это «э» не простое, а «золотое», то есть если предложение сулит значительный экономический эффект.

В течение нескольких лет на нашем заводе внедрялись щелочные расплавы: для травления нержавеющей стали в качестве замены расплавленного свинца при патентовании проволоки. В работе творчески участвовал большой коллектив инженеров, мастеров и рабочих, и вдруг, когда работа уже подходила к концу, участники её с недоумением узнали, что два инженера, П. и В., которые меньше всех остальных участвовали в разработке и внедрении новой технологии, тайком от остальных подали рабочее предложение и теперь требуют оплаты.

— Позвольте, — возмущались инженеры и рабочие, — над этим трудился целый коллектив, работали люди не только с нашего завода, но и с других предприятий.

— Ну и что же? Вы трудились, а мы написали и подали предложение, — цинично заявил инженер П. — Труды ваши, деньги наши.

И действительно, инженеры П. и В., «действуя по закону», добились выплаты им вознаграждения в несколько тысяч рублей.

К сожалению, многое ещё у нас делается по букве закона (порой устаревшего) и мало подчас прислушиваются к справедливому мнению не только отдельных людей, но и целого коллектива.

После XX съезда партии люди на заводе почувствовали больше веры в свои силы и, следовательно, большую ответственность перед партией за порученное дело.

— За нас обо всём не будут думать вожди! — эти слова можно часто слышать теперь в цехах.

Превосходно, по мнению всех коммунистов, с кем мне пришлось беседовать, прошло общезаводское партийное собрание по итогам съезда.

По-деловому, без демагогии, но с полным использованием своих прав на критику и самокритику, с чувством ответственности за контроль над хозяйственной деятельностью администрации заводские коммунисты потребовали от министерства «на старом месте переоборудовать завод на современный лад, сделать его достойным столицы».

— Правильно нас критиковали, — должен был признаться начальник Главспецстали тов. Перцов, — недопустимо, чтобы такие заводы, как «Серп и молот», которые располагают замечательными кадрами и выпускают самые сложные марки стали, имели самую отсталую по сравнению с другими заводами технику. Мы сделаем всё, чтобы начать коренную реконструкцию завода в ближайшее время.

— Слово не воробей, вылетит — не поймаешь, — бросил кто-то реплику в зале.

По требованию коммунистов завода в решении записали: «Принять заявление начальника главка тов. Перцова к сведению».

Однако только ли в новой технике дело?

Инженер Тунков, побывавший в нескольких зарубежных командировках, говорил мне:

— Мы технически делаем многое, пожалуй, не хуже, чем за рубежом на самых первоклассных предприятиях. Но у нас ещё многое мешает повышению производительности труда. Мы, инженеры, во время командировок за границу подробно изучаем на заводах технологию и мало обращаем внимания на организацию производства. А между тем в организации производства у капиталистов есть немало интересного. Разумеется, копировать их во всё было бы глупо. У нас есть то, чего нет у капиталистов, — государственное плановое начало, черта, присущая только социализму. Благодаря ему мы добились наивысших темпов развития народного хозяйства. Однако часто мы забываем об экономии, о бережливости, о разумном распределении обязанностей, ответственности. Не обращаем внимания на возможность упростить, ускорить управление и контроль и тем выиграть время и средства...

У нас нет противоречий между общественным характером труда и распределением. В подъёме производства лично заинтересован каждый участник его. Однако у нас есть ещё немало любителей ехать «на чужом горбу» по известной формуле: «Где бы ни работать, лишь бы не работать».

Борьба с лодырями и прогульщиками продолжится. Помимо поощрений, на производстве есть и наказания. За бракованный металл рабочему не платят. По обычаю, сделавшемуся законом, сталевар, допустивший несколько поджогов пода печи, переводится на время в подручные.

Это — хорошее правило, но его неплохо было бы распространить не только на рабочих. Почему-то к руководителям, допускающим «брак» в своей работе, принято относиться более либерально.

У нас на заводе, да и не только у нас, образовались своего рода «системы орбит» (по лексике кадровиков — «номенклатурные перечни»), по которым и движутся руководящие кадры. Попадёт человек в «орбиту» и — плох или хорош — кружится по ней, как планета вокруг солнца. Есть, например, орбита начальников цехов. Попал на эту орбиту — и можешь быть уверен, с ней не слетишь. Не справился в одном цехе, поставив начальником в другой. В крайнем случае переведут начальником отдела. Но ни разу на моей памяти не было такого случая, чтобы вызвали нерадивого или бестолкового начальника цеха куда следует и по-хорошему объявили ему:

— Ты, брат, отстал. Молодые инженеры по знаниям, энергии, даже производственному опыту не только догнали, но и перегнали тебя. Иди-ка поработай мастером или начальником смены.

При мне снимали не меньше десяти начальников цехов, но никого из них не перевели на низшую должность.

— Поди-ка поработай на ответственном посту в техническом отделе, — предлагали снимаемым начальникам цехов. — Не хочется? Тогда в министерстве должность подберём. Не беспокойся, обязательно на том же окладе, не будешь в накладе. Как же, понимаем. Сами в таком положении очутиться можем.

«Система орбит» — это система пониженной ответственности.

И вот для провинившегося или сокращённого в одном месте работника в другом месте придумывается новая должность. Так у нас на заводе вместо одного заместителя главного инженера образовалось два.

Излишества в штатах сейчас уже очевидны для всех, и всё-таки с завода непрерывно забираются люди на разные должности в министерства, главки и комитеты, причём иногда это происходит против воли выдвигаемых товарщицей.

Есть у нас на заводе молодой способный инженер Л. Как-то на одном совещании в Совете Министров он очень дельно выступил и своим выступлением понравился одному ответственному товарищу. Через два дня Л. вызвали в отдел руководящих кадров министерства и стали ему усиленно предлагать различные должности.

— Я не безработный, — пробовал отказываться Л., — люблю свой завод и не хочу никуда уходить.

Но работники отдела кадров не оставляли Л. в покое. Они продолжали его вызывать, стремясь во что бы то ни стало выдвинуть его на руководящую работу. Тогда Л.

избрал своеобразную тактику: он стал просить предварительно посылать его на место будущего назначения. Побывав там, он логически доказывал, что должность, которую ему предназначают, по существу не нужна.

— Можно прекрасно обойтись без этой должности и, кстати, ещё без нескольких соседних штатных единиц, — утверждал он.

Инженера Л. скоро перестали вызывать. Очевидно, в отделе кадров подумали, что этот сам себя сокращающий товарищ, чего доброго, логически докажет бесполезность их собственной деятельности.

Я привёл только отдельные примеры недостатков, о которых сейчас во весь голос говорят на заводских партийных и рабочих собраниях. К этому надо только добавить, что все выступающие даже с самой острой критикой заводские люди умеют смотреть вперёд и, не размениваясь на мелочи, правильно оценивать и зримость наших успехов и ясность наших перспектив.

Но каждому из нас хочется как можно лучше и скорее исправлять недостатки. Об одном из них особенно взволнованно говорят люди завода.

Недавно, выступая на заводской партийной конференции, вальцовщик Тимаков спросил:

— Есть ли необходимость, чтобы некоторые наши ответственные административные работники получали в месяц во много раз больше, чем высококвалифицированный рабочий или заводской инженер?

Вальцовщик не получил ответа от докладчика, но подавляющее большинство сидящих в зале подумало в ответ: «Нет такой необходимости».

Мы прекрасно понимаем, что крупные учёные, выдающиеся деятели культуры и искусства имеют право на такие условия жизни, которые в максимальной степени освобождали бы их от повседневных бытовых забот. Но, к сожалению, далеко не всегда «особые условия» бывают оправданны.

На нашем заводе работал инженер А. Не хуже, но и не лучше других. Его взяли в аппарат министерства, установили персональный оклад — в два раза больше, чем его заработок на заводе. Потом начальник, у которого он работал референтом, перешёл на работу в Совет Министров. И тут А. в дополнение к своему основному, достаточно высокому окладу стал получать ещё немало денег. Появились ли у инженера А. за это время какие-либо новые достоинства? Или работа его стала особенно сложной, изнурительной, вредной? Нисколько! И он такой, как был, и работа примерно та же. Но теперь инженер А. стал как бы человеком «иногo круга», отдалился от своих прежних товарищей, от людей производства.

Однажды молодой сталевар А. Субботин на мой вопрос, женат ли он, ответил, смеясь:

— Обязательно! При наших больших деньгах без жены нельзя — мигом разложиться.

Самыми большими деньгами у знатного сталевара были две — две с половиной тысячи рублей в месяц.

Всем известно, как В. И. Ленин объявил выговор управляющему СНК Бонч-Бруевичу за самовольное повышение ему, Владимиру Ильичу, жалованья. Старая большевичка З. П. Невзорова при встрече в Париже — это было за несколько лет до революции — спросила Владимира Ильича, каково его материальное положение.

— Превосходное, — ответил Ильич, — я имею прожиточный минимум парижского рабочего.

МЫ УЧИМСЯ И УЧИМ

Московский сталевар Николай Чесноков поехал с рабочей делегацией в Венгрию. Повсюду советских людей встречали там, как дорогих гостей. На крупнейшем металлургическом предприятии — Дунайском комбинате имени И. В. Сталина, — расположенном в ста километрах от Будапешта, произошёл такой случай. На плавильную площадку мартеновского цеха Чесноков пришёл не в спецовке, а в хорошем сером костюме. Он осмотрел цех, познакомился с венгерскими сталеварами, снялся вместе с передовиком труда Фазекашем Габором. Но всё это была торжественная часть встречи.

Чеснокову не терпелось передать венгерским товарищам советский опыт. Он считал это главным. На одной из печей как раз начиналась завалка.

— Зачем вы заваливаете так много камня? — спросил Чесноков у сопровождавшего его инженера.

— Разве вам не известно, что известковый камень, быстро расплавляясь, создаёт как бы подушку для твёрдой шихты? — с улыбкой сказал инженер. — Камень ускоряет расплавление и предохраняет подину от разрушения. Так написано во всех учебниках.

— Известно, — в свою очередь улыбнулся Чесноков, — и у нас так тоже писали в учебниках, но вот уже лет двенадцать на нашем заводе «Серп и молот» мы вместо засыпки большого количества известкового камня в начале завалки даём стружку или очень мелкий лом, который тоже быстро расплавляется и тоже создаёт подушку на подине. Разрешите, я проведу так плавку, и вы убедитесь, насколько такой метод целесообразнее.

Венгерские сталеплавильщики переглянулись. Никто ещё в Венгрии не начинал завалку так, как предлагал Чесноков.

— Ваш метод рискован, — предупредили Чеснокова.

— Я гарантирую сохранность подины и сокращение плавки на тридцать минут. Голос Чеснокова прозвучал уверенно, и всё-таки ему с большой неохотой, и то только чтобы не обидеть почётного гостя, разрешили завалить печь «по-московски».

Чесноков скинул пиджак, кто-то протянул ему войлочную шляпу с очками, рукавицы, фартук. Советский сталевар начал командовать завалкой. Теперь ему был не нужен переводчик. Язык жестов международен. Кроме того, у бушующей пламенем печи голос сталевара всё равно не услышит машинист завалочной машины. У печи, где плавил Чесноков, собралось много народу. Окончив смену, рабочие не уходили домой. На час раньше графика Чесноков выпустил плавку. Как только металл вышел из печи, все собрались к окнам мартена осматривать подину. Инженер, сопровождавший Чеснокова, поздравил его с успехом.

— Подина цела и даже в лучшем состоянии, чем при плавках с известняком, — объявил он.

Сталевары пожимали Чеснокову руку. Пожилой рабочий поблагодарил москвича за бескорыстную передачу такого важного «производственного секрета».

Большую помощь зарубежным металлургам оказали мастера металла с «Серпа и молота»: в Корее — один из старейших мастеров завода Ф. С. Фомичёв, бывший сталевар, ныне начальник цеха Г. В. Свиридов и механик Бугров, в Китае — инженер В. Ермолаев, в Германской Демократической Республике — мастер-прокатчик И. Туртанов.

Тысячи зарубежных металлургов учатся на советских заводах. На Челябинском металлургическом заводе я встречался с китайскими инженерами, будущими работниками строящегося с помощью Советского Союза Аньшаньского комбината. На нашем заводе вёл опытные плавки аспирант Института стали китаец Цынь Сень, который недавно защитил диссертацию и, получив звание кандидата наук, уехал в Китай.

По возвращении инженера В. П. Тункова из Индии на имя Советского правительства пришла нота от Индийского правительства с благодарностью за присылку к ним выдающегося советского специалиста, который оказал существенную помощь индийским литейщикам.

За шесть месяцев Тунков объехал всю Индию, побывал на заводах, где есть литейные цехи, и от души делился тем, что знал. На металлургическом заводе в Майсоре отливали крупные прокатные валки. Литье не получалось: внутри отливок образовывались огромные усадочные раковины. Местные инженеры ломали голову, пытались найти выход; не помогла и консультация американского специалиста.

— Что скажете по этому поводу вы, мистер Тунков? — обратился директор завода к советскому инженеру.

Владимир Павлович Тунков ответил не сразу. Он понимал серьёзность положения и сознавал, что поступить опрометчиво нельзя.

— А что, если... — начал он и, не докончив фразы, заявил: — У нас на заводе делают так...

Тунков изложил свой план. Был он прост, и осуществление его не требовало большой подготовки.

На следующий день на литейной площадке было особеннолюдно. Многим хотелось узнать, какой метод предложит советский инженер. Когда над громадной опокой опустился ковш и в литник устремилась огненная струя, все замолчали.

Тунков стоял тут же. Он заметно волновался: как-никак, а это, пожалуй, экзамен, и серьёзный экзамен. Он пытался успокоить себя: «Ведь получалось же на «Серпе и молоте». Не раз пробовали, и всё было как следует». И всё-таки справиться с волнением было трудно.

Окончен розлив. Ковш отодвинулся в сторону. Тунков шагнул к опоке, бросил туда, где только что лился металл, крупную порцию ферросилиция и сразу же направил мощную струю кислорода. Ферросилиций вспыхнул и загорелся ярким пламенем.

Опыт прошёл удачно. Практика чехов, о которой рассказал профессор Бидуля, работы инженеров «Серпа и молота» выручили и тут — в далёкой Индии. Отливка получилась доброкачественная. Усадочная раковина благодаря обогреву головной части отливки была очень небольшой, она совершенно не проникала в самую деталь. Победа была явной. После этого было получено ещё несколько крупных отливок. Все они оказались хорошими по качеству.

Интересный разговор был продолжен на банкете, данном в честь Тункова и другого советского инженера крупным заводчиком в загородном дворце.

— У нас каждая фирма старается иметь свои секреты, — говорил предприниматель. — Секреты покупаются за большие деньги. Вы же так охотно делитесь секретами, мистер Тунков. У вас все так поступают или это ваше индивидуальное качество характера?

Тунков постарался, насколько позволило ему знание английского языка, объяснить, почему в Советском Союзе давно исчезло «секретничанье».

— У нас, как вам известно, одна фирма — советская промышленность. В пределах одной фирмы секретов быть не может. Что касается секретов мастеров, то им тоже теперь секретничать ни к чему. Когда-то у нас на заводе, уже при Советской власти, — продолжал Тунков, — работал английский мастер Томас Маргтон. По воскресеньям он запирался в пустой мастерской для расточки и калибровки прокатных валков. Рабочие не подняли его на смех только потому, что он приехал из страны, где безработица и конкуренция.

— Но ведь вы не храните производственных тайн и за пределами вашей «одной фирмы», — заметил заводчик.

— От друзей какие же могут быть секреты, — сказал Тунков, и в этих словах была не только любезность, но и правда.

Тунков поведал индийцам о привычных для нас делах: передаче лучших приёмов труда между рабочими одной профессии, о межзаводских школах, о книгах и статьях новаторов производства.

— Индийские коллеги слушали меня, как Шехерезаду, — шутил Тунков, рассказывая друзьям об этом эпизоде.

Советское правительство, советские люди помогают создавать металлургическую промышленность в Индии, Румынии, Китае, Корее, Болгарии и в других странах. Мы охотно делимся всем тем, что мы имеем. Между друзьями секретов нет. Доброе дело само себя хвалит. Мы охотно обмениваемся опытом и с металлургами капиталистических стран. Без взаимопонимания и взаимного обмена опытом мы не мыслим мирного соревнования двух систем.

В последнее время расширились и укрепились наши международные связи. Позорное пренебрежение ко всему иностранному, нужное только нашим врагам, «кануло в Лету». Радостно отметить, что на нашем заводе связь с зарубежным производственным опытом, с зарубежной культурой не прерывалась ни на один год. За последние восемь лет люди с нашего завода побывали в Англии, Аргентине, Италии, Китае, Германии, Корее, Венгрии, Индии, Финляндии, Польше, Чехословакии, Румынии, Франции и Югославии. В прошлом году сталевар Дроздов ездил на экскурсию в Польшу. В этом году шесть рабочих и инженеров «Серпа и молота» совершили на теплоходе поездку вокруг

Европы. Инженер Фёдоров отдыхал на курорте в Румынии. Стенды, показывающие продукцию и работу нашего завода «Серп и молот», демонстрировались в течение года на международных выставках более чем в двенадцати странах.

За границей у нас с иностранцами часто возникают споры. Мы не можем не быть принципиальными во всём. Можно и нужно уважать чужие порядки, но отнюдь не всегда следует соглашаться с ними и одобрять их.

В США нашим товарищам, например, рекламировали обряд пожатия руки президенту в Белом доме.

А в Индии один предприниматель рассказал инженеру В. Тункову анекдот:

«Забралась толстая обезьяна на крышу, а снизу кричит прохожий: «Смотрите, сидит, как министр: выше всех, болтает больше всех, а понимает меньше всех».

А потом спрашивает:

— А у вас, мистер Тунков, можно рассказывать анекдоты о министрах, можно криковать их?

В Лондоне мастера И. Туртанова водили в Гайд-парк, где ораторы могут произносить любые речи.

— Разве это не подлинная демократия? — спрашивали Туртанова.

О вкусах не спорят. У нас нет обряда пожатия руки президенту, но десятки тысяч советских людей, в том числе и свыше трёх тысяч рабочих нашего завода, с глубоким чувством пожимали руку К. Е. Ворошилову, получая ордена и медали за свои трудовые подвиги.

Что касается министров, то анекдот не самая сильная форма критики. Недавно у нас в клубе, на заводском рабочем собрании, выступал с докладом заместитель председателя Совета Министров И. Ф. Тевосян. Он выслушал в прениях немало суровых и острых критических замечаний о работе Министерства чёрной металлургии.

Нам кажется, что в Москве и других советских городах нет надобности устраивать соревнования ораторов, подобно принятым в лондонском Гайд-парке. Все знают, что от речей в Гайд-парке никому ни холодно, ни жарко. Зато от выступлений на рабочих собраниях толк всегда большой.

На общезаводском партийном собрании по итогам XX съезда партии присутствовали секретарь ЦК тов. Аристов и секретарь МГК тов. Бутусов. На этом собрании много коммунистов выступило с критическими замечаниями. И, как показало дальнейшее, многие высказанные коммунистами предложения и пожелания уже претворяются в жизнь: сокращаются излишне высокие оклады, наводится порядок и ликвидируются излишества в системе «персональных машин», а главное дело — вопрос о реконструкции завода, который долго маршировался в «верхах», наконец сдвинут с мёртвой точки.

Нам нравится наша демократия и не нравится капитализм. Со всей откровенностью сказал об этом Н. С. Хрущёв в Англии. Это не значит, что у нас всё хорошо. На XX съезде партии о многих наших недостатках говорилось громко, в том числе и о том, о чём раньше говорить было не принято.

У нас есть, к сожалению, до сих пор ещё и такие «ответственные лица», которые, пытаясь удержаться в своём «кресле», готовы ущемить и ущемляют права людей, а наши советские люди так любят свою Советскую власть, свою родную партию, что порой снисходительно относятся к таким «руководителям», пытающимся подменить служение народу администрированием.

Подобного рода «руководители» относятся к руководимым не только безразлично, но и с недоверием. Это недоверие доходит иногда до смешного. Мастеру И. И. Туртанову предложили выступить с речью в Большом театре на вечере, посвящённом Дню Победы. Кажется, всё ясно. Туртанов готовит свою речь, он хочет от души, своими словами, высказать народу дорогие ему мысли. Но не тут-то было. Выступление для товарища Туртанова поручили писать четырём лицам: из ЦК профсоюза, из ВЦСПС, из Московского Комитета партии и представителю завода (мне). Ответственные товарищи на машинах «Победа» или «ЗИМ» (в зависимости от должности) приехали на завод и сообща начали писать Туртанову речь. Так как на таком «совещании» писать речь трудно, то набралось много общих фраз из газет. Потом, как узнал я, речь ещё несколько раз редактировали в МК, в ВЦСПС... Я много раз слышал, как выступает Туртанов на рабочих собраниях, в военных лагерях, среди студентов без такой «под-

готовки». Он замечательный оратор — умеет говорить просто, ясно, умно. И разве могут идти хоть в какое-нибудь сравнение его живые речи с написанными за него речами! Кому и зачем это надо? В дни митингов на заводе и мне случалось иногда писать по три-четыре речи выступающим товарищам. А потом слушать и вместе с теми, которым приходилось читать эти чужие речи, переживать равнодушные аудитории.

— Что же вы возмущаетесь, когда сами этим занимались? — спросят меня читатели.

Потому и делюсь с читателями своим возмущением, что ясно представляю себе, как неверно поступал. Многое мы делали неверно и обязаны это не только осознать сами, но и сказать об этом другим.

И разве то, что вызывает смех или возмущение у нас самих, не может показаться горьким нашим друзьям за рубежом и давать пищу для пропаганды врагам?

Живы ещё пережитки капитализма в сознании людей. Мы недостаточно с ними боремся. Это спекуляция, взятки, хулиганство, пьянство. Во имя защиты наших детей мы должны более решительно бороться с этими пережитками. Мы слишком жалеем хулиганов-пьяниц. Мы часто ухаживаем за ними, как за больными. Хулиган и пьяница-буян — трусы. Противостоять их поведению можно только силой. И нельзя тут либеральничать. Как можно допустить, чтобы несколько отъявленных хулиганов терроризировали подчас целый городской квартал или посёлок в несколько десятков тысяч жителей!

Понятно, одними суровыми методами с хулиганством не покончишь. Один из старейших московских футболистов, теперь начальник цеха завода В. Григорьев, говорил:

— Лучший противник хулигана — спорт. В двадцатых годах в Москве, в нашем районе, существовала большая ватага хулиганов — «Таганская банда». Было в ней семьдесят человек. И вот когда около завода построили стадион, вся «Таганская банда» увлеклась спортом. Из некоторых бывших хулиганов получились первоклассные спортсмены, в том числе футболисты. Кое-кто даже вошёл в команду мастеров «Металлург», которая до войны была одной из сильнейших команд столицы.

Для занятий спортом, кроме желания, нужно место. В Чехословакии — в Праге — я видел спортивные площадки буквально в каждом квартале. В Москве их значительно меньше. Футболисты, побывавшие в Англии, рассказывали, что даже в Гайд-парке несколько футбольных полей. Рядом с лондонской гостиницей, где жили советские футболисты, они видели среднюю школу, которая имела два футбольных поля, бассейн для плавания и другие спортивные сооружения. У нас далеко не во всех школах есть спортивные площадки, а футбольных полей нет нигде. Помню, мы раньше играли в футбол на пустырях. Теперь пустыри почти все исчезли: на них построили дома, разбили скверы и парки. Озеленяются наши города. Это очень хорошо. Но надо бы так же энергично, как озеленение, проводить и строительство спортивных сооружений. Прекрасно отдохнуть в зелёном парке, но если тебя там обругают или оскорбят изнывающие без дела и от избытка энергии молодые люди, которые с радостью поиграли бы здесь, в парке, в футбол или баскетбол, весь отдых будет испорчен.

Но не только спортом можно увлечь молодёжь. Иногда говорят, что значительная масса заводских людей, особенно молодёжи, из тех, кто не числится в активе, мало интересуется политикой, равнодушна к общественным делам. Как это неверно! Люди, в том числе и молодые, не против интересных собраний, не против содержательных лекций и докладов, а против скучных лекторов, против формальных собраний для «галочек», которые ставят нерадивые культработники в плане мероприятий.

— Зачем каждый квартал в каждом цехе проводить собрание по проверке колдоговора, если в таком собрании нет необходимости? — спросил как-то рабочий у предцехкома.

— Завком настаивает.

А в завкоме отвечают:

— ЦК союза подписывает на основании указания ВЦСПС.

Мы позвонили в ВЦСПС и там получили разъяснение: «Массы требуют».

Типичная сказка про «белого бычка». Ничего нет удивительного, что на собрания, которых отнюдь не требуют массы, или на лекции, где докладчик, как марабу, тычет носом в «Блокнот агитатора» и от корки до корки читает оттуда статью, люди не идут.

Но народ, и особенно молодёжь, любит живое слово и жадно слушает его. С лектором-международником Г. М. Свердловым был на Магнитогорском комбинате такой случай. Он выступал там с лекцией во время обеденного перерыва. Сорок пять минут, в которые лектора просили уложиться, подходили к концу. И тогда рабочие, собравшиеся в красном уголке цеха, попросили дать возможность Г. М. Свердлову продолжить: «Пусть ещё час говорит, лекция хорошая. Мы после конца смены останемся и отработаем».

На заводе всё больше становится образованных и культурных людей. Есть уже участки, где нет рабочих без среднего образования и мастеров без высшего. И горько порой бывает видеть, как невоспитанность отдельных людей мешает нам в работе и жизни.

Спору нет, уважаемые люди на заводе — начальник цеха Свиридов, старший мастер Чесноков, мастер Луховцев и некоторые другие. Но когда на заводе готовилось комсомольское собрание — о недостатках в воспитании молодёжи — и я предложил кандидатуры этих товарищей для выступлений, секретарь комитета комсомола испуганно сказал:

— Что вы! Как можно им говорить о воспитании? Ведь они ругаются, как...

Раньше говорили: ругается, как извозчик. Извозчиков давно нет, их заменили шофёры. От одного из наших заводских шофёров я слышал выражение: «Ругается, как главный инженер».

Бывший наш главный инженер М. действительно ругался «классически».

Невоспитанность проявляется в неуважении к коллективу, в пренебрежении к удобствам других. «Наплевать на всех. Что хочу, то и делаю» — вот излюбленная формула человека, которого в общежитии мы называем невоспитанным.

Культура поведения обязательна и на производстве и в быту. Но даже в красном уголке центральной заводской лаборатории дежурному приходится часто до хрипоты убеждать инженеров и лаборантов:

— Товарищи, не сидите в шапках! Не курите, товарищи!

Невоспитанность часто связана с выпивкой. Пьяному море по колено. Какие нормы поведения могут быть у человека, если его земля не держит!

К сожалению, у нас есть ещё на заводе товарищи, и даже среди руководящего состава, злоупотребляющие выпивкой. И удивительнее всего, что эти же товарищи иногда сетуют:

— И отчего среди современной молодёжи попадают невоспитанные люди? В кого бы это?

В школе, дома, на производстве надо гордиться воспитанностью, считать воспитанность таким же большим достоинством человека, как его образованность, общественная активность, производственные показатели. И в характеристиках об этом надо обязательно писать.

Я думаю, на меня не обидятся мои товарищи по труду за дружеские замечания. Мы говорим о плохом, чтобы в нашей дальнейшей жизни было больше хорошего.

«СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ С КОГО»

Есть на Новодевичьем кладбище Коммунистическая аллея. Она идёт вдоль стены. Здесь похоронено много старых большевиков.

В Коммунистической аллее похоронены мои родители — отец и мать. За месяц до своей смерти отец из санатория, где он умер, прислал нам карточку; он снят вместе с мамой. Оба седые, похудевшие, как бывает со стариками, много потрудившимися на своём веку. На обороте карточки было написано:

«Дети, всю сознательную жизнь мы стремились всеми силами служить своему народу, честным трудом и революционной борьбой оправдать высокое звание членов большевистской партии. Мы были счастливы...»

Мне посчастливилось не только родиться в большевистской семье, но жить и встречаться со многими старыми большевиками. И я желал бы, страстно желал, чтобы мои дети и дети моих товарищей по труду ходили на этих людей.

Я помню, как М. И. Калинин с мягким юмором в умных глазах, поглаживая бородку, в беседах с молодёжью передавал ей партийную мудрость.

— Если ты живёшь только домашними интересами, только думаешь всё время о себе или о своей Фёкле, то настоящим коммунистом не будешь...

В пьесе «Баня» Маяковский приводит «черты, роднящие с коллективом коммуны». Эти черты: радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода отдавать, гордость человечностью.

Все эти черты свойственны многим старым большевикам. Моя мама всю жизнь работала. В работе она находила и радость и забвение. В 1936 году попала под автомобиль её младшая и потому особенно любимая дочь, Леночка. Это случилось в субботу. В воскресенье Лепочку хоронили.

— Товарищ Подвойская, не выходите завтра на работу, оставайтесь дома, — сказал матери директор института.

— Разве я могу в таком состоянии не работать? — спросила мать.

До последней возможности работала мама. Ей было больше семидесяти лет. Руки плохо слушались её.

— Мама, может быть, тебе надо перестать работать? — спрашивали мы её.

— Если хотите, чтобы я умерла, я оставляю работу.

Мой отец, тяжело больной, был ещё до войны переведён на пенсию. При наступлении на Москву немцев он отказался эвакуироваться и помогал организовать оборону Москвы на Красной Пресне. Военком района, не знавший отца, поручил спросить, что это за старик работает на рытье окопов и по чьему поручению он взялся руководить оборонительными работами и всеобучем на этом участке. Отец передал для военкома следующую записку: «30 октября 1941 года. Справка. Я работаю по всеобучу и по организации обороны Москвы в общественном порядке, в качестве члена партии. Я — персональный пенсионер. Н. Подвойский».

Прекрасные примеры трудолюбия, самопожертвования, заботы о товарищах показал нам Владимир Ильич Ленин.

Сколько чудесного на эту тему рассказывает Г. М. Кржижановский! Вот один из многих, очень характерный для Ленина случай.

Владимир Ильич со времени «Союза борьбы» был на ты с Кржижановским и звал его по имени — Глеб. Кроме Кржижановского, за свою жизнь он был на ты ещё с тремя-четырьмя товарищами, не больше. После переезда правительства в Москву, в одно из первых посещений Кржижановского, Владимир Ильич несколько смущённо сказал ему:

— Глеб, ты на меня не обижайся. Мы должны перейти на вы. Я как председатель СНК ни с кем не имею права быть на ты, быть теперь в близких, личных отношениях.

О скромности жизни Владимира Ильича знают миллионы людей, побывавших в Горках. Но даже эта скромная обстановка смущала Ленина.

— Понимаете, — говорил он, словно оправдываясь, Кржижановскому. — Мы ещё не можем всех так устроить, как меня.

В тех же Горках Бернард Шоу навестил Н. К. Крупскую. Он был поражён скромностью её быта и одежды.

— Произведения вашего мужа приносят вам огромные гонорары. Почему же вы так скромно живёте? — спросил в заключение беседы английский писатель.

— Произведения моего мужа принадлежат государству, — ответила Надежда Константиновна. — Я никаких гонораров не должна получать. Лично я совсем не плохо устроена. У меня есть всё необходимое для работы и отдыха.

Я бывал в своё время во многих квартирах старых большевиков, и они не отличались ничем от квартир рабочих и мастеров нашего завода, в которых мне приходится бывать сейчас. Никакой роскоши, во всём, как говорится, чувствовалось, что «каждая копейка гвоздём прибита».

Стремление к удобной обстановке для работы и отдыха — естественно и правильно. Но, к сожалению, мне приходилось наблюдать, как некоторые люди, поднимаясь по служебной лестнице, всё больше допускали излишеств в быту.

Как скромны были квартиры, в которых жил Ленин. Случалось, что одежда его была заштопанной, но всегда чистой и аккуратной.

— Владимир Ильич терпеть не мог неопрятности в одежде и обстановке, — рассказывала нам мама, — он высмеивал интеллигентов-эмигрантов, которые запускали свои комнаты, не подметали сами пол.

Аккуратность Владимир Ильич перенял от своей матери, Марии Александровны. Об этом я слышал не раз от Г. М. Кржижановского, который впервые встретился с матерью Ильича в Самаре в начале этого века, когда ей было уже шестьдесят шесть лет. Заочно они были знакомы значительно раньше.

— Мария Александровна была маленького роста, тихая, аккуратная старушка, с худощавым лицом, — вспоминает Глеб Максимилианович. — Черты лица правильные. Движения плавные, мягкие. Её умные карие глаза смотрели прямо на собеседника. Она всегда была опрятно одета, обстановка, в которой она жила, производила впечатление удивительной гармонии, и всех, приходивших к ней в гости, сразу охватывало чувство порядка и уюта. «Вот от кого у Володи такая любовь к порядку и чистоте», — подумал я, едва вошёл к Марии Александровне.

Удивительно скромным в быту оставался Владимир Ильич и после революции, будучи председателем Совета Народных Комиссаров.

Как бы хорошо было, если бы ленинскую неприязнь к позе, надменности и барству воспитали в себе все, без исключения, наши люди. Как-то я наблюдал у клуба разъезд с вечера. У подъезда стояла большая группа кадровых рабочих, мастеров и инженеров завода. Все мы собирались добираться домой на трамвае или автобусах. Но вот вышло «начальство». Кивнув на прощание головой, сел в машину секретарь райкома. Один в машине поехал главный инженер. Никому из них не пришла на ум фраза, которую наверняка сказал бы старый большевик:

— Кому, товарищи, по дороге? Садитесь, подвезу.

Один из старейших литейщиков завода, В. Обьедков, рассказывал, как в 1918 году, возвращаясь с митинга в Курских мастерских, Ленин в автомобиле застрял на Рогожской заставе (теперь Застава Ильича). Трое рабочих шли в это время с завода домой. Они узнали Ильича, который возился у застрявшей машины с шофёром.

— Садитесь, Владимир Ильич, в автомобиль. Мы мигом. Без вас справимся, — сказали рабочие.

Но Ленин не согласился, он вместе с рабочими выталкивал машину из грязи.

Ленин любил людей и никогда не кичился своим превосходством. На заре рабочего революционного движения в России, в петербургском «Союзе борьбы», В. И. Ленин и Г. М. Кржижановский писали прокламацию. Каждый составлял свой вариант текста.

— Читай первый, — предложил Ленин.

Кржижановский прочёл.

— Твой текст лучше! — воскликнул Владимир Ильич. — Он пойдёт. У тебя настоящая драма.

И, подумав немного, ещё раз добавил:

— Настоящая драма!

Незадолго до своей смерти отец рассказал нам, как охотно уступал Ленин приоритет на мысли и предложения другим товарищам. Невозможно представить себе Ильича спорящим с кем-нибудь по поводу того, кто первый сказал «э».

— Бывало и так, — рассказывал мне отец. — Владимир Ильич на заседании СНК репликами умело подведёт самого тебя к правильному решению и записками подготовит принятие предложенного тобой решения, а сам неожиданно воздержится, шуря при этом полные лукавства глаза: «дескать, вы сами без меня решили».

Как всё это не похоже на некоторых руководящих работников — даже у нас на заводе, — которые стараются обязательно возглавлять эффектные мероприятия и изо всех сил везде стремятся выставить своё «я».

Все, кто близко знал Ленина, подчёркивают, что эгоизм был чужд ему так же, как равнодушие. Он заботился о людях с естественной простотой, по велению души, по потребности своего сердца.

Все, кто жил с Лениным под одной крышей, кто лично общался с ним, подчёркивали, что вокруг Ильича была какая-то особо чистая атмосфера.

В личной жизни Владимир Ильич был добрый человек, но в защите народных интересов он был беспощаден.

В 1921 году Глеб Максимилианович хлопотал об освобождении одного крупного инженера, осуждённого за саботаж. Владимир Ильич отказал в ходатайстве.

— Пусть посидит... Надо научить дисциплине. Мы должны быть твёрдыми.

Ленин всего себя отдавал делу руководства революцией, он буквально сжёг свой мозг.

— Голова у него никогда не отдыхала, — говорит Кржижановский. — Последние годы его отчаянно мучила бессонница. Часами мы ходили с ним перед сном. Мозг всё равно не мог уснуть. По утрам Ильич выходил из своей комнаты в рабочий кабинет совершенно измученным. На замечание, что он погубит себя такой непомерной нагрузкой, Ленин сказал:

— А разве наше дело не стоит этого?

Ленин всю свою жизнь верил в победу революции, верил в силу масс и был тесно связан с ними.

Он, как никто, умел не только учить, но и учиться у масс.

— Владимир Ильич любил и умел слушать, — рассказывает Кржижановский. — Он мог «разговорить» любого ходока, и все уходили от него, получив больше, чем ожидали.

Ленин бережно относился к мнению народа, прислушивался к замечаниям самых широких масс.

— Глеб Максимилианович, знаете, что самое страшное в планировании? — спрашивал он председателя Госплана Кржижановского. — Ваш Госплан тоже грешит тут.

— Чем, Владимир Ильич?

— Бюрократизмом. В этом опасность великая.

Владимир Ильич учил запрашивать по разным вопросам мнение масс. Предлагал рассылать вопросники по уездам и волостям. Получая их, садился читать сам.

— Это надо делать самому, — убеждённо говорил Ленин. — Другие могут пропустить, не обратить внимания на важное.

Как этот совет нужен некоторым работникам центрального аппарата! Недавно у нас на заводе побывали два старших инспектора Госэкономкомиссии тт. Дворников и Кузнецова. Им поручили выяснить возможности увеличения выпуска калиброванной стали и листа. Инспектора запросили по цехам сведения, потом уединились и составили расчёты. Ни с кем не посоветовавшись, не сделав никаких поправок, необходимых, по мнению производственников, даже не пожелав вникнуть в эти поправки, работники Экономкомиссии предложили директору подписать акт.

Пришлось директору на их «кабинетном» документе сделать надпись: «С актом не согласен».

В. И. Ленин требовал от руководителей быть как можно чаще с народом. По предложению Ильича, сразу после переезда правительства в Москву ответственные коммунисты были раскреплены по партийным ячейкам московских заводов и фабрик. Н. К. Крупская и мой отец встали на учёт в партячейке Трёхгорной мануфактуры. До самой своей смерти отец вёл общественную работу на ткацкой фабрике комбината.

Ленин требовал, чтобы ответственные коммунисты чаще бывали на заводах, выступали на митингах и собраниях. Десятки кадровиков нашего завода рассказывали мне о том, как они видели и слушали дорогого Ильича. Слесарь Х. Бутнев, сталеплавильщик А. Королёв, токарь Алексеев слушали Ленина в Курских вагоноремонтных мастерских, тянульщик С. Шумилин — на Красной площади у могилы Я. М. Свердлова, листопрокатчик А. Гладышев — на Ходынском поле, при проходах полка Красной Армии, рабочий мартеновского цеха Глебов четыре раза встречался с Ильичём, в том числе в кадетских корпусах, рабочий С. Пророков слушал Ленина на широкой конференции металлистов.

Выступления перед рабочими были для Владимира Ильича особенно волнующими. Ленин не читал своих речей. Выступал он обычно с небольшим планом или конспектом, написанным на маленьком листке, иногда на четвертушке бумаги. Но готовился к выступлениям очень тщательно. Один раз, когда к нему на приём пришёл Г. М. Кржижановский, Ленин ходил по кабинету и шептал что-то про себя.

— Посидите немного. Я сейчас, — сказал он Кржижановскому. — Готовлюсь к выступлению на проводах красноармейцев.

— Многие свои выступления, — рассказывает Кржижановский, — Ленин перед собранием целиком прощёптывал или в кабинете, или в автомобиле. По темам своих выступлений Владимир Ильич часто советовался с товарищами, охотно выслушивая замечания.

Часто говорили с массажи, приезжали на митинги и другие старые большевики. К. Т. Свердлова-Новгородцева рассказывала, какое невероятное число раз выступал на митингах и собраниях первый председатель ВЦИК, самый близкий помощник Ленина — Яков Михайлович Свердлов.

В Москве, на Моховой, в музее Калинина, висит картина «М. И. Калинин на заводе «Серп и молот», февраль 1931 года». На картине любой кадровик завода сразу узнает наш старый ремонтно-механический цех с его огромными карусельными, токарными и строгальными станками.

— Михаил Иванович часто приезжал на наш «Серп и молот». Он был избран от нас депутатом Моссовета, — рассказывает токарь ремонтно-механического цеха Алексеев, который пятьдесят лет проработал на заводе и больше тридцати из них является активным рабкором многотиражной газеты «Мартеновка». — Да и другие наши руководители партии наш завод не забывали.

Алексеев рассказал мне о таком случае. В 1929 году группа иностранных специалистов в ВСНХ предлагала ликвидировать завод «Серп и молот» в Москве. Рабочие выбрали делегацию и послали её в ЦК партии. На следующий день на завод с утра приехали два члена ЦК — Ворошилов и Орджоникидзе. Оба были одеты в длинные кавалерийские шинели, только Серго без знаков различия. Долго ходили они по цехам, вникали, казалось, в каждую мелочь. За ними толпой шли рабочие, оставшиеся с ночной смены. Вечером, когда пламя мартеновских печей, как зарево, окрасило окна старого мартеновского цеха, осмотр завода был окончен. К проходной вслед за членами ЦК подошли рабочие уже двух смен. Серго и Ворошилов остановились, посоветовались между собой, и кто-то из них, кажется Орджоникидзе, сказал: «Завод надо сохранить в Москве и расширить. Целесообразно превратить его в завод высококачественных специальных сталей, которые у нас импортируются из-за границы на золото».

Завод был оставлен в Москве и расширен втрое по площади.

— Серго замечательно умел разжигать соревнования, — рассказывал мне другой кадровик «Серпа и молота», Н. Коротин. — Помню, в апреле 1935 года он приехал в заводской клуб на вручение грамот лучшим ударникам. Нарком каждому ударнику жал руку, приветливо улыбался и говорил нанутственные слова. А сталевара Семёна Чеснокова обнял и крепко поцеловал...

Приезжали к нам на завод и другие старые большевики: М. И. Ульянова, Е. Д. Стасова, Г. И. Петровский и многие другие. Они передавали ленинские заветы следующим поколениям. «Алмаз алмазом гранится» — есть хорошая поговорка на Урале.

Много я слышал и читал об Ильиче, но из всех высказываний о нём мне больше всего запомнились слова Н. К. Крупской, с которыми после смерти В. И. Ленина она обратилась к народу.

«Товарищи рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки! — сказала она. — Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д. — всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим... Хотите почтить имя Владимира Ильича, — устраивайте ясли, детские сады, дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов и т. д., и самое главное, — давайте во всё проводить в жизнь его заветы».

По заветам Ильича идёт и будет идти необъятная Родина моя!



ДВА ПИСЬМА

В шестом номере «Нового мира» была напечатана поэма Паруйра Севака «Нелёгкий разговор». Не будем пересказывать её содержание. Напомним только, что повествование в поэме ведётся от лица её лирического героя, к которому, полюбив его, уходит женщина. Она уходит от человека, чьей женой была, выйдя за него замуж не по любви.

Один из читателей «Нового мира» — кандидат исторических наук В. Ребрин — прислал в редакцию письмо о поэме П. Севака. Обращаясь к редакции, В. Ребрин пишет: «Не имея ничего против свободного выражения на страницах журнала взглядов автора поэмы на любовь, я полагаю, что и Вы не будете возражать против такого же свободного выражения несогласия с этими взглядами, хотя бы и не столь художественно оформленного».

Письмо В. Ребриня содержит весьма резкое осуждение поэмы П. Севака. Мы не считаем, что поэма «Нелёгкий разговор» свободна от недостатков и не должна стать предметом критики; в равной мере, хотя мы и понимаем жизненную важность темы, которую разработал поэт, мы не склонны считать её центральной проблемой литературы. Однако характер высказываний В. Ребриня, позиции, с которых он критикует самую попытку изобразить уход от нелюбимого человека, на наш взгляд, поучительны. Они имеют значение, выходящее за пределы самой поэмы, так как в них, с одной стороны, выражены узкодогматические представления о семье и браке, с другой — есть стремление рассматривать художественное произведение не более как протокольную запись событий и высказываний, игнорируя сложность, остроту и индивидуальный характер человеческих переживаний, которые и являются предметом поэзии.

Мы публикуем письмо В. Ребриня в том виде, в каком оно поступило в редакцию, не изменив в нём ни одного слова и не сократив ни одной строчки, и ответ на это письмо писательницы В. Герасимовой, точку зрения которой редакция «Нового мира» разделяет.

В. РЕБРИН

Кандидат исторических наук



РАЗГОВОР О ЛЮБВИ

В июньском номере журнала «Новый мир» опубликована поэма «Нелёгкий разговор» (автор Паруйр Севак, перевод с армянского Евг. Евтушенко). Сюжет несложен. Безымянный герой произведения, от лица которого и ведётся разговор, полюбил замужнюю женщину, имеющую маленького сына. Поведение героя обсуждается на собрании, он получает строгое взыскание за разрушение чужой семьи и даёт обещание порвать отношения с любимой. Однако герой, считая требование коллектива несправедливым и несерьёзным, не думает выполнять своё обещание. В конце концов героиня бросает мужа и уходит с ребёнком к любимому человеку.

Подобные факты в разных вариантах встречаются в жизни. В одних случаях вина за распад семьи может лежать на муже, в других — на жене. Могут быть и объективные обстоятельства, делающие невозможным сохранение семьи. Возможны, наконец, и ошибки в оценке поведения той или иной стороны. И то, что поэт в данном случае вдохновился на проблему укрепления семьи, а любовными переживаниями своего героя, само по себе не вызвало бы возражений.

Но поэма содержит такие этико-философские обобщения, с которыми нельзя согласиться. Прямо и косвенно в ней выражена своеобразная теория «свободной любви», обожествляющая не ограниченное никакими общественными нормами половое влечение. Мимо этой философии тем более нельзя проходить, что излагается она не в скучном трактате, а в талантливо написанном стихотворном произведении, в живой и доходчивой форме. Красиво опозитивированная идея абсолютной свободы любовных отношений не может не оказать влияния на нашу молодёжь.

Не претендуя на специальный литературно-критический анализ, попробуем с точки зрения рядового читателя разобраться в том, что в такой увлекательной форме дал нам поэт.

Основное содержание поэмы составляют размышления героя о собрании, на котором обсуждалось его поведение. Она и начинается воспоминаниями об этом собрании:

Собрание шло часов примерно пять.
Всё обсудили. Вынесли решение:
с тобою «отношения порвать».
Название-то какое — «отношенья»!
Мне разъяснили пылко и толково,
что нужно избегать семейных драм.

Как нередко в таких случаях бывает, герой искренне убеждён, что ошибся не он, а собравшиеся, что нет оснований выносить ему общественное порицание и что коллектив вообще не вправе вмешиваться в его сердечные дела. В действительности в подавляющем большинстве случаев правым оказывается всё-таки коллектив, и тот, кто подвергся его осуждению, рано или поздно признаёт его правоту, как бы тяжело ни давалось это признание. Но герой поэмы не чувствует сколько-нибудь серьёзных угрызений совести, налицо конфликт только между ним и общественным мнением. И поэт без колебания становится в этом конфликте на сторону своего героя против коллектива. Само собрание изображено скорее как сборище обывателей и сплетников, которые в течение пяти часов злобно оплёвывают высокие чувства, обуревающие героя.

В этой обстановке, возможно, испугавшись более сурового взыскания, и дал своё обещание герой:

И слов теперь уже не взять обратно,
и явно торжествует чей-то взгляд...
О, люди часто говорят неправду,
а думают, что правду говорят.
Души такая правда не имсет.
Как лунный свет, и светит, да не греет.
И, несмотря на пыл пустых стараний,
бывает правдой только для собраний...

Да, слушал я, и даже дал я слово,
но слово дал не людям, а словам.

Какая там правда может быть на собраниях — одни пустые старания да громкие фразы! Так поэт разделался с общественным мнением.

Впрочем, на собрании раздался два голоса в защиту героя. Эти-то люди изображены с большей теплотой:

А кто-то встал и голосом могучим
все фразы отодвинул, как плечом:
«Не зря ли здесь мы человека мучим?
Нельзя ко всем дверям с одним ключом...»
.
Другой, отпор давая громким фразам,
всем юным жаром поддержал его:
«Да что вы все твердите — разум, разум...
Разумней сердца нету ничего!»

Нельзя, конечно, всерьёз принять эти восклицания как доказательство правоты героя. Это — выражение безотчётного сочувствия человеку, запутавшемуся в делах, но, может быть, заслуживающему снисхождения. Юноша, так горячо провозгласивший сердце (то есть чувство) верховным судьёй в делах любви, не отдаёт себе отчёта в том,

что, противопоставляя чувства разуму, он не возвышает, а принижает любовь! Что такое любовь, свободная от всяких ограничений, вызываемых условиями общественной жизни людей, общими интересами человеческого коллектива, от связи с человеческим разумом — индивидуальным и коллективным, словом, очищенная от всего человеческого? Биологическое влечение, основанное на половом инстинкте и свойственное в этом «чистом» виде только животным.

Поэтическое выражение «сердце выше разума» или «разумней сердца нету ничего», как бы оно красиво ни звучало, не имеет смысла в применении к человеку, если не считать тех отдельных случаев, когда «сердцу» противопоставляется не разум, а какой-либо коварный расчёт. Если бы разумнее инстинктов не было ничего, то животные, у которых биологическое влечение не стесняется вмешательством разума, были бы самыми идеальными влюблёнными. Человек — общественное и в силу этого разумное существо. Его чувства и переживания обязательно связаны с разумом, облагорожены воздействием разума. Само чувство любви свойственно только человеку и именно потому, что у него сердце связано с разумом и подчиняется разуму.

Могло быть, что в данном случае собрание ошиблось или нездоровым оказался весь окружающий героя коллектив, хотя это мало вероятно. Возможно, что поэт наблюдал одно или несколько таких собраний. Но ведь он писал не фельетон, в котором бичуются недостатки того или иного отдельного коллектива. В поэме нет ни имён героя и героини, ни указания на время и место действия. Есть, правда, упоминание, что дело происходит на Востоке, и автор осуждает обычное будто бы там влияние родни на волю выходящей замуж девушки. Но описываемое собрание — не какой-нибудь отживший восточный ритуал, а событие вполне современное.

Перед нами художественное обобщение, наводящее тень на все подобные меры общественного воздействия. Поэт вместе со своим героем поднимает голос вообще против права общественности коллективно обсуждать вопросы об укреплении семьи. Да и что за люди окружают героя! Это почти поголовно злобные и завистливые сплетники, пошляки и ханжи. В лучшем случае они просто не понимают возвышенной натуры героя и его благородных чувств. Трудно поверить в существование где-либо такого коллектива, не говоря уже о том, что поэт не вправе преподносить его нам как типичный.

В поэме нет недостатка в размышлениях по поводу того старого, что ещё якобы мешает нам жить.

Я волком бы выгрыз.. мещанство, друзья!
В густой духоте кисейного рая
катастрофически таял бы я,
на все холодильники невзирая.

Всем известные слова великого поэта, поставленные в начале первой строки, были сказаны совсем по другому поводу. Здесь же они используются для подкрепления развиваемых в поэме этических взглядов. Но невольно возникает вопрос, не защищается ли в ней обывательский индивидуализм, крайний эгоизм в вопросах любви и брака, словом, то самое мещанство, против которого она будто бы направлена? Ответ на этот вопрос, к сожалению, можно дать только утвердительный. И уместнее здесь были бы другие строки, также принадлежащие Маяковскому:

Их и по сегодня много ходит —
всяческих охотников до наших жён.

Мало что можно узнать из поэмы о герое, о его месте в нашем обществе, — об этом ничего не сказано. Известно лишь, что герой не женат и своей семьёй не разрушает, но это только несколько упрощает обстановку. Будь он и семейным человеком, это не помешало бы ему разорвать семейные узы и соединиться с любимой. Взгляды героя на любовь, мораль, долг — несомненно индивидуалистические, эгоистические. Любое мнение коллектива по этим вопросам, не согласное с его личным мышлением и образом действий, он категорически отвергнет, да ещё обругает пошлым и лживым.

Мне не до этой тихой, пошлой умности.
Всегда хочу я быть с тобою вместе.

Не по душе мне тех советов лживость,
 что обещают тишь да благодать.
 Советуйте другим. Я вам не жидкость,
 чтоб форму по посуде принимать.

 Люблю тебя. Всё остальное — ложь.

Вот против этого мещанского, обывательского представления о любви стоило бы выступить поэту. Но он имеет в виду другое.

Что же это за мещанство, на борьбу с которым вооружил своего героя поэт?

В поэме под мещанством подразумевается, во-первых, любая попытка окружающих критически оценить любовные похождения героя. Во-вторых, как ни странно, мещанством названо материальное благополучие (кисея, холодильники), домашний уют. Такое представление о мещанстве соответствовало примерно временам гражданской войны и нэпа, когда обилие жизненных благ достигалось очень часто нечестным путём. В наше время положение изменилось, соответственно изменился и взгляд, например, на обстановку квартир. Встречаются факты мошеннической наживы и в наши дни, но в поэме нет и намёка на неблагоприятные занятия мужа героини. Судя по всему, это человек честный. В противном случае отвращение к нему жены было бы психологически оправдано. Но тогда герой вряд ли вступил бы в конфликт с коллективом. Наоборот, он встретил бы всеобщее сочувствие и моральную поддержку.

Герой — по замыслу поэта, носитель каких-то новых взглядов — своей вины за разрушение чужой семьи не признаёт, считая, что семья в сущности уже и нет:

Что делать нам? — раздумываю с болью.
 Спасать семью, которая давно
 разрушилась уже сама собою?

Далеко не всегда сами собой разрушаются семьи, а данная распалась явно не без помощи героя.

Героиня в своё время вышла замуж за человека, к которому не чувствовала любви, в хорошую (то есть «мещанскую») семью. Мотивы такого замужества неясны. Есть в поэме намёк на тёплую шубу, которая кое-кому заменяет теплоту любви. Но скорее всего это сделано в угоду желаниям родных. Так или иначе обстоятельства говорят не в пользу героини, неспособной, как видно, к самостоятельному выбору супруга. Нелюбовь героини к мужу также совсем не мотивирована, нам приходится верить поэту на слово. Внешне в этой семье, как, очевидно, и полагается в порядочных «мещанских» семьях, всё в порядке. Муж — хороший семьянин, о нём ничего плохого не может сказать даже герой поэмы. Есть сын, похожий на мужа (странная деталь: что же, если бы он был «в прохожего молодца», семья выглядела бы менее мещанской?).

Но вот в этот затхлый мещанский мирок врывается луч света. На сцене неизвестно откуда и каким образом появляется герой, впервые пробудивший в героине запоздалое чувство любви, со своей тоже неизвестно как возникшей любовью. Все эти мелочи совершенно безразличны с точки зрения выражаемой в поэме теории любви. Никакими особыми физическими и духовными качествами герой не обладает («Я некрасивый и не слишком умный», — говорит он о себе). Героиня влюбляется в него без размышлений о семейном долге, повинясь половому инстинкту или, как выразился бы поэт, влечению сердца, не замутнённого назойливым вмешательством разума. Чем герой занимается и как опустился до люмпен-пролетарского существования — аллах ведаёт! Но его карманы, слава богу, пусты, и он тем самым гарантирован от духоты скучного мещанского быта. То, что он увлёкся именно семейной женщиной, только лишний раз подчёркивает полное безразличие героя и представляемой в его лице идеи «свободной любви» к так называемым «семейным узам» и прочим «мещанским» условностям.

Первым делом герой уверяет героиню, что муж ей не пара и совершенно чужой для неё человек. В чём чужой — по возрасту ли, по роду занятий, по мировоззрению или по отношению к семье — это никак в поэме не объяснено. Да будь он действительно чужой для жены только в одном из этих отношений, конфликта у героя с обществом не было бы. В том-то и дело, что муж чужой для жены просто потому, что на неё имеет виды герой поэмы.

Себя, мсю, ему ты отдала,
и вот с тобою мучимся мы оба.
* * * * *
А ты — чужого! Ты — и чужого.
Мне больно, любимая, как от ожога.
* * * * *
любимой кричу я всюю душой:
какой бы он ни был, тебе он чужой!..

В этих стенаниях выражена вся сила беззаветной (и безответственной) свободной любви. Не удивительно, что у безвольной героини закружилась голова и муж ей опостылел.

Надо отдать справедливость герою: он не просто обольщает чужую жену, а мечтает о семейной жизни с ней. Это не вытекает закономерно из его внутренних убеждений, поскольку он принципиальный противник святости семейных уз. Потом, когда любовь его остынет, он, не колеблясь, бросит семью, а сейчас он с негодованием разоблачает лицемеров, советующих ему держать в тайне свои похождения. Негодяев вокруг героя необыкновенно много. Не нашлось только никого, кто своевременно посоветовал бы ему вообще не вмешиваться в чужую семью. Да такой совет герой всё равно отверг бы с презрением.

Но как же устроить судьбу остальных членов разрушенной семьи?

О муже можно не думать. Это добродушный тюфяк, которому на роду написано быть роконосцем и соломенным вдовцом. Ничего ему не сделается, если голубка улетит из гнезда, и читатель о нём особенно беспокоиться не будет. Но имеется ещё сын. Это досадное обстоятельство, абсолютно не значащее для «новой» философии свободной любви, не может не учитывать поэт. Надо как-то устроить сына, чтобы на нём не отразилась семейная драма. Пожалуй, читатель не без основания подумает: каково-то будет ребёнку в новой семье без отца, каков-то ещё будет отчим?

И вот мы с умилением читаем о великой любви героя к детям. Герой гуляет по садам и скверам один, сам с собой. Ему встречаются красивые женщины и девушки, краем глаза он замечает — есть среди них такие, что охотно познакомились бы с ним. Но ему некогда с ними переглядываться, его мысли целиком занимают детишки! Все эти описания встреч с детьми и мыслей о них звучат особенно фальшиво. Они никак не вяжутся с подлинными нравственными убеждениями героя, меньше всего думающего о последствиях развала семьи.

В заключение герой призывает героиню к героической битве за «настоящую любовь», за счастье:

Пробиться к счастью никому не просто.
А нам с тобой сейчас трудней вдвойне.
В любви необходимо нам героизм,
необходимо, как и на войне.
* * * * *
Неужто нам отказаться с тобой
от нашей любви, от боя за счастье?
Нет, дорогая, мы примем бой!

При чём, однако, тут героизм? Неужели подлинная человеческая любовь в нашем обществе, где бы то ни было, вынуждена преодолевать столь серьёзные преграды? Не с ветряными ли мельницами заставляет сражаться поэт своих Ромео и Джульетту? Дело ведь решилось крайне просто: героиня тут же после рокового собрания приходит к любимому «насовсем», и ничего, ровно ничего не стряслось. Со стороны мужа никакая опасность не угрожает, сплетни мещан остались позади.

Против кого же бой? Неужели конфликт лопнул, как мыльный пузырь, и не было повода для написания поэмы? Конфликт есть, и он верно намечен. Конфликт есть между интимными переживаниями героя и интересами социалистического общества. Только поэт решает его не в том направлении, в каком следовало бы, если исходить из интересов общества. Понятно, что благополучный исход любовной истории героя не решил большого принципиального спора. Поэт всем содержанием своего произведения обру-

шился на тех, кто там, на собрании, «надругался» над любовью его героя и поднял против него общественное мнение, на тех,

кто, распевая о семейных узах,
любовь порой возводит в смертный грех...

Но дело в том, что безудержная любовь, которую он оправдывает, действительно противоречит общественному мнению, нашей морали, интересам общества. Это любовь, свободная от всяких обязательств перед семьёй и обществом, свободная от связи с представлением о долге, свободная и в том смысле, что она вольна приходить и уходить, когда и как ей вздумается. Много нарушений советской морали, семейного и общественного долга прикрывается этой удобной для эгоистов и пошляков теорией. Чтобы показать, насколько она не нова и какие дела ей соответствуют, приведу только один житейский пример.

На одном из собраний обсуждалось дело Ф. Существо дела в том, что Ф., разойдясь в прошлом с первой женой и оставив её с дочерью, вступил в новый брак. От второй жены он имеет сына. Второй брак, так же как и первый, заключён по любви. Расторжение первого брака связано с тем, что чувство любви прошло у мужа. Через несколько лет у него исчезло чувство любви и ко второй жене, зато появилась любовь к третьей женщине, с которой Ф. также намерен вступить в брак. Но вторая жена, несмотря на горечь переживаний, вызванных легкомыслием мужа, считает возможным и нужным сохранить семью.

На собрании Ф. высказал убеждение, что коллектив вообще не компетентен разбираться в его семейных делах, затем обстоятельно изложил свои взгляды на любовь и семейные отношения. Он сослался на то, что семья не может быть без взаимной любви супругов. Любовь же не вечна, она может уйти так же неожиданно, как и пришла. Сохранение семьи после того, как ушла любовь, Ф. считает грубейшим извращением морали. Свою нынешнюю семью он рассматривает как фактически распавшуюся. Сохранять её для сына он считает ненужным самопожертвованием, — сын вырастет и не осудит отца. Ф. не уверен в длительности и третьего намеченного им брака, но утверждает, что у коллектива нет формальных оснований сомневаться в прочности этой любви.

Собрание коллектива, понятно, не было лёгким разговором. Рассмотрев все обстоятельства дела, оно единодушно предложило Ф. упорядочить свои семейные дела и прежде всего решительно порвать отношения с третьей женщиной (было употреблено именно слово «отношения», так оскорбившее слух героя поэмы). Однако Ф. не обещал этого сделать.

Нетрудно понять, что и в данном случае, несмотря на несхожесть внешних обстоятельств, мы имеем дело с той же теорией любви, которую вольно или невольно защищает от общественного мнения автор поэмы. Поражает в этой философии представление о любви, как о чувстве, настолько неуловимом, что оно совершенно не поддаётся и не должно поддаваться ни общественному влиянию, ни самовоспитанию, никакому, даже малейшему воздействию разума на собственную волю (или, вернее, безволие), никаким попыткам обуздать свои, хотя бы и неразумные, желания. Согласно этой теории, если тебе встретится объект лучше твоего супруга, будь выше соображений о долге и верности, влюбляйся сколько угодно! А так как в жизни всегда можно встретить человека, который окажется или покажется лучше старого друга (ошибку можно потом исправить новым разводом), то возможности новых любовных связей и браков практически безграничны.

Прочитав «Нелёгкий разговор», люди, подобные Ф., несомненно, обрадуются, найдя в нём художественное оправдание своих взглядов на любовь. Но так же несомненно и то, что иной читатель спросит себя с горестным недоумением: да не устарело ли понятие «семья», надо ли налагать нравственную узду в виде общественного мнения на тех, кто во имя своего извращённо понимаемого личного счастья не останавливается перед разрушением семьи? Думается, что сохранение и укрепление семьи соответствует интересам социалистического общества. Речь идёт, конечно, не о всякой, а именно о здоровой семье. Интересы общества требуют борьбы за сохранение здоровых семейных привязанностей, за укрепление чувства любви супругов друг к другу, борьбы с эгоисти-

ческими взглядами на вопросы семьи и брака. Мы не согласны с поэтом и считаем, что «порой» действительно приходится осуждать антиобщественные поступки, хотя бы они и прикрывались флагом свободной любви, приходится порой, и, к сожалению, не так уж редко, основательно напоминать кое-кому о «семейных узах».

Понятия «любовь», «верность», «мораль», «долг» — не пустые слова, не символы субъективных переживаний той или иной личности. Они заключают в себе вполне реальное общественно значимое содержание. Подлинная человеческая любовь требует нередко настоящего героизма, настойчивого воспитания собственного характера и чувств. Свободно и по взаимной любви заключённый брак не исключает осложнений и противоречий в семье, семейная жизнь — не всегда безоблачная идиллия. И те, кто борется за укрепление семьи, нуждаются в моральной поддержке советской общественности. Мы надеемся, что и наши поэты со всей силой своего дарования скажут миллионам мужей и жён — тем, кто уже давно в браке, и особенно тем, кто только готовится создать семью: не верьте лживой философии «свободной любви», крепите свою семью, активно поддерживайте в ней неугасающее чувство взаимной любви и уважения, боритесь за её сохранение!

г. Новосибирск.

ВАЛЕРИЯ ГЕРАСИМОВА



«НЕЛЕГКИЙ РАЗГОВОР» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Редакция журнала «Новый мир» обратилась ко мне с просьбой познакомиться со статьёй В. Ребрина о поэме Паруйра Севака «Нелёгкий разговор». Когда я прочитала эту статью; у меня действительно возникло желание на неё ответить. Хотя В. Ребрин пишет только о поэме П. Севака, доводы, которые он выдвигает, интересны, более того, я бы сказала — опасны для многих других произведений. Ответ на эту статью представляется мне тем более целесообразным, что вопросы, поднятые В. Ребриным, имеют отнюдь не только литературное значение.

В. Ребрин в своей критике поэмы П. Севака исходит из своих представлений о семье и браке. Они ему кажутся бесспорными, незыблемыми, критике не подлежащими.

Посмотрим, насколько они в действительности бесспорны и незыблемы. Это тем более стоит сделать, что проблемы семьи и брака, в том числе и вопросы, связанные с законодательством, действующим в этой области, в настоящее время обсуждаются нашей общественностью. Именно поэтому «Нелёгкий разговор» П. Севака вызывает многочисленные живые отклики.

Оправдалось предположение поэта, что разговор на избранную им тему будет нелёгким. Свидетельство тому хотя бы публикуемая выше статья В. Ребрина.

Поэту, попытавшемуся по-своему разрешить сложную и большую проблему, В. Ребрин сразу же предъявил достаточно тяжёлые обвинения: проповедь «свободной любви»; воспевание примитивного биологического влечения, «основанного на половом инстинкте и свойственного в этом «чистом» виде только животным»; защита «обывательского индивидуализма, крайнего эгоизма в вопросах любви и брака»; клевета на разум коллектива, а также презрение к общественному мнению и, как результат всего вышеизложенного, — разлагающее действие поэмы на советское общество, в первую очередь на молодёжь.

Обвинения, как говорится, сильные. Выражены они строго и безапелляционно. Иногда и прямо языком судопроизводства, например: «запутавшемуся в делах, но, может быть, заслуживающему снисхождения» и т. д.

Возможно, помимо субъективного намерения В. Ребрина, после прочтения его статьи читателю (особенно если он не знаком с поэмой Паруйра Севака) поэт покажется покровителем злостных алиментщиков, бардом «искателей приключений», циником, ловко («талантиливо», как сурово признаёт В. Ребрин) подтачивающим крепкие семейные устои.

Невесёлые раздумья возникают, когда читаешь это обвинительное заключение. Невольно думаешь о том, как часто подобного рода критическое «судопроизводство»

Впрочем, за всем этим стояла не узконациональная, а ветхозаветная, веками освящённая, мещански трезвая «житейская» мудрость: стерпится — слюбится.

Но не стерпелось и не слюбилось. Когда пришла настоящая большая любовь, это стало окончательно и бесповоротно ясно.

Разрушать действительно было нечего; если брак героини с нелюбимым человеком до встречи с тем, кого она впервые по-настоящему полюбила, был ещё как-то возможен, то нетрудно представить себе, какой фальшью, душевным надрывом и душевной пустотой был бы исполнен в дальнейшем каждый день этой четы!

И тут я думаю, что касаюсь не только сюжета поэмы, но и судеб многих людей. А может ли быть в такой обстановке счастлив ребёнок, сын героини? И это опять не только о поэме, но и о жизни. Не искалечит ли его душу атмосфера лжи и несчастья в семье? И удержался бы его отец от упрёков, хотя бы и затаённых (в лучшем случае), упрёков по адресу «изменницы»? И могла ли она перестать тосковать по утраченному и столь нужному для человека счастью?

Но где гарантия того, что в дальнейшем не повторилось бы то же самое? Новая любовь и новое «перепархивание»? Ведь возмутительное поведение некоего гражданина Ф. подкрепляет именно такое предположение, строго напоминает нам В. Ребрин. Вот тут-то мы и подходим к самому существу наших разногласий.

Мы не спорим с В. Ребриным по поводу высказанных им общих положений. Действительно, ничего, кроме самого резкого осуждения, не может вызвать безответственность в делах любви и семьи — та пошлейшая теория «стакана воды», которую в своё время с таким сарказмом заклеил Владимир Ильич.

Вот и следовало бы, излишне не горяча себя повторением ряда бесспорных истин, а основываясь на подлинном анализе того, что дано в этом художественном произведении, попытаться доказать, что в лице поэта Паруйра Севака перед нами именно певец полового инстинкта, чисто животного, всеядного, и что герой его не что иное, как грязный ловкач, некий специалист по умыканию чужих жён.

Беда, конечно, не в том, что суровый критик поэмы не сумел, как он выражается, «художественно оформить» свои мысли, как, мол, сделал это автор поэмы. От него это и не требовалось.

Но, критикуя, следует глубоко проникнуть в подлинный замысел произведения; не формально, а творчески проанализировать поведение его героев, те жизненные ситуации, в которые они попадают. Наконец, необходимо ощутить звучание всей вещи в целом, почувствовать общую её атмосферу. Беда в том, что в сугубо рационалистическом разборе, вернее, «разбирательстве» В. Ребринна всему этому не находится места. И хотя В. Ребрин утверждает, что поэма Севака не что иное, как пропаганда грязи и половой распущенности, мы придерживаемся прямо противоположной точки зрения. Менее всего герой поэмы представляется нам художественным воплощением некоего «гражданина Ф.», систематически менявшего своих жён. Почему? Да потому, что безлюбному, безрадостному браку, браку, возникшему в силу случайных обстоятельств, даже, точнее, предрассудков («вышла... за хорошую семью!»), в поэме противопоставляется не беспорядочная, животная свобода отношений, а также брак. И брак, который, собственно, достоин этого названия: брак с настоящей большой любовью.

В известном письме к Инессе Арманд, которая намеревалась в своей брошюре противопоставить буржуазному браку с его «грязными» «поцелуями без любви» чистые поцелуи в мимолётной страсти, Ленин ответил, что данное противопоставление не логично. «Для популярной брошюры, — написал он, — не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентски-крестьянский... пошлый и грязный брак без любви — пролетарскому гражданскому браку с любовью...»

Ленин отнюдь не отверг такой обязательной для брака основы, как любовь. Более того, противопоставление, данное Инессой Арманд, Владимир Ильич считал особенно неправомерным, потому что, как он пояснил дальше, речь шла о популярной массовой брошюре, выдернув из которой соответствующие цитаты, буржуазные прихвостни могут поднять вой, что социалисты, мол, проповедуют аморальность, половую распущенность, разрушение священных семейных уз и т. д. и т. п.

Иное в художественном произведении. Продолжим вышеприведённую цитату из письма Ленина. Итак: «...не лучше ли противопоставить... брак без любви — пролетар-

скому гражданскому браку с любовью (с добавлением, если уж непременно хотите, что и мимолетная связь-страсть может быть грязная, может быть и чистая)...» И далее: «Если брать тему: казус, индивидуальный случай грязных поцелуев в браке и чистых в мимолетной связи, — эту тему надо разработать в романе (ибо тут весь *гвоздь в индивидуальной* обстановке, в анализе *характеров* и психики *данных* типов)».

Значит, в литературном произведении, где «гвоздь в индивидуальной обстановке», Владимир Ильич даже допускал возможность противопоставления «грязных поцелуев в браке и чистых в мимолетной связи». Он полагал, что подобный «казус» возможен, но может быть изображён не в популярной брошюре, а там, где всё дело в индивидуальной обстановке, в особенностях характеров, в психике людей, — то есть в художественном произведении.

А ведь в поэме Севака поцелуям без любви противопоставлена даже не мимолётная страсть, но именно настоящая большая любовь, на основе которой несомненно и вырастет у героев поэмы по-настоящему прочный «гражданский брак с любовью». Таким образом, художественная агитация за разрушение крепкой семьи — то, что приписывает П. Севаку В. Ребрин, — в данной поэме вообще отсутствует.

Главная мысль её состоит в ином. Автор поэмы утверждает, что настоящая семья должна и может строиться на таком незыблемом фундаменте, как горячая любовь к *данному* человеку, к *данной* индивидуальности со всеми присущими ей чертами. Именно это можно назвать подлинно человеческой, а не животной любовью. Это любовь и *збирательная*, и, если нужно ещё сослаться на авторитеты, напомним, что Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» назвал «величайшим нравственным прогрессом» индивидуальную любовь, то есть любовь и *збирательную*.

Именно за такую основу любви ратует и автор поэмы. Когда его герой мечтает о будущей дочери, он желает ей всего того, что так любит в её матери:

...твоей спокойной храбрости,
споконной правды —
. . . * . . . * * * * *
Да, твоего всего —
и даже слабостей...

Пожелание, чтоб ребёнок повторил свою мать, не исключая даже слабостей, ей присущих, упущено В. Ребриным лишь по недосмотру. Какая завидная возможность порассуждать о крайней неразумности, а в конечном счёте и о явной антиобщественности подобного желанья!

Но, к счастью, совсем иное видит в подобной любви человек, чей «могучий голос» на собрании «все фразы отодвинул, как плечом».

«Не зря ли здесь мы человека мучим? Нельзя ко всем дверям с одним ключом» (разрядка моя. — В. Г.).

Вот это требование в каждом отдельном случае учитывать индивидуальную обстановку и даже характер, психику данных типов, как говорил Ленин, а не подходить с завидной безапелляционностью «ко всем дверям с одним ключом», представляется нам и морально-этическим ключом к замыслу всей поэмы.

Попутно коснёмся ещё одной стороны вопроса — о праве и обязанностях коллектива вмешиваться в личную жизнь. Собственно, вопроса этого нет, поскольку и это право и эта обязанность у нас общепризнанны. Но можно ли, признав это право, усомниться в том, как много чуткости, такта, осторожности нужно проявить, вынося на обсуждение коллектива сложные отношения любящих, по самой природе своей меньше всего предназначенные для гласности?

Есть ли в поэме Паруйра Севака доказательства, что его герой встретил именно такой, упрощённо говоря, индивидуальный подход к своей индивидуальной судьбе? Нет. Всё говорит о том, что на собрании ему были предложены стандартные рецепты и по его адресу были высказаны обвинения примерно в той же форме, в какой высказывает их в своей статье В. Ребрин. И разве так уж трудно вспомнить собрания, где правиль-

ная мысль об обязанностях коллектива участвовать в разборе конфликтов в области личной жизни опошлялась и вульгаризировалась, где господствовал не индивидуальный, а догматически-начётнический подход?

Нет, поэма П. Севака подкупает не «художественным оформлением», а тем, что, несмотря на присущие ей и довольно значительные недостатки, в ней, не в пример иным казённым виршам, ощущаешь живое, искреннее человеческое чувство, свежую мысль, заботу о том, чтобы к каждому человеку подходили не по шаблону, не по общим обезличенным, стандартным меркам.

Например, подходит ли к герою поэмы «ключ» В. Ребрин, утверждающего, что этот человек не что иное, как пошлый распутник, в то время как «обвиняемый», как о великой награде, мечтает о ребёнке от любимой? В отличие от мнения В. Ребрин, нам отнюдь не кажется возмутительной фальшью и то, что герой поэмы горячо и, что важно отметить, в п е р в ы е п о л ю б и в, проходя по бульвару, отворачивается от фланирующих по аллеям «красавиц», но зато с особенным волнением всматривается в детей.

Я думаю
 всё пристальной и чётче,
 когда я на детей гляжу.
 о том,
 что,
 кто б ты ни был — слесарь или лётчик, —
 кто б ни был ты,
 ты должен стать отцом...
 * * * * *
 Хочу я дочку,
 на тебя похожую,
 а ты —
 ты мальчика,
 что на меня похож!

Верьм мы, что с сердечной заботой истинно любящие друг друга люди раздумывают о судьбе мальчика, которому суждено жить в созданной ими семье. Не «дядей», хотя бы и добрым, а подлинным отцом хотел бы стать ему герой поэмы. Не случайно, что эти строфы о его будущем отцовстве как бы венчают всю поэму. Причём выражено это не «в лоб», прямолинейно и назидательно, а поэтично и танка. Автор как бы приоткрывает занавес над ближайшим будущим:

Я знаю —
 о сыне полна ты забот...
 Но пусть для него
 я пока ещё «дядя» —
 сестрою он дочь мою назовёт...

Нет, скрипит, не лезет в замок проржавленный — единый для всех! — ключ... Не случайно сами факты нашей жизни требуют иного, неизмеримо более гибкого подхода.

Эта статья была уже написана, когда я получила неожиданное и весомое подтверждение своей точке зрения в статье В. Киселёва «Существует ли любовь?..» («Литературная газета» от 13 сентября 1956 г.), где интересно и содержательно, уже не на литературном, а на житейском примере была разобрана драма женщины, которая, по-настоящему не проверив своего чувства, связала свою жизнь с нелюбимым человеком, драма не только её, но и её мужа.

В этой статье меня заинтересовал большой фактический материал, в том числе сообщённый судебными работниками. Он свидетельствует о том, что в огромном большинстве случаев попытка сохранить семью чисто административным путём не приводят ни к каким результатам. И лишь владелец «единого для всех» ключа полагает, что им с успехом можно открыть всё — даже самое сокровенное сердечное чувство женщины.

«Никакими особыми физическими и духовными качествами герой не обладает («Я некрасивый и не слишком умный»,—говорит он о себе). Героиня влюбляется в него без размышлений (разрядка моя.—В. Г.) о семейном долге, повинуюсь половому инстинкту...» — пишет В. Ребрин.

Подумайте! Сам, сам столь нелестно говорит о себе!

Ведь это и впрямь «пойман с поличным» и даже «признал себя виновным».

А мы, вопреки столь железной логике, опять-таки выскажем противоположное мнение.

На мгновение представим себе обратное. Представим себе, что, вместо того чтобы заявить любимой, что у него «недостатков уйма» и он «некрасивый и не слишком умный», герой был бы способен à la Павел Иванович Чичиков, восклицая «милашка», подпрыгивать от умиления перед своим отражением в зеркале или, подобно персонажу чеховской «Попрыгуньи», художнику Рябовскому, томно вопрошать возлюбленную: «Я красив?»

Как дорог нам не оценённый «Попрыгуньей» Дымов, которому, вероятно, никогда не приходило в голову, насколько он внутренне богаче, умнее и по-человечески красивее своего «блестящего» соперника Рябовского! Как трогает нас признание умного, замечательного человека Пьера Безухова, обращённое к «оступившейся» Наташе: «Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей!». Вспомним письма Чернышевского к жене, записи в дневнике Льва Толстого периода его женитьбы, проникнутые чувством необыкновенности той, кого они любили, и сознанием своей «недостойности». Это Толстой и Чернышевский!

Конечно, мы далеки от того, чтобы поставить поэму «Нелёгкий разговор» рядом с шедеврами мировой литературы, а её героя — рядом с великими людьми, но и обыкновенный человек способен на великую любовь и сопутствующую ей великую скромность. Сознаюсь, подкупающей душевной чертой представляется мне эта столь откровенно выраженная невысокая самооценка героя поэмы. Для него органически чуждо, невозможно «петушиное самодовольство» победившего самца... А как бы это подходило к тому образу, который произвольно создал его суровый критик! Но ничего! Подобные психологические неувязки ни в малой степени не мешают целеустремлённости его уничтожающего разбирательства. Например: герой не сулит своей любимой материального благоденствия. На этом основании В. Ребрин без колебаний утверждает, что тот опустился до «люмпен-пролетарского существования»! Хотя эта деталь лишь подчёркивает, что любовь, как её мыслят герои, должна быть очищена от всяких материальных расчётов и соображений.

Бесспорно, в небольшом по объёму произведении биографических сведений о герое не слишком много. И всё же его внутренний мир нам ясен и понятен: это человек, способный на большое, я бы сказала, всепоглощающее чувство, человек органически не способный пользоваться краденым счастьем, презирующий ложь и лицемерие.

Он презирает тех, кто ему нашёптывает старый «мудрый» совет: что «конечно, можно — надо лишь умнее». И в своём презрении он исходит из высоких представлений о моральных принципах советского общества, о моральных принципах каждого из нас:

Нет, такой совет не по мне!
 Не по мне!
 Не по нас!
 Не по нашей стране!..

В. Ребрин в подкрепление своих доводов приводит цитату из Маяковского, именуя его великим поэтом. Но когда перечитываешь письмо В. Ребрин, думаешь, как хорошо, что Маяковский уже всенародно признан! Вдсь с каким яростным негодованием могут наброситься на него (и набрасывались) критические прокуроры.

Когда П. Севак говорит о ханжах и сплетнях, В. Ребрин видит в этом злостное обобщение, не что иное, как поклёп на наше общество. Какие «опасные обобщения» смог бы он усмотреть в таких произведениях Маяковского, как «О дряни», «Служака», «Столп», «Кандидат из партии», «Трус», «Подлиза», и, наконец, в знаменитых «Прозаседавшихся»?

Да, конечно, Маяковский ратовал за «чистоплотность отношений наших и любовных дел». Пафос его громовой поэзии был направлен против попыток протаскать в новую жизнь переукрашенное старьё. Более того, поэт революции прозревал те новые формы

союза двух товарищей — мужчины и женщины, которые неведомы нам сейчас. Как же иначе понять строфы поэмы «Про это» — поэмы, посвящённой любви:

Воскреси — своё дожить хочу!
 Чтоб не было любви — служанки
 замужеств,
 похоти,
 хлебов...

Нет, проблема семьи и брака гораздо сложнее, чем это кажется В. Ребрину. Недадом Энгельс, предвидевший углубление индивидуальной любви, всё же оговаривал, что невозможно заранее предсказать, какой будет форма семейных отношений в далёком будущем!

Но вернёмся снова к Маяковскому, взгляды которого В. Ребрин противопоставляет П. Севаку. А быть может, правильнее было бы не противопоставить, а сопоставить? Мы имеем в виду, разумеется, не масштабы дарований, а подход к интересующему нас конфликту. Конфликт, сходный с тем, что положен в основу «Нелёгкого разговора», по мнению Маяковского, следовало бы разрешать так:

Нет, взвидя,
 что есть любовная ржа,
 что каши вдвоём не сварить,—
 ты зубы стиснь и, руку пожав,
 скажи:
 — Прощевай, товарищ!

Обратимся от Маяковского к примеру, взятому из классической литературы.

Думаю, что если с точки зрения В. Ребрин разобран один известный роман, то его можно истолковать как проповедь безнравственности, как покушение (используя его же терминологию) на «святость семейных уз». Напомним содержание этого романа. Девушка вышла замуж. За её супругом не только не числится «неблаговидных поступков», но это благородный, честный, прекрасный человек. Через некоторое время она встретила другого — тоже прекрасного честного человека. Не признаваясь даже самой себе, она полюбила его. Угадав это чувство, муж («Тюфяк!» — сказал бы В. Ребрин) инсценировал самоубийство. Он решил дать свободу искренне полюбившим друг друга людям. Впоследствии они были действительно счастливы.

Да, такими моральными принципами руководствовались Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна, те, кто в своих общественных воззрениях и в личном поведении являлись подлинно новыми людьми. И многие поколения передовой русской молодёжи черпали в этом романе не только свои революционные идеалы, но и новые воззрения на семью и брак.

И очень стоит напомнить, какой грязью обливал за подобное решение семейного конфликта и Чернышевского и его героев некий профессор Цитович — автор вышедшей в семидесятые годы реакционной и верноподданнической брошюры «Что делали в романе «Что делать?»»

Ещё раз отведём возможные обвинения в том, что мы художественно или идейно приравниваем поэму Севака к «Что делать?» Чернышевского.

Но почему в литературе, при изображении любви и брака, у нас так мало пропагандируется отказ от личного эгоизма? Почему во всех и всяческих, подчас самых различных и самых сложных, случаях преподносят один и тот же рецепт общественного или судебного разбирательства? Если уж действительно уважать наш социалистический коллектив — а ведь он состоит из живых людей, — почему бы не показать возможности развязывания самого сложного узла личных отношений силами самих его участников?

И можно ли считать совершенной существующую у нас систему судебного разбирательства бракоразводных дел, когда, чтобы получить развод, люди иной раз должны мारать друг друга? В той же статье В. Киселёва, которую я уже упоминала, приведено веское высказывание народного судьи-женщины. Вот оно: «Мне, судье-женщине, особенно больно видеть, какой грязью обливают друг друга супруги, как иногда, заранее

сговорившись, клеветают друг на друга потому, что знают: не будет серьёзных обвинений — суд не разрешит развода. Как это гадко и унижительно для людей!»

И так ли уж обязательно литературе становиться на позицию примирения супругов в любом случае и во что бы то ни стало? Почему не воспеть чувство личного человеческого достоинства, когда, «зубы стиснув», он или она считают унижительным навязывать свою собственную персону другому?

Когда-то в «Литературной газете» в статье «Назовите фамилию» была опубликована интересная женская исповедь... Женщина (ещё точнее её можно назвать «пострадавшая») раскрыла перед автором статьи и читателем гнетущую картину своей жизни: муж её тяжело оскорблял, даже бил, заодно с папашей над ней измывался сын.

Дело происходило в семье, как говорится, обеспеченной. В семье, где был только один и к тому же взрослый сын. Пострадавшая имела профессию, но затем, по собственному признанию, отвыкла от общественной жизни, примирилась со своей странной ролью «номинальной» хозяйки подобной семьи, где на неё, случается, даже поднимают руку.

Множество откликов было получено на этот фельетон. И в большинстве случаев корреспондентки, законно негодуя на мужа и сына «пострадавшей», всё же с болью и изумлением спрашивали, как она могла мириться с подобным обращением, во имя чего сохраняла она подобие т а к о й семьи? За годы революции возникли и развились не только хозяйственно-бытовые предпосылки освобождения женщины от пут домашнего рабства, но неизмеримо выросло её правосознание, её ощущение себя полноценным сильным человеком, достойным членом социалистического общества. И если женщины в данном случае советовали своей пострадавшей, но примирившейся со своей участью подруге разрушить семью, это было лишь доказательством нового в их психологии, в понимании ими своего достойного места в новой, социалистической жизни.

Мы далеки от мысли, что тема о том, как распутать тот или иной семейный узел, должна стать чуть ли не главенствующей в произведениях о браке и любви. Напротив, мы видим самые богатые возможности для разработки темы семьи и любви в нашем обществе, мы видим даже те весьма распространённые житейские коллизии, для разрешения которых совсем не надо разрушать семью, из которых можно найти разумный, благородный, альтруистический выход. Ярко и убедительно можно, например, написать о таком, столь частом явлении, когда брак, возникший в результате искренней и бескорыстной любви, с годами блёкнет, тускнеет. Подчас на горизонте возникает та или иная «мимолётная», а что ещё сложнее, и немимолётная страсть. Страдательным лицом в подобной коллизии чаще всего бывает жена, хотя бы потому, что к внешности женщины (правомерно это или нет) предъявляются более взыскательные «эстетические» требования, чем к мужчине. Так вот, как поступить со своим испытанным, многолетним другом, виноватым лишь в том, что побелели волосы, прорезались морщинки? Подобный «казус» усложняется тем, что есть дети, подчас ещё и маленькие.

Возможно и иное. Бывает, например, что красивая молодая женщина задумывается над тем, не предпочесть ли ей своему скромному мужу, по внешним данным его жизни «неудачнику», человека более «видного» и блестящего? Таков, например, мотив личного конфликта в прекрасной повести Юрия Крымова «Танкер «Дербент».

Ещё и ещё можно поворачивать тему «Про это». По-своему раскрывает её Шолохов, изобразив «незаконную», но сквозь всю жизнь проходящую любовь Григория и Аксиньи, по-своему — Маяковский, по-своему — Алексей Толстой...

Важно только, чтобы тот, кто анализирует произведение, стремясь определить его общую идею, ни на минуту не упускал из виду «индивидуальную обстановку», «анализ характеров», «психику данных типов».

До какой степени, мы бы сказали, искажённого восприятия литературного произведения и выраженных в нём идей доходят иной раз, казалось бы, исходящие из самых хороших побуждений «поборники нравственности», свидетельствует хотя бы статья читателя А., не столь давно полученная редакцией «Нового мира». Уже её заглавие говорит само за себя: «Реабилитация Каренина». Автор этой статьи целиком и полностью берёт под свою защиту Алексея Александровича Каренина. Защитнику Каренина чуждо ленинское утверждение, что гвоздь в романе всегда в индивидуальной обстановке, в анализе характеров и психике данных типов. Он видит только одно: жена ушла

от супруга. Следовательно, она виновата. А кто супруг и каков супруг — это его абсолютно не интересует. Совершенно не задумываясь над тем, о каком времени, о каком обществе идёт речь, он обвиняет Анну в разрушении семьи — основы общества, объявляет Каренина — эту «машину, и злую машину» — положительным героем, модернизирует его под некоего положительного ответственного работника нашего времени, изображает его, как средоточие чуткости и человечности. Вот только одна выписка из этой статьи. Приведа цитату с размышлениями Алексея Александровича: «Я должен сказать и высказать следующее: во-первых, объяснение значения общественного мнения и приличия; во-вторых, религиозное объяснение значения брака; в-третьих, если нужно, указание на могущее произойти несчастье для сына; в-четвёртых, указание на её собственное несчастье», защитник Каренина восторженно восклицает: «Каренин ни разу не подумал о себе! Все его мысли были об Анне, о сыне, ни одной мысли о себе». Вся глубина иронии Толстого, выраженной даже в чиновничье-бюрократической стилистике этого характерно каренинского рассуждения «по пунктам», совершенно ускользнула от его современного апологета.

«Я слышала, что женщины любят людей даже за их пороки,— говорит у Толстого Анна, — но я ненавижу его за его добродетели». Ещё одна психологическая загадка для прямолинейно мыслящих аналитиков!

А ведь сколько таких «загадок» предлагает художественная литература! Вот чистая, невинная девушка, впервые увидев человека, мгновенно решила: «Это он». А затем даже написала страстное письмо об охватившем её чувстве. Что это, как не самое бесконтрольное проявление «очищенного от разума полового инстинкта»? Ведь только уже много позднее, заочно знакомясь с Онегиным в его библиотеке, героиня приближается к верному пониманию его во всяком случае не идеальной личности. А как было бы логично, если бы события развивались в обратном порядке!

Вот на празднике встречаются дети двух враждующих семей. Одной встречи им оказалось достаточно, чтобы вопреки традициям Монтекки и Капулетти в сердцах их зажглась неугасимая любовь.

Вот умный, уже пожилой человек Гуров понял, что его «случайная знакомая», «дама с собачкой», эта «маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарной лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем...»

Плохо, плохо ведут себя своенравные персонажи! Никак не укладывается их поведение в те схемы, которые с такой отчётливостью проступают и в статье В. Ребринна и в статье «Реабилитация Каренина».

Нет, мы отнюдь не за «иррациональное», отнюдь не за воспевание любви, как некой слепой стихии. И, конечно, в основе любви Гурова к случайно возникшей в его жизни, искренней в чувствах, женственной «даме с собачкой», а не к жене, которая называла себя «мыслящей» только потому, что не писала в письмах ять, а мужа называла не Дмитрий, а Димитрий, как и в любви Татьяны к Онегину, лежало разумное начало. Разумное, но не плоско-рассудочное, не узконаправительное.

И грош цена была бы тому художественному произведению, в котором читателю, как говорится «в лоб», прямо и плоско выдавались бы те или иные нравоучительные сентенции!

Вот ещё одна выписка из статьи В. Ребринна. Привожу её потому, что она кажется мне чрезвычайно характерной. «...Поэт в данном случае вдохновился не проблемой укрепления семьи, а любовными переживаниями своего героя...» Какое странное противоположение! В. Ребрин исходит из того, что любовь, любовное чувство, любовное переживание — это одно, а семья — совсем другое. Но ведь то, что названо здесь иронически «любовными переживаниями», есть то самое, что обещает настоящую семью.

Нам представляется, что именно для борьбы с пошлейшей теорией «стакана воды», с узкопотребительским отношением к любви нужно воспитывать в молодёжи представление о ценности и закономерности глубоких любовных переживаний, которые неотъемлемой частью входят в духовную жизнь человека...

Вот на какие раздумья наводит чтение статьи В. Ребринна «Разговор о любви». Я далека от мысли, что исчерпала хотя бы часть тех больших вопросов, которые рождает произведение, посвящённое теме столь тонких человеческих отношений. Но одно для

меня бесспорно. Мы не принесём никакой пользы ни нашей литературе, ни воспитанию нашей молодёжи, ни решению каждодневно решаемых сложных вопросов личной жизни, если будем к ним подходить с тех «прокурорских» позиций, которые с такой отчётливостью выразились в статье В. Ребрина.

Конечно, в поэме Паруйра Севака много недостатков. Она очень далека от совершенства. Но поэма эта вызывает на спор, будит мысли. Она направлена против обезличенно-штампованного подхода к человеку, к его судьбе. В поэме — к сожалению, порой излишне дидактично — говорится о силе чувства не маленького, не мелкого масштаба. Это чувство — в ряду тех, которые, по мысли В. Маяковского, способны вдохновлять человека на большие дерзания и дела.

Нам
любовь
 не рай да кущи,
нам
любовь
 гудит про то,
что опять
 в работу пущен
сердца
 выстывший мотор.

Мы живём в то время, когда основным законом нашей действительности становится чуткое внимание к каждому человеку, к каждой судьбе, когда всё шире, всё полнее воплощается ленинское понимание коллектива не в виде некой серой, безличной массы, а как «сплочение лучшего, борющегося, стремящегося ввысь человечества, состоящего из бесчисленных отдельных личностей» (рядка моя. — В. Г.) (Клара Цеткин. «Воспоминания о Ленине»).

Закономерным и оправданным представляется нам и ярко определившееся стремление нашей общественности при разборе сложных семейных дел к каждому делу, к каждой человеческой судьбе каждый раз подходить со «своим ключом».

Тем более этими же принципами стоит руководствоваться и в подходе к художественным произведениям.

Не сомневаемся, что от этого выиграет и наше искусство и наше стремящееся ввысь общество.



ИЗ ПЕРЕПИСКИ И. А. БУНИНА

«Недостало сил, уже будучи советским гражданином, вернуться домой Ивану Бунину — русскому классику рубежа двух столетий, который оставался реалистом и в прозе и в поэзии той поры, когда господствовала мода на декаданс. Не следует, по моему мнению, отчуждать Бунина от истории русской литературы, и всё ценное из его творчества должно принадлежать читателю так, как принадлежит лучшее из наследия Куприна». Эти слова о Бунине, сказанные К. Фединым на Втором Всесоюзном съезде советских писателей, аудитория трижды поддержала аплодисментами: тогда, когда Федин назвал Бунина классиком, тогда, когда он сказал, что Бунина нельзя отчуждать от истории русской литературы, тогда, когда он выразил желание, чтобы читатели узнали всё ценное из наследия Бунина.

За последние годы немало сделано для того, чтобы имя и творчество Бунина стали достоянием нашего читателя.

В минувшем году Гослитиздат выпустил сборник рассказов Бунина, в нынешнем году в этом же издательстве выходит большой однотомник избранных произведений писателя, а подписчики уже получили два тома его собрания сочинений, которое издаётся как приложение к журналу «Огонёк».

Ниже мы печатаем ряд писем Бунина, которые помогают представить себе его отношения с известными писателями — его современниками, рисуют многие страницы из его жизни, дают представление о характере его богатого эпистолярного наследства.

Публикацию подготовил и примечания к письмам составил А. К. Бабореко.

★

Л. Н. Толстому

1

Глубокоуважаемый

Лев Николаевич!

Я — один из тех многих, которые, с глубоким интересом и уважением следя за каждым Вашим словом, берут на себя смелость беспокоить Вас своими сомнениями и думами о своей, собственной жизни. Я знаю при этом, что Вас, наверно, уже утомило выслушивать часто очень шаблонные и однообразные вопросы, и потому вдвойне чувствую себя неловко, прося Вас ответить, могу ли я когда-либо побывать у Вас и воспользоваться хотя на несколько минут Вашею беседою. Я прочитал Ваше «Послесловие»¹, и Ваши мысли слишком поразили меня; высказанные Вами настолько резко, что я не то что не соглашаюсь с Вами, но не могу, так сказать, вместить Ваших мыслей.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ. Письма Бунина публикуются впервые по автографам, хранящимся в следующих архивах: письма к Л. Толстому — в Музее Толстого, письма к Чехову — в отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, к Горькому — в Архиве Горького, к Пашенко — в отделе рукописей Института мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР, к Ю. Бунину и Клецову-Ангарскому — в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР, к Миролубову — в отделе рукописей Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом); письмо к Телешову печатается по машинописной копии, хранящейся в Государственном литературном музее. Выражаю искреннюю признательность Н. Я. Рошину за предоставленный мне для опубликования автограф письма Бунина от 12/III 1943.

Хотелось бы спросить Вас кое о чём поподробнее.

Напишите же, глубокоуважаемый Лев Николаевич, могу ли завернуть к Вам и когда.

Мой адрес: Елец, Орловской губ. Ивану Алексеевичу Бунину.

Глубокоуважающий Вас

И. Бунин

12 июня 90 года.

¹ Речь идёт о «Послесловии» к «Крейцеровой сонате» Толстого, которое из-за цензуры распространялось в списках. В одном из писем к брату Юлию Бунин писал: «Читал «Крейцерову сонату»... Я положительно поражаюсь, сколько правды в ней. Да правда-то такая неприкрашенная; это мне тоже понравилось. Неправда тоже есть, только ведь это не Толстовская, т. е. говорит её Позднышев!»

2

Полтава, 7 февр [аля] 93 г.

Глубокоуважаемый

Лев Николаевич!

Борис Николаевич Леонтьев¹ рассказывал нам, что в той округе, где Вы теперь находитесь, нужны люди, которые помогали бы Вашему делу в столовых. Мне очень хотелось бы хотя недолгое время посвятить этому делу — недолгое потому, что я связан службой, — и вот я прошу Вас написать мне — не окажусь ли я лишним, если приеду в Епифанский уезд недели через две, и вообще — как, когда, куда мне приехать, куда отправиться по приезде и т. д.² Очень прошу Вас написать мне обо всём этом поскорее. Я боюсь упустить время и лишиться возможности взять отпуск.

И. Бунин.

Полтава, губернская земская управа, в Статистическое бюро, Ивану Алексеевичу Бунину.

¹ Б. Н. Леонтьев (1866—1909) — бывший паж, в 1891 г. работал в столярных мастерских полтавских толстовцев. По поручению Толстого принимал участие в открытии столовых на собранные от пожертвований деньги в помощь голодающему крестьянству.

² Принимал ли участие Бунин в работе на голоде — неизвестно.

3

[15.7.1893]

Полтава, Статистическое бюро при губернском земстве, Ивану Алексеевичу Бунину.

Дорогой Лев Николаевич!

Не удивляйтесь, что получите при этом письме брошюрку¹, Вам, может быть, совершенно ненужную и не интересную. Посылаю её Вам как человеку, каждое слово которого мне дорого, произведения которого раскрывали во мне всю душу, пробуждали во мне страстную жажду творчества (если только я смею употреблять это слово, упоминая о себе).

Много раз мне хотелось написать Вам многое, увидеть Вас. Но боюсь, что причислите меня к лику тех, которые осаждают Вас из пошлого любопытства и т. п.

Не примите хотя этого за навязчивость и неискренность.

И. Бунин.

Р. S. Нынешней весной от И. Б. Фейермана² я узнал, что Вам нужны были помощники в Вашем деле около ст. Клекоток, и написал Вам. Вы ответили мне, но смешали меня с другим Буниным, который, правда, появлялся осенью в Полтаве и, вероятно, бывал у Вас. Он теперь устроился где-то недалеко от Полтавы, в имении.

¹ По-видимому, сборник юношеских стихотворений Бунина 1887—1891 гг., вышедший в Орле в 1891 г.

² Исаак Борисович Фейерман (1863—1925) — учитель, журналист, писавший под псевдонимом Тенеромо, толстовец, жил в Полтаве в 1891—1893 гг.; принимал участие в закупке продуктов для открытых Толстым столовых.

[15.2.1894]

Дорогой Лев Николаевич!

Приехавши из Москвы¹, я долго был нездоров инфлуэнцей и находился в нехорошем душевном состоянии: как-то всё смешалось у меня. Верно это оттого, что и дорогой из Москвы и после — напряжённой думал. Точно определить не умею; во всяком случае не от Ваших слов. Ваши слова, хотя мне удалось слышать их так мало и при таком неудачном свидании, произвели на меня ясное, хорошее впечатление; кое-что ярче осветилось от них, стало жизненной. Но в общем и теперь не могу сказать, что на душе хорошо: не знаю, как пойдёт жизнь, где и что делать. Дни проходят ужасно быстро, но жизнь для меня брезжит только. Всё жду чего-то. С женой² я не говорил больше о переселении в деревню, хотя не потому чтобы мы отдалялись друг от друга или были настроены неприязненно.

Потом эта смерть Дрожжина!³ Как тяжело!

Некоторое оживление внесли наши собрания во главе с Фейнерманом: толковали об устройстве ремесленной школы. Вчера решили открыть. (Он писал Вам, кажется, об этой школе.) Затем Борис Николаевич⁴ предложил мне взять на себя дело распространения изданий «Посредника». Это дело мне очень симпатично, и вчера я написал об этом П. И. Бирюкову⁵. От чистого сердца желаю Вам здоровья и всего хорошего!

Ив. Бунин.

Если вздумаете когда написать — адрес: Полтава, Библиотека губернс[кой] земск[ой] управы, Ивану Алексеичу Бунину.

¹ Бунин ездил в Москву вместе с толстовцем Волкенштейном для встречи с Л. Толстым (см. об этом «Новый мир», 1955, № 6). При встрече, а потом в письмах Толстой дал понять Бунину, «что не стоит... так уж стараться быть толстовцем». Он говорил: «Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте себе мундира из неё, во всякой жизни можно быть хорошим человеком...»

² В. В. Пащенко (см. письма к ней на стр. 203—207 этого номера журнала).

³ Евдоким Николаевич Дрожжин (1866—1894) — сельский учитель, толстовец; за отказ от воинской повинности в 1892 г. был отправлен в дисциплинарный батальон.

⁴ В. Н. Леонтьев.

⁵ Павел Иванович Бирюков (1860—1931) — близкий друг и один из биографов Толстого.

А. П. Чехову

1

[Январь, 1891]

Многоуважаемый

Антон Павлович!

Начинающие «писатели» имеют обыкновение ужасно надоедать различным редакторам, поэтам, беллетристам, более или менее известным, и очень многим другим с просьбами прочесть их произведения, сказать «беспристрастное» мнение и т. д. и т. д. — я принадлежу к этим господам, сознаю, что подобные просьбы иногда просто даже нетактичны и невежливы и... всё-таки предлагаю их. К гг. редакторам обращаться считаю, впрочем, излишним, почему — понятно. Обратиться поэтому решился к какому-либо писателю. Так как Вы самый любимый мной из современ[ных] писателей и так как я слышал от некоторых моих знакомых (харьковских), знающих Вас, что Вы простой и хороший человек, — то «выбор» мой «пал» на Вас. К Вам я решился обратиться с следующей просьбой: если у Вас есть свободное время для того, чтобы хоть раз обратить внимание на произведение такого господина, как я, — обратите, пожалуйста. Ответьте мне ради бога, могу ли когда-нибудь прислать Вам два или три моих (печатных) рассказа и прочтёте ли Вы их когда-нибудь от нечего делать, чтобы сообщить мне несколько Ваших заключений. Простите меня за назойливость, глубокоуважаемый Антон Павлович, и будьте снисходительны к просьбе

искренно уважающего Вас

Ив. Бунин.

Адрес: Елец, Орловской губ. Ивану Алексеевичу Бунину.

Р. С. Стихи я печатал в «Неделе», «Север[ном] вест[нике]» и ещё кое-где, а рассказы в местной газете, в «Орл[овском] вест[нике]».

2

Ялта, 13 янв[аря] 1901 г.

Глубокоуважаемый Антон Павлович!

Вчера узнал, что Вы 17-го именинник и посылаю Вам поздравление. Дай Вам бог всего самого наилучшего — это моё постоянное желание относительно Вас. Собирался Вам написать и помимо этого случая, чтобы поблагодарить и Вас за гостеприимство. После Москвы я был в деревне у себя, нашёл там северный полюс, занесённый снегом, и метели, сквозь которые тускло видно желтоватое металлическое солнце в широком, морозном кругу, заскучал, задохнулся без воздуха в натопленном доме (гулять совсем нельзя — обжигает лицо) и опять уехал в Москву, тем более, что встретились кое-какие дела. А потом, опять получивши от Марьи Павловны¹ приглашение, с величайшим удовольствием уехал в Ялту. Здесь очень тихо, погода нежная, и я чудесно отдохнул за эти дни в Вашем доме. Не нарадуюсь на синий залив в конце Вашей долины. Утром моя комната полна солнца. А у Вас в кабинете, куда я иногда заходил погулять по ковру, — ещё лучше: весело, просторно, окно велико и красиво и на стене и на полу — зелёные, синие и красные отсветы, очень сильные при солнце. Я люблю цветные окна, только в сумерки они кажутся грустными, и в сумерки кабинет пуст и одинокий, а Вы далеко. Мы с М[арьей] П[авловной] часто вспоминали Вас. М[арья] П[авловна] и Евгения Яковлевна² очень беспокоились, не получая от Вас писем. Вчера М[арья] П[авловна] уехала и, так как я решил побыть в Ялте ещё, попросила меня не переезжать в Ялту, а побыть пока у Вас. И вот я пока у Вас ещё. Сегодня Евгения Яковлевна получила от Вас письмо и очень рада. На дворе у Вас идёт работа, — турки утробовывают его камнем. Слышал от М[арьи] П[авловны], что Вы работаете, — очень желаю настоящего настроения и равновесия. Я тоже кое-что скребу и читаю. А за всем тем живу тихо и благородно.

Кланяюсь Вам и крепко жму руку.

Ив. Бунин.

¹ Марья Павловна Чехова (р. в 1863 г.) — сестра Чехова.

² Евгения Яковлевна Чехова (1835—1919) — мать Чехова.

А. М. Горькому

1

Дорогой Алексей Максимович! Весною Вы предлагали мне скупить у «Скорпиона» «Листопад» и издать в «Знании». Очень мне улыбается эта мысль, и Вы оказали бы мне большую услугу, если бы помогли мне в этом деле. Пишу об этом и Константину Петровичу¹, говорю то же самое и Вам. Дела мои с изданием стихов обстояли до сих пор из рук вон. Все издания «Скорпиона», не имеющего ни конторы, ни агентов, лежат в спальне Полякова, как он сам мне сказал. «Нов[ые] стихотв[орения]» изданы всего в 500 экз. и находятся в «Труде», как моя собственность. Взявши из этих двух книг избранные стихотв[орения], можно было бы выпустить к концу осени славную книжечку. Вы знаете, что репутация моя, как поэта, недурна, рецензии бывали великолепные, называли стихи «классическими» и достойными хрестоматий — и всё-таки дела мои с изданием стихов — швах! Если бы издало их «Знание», получилось бы, наконец, нечто серьёзное, в особенности, если принять во внимание, что оно выпустило «Рассказы» и выпустит «Гайавату». Несколько книг, выпущенных почти одновременно, одной фирмой, помогали бы друг другу и увеличили бы значительность авторской физиономии. «Листопад» я скупаю, «Нов[ые] стих[отворения]» к концу осени пройдут, а выберу из этих двух книг лучшие вещи для издания «Знания» строго и добавлю, кроме того, десятка два новых стихотв[орений], которые появятся нынешней осенью в журналах. Очень прошу Вас, Алексей Максимович, подумать об этом. На какие угодно условия я заранее согласен, могу отдать Вам книгу без всякой предварительной платы. Шлю Вам «Листопад» и неск[олько] экз[емпляров] новых стихотворений. Кланяюсь

Ек[атерине] Павл[овне]² и очень прошу Вас ответить мне. Уезжаю в Одессу — дождь лёт непрерывно — купаться. Напишите туда.

Одесса, 13-ая ст. трамвая на Большой Фонтан, дача Қлимовича, Евгению Иосифовичу Буковецкому для меня.

Лучше заказным.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Ив. Бунин.

27 июня 1902 г.

¹ К. П. Пятницкий (1864—1938) — один из основателей издательства «Знание», деятельность которого возглавлял Горький. «Скорпион» — книгоиздательство писателей-символистов, существовало на средства С. А. Полякова.

² Е. П. Пешкова (р. в 1878 г.) — жена Горького.

2

4 ноября 1904 г.

Дорогой Алексей Максимович, вести дурные: от Ольги Леонард[овны] и Марьи Павловны¹ получил отказ!

Сообщаю Вам об этом так поздно потому, что я почти 10 дней лежал в постели, больной инфлуэнцей. Во время болезни О[льга] Л[еонардовна] и М[арья] П[авловна]; меня навестили — и Ольга Леонард[овна] заявила мне, что она отказывается дать для «Знания» что-либо из рукописей Антона Павл[овича]. — Марья Павл[овна] ответила мне на просьбу о письмах не столь решительно, и поэтому вчера я снова имел с нею разговор. Но тут уже и она сказала очень определённо, что пока не хочет печатать писем Ант[она] Павловича.

Очень меня огорчила и выдумка Найдёнова — действительно нелепая². Нынче же напишу ему — он уже давно в Киеве (Николаевская, д. № 9, кв. № 6) — и, кроме того, буду иметь с ним разговор; 9-го еду в Одессу и остановлюсь, чтобы поговорить с ним, в Киеве.

Воспоминания об А[нтоне] П[авловиче] вышлю Вам на днях. Написаны они, как Вы знаете, уже давно — я даже уже читал их в Обществе Любителей Рос[сийской] Словесности³ — но мне очень хотелось сделать их полнее. Раз больше ждать нельзя — высылаю. Но неперменное условие: корректура в гранках.

Относительно моего 3 тома Вы правы: публика может отнестись к нему не очень внимательно, а по сему пока оставим это дело. Что же касается «Каина», то поступайте как знаете: или выпускайте его теперь, отдельной брошюрой, или подождите до времени, более благоприятного для книг. Может быть, переведу к этому времени ещё какую-либо вещь в размере «Каина» — и тогда выпустим отдельный томик «Переводов», куда войдёт и «Каин», и «Манфред»⁴ — последний тем способом, какой мы выдумали.

Крепко жму Вашу руку, дорогой друг!

Ваш Ив. Бунин.

Адрес — «Вестник воспитания».

¹ О. Л. Книппер-Чехова (р. в 1870 г.) и М. П. Чехова.

² С. А. Найдёнов (1869—1922) — драматург. О чём идёт речь, неясно.

³ Воспоминания Бунина об А. П. Чехове напечатаны в третьем сборнике «Знание» за 1904 г. Прочитаны в «Обществе...» 24 октября 1904 г.

⁴ Мистерия «Каин» и драматическая поэма «Манфред» Байрона в переводе И. Бунина.

3

Лукьяново, Тульск. губ.

21 июля 1905 г.

Дорогой Алексей Максимович, посылаю Вам кн. «Стихотворений» и тетрадь с некоторыми из новых (уже напечатанных в журналах) стихов, где знаком NB помечены те вещи, из которых можно составить сборник для дешёвого издания¹. Будьте добры просмотреть всё это и, буде не понравится, изменить мой выбор. Мне кажется порою, что некоторые из отмеченных мною стих[отворений] (и «Сапсан» в том числе) сомнительны в своей пригодности для широкой публики. Кроме того — м[ожет] б[ыть], я отметил слишком много?

Всё это предоставляю решить Вам. Изменяйте, дополняйте, сокращайте — я вполне полагаюсь на Вас. А отметив то, что пригодно, зачеркните ненужное — и печатайте. Какое дать сборнику заглавие — тоже решите сами. Я предлагаю пока так: «Ив. Бунин. Столько-то стихотворений». Но если на этих новых изданиях «Знания» будет пометка «издание «Знания» для народа» или что-нибудь в этом роде, — то можно озаглавить просто: «Ив. Бунин. Стихотворения».

Я, повторяю, колеблюсь относительно пригодности некоторых стихотворений для широкой публики. Но с другой стороны ведь и то нужно принять в расчёт, что эти новые издания «Знания» должны до известной степени влиять на эту самую публику и с эстетической стороны. Не полезно ли было бы, если бы Вы снабдили первый выпуск серии народных изданий предисловием, в котором, между прочим, было бы отмечено и это? А то критика привыкла к тенденциозности и может сильно обляять некоторые из брошюр, — конечно, и мою. На днях пришлю Вам для народн[ого] изд[ания] и некоторые из моих рассказов. Составляю сборничек специально «чернозёмных» — о голоде, дичи и глуши российской.

Крепко жму Вашу руку, кланяюсь Марии Фёдоровне².

Ив. Бунин.

¹ Стихотворения изданы в книжке: Ив. Бунин. Стихотворения. Дешёвая библиотека товарищества «Знание». № 89. СПб. 1906.

² М. Ф. Андреева (1872—1953) — артистка Художественного театра, вторая жена Горького.

4

Дорогой Алексей Максимович, Коля¹, приехав, показал мне Ваше письмо — Ваши укоры «академику» за молчание. Укоры справедливы, но, как всегда, говорю: простите великодушно. Есть у меня маленькое оправдание — Вы и сами примолкли, — есть и большое: Вы и представить себе не можете, как зверски работал я и как мотался! После этого избрания², удивившего меня чрезвычайно, был в Птб., после Птб-га жестоко и долго хворал горлом, после хвори — опять Птб., после Птб-га — опять работа, — кончал, отделявал первую часть своей «Деревни». Вчера отослал её, — в «Совр[еменный] мир». Будет она в мартовской книге, а вторая — в апреле и мае, — если только успею³. Нужно бы, не теряя ни минуты, снова браться за перо, но тяжело больна мать — еду завтра к ней. Истории, как видите, весьма обычные для меня — и скучные. Скучна нынешняя зима и вообще: в литературе, за двумя-тремя исключениями, — хоть шаром покати, пустота и скука, про общественные дела и настроения — и говорить нечего. Хочется мне на Капри — ужасно, хочется очень поговорить с Вами о Ваших последних вещах, но удачи ли — и не ведаю. Напишите мне, дорогой друг, пожалуйста! Кланяемся Вам и Марье Фёдоровне, любим Вас неизменно. За маленькую измену «Знанию» не сердитесь. И повесть я отдал «Совр[еменному] миру», и 6 т. (состоящий из стихов и рассказов) продал «Общ[ественной] пользе» потому только, что К[онстантин] П[етрович]⁴ не отвечает мне по полугоду.

Напишите мне в Москву (Столовый, д. Муромцева). Возвратиться от матери хочу скоро, а, возвратясь, решу, куда мне ехать. Уморился я и постарел — чертовски.

Ваш Ив. Бунин.

11 февр[аля] 1910 г.

¹ Н. А. Пушешников (1882—1939) — троюродный племянник Бунина.

² Избрание Бунина в почётные академики.

³ «Деревня» напечатана в журнале «Современный мир», 1910, №№ 3, 10, 11.

⁴ К. П. Пятницкий.

В. С. Миролубову

Малаховка, 1 июня 1901 г.

Спасибо, дорогой Виктор Сергеевич, за доброе, товарищеское письмо, — мне переслали его сегодня из Тульской Лукьяновки. Рад, что «сказ» Вам понравился, — постараюсь угодить и на август¹. Кстати сказать про природу, которой, насколько я Вас понял, я чересчур предал: это немного неверно, я ведь о голой и протокольно о природе не пишу. Я пишу или о красоте, т. е. значит, всё равно, в чём бы она ни была, или же

даю читателю, по мерс сил, с природой часть своей души. Всякий пишет по-своему, и пусть Мамин пишет о том-то, Горький — о том-то, а я о своём. И разве часть моей души хуже какого-нибудь Ивана Петровича, которого я изображу? Это у нас ещё старых вкусов много — всё «случай», «событие» давай. А за всем тем и я не отказываюсь от людей, и о них буду писать. Что же касается «Поздней ночи» в «Северных цветах»², то я и не думал касаться своей семейной жизни. Там настроение общечеловеческое, и фигурируем в нём вовсе не мы с Анной Николаевной³, — никогда в жизни у нас и подобного ничего не было. Ещё Лермонтов с горечью писал предисловие к «Герою нашего времени» о том, как читатель всё на автора сваливает.

Затем о делах. «Жизнь» меня очень беспокоит, но май всё-таки выйдет одновременно с июньск[ой] кн[игой], — для мая уже взяли два моих стих[отворения], а на июнь я посылаю им рассказ⁴.

В начале августа думаю быть в Питере. Где будете?

Посылаю Вам четыре стихотв[орения], — извините за опоздание, — тут меня немного ограбили стихами Гольцев и Фейгин.

Напоминаю Вам о том, что у Вас есть ещё два моих стиха: «Я помню взор...» и «Апокалипсис». Если возьмёте эти, будет шесть. Не пугайтесь сего количества — больше не буду беспокоить до просьбы. А всё-таки буду рад, если задерживать не будете. Потом найдётся ещё.

А теперь самое неприятное — деньги. Прикажите, пожалуйста, мне составить счёт и не платите, если можно, дёшево за рассказы. Вы знаете, Виктор Сергеевич, что у меня и нет денег от того, что, право, я далеко не жаден и что я не стал бы торговаться с «Журналом для всех», если бы сам не нуждался. К тому же работаю я добросовестно, отделяю и выпускаю вещи небольшие. В других местах мне платят 150 р. за 38 000 букв. Сообщите мне Вашу цену, чтобы быть мне в известности. Пожалуйста, пришлите мне 50 р у б л е й — ведь всё равно я заработаю их, пришлю на август, а также на сентябрь или октябрь. Дам и для последней — декабрьской книжки. Пришлите не 50, а 42 рубля, потому что сейчас пришёл Телешов и говорит: «Я должен «Журналу для всех» 8 р., — нельзя ли перевести, т. е. я тебе дам эти 8 рублей, а с тебя пускай вычтут».

Можно?

Адрес: Москва, Чистые пруды, д. Терехова, квартира Н. Д. Телешова, Ивану Алексеевичу Бунину.

Пожалуйста!

Ваш Ив. Бунин.

Жду ответа о стихах и прочем.

Пожалуйста, корректуру «Скита».

Виктор Сергеевич Миролубов (1860—1939) — издатель широко распространённого журнала — «Журнал для всех».

¹ «Сказ» — рассказ «Скит»; напечатан в «Журнале для всех» в июле 1901 г.; в августе напечатан рассказ «Руда. Из книги «Эпитафии».

² Альманах «Северные цветы», М. 1901.

³ А. Н. Цакни (р. в 1879 г.). В течение полутора лет была замужем за Буниным.

⁴ «Покров Богородицы»; рассказ напечатан под заглавием «Руда» в «Журнале для всех», так как издание журнала «Жизнь», которому рассказ был прислан, прекратилось.

В. В. Пашенко

1

Озерки, 13 июня [1891 ?]

Вот я и в Озерках¹, Варенька... За последнее время я как-то странно живу — неопределённо, — где день, где ночь, — и потому, когда попадаю в Озерки, в тишину небольшой деревушки, я особенно сильно замечаю эту тишину, отдыхаю ото всего, что приходится и думать и чувствовать... К тому же со вчерашнего вечера я очень спокойно и счастливо настроен, так что день прошёл очень хорошо, с самого утра, когда я часов в одиннадцать проснулся в своей комнате. Солнце ударило в открытые окна, и мухи весело шумели на верхних стёклах... Последнее произвело на меня о с о б е н н о д е р е в е н с к о е в п е ч а т л е н и е и я долго и с удовольствием вслушивался в тишину лет-

него полдня; долго глядел, как солнце и ветер тихо играли в лёгких и прозрачных листьях клёнов, которые стоят у меня под окном, как в поле, на противоположном косогоре, оставляя ветер подвижный след, убегая тёмною струёю по хлемам. Ласточки без крика одна за другою скользили в саду, а где-то, должно быть кухаркина девочка, напевала тонким-тонким голоском... И такая тишина обнимала со всех сторон, так тихо плыли облака по небу, а я сидел на окне, шурился от солнца, вслушивался и весь наполнялся и грустью, и радостью, и «предчувствием будущего, и сожалением о прошлом». Милый, дорогой мой зверочек! не упрекай меня за эту старую песню: я люблю её, но ты не должна думать, что она одна у меня, ты не должна думать, что у меня в душе в самом деле только и бывают ощущения немного поэтичной, сентиментальной задумчивости. Будто только, как говорят некоторые, у меня и недурного? Избавь тебя бог подумать сейчас, что хвалюсь чем-нибудь. Я только говорю тебе, как ненаглядному, дорогому товарищу, всё, что мне кажется т с я. Ведь думаю же я про себя... Ел. Ник. назвала меня мальчишкой, который ещё настолько слаб и глуп, что может подохнуть с голоду, Володя² — подлецом. Кажись достаточно?... К этому надо ещё прибавить, что такие их мнения — может быть, отголоски мнений многих других господ. Я, честное слово, не зол на них и не унизился бы до того, чтобы опровергать это. Только кому же ты-то должна верить? Надо какой-нибудь одной стороне, но только в полне. «Маргаритки не растут на одном стебле с крапивою», говорится в одном месте в Шекспировском «Генрихе IV», и я, признавая в человеческой душе большую раздвоенность, всё-таки думаю, что такие резкие противоположности не могут совмещаться, в особенности в молодом человеке. Что-нибудь должно перевешивать и исключать такие резкие противоположности. К тому же Володя, как и другие подобные, имеет чисто внешнее представление о человеческой честности и достоинстве порядочного человека. Последнее заключается в стремлении отдаваться всему новому, прогрессивному, во взглядах на самую суть жизни и т. д. Никто не отрицает, что должно в принципе, в идеале, что ли, жить порядочно, строго даже в самых малых пустяках, но ведь внутреннее всё-таки дороже внешнего, если понимать внутреннее, как проявление основной души...

Опять-таки — повторяю, что если ты подумаешь, что я здесь хочу и з-за мелкого с а м о л ю б и я, к о с в е н н о намекнуть на себя, — значит, ты ни капли не уважаешь меня.

Эх, Варенька, может быть, придёт время, — буду заботиться о том, чтобы, напр[имер], убивать в себе чувство, — грусти, радости, — из-за того, чтобы какие-либо «остальные гости» не посмотрели на меня, как на «дурака», — только хуже будет...

Барвара Владимировна Пащенко (1870—1918) — дочь врача Владимира Егоровича Пащенко, проживавшего в это время в г. Ельце, Орловской губ. Она была замужем за Буниным. Жили они, по настоянию В. В. Пащенко, — «из принципа» — «без венца», несмотря на настойчивые просьбы Бунина узаконить их брак. Их близкие отношения продолжались около четырёх с половиной лет: с середины 1890 г. и до октября 1894 г., когда Варвара Владимировна оставила Бунина и вышла за Арсения Николаевича Бибикова (1873—1927).

В. В. Пащенко изображена под именем Лики в автобиографической повести «Лиана» (1933), служащей продолжением «Жизни Арсеньева» (1927—1929).

¹ Деревня Озерки, Орловской губ., в «Жизни Арсеньева» и в «Лике» называется Батурино.

² Володя — брат В. В. Пащенко.

2

Москва, Неглинный проезд, номера г-жи Ечкиной, 26-го [июля 1891].

Прости, дорогая Варечка, за молчание. Ей-богу, голубчик, нельзя было написать раньше. Выехали мы из Орла 23-го, 24-го утром были в Туле и просидели там до часу ночи, — у Над[ежды] Ал[ексеевны] были дела. Можно бы, значит, было написать оттуда, но дело в том, что мы всю ночь в вагоне не спали и я начал это в Туле: проспал до трёх часов. Перед самым... как бы это сказать? — просыпаньем (глупое слово?) мне приснился какой-то пустынный берег моря, однообразно-медленный шум прибоя и стая белых чаек на побережье. Они сидели и, как мне казалось во сне, с нетерпением ждали

ветра. В воздухе было как-то томительно и душно... Казалось, что если не повеет ветром, ничто не выдержит этого напряжённого состояния... Я сам ощущал это напряжённое состояние и когда, наконец, открыл глаза, то сообразил, что всё это произошло от дуроты в номере. Но сон оставил впечатление. Я лежал несколько минут с закрытыми глазами, и у меня создалось несколько картин в духе сна, создалось как-то хорошее стихотворение в прозе, которое наполнило душу обычным в такие минуты высоким чувством «поэзии» и эстетического наслаждения своими представлениями. Это — частичка творчества, и ты не думай, Варенька, что я говорю «слова»: чудные минуты! Когда я сел обедать, я старался, по обыкновению, мало говорить, оберегал свою внутреннюю работу. Понимаешь ты это ощущение? Оно похоже на ощущение после первого признания в любви, после целомудренного счастья первых поцелуев... Повторяю, может быть тебе это покажется словами, но это будет только потому, что я не умею выразиться... Ну, словом, как бы там ни было, а после обеда я сейчас же сел строчить и написал не то сказку, не то стихотворение в прозе; вышла, как мне кажется, не глупая вещица... Напечатаю её в «Заре» [московское издание] и тогда покажу тебе или раньше, — в черновике!¹ Если же ты поверишь, что всё это было так, — Надежда Алек[сеевна] тому свидетель... Вечером мы побродили по Туле (плохой, пустынный и какой-то голый город) и благополучно отбыли. Вчера мы первым делом (приехали утром) напились чаю и отправились на выставку²; пробыли там до трёх часов, после чего захотелось побродить по Москве; были в Кремле, а вечером — в «Эрмитаже». Содрали там с нас ужасно, но зато слышали одну тирольскую песню, спетую Тартаковым, — говорю одну, потому что оперетка «Le marchand d'oiseaux»³, в которой он пел вчера, до того глупа, бессодержательна и не музыкальна, что в ней не было ни одного почти хорошего места. Да и странно было видеть Тартакова, откалывающего глупейшие опереточные вещи, глупейшие остроты и т. д.

Сейчас сел тебе писать, но в сущности порядочного письма не выйдет: Над[ежда] Алек[сеевна] ходит по номеру и дожидается: надо ехать на выставку, сегодня нам должны выдать бесплатные билеты. Сказали — являться в одиннадцать часов, так что сейчас надо отправляться. И впечатление от выставки и всё, что хочу сказать, напишу вечером. До свидания, деточка! Богом клянусь, что страшно хочу поговорить с тобою, дорогая моя, милая, ненаглядная! До вечера. Пиши, адрес написал, да и раньше ты его знала из письма Н[адежды] А[лексеевны]. Пробуду здесь до вечера 1-го числа, — напиши, значит, до этого времени, где увижу. Вечером напишу хорошее письмо! Прости за это...

¹ «Праздник. Сказка» — напечатана в газете «Русская жизнь», 1891, № 351, 25 декабря.

² Бунин ездил в Москву вместе с Надеждой Алексеевной Семёновой, редактором газеты «Орловский вестник», в которой он сотрудничал, на французскую выставку (открыта 29 апреля 1891 г.).

³ «Продавец птиц» К. Целлера (1842—1892).

3

Глотова, 12 ноября 1891 г.

Прости меня, — я погорячился и написал тебе резко. Может быть, я и прав в своих предположениях, прав в том, что ты нехорошо — холодно и обидно — отнеслась ко мне, но я не должен был так писать тебе, не должен — не с какой-нибудь пошлой формальной стороны, но потому, что я оскорбил своё же чувство. Варя! Милая, хорошая моя! Ведь разве не было оно светло и чисто, разве не осталось бы таким же, если бы не было разных обстоятельств, если бы я мог справиться с ними, чтобы суметь выйти из них если и с горьким чувством, то и с сознанием, что вольные и невольные прегрешения не сделали меня ни эгоистом, ни грубым, ни ожесточённым. Милая! так нежно и хорошо я любил тебя, что лучшие минуты этого чувства останутся для меня самыми благородными и чистыми ощущениями во всей жизни. Ведь такое чувство всякому прежде всего самому дорого. Для чего же бы я стал сам омрачать его, чтобы лучшее время своей юности не оставило чистого воспоминания? Да ничего не делаешь... Надо, значит, почаще помнить это... На столе против меня твоя карточка, моя любимая. Если бы ты чувствовала, как дорог и мил мне этот образ милой скромной

девушки и как ясны его умные глазки! И всегда он был со мною в самые лучшие минуты, я видел его воплощение в тебе, когда ты бывала простой, искренней, любящей... Ей-богу, в самых заветных мечтах я создал его, и как глубоко мне хотелось всегда видеть тебя такою, чуждою кокетства, мелкого самолюбия, отделённой от толпы наших пошлых барышень!

Ты знаешь, как искренно я стремился всегда видеть тебя читающей, думающей, понимающей всё хорошее и новое. Что же мне и говорить, как мне радостно твоё последнее письмо!.. Ты просишь сообщить о Цебриковой¹. Я мало знаю про её личную жизнь. Знаю, что она уже очень немолодая, некрасивая, высокая, худая женщина, знаю, что она всю жизнь положила на женский вопрос, была и развивалась исключительно в известных кружках... Письмо её у меня было, но куда-то пропало в Озерках. Сослана очень она милостиво — в северные губернии, в Вологду, слышал... Статьи её советую поискать в «Вестнике Европы» — за семидесятые и восьмидесятые годы. Помню, напр[имер], её прекрасную статью «Между двух огней», кажется в «В[естнике] Е[вропы]» за 72 г. Фельетон её я нашёл между книгами Юлия, когда ездил в Озерки. Конечно, фельетон Скабичевского пред её фельетоном — только ф е л ь е т о н , в буквальном, в газетном смысле. Ты говоришь про Шопенгауэра и сама не понимаешь, почему его мысли тебе тоже нравятся! Я думаю, что только потому, что он — ум глубокий и, видя в женщинах бог знает что, отчасти и прав. Извращены, опошлены женщины ужасно, хотя из этой правды (она-то и действует) должно бы следовать только то, что пора же человечеству обдуматься и дать женщинам человеческое место. Но Шопенгауэр слеп в этом отношении.

«Я боялась, что нахватаясь чужих мыслей, понятий и потом буду с нахальством или помимо воли выдавать их за [свои]». Что ты говоришь? Во-первых, — «нахвататься». Да ведь и Цебрикова какая-нибудь тоже явилась в мир прежде всего только.. почвою, на которую упало то, что добыто и выработано чужими умами, всем прогрессом человеческим. «На х в а т а т ь с я» же (в буквальном смысле) может только тот, кто подходит к книге с желанием «нахвататься». А у кого, как у тебя, есть и ум, и искра божья, и совсем не желание «умные разговоры разговаривать», тот воспримет всё в себя. Надо только докончить дело — не брать одни верхушки знаний. Всего, конечно, не возьмёшь, но ведь верхушки и всё — крайности. А нахальства тебе бояться нечего. Я по крайней мере никогда не видал в тебе ни наивности, которая заставляет человека говорить, как про новое, про избитые вещи, ни нахальства (напротив — уж чрезмерная боязнь его)... Ты боишься остаться «ни павой, ни вороной»... Знаешь что — ей-богу, по-моему, лучше быть павой, чем глупой вороной*. Ведь это закон жизни, ведь нельзя же, напр[имер], чтобы, положим, какая-нибудь молодая в цивилизации страна не была некоторое время вороной в чужих перьях. Так и члены этой страны. Избавь бог только чересчур корчить из себя паву, а ходить в её перьях ещё можно.. А судьи кто? Офицер, который, несмотря на полную, сему званию присвоенную форму, имеет телячьи глаза? Помещик, который чтит своё звание и надевает иногда поддёвку и «русскую» шёлковую рубашку и, чтобы показать себя цивилизованным человеком, непомерно пьёт сельтерскую воду и говорит лакею «вы ду-ак!» Или господин, застёгнутый на все пуговицы, как Домби, которого всю славу и содержание составляют «свежие перчатки» и чёрная холеная борода... Или модный адвокатишка, который только тогда и чувствует себя возвышенно, когда мягко взбегает с новым портфелем и откинув голову, причёсанную словно не у Пулавского, а у ваятеля, по бронзовой лестнице окружного суда? Или его превосходительство, руина с «адамовой» головой, стремящийся только к тому, чтобы держать её как можно прямее в воротничках «литой» крахмальной рубашки?.. Или хлыщи, начиная с парикмахеров-юношей в пёстрых галстуках, с запонками в виде подковки и кончая битыми дураками в моднейших «сьютах»?.. все дрянь, чёрт бы их взял, все даже хуже ворон в павлиньих перьях. Пусть бы уж они старались надеть чужие у м с т в е н н ы е, так сказать, перья, а то ведь заботятся только о внешних. Есть другие люди, дорогая моя Варечка, и другие стремления, другие компании, лучшей представительницей которых и является Цебрикова!

Теперь с удовольствием о Шелгунове². Ты совершенно верно поняла, что он хотел

* Ворона была больше всего глупа тем, что хвасталась чужими перьями. (Примеч. автора.)

сказать в «Переходных харак[терах]», именно — указать их и нарисовать. Ты спрашиваешь, что такое «развитие личности»? Да это и есть стремление (главным образом) к личному самоусовершенствованию и к тому, чтобы личность, отдельный член общества, не представляла из себя пешку в обществе, чтобы она имела права, чтобы не угнетали её человеческого достоинства. Ты удивляешься: «Шелгунов приводит как личника какого-то К., у которого я заметила только своё «я», развитое в дурную сторону. Какое ж это развитие?» Да К. — переходный характер...

Ну, а про себя... повторяю, что мне крайне тяжело и горько. Твоё поразительное спокойствие относительно того, что мы расстаёмся на три года — это такая вещь, которую забыть нельзя, от которой всё повёрнуто... Я не мог даже себе представить, что я для тебя — настолько чужой... да, это верно и... будет.

Прощай, моя милая, бесценная, и верь, что эти слова — глубоко искренни: если есть в моём сердце что-либо — то не злоба во всяком случае.

Весь твой И. Бунин.

Утром 15-го уезжаю в Елец, на ставку. Пост³ бросил уж несколько дней. Получила ли деньги? Я обиделся, что ты предполагаешь, что я ещё не послал их, и сдуру отослал тебе квитанцию.

¹ Мария Константиновна Цебрикова (1835—1917) — писательница, пропагандировавшая просветительские идеи шестидесятых годов.

² Николай Васильевич Шелгунов (1824—1891) — публицист и общественный деятель, видный участник революционно-демократического движения шестидесятых годов.

³ По совету брата Евгения Бунин постился и недосыпал, чтобы, ослабив здоровье, избежать солдатчины.

Ю. А. Бунину

Риги-Кульм.

Вечер, 18-го ноября н. ст. 1900.

Милый и дорогой! Выехали из Парижа 10-го, вечером приехали в Женеву. Ночь провели в г... снаружи и всюду, но с чистой комнатой «Отеле Солнца», вышли утром и поразились тихим, тёплым утром. Из нежных туманов, скрывавших всё впереди, проступали вдаль горы и озеро, нежное, лазурно-зелёного цвета. Нежный туман был полон солнца, и когда туман растаял, чистый, весёлый, заграничный город был очень весел и изящен. Взяли лодку, купили сыру и вина и вдвоём, без лодочника, уехали по озеру. В час, когда ещё утро, но к полудню было очень хорошо. Тишина, солнце, лазурное, заштилевшее озеро, горы и дачи. В тишине — звонкие и чистые колокола, издаലെка — и тишина, вечная тишина озера и гор. Думал о той тишине, которая царит в заповедном царстве Альп, где только сдержанный шум водопадов, орлы и пригревает полдень. Помнишь, как в «Манфреде». Он один. «Уже близок полдень»... Берёт из водопада воды хрустальной в пригоршни и бросает в воздух. В раде водопада псявляется Дева гор или, кажется, Земли... И т. д.

Потом возвратились на набережную. Что за погода, как дачи, и пожелтевшие и покрасневшие платаны на ясном, чистом лазурном, южно-осеннем небе рисовались. А вдаль налитое озеро необыкновенного, мне кажется, итальянского цвета. Сели на электрическую конку и уехали за город. А там пошли среди дач — редких — к горам. Совсем лето. В деревне Вьрье закусили и пошли на гору «Stève». Она такая [изображена графически.— А. Б.]. Тут в седле отели и деревня. Всё просто, хорошо, пошвейцарски. Выпили кофе и коньяку — дёшево. Вышли — по другую сторону седла глубокая долина, а за ней две снежные горы. Наконец. Было часа четыре. Пошли к Трэз-Арбр, сказали, что оттуда виден Монблан. Путь вообще был труден и долог. Пошли в гору, по лесу, засыпанному листьями, по каменистой дороге. Стали мертветь, бледно мертветь дальние снеговые конусы. Наверху уж дымился туман. Устали наконец сильно. А уже сумерки. Дошли, наконец, до вокзальчика — пустой — зубчатой железной дороги. И вошли, выпили вина, совсем стемнело. Где ночевать? Хозяйка ресторана говорит: «Наверху, в отеле». Послала проводить нас детей. Что за великоленные были швейцарские ребята, голоногие, в накидочках, звонкоголосые, весёлые! Но когда вышли — туман, ночь, мрак и ветер. Жутко. А я весь мокрый. Пошли, ни зги не видя. Пришли — отель пуст, закрыт. Охватило отчаяние. Спустились к вокзалу — там не

принимают. Послали детей проводить ниже. Там ресторанчик — не пускают. Ресторанчик как и все почти швейцарские — простой. Стояли мокрые, — настоящие заблудившие[ся] путники. Упросили проводить нас в седло. Иднот-работник повёл. Шли с фонарём вниз, долго, бежали ночью в лесу. Наконец пришли в большой, но, конечно, весь пустой отель. Но как славно провели там вечер! Большая зала, две лампы на длинном столе, пахнет свежим деревом. Милая хозяйка. Поели, залегли спать в страшно холодной комнате, чувствуя себя одинокими в большом пустом отеле. Проснулись — свежее, розовое от ветра и холода горного утро. Пошли в Женеву, внизу долина так далеко, что Леман¹ казался как на карте. В тот же день уехали по озеру в Лозанну. На закате видели славную картину — всё озеро густо-лиловое и солнечный столб по нём необыкновенно жёлтый, яркий. В Лозанне переночевали, вышли — туманно, мягко, нежно и колоссальные снеговые горы к югу сквозь туман. Внизу — озеро в белесой светлой мгле. Потом зашли на гору, обрыв — виноградники лицом к югу, к солнцу — опять Италия. В чудных виллах среди садов — фортепиано, славные звуки в солнечный полдень. Взобрались и решили ехать в Веви и Монтрё. Поехали по железной дороге. Горы — против, но всё в светлом солнечном тумане. В Монтрё, в затишии, в котловине — совсем лето. Италия! Спустились к озеру, сняли пиджаки, пили хрустальную воду и пошли к Шильонскому замку. Повернули от озера — уже вечером в ущелье по дороге к Зермату, в горы. Горы, сплыв вечер, снежная широкая гора впереди величавым конусом. Вернулись с поездом в Лозанну. На другой день уехали через Берн в Интерлакен, в Туне не остановились, ехали около самого Тунского озера, этой сине-зелёной чаши среди гор. В Интерлакен приехали вечером. Купили шерстяные чулки, длинные палки, я — ещё картуз тёплый и варежки. В горы! Утром проснулись рано (вообще мы ложимся часов в 8—9—10). Утро сырое, холодное, по горам — угрюмые туманы, но снежные горы — как серебро с чернью — уже пробиваются сквозь холодный дым тумана. Нашли швейцарца за 15 франков, поехали по теснине в Гриндельвальде, к сердцевине вечных ледников бернских Альп, к самому Веттергорну, Маттергорну, Финстерааргорну и Юнгфрау. Горы дымятся, горная речка, над головою громады, ёлочки на вышине, согнувшись, идут к вершинам. Кучер вызвал из одной хижины швейцарца. Он вышел с длинным деревянным рогом длиною сажени полторы, промочил его водою, поставил как гигантскую трубку на землю, надулся и пустил звук. И едва замер звук рога, — противоположная скалистая стена, уходящая в небо, отозвалась — да на тысячи ладов. Точно кто взял полной могучей всей рукой аккорд на хрустальной арфе, и в царстве гор и горных духов разлилась, зазвенела и понеслась к небу, изменяясь и возвышаясь, небесная гармония. Дивно! Наконец — впереди всё ущелье загородил снежный Веттергорн. И чем больше мы подымались, тем ближе ледяные горы росли и стеной — изумительной — стали перед нами: Веттергорн, Маттергорн, могучий Финстерааргорн, Айгер и кусок Юнгфрау, а подле — Зильбергорн. Погода была солнечная, в долинах лето, на горах ясный, весёлый зимний день январский. Ехали назад — швейцарец дико пел «нодельн» — внутреннее пение, глубокое, — свежо, серо, шум горной речки, чёрные просеки в еловых лесах, бледные горные звёзды, а зади всю дорогу — мертвенно-бледный страшный величавый Веттергорн, а потом Юнгфрау. На другой день уехали по тому же ущелью по железной дороге, но на полпути свернули в зелёную, полную зелёных еловых лесов теснину к Лаутербрунену. Лаутербрунен под Айгером и Юнгфрау с Зильбергорном. Там оказалось — да мы и раньше знали, что зубчатая дорога в горы к Мюррену, что стоит против Юнгфрау, прекратилась, и мы двинулись пешком. В долине, где Лаутербрунен, чудное солнечное, почти жаркое утро начала осени, над нею Юнгфрау и Айгер, а против них — водопад. Пошли в горы в 11 ч., по еловым лесам, среди водопадов, еловой зелени и солнца, и долина под нами стала падать. Наконец после смены дивных видов пропастей и гор возросли опять Айгер и Юнгфрау, тишина, и мы вступили в снег. Долго шли зимою по лесу, обливаясь потом. Шли без остановки более четырёх часов и пришли в Мюррен. Там мёртвая зимняя горная тишина. Пустой отель опять. Обед в столовой холодный, но славный. Куровский² играл из Бетховена, и я почувствовал на мгновение всё мёртвое вечное величие снежных гор. Из Мюррена почти бежали. Темно вечером возвратились в Интерлакен. На другой день по Бриенцкому озеру на пароходе в Бриенц и оттуда — страшный подъём по зубчатой железной дороге к Брионигу, а оттуда

спуск вниз. Верхние горы в облаках. Часа в четыре приехали в Люцерн — дождь. Город славный. На другой день, т. е. сегодня, пустились по Фервальдштскому озеру до Фицнау. Горы в облаках, ниже — свежо, серо, озеро серо-синее. Дорога на Риги-Кульм, конечно, прекратилась, — сказали, что на высоте уже глубокие снега и паровоз не может взбираться. И вот мы пустились, не колеблясь, на ногах. Вышли в 12 и 5½ часов шли без остановки вверх по подъёму в 23—25°. Вот: [изображено графически. — А. Б.]. Страшно трудно. На горах — глубокая осень видна; леса в туманах дымятся, туманы вверху в ущельях налиты сумраком. В половине второго вступили в облака, и озёра внизу пропали. Что [за] тишина, какой туман! А леса стоят в нём, и лиственные деревья тихо роняют коричневые листья. Пар от нас мокрых, как мыши, валил как от лошадей. Туман, т. е. густота облаков всё росла. Пршли через мост над страшной пропастью. В три часа вступили в снега. Около четырёх пришли в занесённый снегами, чуть видный пятнами в тумане отель, перекусили на самую скорую руку и дальше. Зубчатая дорога, полузанесённая снегом, идёт точно в небо. И всё глуше и дичее становилось. Помню, стояли на одном обрыве, — какой там туман был внизу. Чем ниже — всё темнее. Так что в глубине — точно сепия налита. А ели всё реже и уже в пне. Вспомнил я Россию, север. И наконец — Риги-Кульм, высота более двух тысяч метров. Все три гигантские отеля на этом конусе пусты, занесены снегом и едва видны в тумане. В главном нашли комнату, внизу в столовой для прислуги — печка, три швейцарки, налитые кровью. Обсушились, поели. И проводили долгий зимний вечер на этой высоте, в мёртвой пустоте. Идём спать.

19 ноября.

Спали в шапках, я в пиджаке, под ногами грелка. Проснулись в 7 ч. — туман растёт иней. Вышли из отеля — в двух шагах ничего не видно. Подымается метель. Сидим внизу, ждём, не прорвёт ли туман. Жаль вида, — ведь отсюда видны все бернские Альпы! А мы сидим в глубокой зиме и ничего не видим. Куровский кланяется.

Половина двенадцатого. Белый туман, собираемся уходить из Риги. Пущу письмо из Люцерна, а то с Риги почта зимой редко ходит. Ходили по пустому отелю, по пустым залам, салонам и ресторанам. Всяду холод, стулья одно на другом вверх ногами, шаги гулко отдаются. Зима! Через неделю все покидают отель до весны. Пахнет везде совершенно как в доме у Михайлова³ в деревне — славно! Скажи это ему и поклонись!

Твой Ив. Бунин.

Нынче ночью или завтра думаем уехать прямо в Мюнхен через Цюрих.

Путешествие, о котором рассказывается в данном письме, отчасти составляет тему рассказа «Тишина», названного в первой публикации «На Женевском озере» («Мир божий», 1901, № 7).

¹ Леман — французское название Женевского озера.

² Куровский — художник, с которым Бунин путешествовал.

³ Н. Ф. Михайлов — доктор, номинально состоял редактором журнала «Вестник воспитания», фактическим редактором которого был Ю. А. Бунин.

Н. С. Клецову

[Капри], 23 янв[аря]/5 фев[аля] [1910]

Многоуважаемый Николай Семёнович, ещё не знаю, смогу ли выпустить в этом сезоне том «Новых рассказов». Материал есть — от 12 до 13 сорокатысячных¹ листов. Но ещё должен напечатать две повести и два рассказа. Да и подумать надо, — есть ли смысл выпускать в марте. Да и как ещё у Вас дело пойдёт? Ведь вот у Вас всё меняется: в новом Вашем списке уже нет Чирикова, нет Муйжеля, нет Нилуса², — значит, всё ещё в периоде формирования. А новым томом своим я дорожу, опрометчиво поступить с ним не могу.

Без гвоздей, говорите, идёт? Да пожалуй и при желании нельзя теперь идти на прежних гвоздях. Раскусывает помаленьку публика, что это за гвозди. Тем более не к лицу издателям-писателям гнаться за гвоздями — нужно художество прежде всего, тенденциозное, нетенденциозное, но только искреннее, серьёзное. Ибо мастеровщины, подделок под художество, лубка, дурного тона, мнимой значительности — девать стало некуда.

Ругать меня будут? Да что ж, я за похвалами никогда не гонялся. А брань невежд и борзописцев меня не трогает. Им ли говорить о моих изображениях народа? Они о папуасах имеют больше понятия, чем о народе, о России, о природе даже. Ведь читал же я недавно стихи в одном толстом журнале, где говорится, что под Петербургом, у корней берёз растёт ковыль!

Нет объективного творчества? Да, конечно, всё относительно. (Думаю о себе, однако, что я объективен.) И деревню воспринимаю я по-своему. Но ведь и Толстой, и Гл. Успенский, и Эргель, — только их изображения деревни считаю я ценными, — воспринимали по-своему. Важно прежде всего — знать. А я — знаю. И, быть может, как никто из теперь пишущих. Важно и восприятия иметь настоящие. Есть у меня и этого доля.

Статьи Вашей не получал ещё. Вышлите, пожалуйста.

Пожалуйста, вышлите и вторую корректуру оттиска «Ночного разговора» — не для корректуры, а так, просто так: один мне, другой П. А. Нилусу (Одесса, Княжеская, 27).

Куда выслать деньги — напишу. Всё прочее шлите на Капри.

Жму руку. Ещё раз желаю успеха! Поклон Михаилу Васильевичу³.

Ваш Ив. Бунин.

Николай Семёнович Клестов (Ангарский) (1873—1941) — заведующий «Книгоиздательством писателей в Москве».

¹ Лист, имеющий 40 тысяч типографских знаков.

² Пётр Александрович Нилус (р. в 1869 г.) — писатель.

³ М. В. Аверьянов — издатель.

Н. Д. Телешову

Дорогой Митрич, — довольно давно не писал тебе — лет 20. Ты, верно, теперь очень старенький, — здоров ли? И что Е. А.?¹ Целую её руку — и тебя — с неизменной любовью. А мы сидим в Grasse'e (это возле Cannes), где провели лет 17 (чередую его с Парижем) — теперь сидим очень плохо. Был я «богат», а теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был «знаменит на весь мир» — теперь никому в мире не нужен, — не до меня миру! В. Н.² очень болезненна, чему помогает и то, что мы весьма голодны. Я пока пишу — написал недавно целую книгу новых рассказов, но куда её теперь девать? А ты пишешь?

Твой Ив. Бунин.

Я сед, сух, но ещё ядовит. Очень хочу домой.

Villa Jeannette, Grasse.

8.5.41.

¹ Е. А. Телешова (1869—1943) — жена Н. Д. Телешова, художница.

² В. Н. Муромцева, жена Бунина.

Н. Я. Рошину

En russe.

12.3.43. Grasse.

Милый, дорогой, дня три тому назад послал Вам благодарственную карточку по-французски, теперь ещё раз благодарю по-русски — не знаю, можно ли так писать от нас, дойдёт ли это письмо — пожалуйста, известите, если получите. Вы меня действительно страшно тронули и своей карточкой и посылкой, в которой оказались вещи давно, давно мной забытые, потрясающе вкусные (а мундштучок штукой удивительной). Боюсь только, что эта посылка влетела Вам в копеечку, а богатством Вы, вероятно, и теперь не отличаетесь. Не знаю, как и чем Вы живёте, где работаете, но, повторю мысли мои таковы, что живёте Вы очень не легко. Напишите, что Вы делаете, равно как и про всё, про всё насчёт себя — и про общих друзей и приятелей, в том числе.

Что до нашей жизни, то Вы её, думаю, в общем представляете себе — по тем нескольким словам, которые я послал и Вам и этим общим друзьям и приятелям: угнетающее однообразие, страшное одиночество, скука, мучительный зимний холод — и постоянный, гнусный голод, презренное, тошнотворное архиепископское питание — на художу В. Н.¹ просто страшно смотреть, да и я просто стыжусь смотреть на себя, раз-

деваясь, а к этому надо прибавить ещё и то, что за последний год здоровье моё очень, очень пошатнулось, — укатили сивку крутые горки — и в прямом и в переносном смысле, — про нищету же и говорить нечего, выбиваюсь из последних сил, начал уже кое-что распродавать из вещичек — ведь теперь уже и думать нечего получить что-нибудь от моих иностранных издателей, от которых ещё год тому назад кое-что всё-таки перепадало. Что ещё сказать? Живём вчетвером — Зуров и ещё один бездомный молодой (сорока лет). Ляля и Олечка² уже скоро два года в своих краях — прежде погибали на своей ферме, теперь погибают — истинно погибают — в Монтобань, а где Жиров, не знаю, — где-то на севере и присылает мне совершенные гроши. Уже почти год, как не живут с нами и Г. Н.³ со своей стервой, — живут в Le Coppet на содержании одной сумасшедшей старухи, с которой я их познакомил и на плечи к которой они стали весьма прочно, описав ей в страшнейших чертах свою жизнь у нас. Ну вот и всё пока, дорогой мой. Страшно желал бы и я увидеть Вас и поговорить по-настоящему.

Крепко целую.

Ваш Ив. Б.

Николай Яковлевич Роцин (р. в 1896 г.) — писатель, после 1917 г. эмигрировал из СССР; в 1946 г. возвратился на родину.

¹ Вера Николаевна Муромцева.

² Ляля — жена Роцина, Олечка — её дочь.

³ Галина Николаевна Кузнецова — поэтесса.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

*

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Нат. Сёколова. Большой путь.— С. Гехт. Что было в Пенькове? — Евг. Долматовский. Десять лет спустя.— М. Щеглов. Корабли Александра Грина.— М. Блинова. Любовь или снисходительность?— И. Рахтанов. После долгого ожидания.— С. Липкин. Поучительно и интересно...— Л. Копелев. Вы уже причастны!

ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат юридических наук Л. Дадияни. Книга об Индонезии.— М. Стура. Правда об «имприи нефти».— Л. Барановский. Вынужденное признание.— Л. Василевский, С. Семёнов. Разведка космического пространства.— Доктор географических наук Э. Мурзаев. Рождение географической карты.— Доктор исторических наук профессор Н. Воронин. Памятники древнерусской культуры.

Литература и искусство

Большой путь

Новая книга Б. Галина включает в себя старые работы очеркиста, в неё вошло многое, написанное в период индустриализации страны, в годы Отечественной войны, в годы восстановления. Очерки рассказывают о том близком и уже далёком времени, когда всех нас волновали челюскинская эпопея, зарождение стахановского движения, славные перелёты советских лётчиков; о фронтовых путях-дорогах, по которым шёл советский солдат (раздел «От нашего военного корреспондента»); о том, как наша промышленность залечивала раны, нанесённые войной... Но этот том в шестьсот с лишком страниц — не избранное, где представлены одни только вершины творчества писателя, не одномоментник в том смысле, какой принято придавать этому слову; в книгу не вошли как раз самые популярные работы Б. Галина, такие, которые мы привыкли связывать с его именем, считать характерными для его дарования.

«Годы нашей жизни» — это будничная, повседневная работа очеркиста, собирателя драгоценных «крупниц живой истории», неповторимых примет времени; это, если хотите, вехи биографии страны, за которыми

угадывается данная очень скупое (авторское «я» у Галина всегда выражает себя предельно скромно), но всё же осязаемая биография нашего современника, неутомимого путешественника по дорогам пятилеток, вечного труженика. В тридцатых годах он, корреспондент «Правды», шагает, пригибаясь от ветра, по площадке сталинградского Тракторостроя, в сороковых заправляет под ремень выдавшую виды гимнастёрку военного журналиста, в пятидесятых со своим неизменным корреспондентским блокнотом сидит в Георгиевском зале среди передовых людей промышленности, торопясь записать те короткие, летучие беседы-дискуссии, которые он подслушал, уловил в перерыве в кулуарах дворца...

Многое в ранних очерках Б. Галина кажется неустоявшимся, проигрывает от сравнения с такими его зрелыми работами, как «В одном населённом пункте» или «Великая сила». Но книга в целом приоткрывает нам новое в Галине, расширяет наше представление об этом, казалось бы, хорошо «освоенном» писателе, которого мы за последние годы привыкли считать «певцом Донбасса», целиком захваченным поэзией угля, романтикой горняцкого мастерства. А очеркисту, оказывается, знакомо, близко дорого многое другое — и расчётливый раз-

Б. Галин. Годы нашей жизни. Очерки. Редактор В. Раковская. 672 стр. «Советский писатель». М. 1956.

мах Валерия Чкалова, его дерзкое и продуманное мужество, и самоотверженная скромность молодого учёного Усыскина, отдавшего жизнь во имя науки, и хитроватая усмешка худого, продрогшего, не видящего собой старика из занятого немцами города, который в сентябре сорок первого года с опасностью для жизни доставил в штаб нашего полка сведения об огневых точках противника, и сдержанное спокойствие первого советского коменданта Берлина генерала Берзарина, подписавшего исторический приказ номер один о роспуске партии нацистов.

В очерках тридцатых годов — о труженике и сороковых — о солдате, которые Б. Галин включил в книгу, привлекательна живая интонация современника, непосредственного свидетеля и участника событий, которую никогда потом не удастся подделать, стилизовать. Возможно, что ещё не один раз напишут о волнующей судьбе Ильи Усыскина, трагически погибшего вместе со своими товарищами Федосеенко и Васенко при падении стратостата «СССР». Напишут, но уже по-другому, не так, как рассказал о нём в тридцать четвёртом году в своей небольшой зарисовке очеркист, который дышал с ним воздухом одной эпохи, дружил, переписывался, разговаривал по душам белыми ночами на набережной Невы («Высота — 22 тысячи метров»). И только современник, очевидец мог подслушать и записать весёлое солдатское словцо (батареи шути прозвали пушку «чече» — «чрезвычайно чижолая»), мог подсмотреть, подметить особенную, характерную черточку в поведении молодого, ещё не уверенного в себе командира танкового подразделения: «Стальные траки гусениц оставляли во ржи широкий след. По этому следу, еле видимому в ночи, двигались главные силы. Боясь сбиться с правильного направления, Жуков часто выходил из машины и руками нащупывал примятую дорожку в мокрой от росы ржи» («Кинжал»).

В книге не всё равноценно. Можно было бы отметить, что не удался очерк «Линия жизни» — о борьбе за первые колхозы; что сумбурна, клочковата большая работа, которой открывается книга, — «Первенец пятилетки», где живые зарисовки соседствуют с газетной информацией, и т. д. Но хочется сказать о другом. Оглядываясь на творческий путь Б. Галина (а книга позволяет это сделать), видишь, что очеркисту

грозит неудача там, где он не понимает себя, своего творческого облика. Возьмём очерк «Сормовская земля богата...» — автор искренне восхищается Сормовом и его традициями, но та патетическая приподнятость, с которой написаны сормовские заметки, не захватывает читателя, оставляет его холодным. Б. Галин лиричен, мягок, его силу составляет очерк повествовательного характера, с психологической разработкой, с тонко продуманной композицией, с отточенной концовкой. У него своя палитра, свои краски, — нет у него выраженного темперамента трибуна, не хватает публицистической страстности, которая является такой естественной, органичной, скажем, для Д. Заславского, когда он пишет на международные темы, или для Н. Атарова, когда он высказывается на темы воспитания. Сказанное не громко, но проникновенно удаётся Б. Галину больше — не даром при чтении лучших его вещей создаётся такое впечатление, будто автор рассказывает в небольшой комнате, в кругу друзей, а не с ораторской трибуны.

Что ж, каждому своё. А когда Б. Галин пробует говорить не своим голосом, форсирует его, получается громче, но хуже. «Я смотрел на этот сверкающий поток стали, излучавший сияние, и в моём воображении вновь ожила песня о Макаре Мазае. Её творят, эту песню о стали, друзья и наследники Макара Мазая. Она живёт в бушующем пламени плавок, в самоотверженном труде простых людей, ведущих мартеновские печи с тем истинным вдохновением, которое одинаково присуще созданию песни и созданию стали». Так заканчивается очерк «Песня о Макаре Мазае», написанный красиво, слишком красиво. Всё это правильно, но сказано невыразительно, и опознать в этой тираде голос Б. Галина невозможно. Насколько сильнее писатель тогда, когда он строит свою излюбленную очерковую новеллу, часто приближающуюся к рассказу (ведь очерк, по выражению А. М. Горького, лежит где-то между исследованием и рассказом), бережно воспроизводит индивидуальные особенности своих героев, тонко разрабатывает диалог, отношения людей друг с другом, их психологию...

Б. Галин внимательно присматривается к людям, его прежде всего интересует характер, психология человека. Тот, кому понадобилось бы сегодня получить подробное и точное описание спасения челюскинцев из

ледового лагеря, напрасно стал бы листать книгу Б. Галина. В очерке «Ымпенахен», посвящённом лётчику Молокову («ымпенахен» значит «старик», так прозвали Молокова чукчи за его раннюю седину), очеркист решает иную задачу — он лепит своеобразный характер этого арктического «возчика», седого хладнокровного человека, который не чурался никакой, самой будничной лёгкой работы, спокойствие которого было так под стать большим просторам и тишине Севера. И материал автор располагает не в хронологической последовательности, а так, как ему сподручнее, чтобы лучше выявить индивидуальность героя, чтобы постепенно ввести читателя в круг его забот и интересов, в мир его мыслей и чувств.

Особенно близки очеркисту скромные, преданные своему делу люди, на первый взгляд «тихони», лишённые обманчивого внешнего блеска, далёкие от всякой рисовки, чуждые «хвастовства, красивого жеста и позы», которые «меньше говорят, чем другие, много работают, много думают» и многого добиваются, причём заботятся всегда о деле, а не о себе. К ним относятся Киреевы — паровозостроители из большого очерка-рассказа «Киреевы — отец и сын», написанного в чеховских тонах, с лёгкой грустью, за которой угадывается добрая улыбка писателя; к людям такого типа относится и ровесник Киреева-отца, добросовестный и простодушный Курочкин, «младший чертёжник», которому в час смерти слышится за окном гудок ещё не созданного, но только вычерченного нового паровоза, голос его «Соколика». К этим людям принадлежит и строитель Каминский, по проекту которого удалось поднять подорванную немцами и накренившуюся знаменитую четвёртую домну «Азовсталл», — в его характере писатель подчёркивает сочетание личной скромности с исключительной смелостью технических решений, с творческой отвагой (очерк «Точка опоры»).

«Чистая душа, скромница», «простая открытая душа» — вот те слова, которые как бы сами собой подбираются, лучше всего подходят для характеристики людей мирного и ратного труда — героев этой книги. Да, у них есть общие черты, и ничего в этом нет худого. Не прав был бы тот, кто вздумал бы отрицать за писателем право иметь свой излюбленный тип героя, свой идеал настоящего человека. Ведь Б. Галин не повторяет, не перепевает себя, но каждый раз в новом герое, не совпадающем с прежними,

ищет и находит дорогие его сердцу качества.

«Скромники» и «тихари», которых так любит Б. Галин, умеют драться за порученное им дело. Маленький, щуплый, немного смешной Курочкин в год революции не дал старым хозяевам завода уничтожить ценные чертежи. Скромный Каминский упрямо отстаивал свой проект подъёма домны, не сдавался, потому что знал — та схема решения, на которой остановились в Москве, ошибочна, не даст нужного результата. Тихий старый человек, Кузьма Григорьевич Могилевский, инженер южного завода, которому поручено было осенью сорок первого года доставить вагон с тридцатью пятью тысячами чертежей на Урал, два месяца находился в пути, но не бросил вагона: одинокий, измученный, голодный и холодный, исколесив пол-России, он привёз всё-таки в назначенное место проектное хозяйство завода, которое могло оказаться полезным только на другой день после победы (глава из очерка «Начало битвы»). Эта глава, написанная скромно и благородно, с большой душевной теплотой, без всякой сусальности, показывает, чего может добиться Б. Галин, когда он пишет по-своему, очень «по-галински».

Хочется сказать, что «Годы нашей жизни» — немного слишком «добрая» книга. Автор, который сам в чём-то сродни своим героям, тянется к хорошим, чистым душам, любит всё доброе, прекрасное и, кажется, порой не хочет замечать плохое в нашей действительности, закрывает глаза на трудное, сложное, высветляет краски... Явно ниже возможностей писателя такой облегчённый, наивно-розовый очерк, как «Ци-лай!», где любовь к людям, ко всему светлому и хорошему переходит в умиленность, где всё какое-то игрушечное и нет настоящей жизни, борьбы, нет преодоления. И, наоборот, резким ветром живой жизни овеяны страницы очерка, который не случайно называется «Самое трудное». В рассказе о судьбе горного инженера Арсентьева, вчерашнего выпускника вуза, описаны и «трудные» обстоятельства и «трудные» люди, медлители, как их называет герой, есть настоящие препятствия, сомнения, есть борьба.

Не гладко, ох, как не гладко на первых порах шли дела в лаве у Арсентьева. Мечта «стать прочно на план» казалась недостижимой, были у него минуты тяжёлого разочарования, минуты малодушия — наступил

и такой момент, когда он стал подумывать об уходе «наверх», о диссертации как о благовидном предлоге для отступления. Можно ведь двигать вперёд науку, а можно за научной степенью прятаться от ответственности, от жизни, от настоящего дела, — если пришёл в науку пустой, если диссертацию ты не успел «замешать на угле».

Но не ушёл в ту пору Арсентьев, пересилил себя. А дальше стало не легче, стало гораздо труднее. Попробовал было молодой инженер бороться со штурмовщиной, — его сняли с шумом, с треском, не дождавшись, чтобы обозначились первые «плюсы» — «плюсы», к которым надо идти через «минусы» (как говорят горняки), — загнали на «малую шахтёнку». А другой, придя на готовое, воспользовался его «плюсами», с таким трудом подготовленными, потихоньку, упорно накопленными. Но опасный момент был пройден. В самом ходе этой борьбы незаметно окреп, возмужал Арсентьев как специалист и как человек, перестал быть «инженером с малой отдачей», только «исполняющим обязанности». Он выстрадал, завоевал своё право на звание инженера, руководителя, «человека с плюсом».

Б. Галин приводит слова известного горняка Бридько — самое лёгкое не есть самое

лучшее. И очерк убеждает нас в справедливости этих слов; нелёгкий путь Арсентьева кажется завидным, а многие из его неудач — более почётными, чем иная лёгкая победа, которая числится на счету у человека, не одолевающего, но огибающего препятствия.

У нас есть ещё очеркисты, которые мают молодёжь рассказами о лёгкой и привольной трудовой жизни — и эта сладкая неправда приводит потом к горькому разочарованию. Нет, жить, трудиться, бороться, преодолевать препятствия не легко — «ничего неделание», растительное существование куда проще и легче. Но какой это жалкий удел! «Жизнь без борьбы для меня не существует, — писал Н. Островский. — На кой чёрт она мне сдалась, если только жить для того, чтобы существовать». Не нуждается в прикрасах, в бантиках и кружевах жизнь человека труда, действия, борьбы, жизнь трудная, напряжённая, сложная и прекрасная в своей сложности. Показывать её облегчённо — значит обеднять, обесценивать её; убирать препятствия с пути героя — значит принижать этого героя, не верить в его возможности. Да, самое лёгкое не есть самое лучшее.

Нат. СОКОЛОВА.



Что было в Пенькове?

Что было в Пенькове до приезда в колхоз «Волна» зоотехника Тони?

Нехорошо было в Пенькове. Председатель колхоза Иван Саввич работал плохо, пренебрежительно относился к агротехнике и всему, что могло улучшить жизнь колхоза. Хозяйство в колхозе было в упадке. «До того дошло, что коровушек кормить нечем... Трава что ни год, то хуже».

Так было в Пенькове, куда вернулась осенью, закончив техникум, Тоня Глечикова. Приехала Тоня осенью и чуть не пришла в отчаяние от того, что увидела. Но уже к началу лета дела в колхозе благодаря ей настолько переменялись к лучшему, что автор в последней главе говорит: «А правда, если разобраться, что случилось в Пенькове? Почему веселей пошли работы и выше поднимаются хлеба на старых пеньковских землях?» И, наконец, завершая повесть, Сергей Антонов объясняет, почему

он ставит здесь точку. «Дальше можно было бы написать, как наладилась работа в Пенькове... как колхоз «Волна» вышел в передовые. Но мы удержимся от этого соблазна, потому что нет нужды продолжать повесть, если Иван Саввич и Тоня начали улыбаться друг другу».

С какими мыслями и чувствами приступили мы к чтению повести? С мыслями о том, что нас ждёт что-то интересное, так как Сергей Антонов — талантливый, задушевный рассказчик, умеющий искусно строить сюжет, тонко живописать, умно улыбаться. В рецензируемой повести также встречаются со вкусом выполненные картины природы. Описывая вечер в Пенькове, Сергей Антонов говорит, что «хорошо бы такой вечер нарисовал Пластов». Хорошо нарисовал его и сам С. Антонов: «Вполнеба пылал закат, заливая землю оранжевым сиянием. Краснокожие в свете зари трактористы ехали вдоль опушки леса, кладя длинные тени до самых стволов. Рыжие стволы сосен с отлупившейся лукович-

ной корой были словно раскисли. Жёлтые берёзы и красные осины постелили себе под ноги мохнатые коврики палой листвы и встали, как румяные цыганки, среди строгих ржаво-чёрных ёлок...»

Не только пейзажи хороши в повести. Удачны в ней и сатирические сцены, изображающие уродства пеньковского быта.

Приступая к чтению повести, мы порадовались и тому, что рассказ идёт о жизни колхоза в наши дни, то есть три года спустя после важнейших решений партии по сельскому хозяйству, вызвавших благоприятные перемены в колхозной жизни. Автор хорошо знает современную советскую деревню, подумали мы. Он покажет нам, как большие процессы государственной жизни отразились в Пенковке.

Но отчего же с первых шагов создаётся тревожное ощущение, что автор ведёт нас по неверной дороге?

Обладая талантом увлекательного рассказчика, Сергей Антонов вдруг начинает своё повествование с эпизодов, притянутых довольно искусственно и даже маловероятных. Сперва появляется анекдотический дедушка Глечков, водевильный старичок, любящий задавать «приезжим учёным людям вопросы. Шла ли речь о новом романе, о планете Марс или о мерах борьбы с глистами, он всегда спрашивал в конце одно и то же: «Что такое нация?» Ответ дедушка знал назубок и радовался, как маленький, если лектор отвечал своими словами или вообще под разными предлогами увливал от ответа.

Вслед за водевильным дедушкой Глечковым автор представляет читателю лектора Общества по распространению политических и научных знаний Диму Крутикова. Увы, это тоже персонаж водевильный. Вот как он разговаривает с матерью полюбившейся ему девушки:

«...на первое января сорокового года у нас было шестьдесят три тысячи двести сельских клубов, а на ту же дату этого года стало восемьдесят тысяч пятьсот».

Анекдотична также история с портретом новатора, вырезанным из «Огонька». Матвей Морозов «прилепил портрет на своей избе». Новатор был похож на Ивана Саввича, и приезжие уполномоченные то и дело упрекают председателя колхоза в нескромности: зачем вывесил в деревне свой портрет?

Что же происходило в Пенковке, кроме забавных историй, то маловероятных, то

возможных, но всегда малозначительных? Так как именно в приезде Тони, а не в каких-либо других внешних или внутренних обстоятельствах автор видит причину преобразования Пенькова, то посмотрим, что сделала Тоня, в чём выразилась её сила, так много сотворившая в Пенковке?

Тоня Глечикова начинает свои реформы с того, что «уговорила председателя сеять (кукурузу. — С. Г.) не ширококорядным способом, а квадратами». О первом её мероприятии мы узнаём из письма Тони к преподавателю техникума. Она сообщает ему, что в прошлом году «не получилось с кукурузой потому, что её посеяли рано, в холодную землю, просто не знали агротехники».

Значит, если бы кто-нибудь посоветовал Ивану Саввичу и вообще пеньковским колхозникам поступать по законам агротехники, кукуруза бы не пропала? Нет, автор тут же добавляет: «Тоня понимала, что дело было не только в агротехнике. Матвей рассказывал, что кукурузу посеяли раньше времени, чтобы выполнить пункт договора на социалистическое соревнование с соседним районом: «Закончить сев в сжатые сроки». Пункт выполнили, а кукуруза не взошла».

Это — явление серьёзное, для искоренения подобной казенщины и просто фальши со всей силой прозвучал голос Центрального Комитета партии. Резко, правдиво описал эту разъедавшую колхозную жизнь фальшь В. Тендряков в своих отличных рассказах «Ненастье» и «Под лежач камень». Надо полагать, что Тоня их читала (она бывает на литературных вечерах, знает даже манеру чтения Ираклия Андроникова). Во всяком случае, если она и не читала этих рассказов, то для неё много значили решения Пленумов, критика специалистов, дискуссии и прочее. Но в повести создаётся впечатление, что Тоня, так сказать, сама до всего дошла. Как, например, понять следующие слова автора: «Тоня разговаривала на эту тему (о том, как во имя фальши погубили кукурузу. — С. Г.) с Игнатьевым, убеждала его, что сроки сева должен определять колхоз, что главным показателем в соревновании должны быть не сроки сева, а урожай». Почему же надо было убеждать зонального секретаря? Вель это происходило в те дни, когда именно об этом говорили повсюду! Но Тоня Глечикова, обидно напоминая историю «чудо-девушки», излагает общезвестное так, будто она сама его открыла.

Опытный, да и не только опытный, а и талантливый писатель Сергей Антонов, умеющий в других рассказах и показать своих героев и содержательно о них рассказать, здесь иногда отходит не только от показа, но и от рассказа. В очень важных для развития сюжета местах появляются конспективные, нерасшифрованные записи: «А что, если к делу подойти с другого конца? — подумала она (Тоня. — С. Г.), заклеивая конверт. — В газетах пишут, что отстающие колхозы при умелом руководстве за два года удваивают выход продукции. Почему не можем сделать это и мы? Если мы поставим задачу за два года удвоить производство зерна и утроить продукцию животноводства, то что нам для этого надо?» Как только Тоня наметила контрольные цифры по выходу продукции, план стал получаться как-то сам по себе, легко и понятно». На общем собрании, правда, многое отвергли, всё же все вдруг стали довольны — «и бригадиры, и колхозники, и даже Иван Саввич...» Видимо, эта конспективная запись должна убедить читателя, что начало сделано, глыба косности сдвинута. Но этого не произошло, так как конспективная запись не может создать впечатления перемены.

Поездки колхозников из колхозов отстающих в колхозы передовые совершаются у нас повсюду. Знакомство с достижениями соседей может во многих случаях оказаться полезным, обогатить опыт людей, побудить их к подражанию хорошим образцам. Убедив председателя организовать экскурсию в лучший колхоз, Тоня, таким образом, поступает по-обычному, однако вывод она сделала необычный.

«— Знаете, девушки, меня недавно спросили, почему у вас в колхозе дела плохо идут. Я тогда смутно чувствовала почему, но не могла ответить. И только после поездки в «Новый путь» всё поняла и могу сказать точно...»

Вывод следующий: «Надо здесь, на месте, учиться, поднимать свою культуру». Обращаясь к Ивану Саввичу и имея в виду побудить его оборудовать клуб, Тоня произносит несколько общих фраз о культуре.

И, наконец, когда в Пеньково пришла весна, «незаметно для себя...» — увы, опять не показывая и не рассказывая, а чисто конспективно автор сообщает, что «незаметно для себя Тоня из зоотехника превратилась в агронома, и всем казалось, что в это горячее время так и должно быть.

Каждый день она бегала по полям, проверяла землю, и женщины говорили про неё: «Беспокойная, как осинка».

Ничего более не узнаём мы о деятельности Тони, той самой деятельности, которая привела к значительным переменам в колхозе. Клуб оборудован, и пишется последняя глава, представляющая собой как бы апофеоз. Итак, вот каковы результаты Тониной деятельности, которая так бедно представлена, что рассказ о ней почти полностью уместился в нашем перечислении. «Кукуруза уродилась хорошо, лучше стало и с пастьбой, больше порядка на ферме. Переменилось всё в Пенькове, переменились и люди...» «Вот, например, сам он, Иван Саввич, редко бывал в клубе, а как-то незаметно переменялся на старости лет. Ни за что не пойдёт он теперь менять горячее на водку». Лариса, та самая Лариса, которая ещё недавно, ревнуя мужа к Тоне, таскала её за волосы и вообще была типичной «отстающей», на собрании говорила отцу: «Земля наша, она теперь тоже от нас культуры требует. Как ты хочешь, а положила я себе с Тонькой сравняться. В лепёшку разобьюсь, а через два года буду с ней на равных разговаривать». И вообще «теперь прямо хоть институт открывай в Пенькове».

Отчего не убеждает этот апофеоз? Не бывает, что ли, так? Нет, бывает, но происходит это по-другому, не так, как описано в повести. Газеты не обманывали Тоню, когда сообщали, что некоторые отстающие колхозы выходят за два года в передовые, удваивая производство зерна и продукцию животноводства. Может ли способствовать подъёму колхоза энергичная деятельность агронома, обязанности которого взяла на себя Тоня Глечикова? Конечно. Но Тоня просто пришла, увидела и победила. Что-то кому-то сказала, кого-то будто бы убедила, и дело пошло. И получилось, увы, что и Тоня оказалась дежурной чудо-девушкой.

Анекдотичность и легковесность в построении сюжета повести помешали Сергею Антонову вылепить в ней портреты колхозников, а ведь он по этой части мастер. Он недавно опубликовал в «Литературной Москве» рассказ «Тётя Луша». Вот всего полстранички прочитаны в этом рассказе, а как живо предстали уже нам и неженатый Саша, который в первый вечер «прогуливался вдоль деревни дачником: в пижаке, без галстука, в штиблетах на босу ногу», и весёлая разведёнка Катерина

Валахова, в чьём веселье было что-то горькое, отчаянное, и, наконец, героиня рассказа, председатель колхоза Лукерья, «ладная, стройная женщина со смелым взглядом умных темно-карих, как крепкий чай, глаз. Ходила она в ватной теплушке, надетой по-мужски небрежно, с расстёгнутым воротом, и в кирзовых сапогах с железными подковками. Она умела водить машины, тракторы, класть печи, рубить в лапу углы и играть на гармошке. К концу войны ей было двадцать лет. Мужчин в то время в деревне не осталось, и Лушу выбрали председателем. С тех пор она десять лет вела колхозное хозяйство». Трогательно, поистине художественно рассказал Сергей Антонов о сердечных переживаниях тёти Луши. О многом задумаешься, читая рассказ «Анкета». Рассказ небольшой, а сколько в нём нужных, правильно найденных подробностей для портрета трусливого начальника, этой мрачной, безжалостно-чиновной фигуры.

Среди пяти опубликованных в альманахе «Литературная Москва» рассказов есть

два — «Погубительница» и «Возница», — в которых можно бы усмотреть анекдот, если бы Сергей Антонов не вышел и тут победителем. Истории в них описаны необыкновенные. В «Погубительнице» жена своими упреками доводит мошенника-мужа до того, что он сам заявляет на себя в милицию. Она любит его и ждёт, когда он вернётся из тюрьмы. Она будет с ним жить, даже если он останется прежним, так как «нам, бабам, обратно в девки ходу нету». В «Вознице» обрисован этаким пустой старичина, спекулирующий на критике. Он немного походит на Глечикова из повести, но Глечиков водевилен, а возница Спиридон Кузьмич только иногда срывается в анекдотизм, здесь это только частные промахи. Лукавый старик Спиридон Кузьмич вызывает в нас то самое чувство отвращения, которое и хотел вызвать автор. Цель, таким образом, достигнута. В повести «Дело было в Пенькове» писатель поставленной цели не достиг.

С. ГЕХТ.



Десять лет спустя

У Марка Максимова давно не выходили книги стихов, если не десять, то, уж наверное, лет восемь тому назад мы читали его книгу «Ровесники». Но название нового его сборника «Десять лет спустя» опирается не на это обстоятельство. Поэт ведёт разговор о том, как складывается наша жизнь через десять лет после войны (пока издавалась книга, к этому исчислению прибавился ещё год).

М. Максимов относится к тем поэтам, которые оперились на жёстком ветру войны. Не буду перечислять имена — они известны, и до последнего времени были более известны, чем имя Марка Максимова. Имя этого поэта привлекло читательское внимание и надежды в недавние годы.

Книга «Десять лет спустя» — весомая, серьёзная. Надежды читателя оказались не напрасными. Эти стихи написаны не равнодушной рукой, потому и нас они не оставляют равнодушными.

Итак, поэт счёл нужным вести счёт времени от войны — скажем, от её окончания. Признаться, в стихах многих поэтов, да и в собственных стихах, меня тревожило это

постоянное возвращение к событиям и переживаниям войны... Соответствуют ли эти переживания судьбе нашего героя и читателя? Нет ли здесь какой-то ограниченности людей, тяжело раненных войной, узости, отнюдь не свойственной, скажем, ни комбайнеру Нектову, ни лётчику Маресьеву?

Да, для ряда поэтов война осталась чем-то вроде контузии. Они попали в её пекло юнцами, и она навсегда вошла в их явь, в их сны, в их стихи, сперва расширила, а потом ограничила кругозор. Есть поэты, которые всё время пытаются убедить нас, что только они видели войну и только они её поняли. Но нельзя слишком долго держать бинты на заживающей ране: они мешают ей хорошо зарубцеваться.

Меня беспокоило это и в творчестве Марка Максимова. Однако книга «Десять лет спустя» убедила меня в том, что поэт, так много внимания уделяющий переживаниям войны, смотрит в её бинокль вперёд, а не назад, твёрдо стоя на сегодняшней земле.

В первом разделе книги, одно за другим, идут очень хорошие стихи, написанные человеком, которого война не сломила, хотя приняла в свою круговерть юношей, а, наоборот, сделала крепким и вдумчивым.

М. Максимов. Десять лет спустя Стихи. Редактор Н. Симонэв. 170 стр «Советский писатель». М. 1956.

Много за эти годы было на земном шаре написано стихов о разбуженном атоме. Мы знаем стихи японских поэтов, пронизанные болью и страданием, знаем написанные разочарованными эстетам Запады стихи о конце вселенной.

Перо советского поэта прикасается к этой теме, чтобы говорить о жизни, о созидательной силе атома. И даже неудачное басенное название стихотворения «Про атом» не портит его высокого звучания.

М. Максимов оттачивает своё мастерство в сюжетных стихах политического характера. Стихотворение «Встреча в Сочи» — разговор английского горняка и советского шахтёра — удачный пример такого рода стихов. Некоторые поэты, писавшие раньше любовные стихи на темы дня, сейчас ударились в альбомную лирику. Им, бедным кажется, что, во-первых, это «знаменное время», а во-вторых, такое писать легче — меньше будет обвинений в поверхностности. Увы, не в том их беда, что они писали на темы дня, а в том, что плохо писали газетные стихи, а теперь плохо пишут «лирику».

Мне кажется ценным в творчестве Марка Максимова его упорное стремление говорить о важных вещах — да! да! — говорить в стихах о политике, употребляя для этого все поэтические средства, не упрощая и не приглаживая стих, не низводя его до уровня рифмованного фельетона.

Так, во «Встрече в Сочи» — стихотворении политическом — мастерски написан пейзаж. Он здесь нужен, он здесь на месте.

Поэт всё время обращается со страниц своей книги к однополчанам, фронтовым товарищам не для того, чтобы беречь душу воспоминаниями, а для разговора о сегодняшних и завтрашних трудах, о высоких целях, о наших трудностях и их преодолении.

Отлично сделанный перевод поэмы Егише Чаренца «Как Ленин провожал отца» завершает первый раздел книги. В последние годы М. Максимов хорошо поработал как переводчик. Но он поступил правильно, включив лишь один перевод в книгу. Многие поэты слишком обильно «подбавляют» в свои сборники переводы. Книги от этого становятся толще, но далеко не всегда лучше.

Стихи второго раздела — «Письма ровеснику» и третьего — «Расставания и встречи» написаны в разные годы. Мне кажется что в сороковом и в сорок пятом, в сорок

седьмом и в пятидесятом Максимов писал хуже, чем пишет сейчас. Стихи помечены датами, читателю это нетрудно проверить. Я не думаю, что моё утверждение может быть понято, как укор поэту. Нет, это лишь свидетельствует о том, что поэт растёт и формируется. Он правильно сделал, когда не торопился издавать новую книгу. Её ли-и-о определили стихи первого раздела. Ранние стихи становятся лучше, освещённые новыми работами и несомненными новыми удачами.

Правда, прямые неудачи остаются неудачами. К ним я отношу стихотворение «Актриса», написанное с чужого голоса.

...С пулей в спину падает Лариса.
В зале плачут. Но встаёт — актриса!.. —

пишет Максимов, но и ритм, и тема, и все образы стихотворения заставляют нас вспоминать стихи Я. Смелякова:

В ливнях электрического света
Умирает юная Джульетта.

Да вот и она, Джульетта, появляется в этом стихотворении Максимова. Написалось, что ж поделаешь! А в книгу включено напрасно.

У Максимова есть свой голос. Он крепнет от стихотворения к стихотворению. Есть у поэта и своя позиция. Это очень важно подчеркнуть. Подняв руку на большом собрании, ты должен знать, о чём будешь говорить. Умение говорить — это ещё не всё. Поэты не выбирают тему, как выбирают вещи в магазине, — она сама проступает из жизни.

Жаль, что в сборник не включено стихотворение Марка Максимова «Солдат на пьедестале». Оно широко известно. Оно написано во время войны в Корее. К счастью, эта война прекратилась. Однако она была, и её прекращению содействовали усилия народов, голоса матерей, голоса поэтов. Стихотворение «Солдат на пьедестале» гуманистично, оно направлено не к разжиганию вражды, а к установлению дружбы между народами.

Естественно, что поэт Марк Максимов поехал на одну из больших строек — на Каховку. В книге «Десять лет спустя» два произведения, написанные в результате этой поездки, — «Кобзари» и «Огонь».

Почему так получается, что наши стихи о больших событиях и стройках подчас выглядят неяркими, не соответствующими тому

искреннему волнению, которое возникает в нас даже при первом соприкосновении с этой генеральной темой? Читая поэму М. Максимова «Огонь», чувствуешь, что поэт много взволновало и даже потрясло в Каховке. А на бумагу эта буря улеглась ровно и аккуратно. Увиденное в Каховке поэт расположил вокруг традиционного литературного треугольника: два парня, одна девушка. Мне кажется, что в этом причина неудачи поэмы, в которой много хороших строк и мыслей.

Не поверив тому, что можно просто рассказать о событиях, переживаниях, о своих раздумьях, поэт решил «литературно смонтировать» поэму. В этой конструкции было что-то ремесленное. Девушка Олёна получилась совсем бесплотная, просто обозначение, а не человек. Это, в свою очередь, помешало развитию образов Осокина и Чухрая. Как это ни странно, наличие придуманной лирической линии несколько обесцветило поэму, а ведь автор только для того

и ввёл эту линию, чтобы поэма была приятнее для читателя. Боюсь, что материал здесь искусственно подгонялся к сюжету, а не сюжет проявился из материала. В данном случае, как мне кажется, М. Максимова подвёл литературный «ход». А атмосфера поэмы очень хороша. Как здорово получились главы о бараке и о рождении ребёнка! Но они менее всего важны для сюжета, выглядят как лирические отступления. Быть может, вся поэма, написанная как лирическое отступление, приобрела бы иной, более самобытный характер?

Книга Марка Максимова интересна и показательна и своими достоинствами и своими недостатками.

Главное — в том, что она написана растущим и ищущим поэтом, для которого лирика — не собирание фиалок, а всё, что происходит в нашей большой и небывалой жизни.

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ.



Корабли Александра Грина

Марка Александровича Щеглова, автора этой статьи, молодого, талантливого критика, постоянно сотрудничавшего в «Новом мире», уже нет в живых. Когда заканчивалась работа над десятым номером журнала, пришла телеграмма о его скоростной смерти.

Несмотря на тяжёлый недуг, Марк Щеглов был удивительно жизнелюбивым человеком, страстно влюблённым в литературу, думающим, ищущим, увлекающимся. Многие его замыслы остались незавершёнными. Желая познакомить читателей с тем, что им было написано, но не увидело света при его жизни, мы печатаем статью Марка Щеглова «Корабли Александра Грина». Возможно, в ней есть спорные положения. Но большой талант человека, её написавшего, бесспорен.

Опасность, риск, власть природы, свет далёкой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в небе — то Южный Крест, то Мелведица, и все материки — в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с её книгами, картинками, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном, в замшевой ладанке на твёрдой груди».

Кто может сказать о себе, что в известную пору жизни не мечтал об этом, перед кем не маячили такие миражи и не вставали эти видения романтических страпствий и счастливой свободы, кто не бывал — пусть в мечтах — вольным капитаном прекрасного брига, корвета или шхуны — ко-

раблей, украшенных парусами, овеваемых воздухом морских мифов и легенд!

Необыкновенность творчества Александра Грина, писателя, долго находившегося в оскорбительном забвении, состоит в том, что он сделал волнующее, романтическое фантазерство — страну отроческого воображения — реальным миром, полным жизни, что он подробно описал эту страну и узаконил как естественное и обычное всё то, что постные люди полагают оторванным от жизни, чуждым реальному и несбыточным.

Земли, которых нет на карте, но которые — везде между Востоком, Западом и Югом; города со звучными и зовущими названиями, возникающие на берегах тёплых морей, как легендарные поселения первых веков; мужчины — благородные покровители слабых, друзья мужественных; женщины и девушки, чьё очарование несказанно, —

какие-то золушки, феи и принцессы на горошине, одетые в нынешнее платье; матросы — громкие пьяницы и добродушные храбрецы; заманчивые, приглашающие гавани, старинные корабли и старое вино — многое прекрасное и пленительное из богатств и радостей мира собрано А. Грином на страницах его поэтических книг.

Судьба произведений А. Грина сложна и неустойчива. Его творчество имеет и влюблённых поклонников и брюзгливых отрицателей. Последним удалось сделать то, что книги А. Грина сейчас почти не известны широкому читателю, а идеологическая репутация этого давно умершего художника до сих пор колеблется где-то на опасной грани. Мне кажется, что с наибольшей характерностью подобное отношение к А. Грину сказалось в статье В. Важдаяева, напечатанной в 1950 году в «Новом мире». Думается, что теперь настало время разобраться объективно в значении творчества этого писателя.

В книгах А. Грина мы встречаем традиционный романтический «случай»: с одной стороны, герой — романтик, сказочник, с душой, полной поэтических движений, различающий «кружева тайн в образе повседневности», утончённое и углублённо-созерцательное существо; с другой — общая «проза жизни», интересы каждого дня, вульгарность и бездушие, та жизнь, в которой «человек человеку — волк»... Грубая, негуманная, непрекрасная жизнь его времени вызвала в Грине содрогание. Но, отрицая эту жизнь, А. Грин не находил в себе силы звать к тому, чтобы именно эту, земную, каждодневную жизнь переделал, преобразовать, перестроить. Он слишком горестно уединялся в своём романтическом отрицании и приходил порою к индивидуализму и полной обособленности от людей мира. Именно тогда на страницах его книг проскальзывали столь чуждые его душевному изяществу грубые слова о простонародье, не знающем чистых духовных радостей. И странно бывает читать это рядом с другими эпизодами из книг А. Грина, где именно картины простой и немудрящей жизни рыбаков, ремесленников и матросов овеяны поэзией и теплотой глубокого и серьёзного сочувствия, где эти люди тоже становятся добрыми героями гриновской сказки.

Константин Паустовский в предисловии к новому изданию «Избранного» А. Грина пишет о происхождении гриновского романтизма: в старой России «окружающее

было страшным, жизнь — невыносимой. Она была похожа на дикий самосуд. Грин выжил, но недоверие к действительности осталось у него на всю жизнь. Он всегда пытался уйти от неё, считая, что лучше жить неуловимыми снами, чем «дрянью и мусором» каждого дня».

Однако, когда читаешь книгу его рассказов, вдруг начинаешь замечать, что «неуловимые сны» гриновской фантазии очень близко подходят к прекрасной яви; кажется, что вся нереальность места действия в его рассказах, вся их подчёркнутая «нездешность» носят характер невольной поэтической мистификации; если всмотреться в мир образов А. Грина, во все частности его художественных картин, то мы рядом с уходом от действительности, а часто и вместо него, увидим преобразование действительности волшебным андерсеновским прикосновением.

У А. Блока есть стихи:

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

Это же чувство охватывает нас и тогда, когда мы раскрываем книгу романтических новелл и повестей А. Грина.

В «Избранном» А. Грина, изданном Гослитиздатом, облик этого единственного в своём роде художника представлен довольно разносторонне. Кстати, тут есть даже вполне «бытовые» рассказы, в которых романтическая условность остаётся почти только в фантастических именах героев, а помимо этого в них вполне реальные, отличные по выдумке истории портовой, морской жизни (например, «Капитан Дюк» или «Командант порта»). Но в большинстве своём произведения А. Грина — это поэтически и психологически утончённые сказки, новеллы и этюды, в которых рассказывается о радости сбывающихся фантазий, о праве человека на большее, чем простое «проживание» на земле, и о том, что земля и море полны чудес — чудес любви, мысли, природы, — отрадных встреч, подвигов и легенд.

Корабли, бегущие по волнам в рассказах А. Грина, бегут неведомо куда и неведомо зачем, но ведь всегда в этом мире добрым и могучим людям найдётся что делать и куда направить парус. Излюбленные герои А. Грина — добрые и немного таинственные капитаны, в душе которых патриархальное

благородство соседствует с современной утончённостью чувств и естественным демократизмом. Таков капитан Грэй из рассказа-феерии «Алые паруса» — «тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, то есть человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную — роль провидения...». Как раз с этого в рассказах А. Грина начинается чудесное. Когда люди добровольно берут на себя роль доброго провидения по отношению к другим, когда они остро романтически воспринимают мир, тогда самые невероятные сказочные чудеса становятся осуществимыми и даже «то, что существует как старинное представление о прекрасном-несбыточном... по существу так же обыточно и возможно, как загородная прогулка». Читать и переречитывать «Алые паруса» — одно наслаждение. Нужно так преданно верить в силу любви, в обаяние романтической мечты, так уйти в сказку, чтобы столь неопровержимо, психологически и поэтически изящно поведать о реально сбывшемся в обыкновенной рыбацкой деревне сказочном чуде... Прелестная и причудливая девочка Ассоль, с детства неудержимо поверившая прекрасной басне проходящего сказочника о корабле с алыми парусами, который однажды придёт за ней, действительно переживает такой незабвенный день. Эта история говорит о том, как любовь верит в чудо и как человек, любя, посвящает это чудо другому. Прелестны те строки, в которых описывается, как Ассоль стоит на берегу, глядя на вставший на виду алопарусный «Секрет», — «одна среди пустоты знойного песка, растерянная, пристыжённая, счастливая, с лицом не менее алым, чем её чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю». А когда от корабля отделилась лодка, на которой стоял Грэй, то «тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль... она вбежала по пояс в тёплое колыханье волн, крича: «Я здесь, я здесь! Это я!» Это не сказка. Это не волшебная история о Золушке и принце — в «Алых парусах» для этого слишком много реального, почти житейского: стоит напомнить только все те страницы, где рассказывается о том, как Грэй вдохновенно организует своё «чудо» — покупку алого шёлка в городской лавке и т. д. Это в подлинном смысле слова «феерия» — феерия любви и радости, сбывающаяся для всех, кто так любит. В стране А. Грина человек просто осуществляет всё то хоро-

шее, что в реальной действительности часто держится в душе под замком или расплывается в тысячах малозаметных житейских действий и поступков. Рассказы А. Грина говорят о том, как «невывразимо чудесно» любить и владеть сказочным секретом счастья, как хороши «...улыбка, веселье, прощенье и — вовремя сказанное чуткое слово».

Собранный в некий волшебный фокус, свет любви и какого-то романтического доброжелательства в рассказах А. Грина радостно воздействует на душу; они — эти рассказы — навевают стремление к добру, изяществу, нежности. «Добрый вечер! Добрый вечер, друзья! — слышим мы голос «бегущей по волнам» — этой поэтической музыки А. Грина. — Не скучно ли на тёмной дороге? Я тороплюсь, я бегу...»

В «Избранном» напечатан великолепный рассказ «Возвращённый ад», в котором формула, если можно так сказать, гриновского романтизма, далёкого от простого «выдумывания красивых историй», раскрыта полностью и убедительно. Когда журналист Галиен Марк, выздоровев от раны, полученной во время дуэли, встал на ноги новым человеком — уравновешенным и бездумно довольным жизнью, это можно было воспринять, как пришедшее наконец избавление от той мучительной жизни, которую вёл он до болезни. Тогда он находился непрерывно «в состоянии мучительного философского размышления» и испытывал «нестерпимую насыщенность остротой современных переживаний», державшую его сознание «в тисках»; теперь он был «смешливым субъектом, со скудным диапазоном мысли и ликующими животными стремлениями». Тогда Галиен Марк переживал минуты «неясного беспокойства», вызывавшего острую работу фантазии, тогда он не мог спастись от своей болезни даже в обществе пошляков, так как видел, что и «пошленькое пристёгнуто к дьявольскому колесу размышлений»; теперь же он не сомневался, что «всё, что видишь, такое и есть» и что «всё очень просто». Раньше он писал талантливые статьи, всё его «волновало, тревожило, заставляло гореть, спешить», а теперь он — знаменитый Галиен Марк — не испытывает нужды написать более трёх страниц, в которых говорится о том, что сначала по снегу прошла дама, потом собака, а затем крупно шагающий мужчина «спутал следы на снегу в одну тропинку своими широкими галошами». И лишь из-

редка герой, всем довольный и ничем не тревожимый, испытывает мгновенные потрясения, как память о былом: однажды он видит бедняка с глазами, полными бесконечной скорби, и эта скорбь переаётся ему, другой раз в пошлом кабаке во время непристойно-самодовольного разгула на колени к нему доверчиво вспрыгнула «маленькая, больная и худая, как щепка, серенькая трактирная кошка», и откуда-то взялось в душе его «горькое, необъяснимое отчаяние», наконец, ещё раз, когда Галиен Марк шёл ночью по улицам, шёл с «сытой душой», он взглянул вверх и увидел там «среди других яркую, торжественно висящую звезду. Что было в ней скорбного? Каким голосом и на чей призыв ответило тонким лучам звезды всё моё существо, тронутое глубоким волнением при виде необъятной пустыни мира? Я не знаю... Знакомая причудливая тоска сразила меня». Но для того, чтобы вновь полностью обрести утерянное, вернуться к жизни духовной, к томлениям совести и воображения, ко всему тому «аду», от которого думал спастись Галиен Марк, ему понадобилось пережить большее: от него уходит прелестная, разочарованная Визи, он остаётся один. И вот тут уже прорывается та плотина полной успокоенности, трезвости и грубого довольства, которая отгородила героя от жизни, от её волнений и загадок, и он вновь вместе с возвратившейся к нему любовью «вернулся к старому аду — до конца дней».

В этом рассказе — всё существо гриновской «мечты» как утверждения для человека необходимости видеть в жизни больше «того, что есть», отрицания самодовольной трезвости, закупоренной от всех тревожащих, ранящих, заставляющих «мыслить и страдать» впечатлений. В романтике гриновского типа «покоя нет, уюта нет», она происходит от нестерпимой жажды увидеть мир совершеннее, возвышеннее, и потому душа художника столь болезненно реагирует на всё мрачное, скорбное, приниженное, обижющее гуманность. Таким образом, романтика в творчестве А. Грина по существу своему, а не по внешне несбыточным и нездешним проявлениям очень часто должна быть воспринята не как «уход от жизни», но как приход к ней со всем очарованием и волнением веры в добро и красоту людей, в расцвет иной жизни на берегах безмятежных морей, где ходят отрядно стройные корабли...

Художественная прелесть прозы А. Грина не может быть оспорена. Конечно, сейчас иногда кажется излишним и наивным своеобразный «дендизм» его стиля, подражательность, изысканность прозаического ритма, старомодная «философичность» некоторых мест в его рассказах (особенно в «Бегущей по волнам»), но тем не менее порою ослепляет его художественная точность и изобразительная сила в совершенно реальных картинах природы, описаниях моря и зарослей, в портретах изображаемых им людей — особенно в необыкновенно привлекательных образах девушек, этих вполне наивных и очаровательных Дези, Биче и Визи. Мы видим, мы любим их «прекрасное, нежно нахмуренное лицо, эти ресницы, длинные, как вечерние тени в воде синих озёр, и рот, улыбающийся проникновенно, и нервную живую белизну рук...»

И ещё одна грань «магического кристалла» гриновского искусства — его изображение природы, стоящие на уровне изысканного «пленэра» новой живописи. А. Грин может быть назван первоклассным пейзажистом. И дело тут не только в той полной реальности его пейзажей, его приморских акварелей, о которой хорошо говорит К. Паустовский во вступительной статье, не только в том волшебстве воображения, с которым А. Грин со всей точностью воспроизводит отсутствующую в действительности местность в своих рассказах... Главное то, как радостно, торжественно и близко душе всё, о чём пишет А. Грин, как это всё входит в зрительный и эмоциональный опыт любого вдумчивого наблюдателя природы и как искусство А. Грина умеет сделать заманчивым и поэтичным каждый обыкновенный уголок его страны.

...Белой точкой на горизонте, в исчезающей отдалённости моря появляется корабль, за ним ещё один, и ещё... Ветер и волны дружно влекут их, они летят, слегка накрываясь, у них почти живые, стройные формы, ветер воеет в тонких снастях, плещет вдоль борта тугая отлетающая волна, загорелые весёлые матросы глядят за горизонт — что там? И наше сердце стремится лететь за ними, к тучам, полным зарева далёких, удивительных городов, к цветам и скалам таинственных стран воображения...

Это корабли Александра Грина.

М. ЩЕГЛОВ.

Любовь или снисходительность?

Бывают такие книги — читаешь их, не отрываясь, хотя нет в них ни особо занимательного сюжета, ни изложения каких-нибудь необыкновенных событий, хотя жизнь в них описана трудная и будничная. И герои таких книг — люди совсем обыкновенные, привычные для нас, а познакомишься с их мыслями, делами, переживаниями — и почувствуешь за них гордость и запомнишь их.

К таким книгам относится недавно вышедшая повесть Татьяны Игумновой «За горами».

Место действия повести — маленький рабочий посёлок на Урале, время — первые военные годы. Писательница, очутившаяся с группой эвакуированных женщин «за горами», неожиданно для себя становится организатором и директором детского сада. Последовательно, день за днём, развёртывается история этого сада. События и дела здесь соответствуют характеру учреждения: добыть сухие дрова, отвоевать детского врача, превратить озорника в послушного ребёнка, распределить запасы продуктов так, чтобы и борщ был забелён молоком, и на полдник было бы что дать детям... И хотя книга начинается главой «Далеко от войны», здесь всё неразрывно связано с войной — и не только потому, что велики трудности в снабжении, в организации, а потому, и это главное, что люди должны как-то по-новому пересмотреть, переосмыслить свою жизнь, иногда перестроить её. Писательница становится администратором, пианистка — педагогом, женщина-архитектор, отдававшая себя целиком любимой работе, на какое-то время вынуждена жертвовать своими интересами ради детей, а мать она неумелая и растерянная; портниха не хочет быть во время войны «частницей» и идёт на государственную службу... Много, много людей вынуждено браться за что-то совершенно новое, непривычное, но ведь «на войне люди тоже, в большинстве, в первый раз». И почти все — и те, кого привела сюда война, и те, кто тут постоянно живёт, — должны пройти какой-то необходимый этап: примириться с тем, что они не там, где труднее всего, не на том участке, который им представляется самым

ответственным и решающим. Именно в этот период люди находятся в наибольшем смятении, они ощущают в себе что-то вроде чувства вины. В дальнейшем — для одних скорее, для других медленнее — определяется их место в жизни, но постоянная мысль о том, что не они выносят на себе главный натиск, что они в безопасности, — остаётся.

Сочетаясь со страстным желанием каждого внести свой вклад в общее дело, эта мысль определяет особенную требовательность к себе в их поведении, в их отношении к труду, к своим товарищам, ко всему, что происходит вокруг. Поэтому здесь нет ни «малых дел», ни «маленьких людей», как бы скромно ни было и самое дело и служебное положение его исполнителя. И когда, например, Лида, повар детского сада, после горделивой тирады: «За борщ мой все довольные, все благодарные. И дети и матеря. Помните, прошлый раз санитар-спектор пробу с борща снимал? Сказал — премию мне за него безусловно выдать надо» — со слезами выкрикивает: «Я, может, сердце своё окровавленное в кушание детям вкладываю!» — мы ей верим, так же как верим, что вкладывает свою душу в работу и молодая неопытная воспитательница Зоя, мучительно ищущая правильные пути в воспитании детей и сумевшая в общении с малышами найти облегчение в своём большом горе, и пожилая сторожиха Пелагея Матвеевна, однажды прибежавшая в поздний зимний час к своему директору, чтобы сообщить радостную весть о приезде в посёлок настоящего педагога, и столяр-латыш, делающий по собственной инициативе по ночам стульчики для детей, и многие другие.

Все эти люди объединены в дружный коллектив, живущий одними интересами, одной жизнью. Чужой здесь остаётся лишь одна воспитательница — Агния Петровна; правда, она опытный и способный педагог, но она равнодушный человек — ей безразличны и дети, которых она воспитывает, и судьба учреждения, в котором она работает.

В форме, избранной автором, есть преимущества дневника и нет его недостатков: в книге написано о виденном и пережитом, изложение событий — точное, почти документальное. Вместе с тем, отобразив умело и экономно детали, автор избежал таких

Татьяна Игумнова. За горами. Повесть. Редактор В. Острогорская. 264 стр. «Советский писатель». М. 1956.

опасностей, как натурализм, фотографичность.

Несмотря на довольно значительное число действующих лиц, каждое из них предстаёт перед читателем в своём неповторимо индивидуальном качестве. Одно из основных достоинств повести — краткие и меткие характеристики героев. Не может не запомниться, например, образ поварихи Лиды. Эта вспыльчивая, властная, шумная женщина обладает большой, доброй, преданной людям душой, но и в доброту эту она тоже вносит неистовство, свойственное её недисциплинированной натуре. Писательница умеет показать все эти качества так убедительно и достоверно, что образ женщины зримо встаёт перед нами. Вот Лида, получившая известие о смерти мужа. «Убили... убили мне его... Ой! Ой! — закричала она на всю кухню. — Ой, что же я буду делать-то? Как же я буду жить теперь! Милые мои, милые мои, милые! — умоляющим голосом твердит она, точно от нас зависит изменить что-то в её судьбе, не допустить того, что уже случилось». Как только проходит первый приступ отчаяния, она вспоминает о матери мужа, придумывает, как подготовить её к страшному известию, и — «она запахивается в шаль, как в броню, и вбегает по ступенькам крыльца с такой неожиданной решимостью, будто перед ней горящий дом и от неё одной зависит спасти от огня чью-то беспомощную и дорогую ей жизнь». Отъезд Лиды на фронт закономерен, этот шаг соответствует логике её характера.

Писательница рисует своих героев, как бы вскрывая напластования нескольких качеств в их существе: иногда эти качества находятся в противоречии одно с другим, иногда те из них, которые на поверхности характера, обманчивы — они скрывают другие, более глубокие и органически присущие данному человеку. Так, самоуверенная, быстрая, внешне несколько развязная девушка Люся оказывается удивительно целомудренной и стыдливой в любви; манерная и поэтому несколько смешная Эмма Борисовна обнаруживает качества прекрасного организатора и настоящего, бескорыстного товарища: начав работать, она «вспомнила о сотне необходимых саду мелочей, пригнала из дому всяческой дополнительной утвари — начиная с мясорубки и кончая подноском для графина. Словом,

обосновывалась в новом гнезде с любовью и прочно».

На этом несовпадении внешних и внутренних качеств действующих лиц повести иногда строятся даже какие-то неожиданности в сюжете, как, например, в истории двух бабушек. У одного мальчика из детского сада было две бабушки: одна — ещё не старая, очень деятельная, энергичная, немного резкая, другая — «совсем уже старенькая», тихая и слабая. «Молодая» бабушка бодро заявляет: «Главное дело, сердце у меня здоровенное. Как у лошади, ей-богу! А у Таисии Ивановны сердце большое. Её беречь надо...» Внезапно одна из бабушек умирает; рассказчица не сомневается, что старенькая, но — неожиданность! — умерла «молодая» — сердце-то у неё, как оказалось, было большим: просто она привыкла заботиться о других, а себя не жалеть и о себе не думать.

Так в большинстве своём люди в повести всегда обнаруживают прекрасные качества — иногда сразу заметные, иногда скрытые под различными внешними напластованиями.

К сожалению, это стремление автора обнаружить в человеке лучшие его свойства иногда переходит какую-то естественную, разумную границу, и тогда гуманность превращается в умилённость, в тенденцию оправдать всякий поступок — пусть и неблагоприятный — и всякое поведение, даже недостойное.

Воспитанник детского сада Валик Николаев чем-то тяжело травмирован, болезнен, стонет детей, не может есть. Оказывается, что причина этого — ужасная атмосфера, в которой он живёт: мать невероятно груба с бабушкой, в доме холод, голод, растерянность, нервы у всех взвинчены до предела. Однако всё это потому, что погиб отец мальчика и дочь скрывает это от своей матери (чтобы та не убивалась), а мать тоже знает и скрывает от дочери, — каждая несёт горе в себе. Писательница хочет доказать, что под раздражительностью и грубостью у дочери огромный сердечный такт и деликатность. Но такое проявление благородства создаёт невыносимую обстановку в семье, которая вот-вот погубит ребёнка.

Или вот ещё: несчастная девушка Грания, у которой после расправы фашистов с её родными помутился рассудок, оказывается беременной. Факт чудовищный, ди-

кий: это могло быть только насилие, циничное и гнусное. Автор наскоро сообщает о горестном недоумении по этому поводу отца девушки и полностью переключается на изображение целительного воздействия родов на психику девушки и чуткого, доброго отношения к ней окружающих, в том числе и родных её предполагаемого развратителя. Вся эта история получилась как-то в стиле «что бог ни делает, всё к лучшему».

А вот маленькая, но сжимающая сердце новелла о девочке Дуне, в которой автор с настоящим мастерством сумел показать и детскую непосредственность, и лёгкий, добрый характер героини, и её благодарность за малейшее проявленное к ней внимание, и детски гордое желание «не жаловаться», — а над всем этим такое сиротство и заброшенность, такое горе, что никак нельзя бы-

ло бы простить взрослого, повинного в нём. Вероятно, именно потому автор избегает дальнейшего «вживания» в эту тему, и на этом отрывке кончается история маленькой Дуни.

Чрезмерно снисходительное отношение автора к человеческим проступкам тем более непонятно, что писательница по-настоящему любит людей, а настоящая любовь к людям ничего общего не имеет с пресловутым «понять — значит простить». Думается, что налёт умиленности и всепрощения в книге Т. Игумновой — случайность, может быть, результат неправильно понятой педагогической идеи. Вероятно, это так, иначе повесть не давала бы такого ощущения жизнерадостности и веры в человека.

М. БЛИНКОВА.



После долгого ожидания

Большая литературная традиция лежит позади этой нарядно изданной книги. Пока вы читаете её, множество великих и замечательных произведений вспоминается вам. В то же время её можно читать и просто, без реминисценций, так как она интересна сама по себе.

Тот читатель, которому адресует повесть издательство (а вышла она вторым изданием и на этот раз в так называемой «Школьной библиотеке» Детгиза стотысячным тиражом), будет читать её, заинтересовавшись судьбой обаятельного героя Джека-Соломинки, одного из руководителей крестьянского восстания в Англии четырнадцатого столетия, и его своенравной возлюбленной — леди Джоанны Беатрисы Друриком из старого замка Друриком в Кенте.

Но «взрослый» читатель без труда обнаружит: чтобы написать эту книгу, автор немало поработал над рыцарской литературой, над романами и хрониками английского средневековья.

С Джеком и Джоанной мы проходим по дорогам зелёного Кента, по взбунтовавшемуся графству Эссекс, посещаем великий столичный город Лондон. Мы попадаем в смрадную мастерскую мистера Генри Пэстона, знакомимся с её хозяином, узнаём его льстивого шурина и учеников, товари-

щей Джека-Соломинки. Многие из них впоследствии примут участие в восстании.

Мастерская Генри Пэстона напоминает многим описание потогонных мануфактур XIX века, сделанные рукой великого Диккенса. Время движется в доброй старой Англии неторопливо, и цеховые отношения, характерные для средневековья, сохранились там до эпохи пара.

Однако мы ясно ощущаем, что книга написана не в XIV веке и не во времена Диккенса, а в наше время, в нашей стране. Ведь то обстоятельство, что героем своим автор вывел не блистательного королевского рыцаря сэра Саймона Бёрли, а простого мужицкого малого Джека Строу — Джека-Соломинку, что леди Джоанна Беатриса Друриком больше похожа на обыкновенную крестьянскую девочку, и даже руки у неё трудовые, в мозолях, и живёт она нелёгкой жизнью, и полюбила она не своего знатного законного мужа — родовитого, благородного рыцаря, а простого мужика, — необычно для рыцарских романов.

Это уже, безусловно, вне традиции, вне обычных представлений о средневековье.

По своему замыслу, по своему заданию книга Зинаиды Шишовой написана в противовес рыцарским романам, а отчасти и в полемике с Вальтером Скоттом. Рядом с созданными автором в ней действуют подлинно исторические персонажи: это Уот Тайлер, короли Эдуард III и Ричард II, про-

поведник отец Джон Бол, рыцарь Саймон Бёрли. Даже главный герой книги — Джек-Соломинка — лицо не вымышленное: имя его, как одного из руководителей крестьянского восстания, не забыто и в сегодняшней Англии.

Не о сверкающих турнирах повествует книга, а о крестьянском восстании, не о бездумной жизни королевского двора, а о трудной жизни английского народа, — поэтому-то читатель всё время не забывает о месте и времени написания вещи, поэтому-то, несмотря на всю английскую традицию, повесть Шишовой очень русская.

Книга о восстании английского народа освещена пламенем и светом истории русской народной революции. Это делает её близкой и понятной современному читателю.

Конечно, Джек Стру — природный англичанин, упрямый кентский парень, но он сродни своему русскому собрату, который через много лет поведёт по широкой Волге лёгкие струги, добываясь желанной крестьянской свободы.

К сожалению, мы очень небогаты такими книгами, и потому особенно отраднo, когда их создают люди талантливые и обладающие хорошей писательской культурой. Для иллюстрации того, что это так, достаточно выписать из повести хотя бы предсмертный сон Джека Стру:

«Джек Стру Англию представлял себе очень смутно. Он исходил вдоль и поперёк шесть или семь графств и знал, что их ещё столько же или, пожалуй, даже больше. Знал, что на севере, через границу, лежит Шотландия; только до прошлого года он думал, что она помещается на отдельном острове. Знал, что Лондон стоит на реке Темзе и в нём живёт король.

И, однако, в ночь перед казнью Джеку приснилась Англия. Она была невысокая и тесная, как деревенская кузница.

Джек шёл по Англии узким проходом, а у стен стояли и работали свою работу разные люди: бочары, кровельщики, седельники, шорники и пивовары.

Тут же, у стен, примостились со своими оселками и косари.

По красным, воспалённым векам он узнавал кузнецов и угольщиков, а те, которые

сильно кашляли, это были люди с серных разработок.

В Англии было тесно и шумно, но все работали мирно, и никто никого ни в чём не упрекал.

А когда кому-нибудь случалось сбронить на пол топор, долото или шило, двое или трое соседей наклонялись, чтобы ему помочь.

Вот такой был его последний сон. Он ничего не обозначал, и всё-таки Джек проснулся с улыбкой. Ему радостно было хоть перед смертью увидеть столько знакомых лиц. Сейчас к его окну стража никого не подпускала.

Тут нет лишних слов, всё подчинено общему замыслу. Джеку не зря Англия кажется «невысокой и тесной, как деревенская кузница»: он старший сын деревенского кузнеца, не раз помогавший отцу раздуть горн. В этой Англии прошло его детство, его короткая жизнь, здесь он познал любовь, которой посвящено так много прекрасных страниц в книге.

Великолепно написаны эпизоды похода мужиков на Лондон, их встреча с королём, казнь Джоанны и многие другие места повести, то трогательные, то весёлые, то печальные.

Читая повесть З. Шишовой, невольно думаешь: как жаль, что мы можем предложить нашему юношеству для внеклассного чтения (повесть Шишовой, изданная в Детгизе, сама собой встанет именно на эту полку) мало исторических книг, которые расширили бы его кругозор, давали пищу воображению. Поговорите с нашими школьниками старших классов, и в большинстве случаев вы убедитесь, что их исторические представления узки и неконкретны. Известно, что учебники наши написаны недостаточно выразительно, так что потребность в живой, хватающей за сердце исторической книге необыкновенно велика.

Что же касается «Джека-Соломинки», то переиздания этой замечательной повести педагоги, библиотекари и читатели ожидали целых двенадцать лет (первое вышло ещё в 1944 году!). Почему? Почему Детгиз, мягко говоря, так не спешил?

И. РАХТАНОВ.

Поучительно и интересно...

В последнее время литературоведы, критики, даже целые научные учреждения заняты поисками наилучших форм и методов написания истории советских литератур. В печати уже отмечалось, что далеко не всегда этим поискам сопутствует успех. Мне пришлось недавно читать рукопись одной из таких историй. В числе её авторов были крупные знатоки своего дела, их добросовестное отношение к труду не подлежало сомнению, а читать эту рукопись не было никакой возможности: скука! Любая скучная книга — бич для читателя, но что может быть противоположнее, чем скучная книга о таком радостном человеческом деянии, каким является поэзия? Просто непонятно, почему литераторы, умеющие писать увлекательно, страстно, темпераментно, превращаются в бухгалтеров или учётников, едва они решают назвать свой труд «история литературы».

Кабардинцы, быть может благодаря счастливой случайности, избежали этой напасти. Книгу Хачима Теунова «Литература и писатели Кабарды» читать интересно и поучительно. В ней нет наукообразия, зато есть разнообразие. Мы находим здесь и обстоятельный обзор путей развития кабардинской литературы с древнейших времён до наших дней, и живописные портреты выдающихся писателей Кабарды, и анализ творчества её крупнейшего современного поэта.

Не спорим, что всё это довольно пестро, что с сугубо научной точки зрения в книге, вероятно, нет единого, привычного плана,— всё это так, но читатели не в обиде на автора, они о многом узнают от него. И если задачей Хачима Теунова было увлечь нас темой своей книги, внушить многонациональным читателям любовь к литературе кабардинцев, расширить, углубить наши пока ещё отрывочные сведения о литературном творчестве народов Северного Кавказа,— то следует признать, что эта задача разрешена, и разрешена талантливо.

«Я не критик и не историк,— пишет автор.— Прежде чем проложить дорогу, необходимо, чтобы кто-либо сначала прошёл по неизведанному месту и осмотрелся вокруг... Я твёрдо верю, что наши молодые

товарищи, готовящиеся стать литературоведами, смогут выпрямить намеченную тропу и проложить широкую дорогу».

До революции кабардинцы были бесписьменным народом. Адыгейские племена (кабардинцы, черкесы и адыгейцы сами себя называют адыгами) создали богатейшую народную поэзию. Они по праву гордятся своим национальным эпосом — «Нартскими сказаниями», которые дошли до нас в эпизодах — и прозаических и стихотворных.

С любовью вполне объяснимой излагает Хачим Теунов содержащие «Нартских сказаний». Широким читателям будет интересно узнать, что известный им с детства миф о герое, похитившем у богов огонь, имеется и в эпосе кабардинцев, но здесь огонь похищает не Прометей, а сын пастуха Сосуруко, чьё имя означает «Рождённый из камня». Другого нарта, Назрена, боги приковали к скале Эльбруса, что также напоминает нам рассказ о прикованном Прометее. Подобные сказания имеются почти у всех народов Кавказа и Закавказья. У грузин и осетин к скале прикован Амиран, в армянском эпосе — Шидар. Кавказоведы не без основания полагают, что легенда о прикованном к скале богорбце могла впервые зародиться на Кавказе.

Идея нартского эпоса выражена в строках, ставших в народе крылатыми:

Только тот достоин счастья,
Кто добудет счастье людям.

Богатырь Сосуруко, незаконнорождённый, «чёрная кость», добывает людям счастье. Он является в эпосе символом жизненной стойкости народа. Даже погребённый навеки в землю, он продолжает служить людям; реки, текущие с вершин Кавказа,— это слёзы Сосуруко, он любит неистребимой любовью ту землю, где «всё растёт и обновляется».

Хачим Теунов рассказывает, как фанатичное духовенство на протяжении столетий пыталось опорочить в глазах народа «язычника» Сосуруко, обрушивало ужасные проклятия на тех, кто сказывал песню о нём, но песня не умирала... Накануне Отечественной войны кабардинские фольклористы записали много тысяч строк нартских сказаний. Гитлеровцы, на несколько месяцев захватившие Кабарду, уничтожили эти записи. Но народ хранил сокровища в своей памяти, и после войны «Нартские сказания»,

заново собранные и записанные, вышли и на родном и на русском языке.

Большую художественную ценность представляют собой и исторические песни, былины о вожаках народных восстаний Андемиркане и Дамалее Широкие Плечи, о князе Темрюке, при котором четыреста лет назад, в 1557 году, произошло добровольное присоединение Кабарды к России. Хачим Теунов не просто пересказывает содержание этих песен, а как бы создаёт ряд маленьких рассказов, самобытных и назидательных. Некоторые подробности, имеющие, на первый взгляд, косвенное отношение к главной теме, в действительности только подчёркивают её важность. Так, говоря о народных лирических песнях, автор нам напоминает, что на кабардинские мотивы писали музыку Балакирев, Танеев, бывавший в Кабарде, советские композиторы Мясковский, Прокофьев, Мурадели.

В трудах подобного рода обычно бывают глава или раздел, посвящённые благотворному влиянию русской литературы. В книге Хачима Теунова нет такой специальной главы, но она вся пронизана светом русской культуры. Пушкин, Лермонтов, Толстой были не только первыми могучими певцами Кавказа, они были первыми, кто в кавказских горах увидел людей — свободолобивых, смелых и благородных. Вот почему в книге о кабардинской литературе так много написано о тех, кто впервые изобразил кабардинцев, — о Пушкине, Лермонтове, Толстом, Грибоедове, Полежаеве, Марлинском.

«Муза Пушкина как бы осветила давно уже на деле существовавшее родство России с этим краем», — писал В. Г. Белинский.

Уже в ранней поэме Пушкина «Кавказский пленник» имеется «Черкесская песня», во многом похожая на те песни, которые бытовали у кабардинцев в начале XIX века. Позднее Пушкин приступает к поэме «Тазит», оставшейся незавершённой. По мнению автора, разделяемому другими исследователями, в этой поэме Пушкин обнаружил превосходное знание кабардинских обычаев и нравов, устного народного творчества. Но самое интересное впереди. Оказывается, советские учёные пришли к выводу, что у Тазита был прототип, и не кто иной, как знаменитый кабардинский просветитель Шора Ногмов (1801—1844).

В очерке «Свет с Севера» Хачим Теунов рисует счастливый образ этого кабардинца, русского офицера, учёного и поэта, всем

своим существом устремлённого к гуманизму, к просвещению, к культуре России. В предисловии к кабардинской грамматике, созданной им на русской графической основе, Шора Ногмов пишет пророческие слова: «Придёт время, когда в душе грубого горца вспыхнет чудное чувство — светлыньк жизни — любовь к знанию... Это убеждение, давшее мне в тридцать лет силы и решимость учиться русскому языку, дабы хоть несколько понятно выразить мои мысли, говорит мне, что недолго осталось до сего счастливого времени».

Академик Берже в своём предисловии к «Истории адыгейского народа» Шоры Ногмова замечает: «Рассказывают ещё некоторые кабардинцы, лично знавшие его, что он познакомился с Пушкиным в Пятигорске, что Ногмов содействовал поэту в собирании местных народных преданий и что поэт, в свою очередь, исправляя Ногмову переводы песен с адыгейского языка на русский».

Шора Ногмов явился, по словам автора, родоначальником кабардинской литературы, филологии, истории, фольклористики. Через десять лет после его смерти родился поэт, которому суждено было вспеть жизнь социалистической Кабарды. Этот поэт — Бекмурза Пачев (1854—1936). О нём мы узнаём из очерка «Чудесный самородок» — лучшего, на мой взгляд, в книге Хачима Теунова.

Бекмурза Пачев был в молодости очевидцем междоусобиц кабардинских князей, народных битв с турецкими захватчиками, с царизмом, и он первый в Кабарде сказал полное поэтичное слово о колхозном строе. Сам Пачев так говорил о себе в беседе с начинающими писателями, среди которых был и будущий автор рецензируемой книги: «Мою поэзию родила любовь... и ненависть. Да, ненависть к тем, кто встал против буйного потока пламенных чувств горячего юноши к своей возлюбленной».

Эта история печальной любви рассказана Пачевым в стихотворении «Как Бекмурза задумал жениться». Пачев, в то время юный поэт, вырыл в отцовском саду землянку. Здесь, среди запахов чернозёма, обрубленных корней плодовых деревьев, свежего сена, Бекмурза создал свой собственный алфавит, чтобы с помощью пера воспроизвести на бумаге то, что волновало его душу. «В скромной землянке Бекмурзы, — пишет Хачим Теунов, — в восьмидесятых годах XIX века произошло знаменательное событие: соединились оба начала кабардинской

литературы — письменной речи и устного слова».

Исследуя пути поэзии Пачева, его связи с народным творчеством, автор одновременно рисует живой образ поэта, заступника народных нужд. Примечателен рассказ о том, как князь Мисостов обманул одного односельчанина Пачева. Поэт пришёл к князю, потребовал справедливости. Князь пригрозил, что велит прогнать его в шею. «А я, — выкрикнул Пачез, — пока твои холопы будут гнать меня в шею, сложу песню... Она облетит всю Кабарду».

Бекмурза Пачев хорошо понял силу воздействия поэтического слова, гневного и разящего, но он понял также и то, что

Доброй волей правитель
Не расстанется с властью.
Только сабли и ружья
Путь проложат нам к счастью.

Вслед за Ногмовым и Пачевым мы узнаём о третьем классике кабардинской литературы — об Али Шогенцукове (1900—1941).

Всё отчётливее определяется главная мысль автора: чем больше, чем активнее черпали кабардинские писатели из сокровищницы русской культуры, тем национальнее, самобытнее становилась культура кабардинская. Яркий пример этого — творчество Али Шогенцукова.

Сын крестьянина из селения Старая Крепость, Али попадает в школу Нури Цагова. Нури Цагов, преподаватель Баксанского духовного училища, был изгнан из него мусульманскими фанатиками за свои «еретические» взгляды, за стремление приобщить кабардинских детей к русской культуре. Но молодой учитель не сдался. Он пристроил к своему домику небольшое помещение, где решил создать новую школу, без мулл. Последние иронически назвали эту школу «цаговским университетом». Для будущего классика кабардинской литературы то был действительно университет, здесь Али Шогенцуков впервые узнал о Пушкине, Лермонтове, Некрасове. Особенно близко сердцу поэта стал Лермонтов:

«Лермонтовские строки —

Приветствую тебя, Кавказ седой,
Твоим горам я путник не чужой, —

всегда вызывали у нашего поэта восхищение. — Это мало — «не чужой», — с жаром говорил Шогенцуков. — Он наш, родной! Памятный для Кавказа навеки!»

Как и в предыдущих своих очерках Хачим Теунов стремится прежде всего создать живописный портрет писателя. Али Шогенцуков стал знаменит главным образом благодаря своим эпическим произведениям, как бы воссоздающим жизнь Кабарды на протяжении нескольких столетий. Теперь, когда нам предстоит торжественно отметить четырёхсотлетний союз Кабарды и России, книги Али Шогенцукова лучше многих брошюр и специальных статей расскажут нам о жизни кабардинского народа. Его «Камбот и Ляча» — первый кабардинский роман в стихах, посвящённый борьбе крепостных с князьями в XVII—XVIII веках.

В те года в печальном мире
Слёз людских лились потоки,
Чем потоки были шире,
Тем вслможней князь жестокий.
Страшным было самовластье,
И на острие кинжала
Человеческое счастье,
Ненадёжное, дрожало.

Поэма «Мадина» повествует о горькой судьбе кабардинки в дореволюционные времена. Крестьянское восстание 1913 года описано в поэме «Вчерашние дни Тембота». О гражданской войне в Кабарде рассказано в поэмах «Юный герой» и «Партизан Жамбот».

Отечественная война прервала вдохновенную работу поэта. Он добровольно пошёл на фронт и попал в плен. В ноябре 1941 года он умер в гитлеровском концлагере. Али Шогенцуков — народный поэт в подлинном смысле этого слова, — вот заключение, к которому мы приходим вместе с автором.

Надо сказать, что Хачим Теунов, будучи видным кабардинским прозаиком, умеет лучше показывать, чем доказывать. Вот почему раздел его книги, посвящённый творчеству ныне здравствующего поэта Алима Кешокова, слабее предыдущих. Хачиму Теунову пришлось стать на путь критического анализа поэзии Кешокова, сильной и своеобразной, хорошо знакомой русскому читателю. Однако анализ этот редко глубок, многие положения — например, то, что поэту больше удаётся лирика, чем эпос, — возможно, и правильные, повисают в воздухе, не подкреплённые убедительными доказательствами. Глава о творчестве Кешокова получилась не исследованием, а популярной газетной статьёй, которая была бы тучше, если бы была короче.

Хачим Теунов даёт верные, хотя порой и беглые характеристики современных кабардинских писателей. Принципы русского стихосложения, введённые в кабардинскую поэзию Али Шогенцуковым, успешно разрабатываются Алимом Кешоковым, Адамом Шогенцуковым, Беталом Куашевым, Амирханом Шомаховым, Хажбекпром Хавпачевым. Автор рассматривает пьесы Аскербия Шортанова, подробно останавливаясь на самой значительной и популярной — «Когда загорается свет». Аскербий Шортанов написал первую часть исторического романа «Горцы». Русскому читателю успела полюбить повесть Адама Шогенцукова «Софият». К сожалению, вне поля зрения Хачима Теу-

нова остался Хачим Теунов — автор первой книги кабардинской прозы.

Книгу о литературе Кабарды перевели на русский язык писатели В. Гоффеншефер и М. Киреев. Их труд заслуживает высокой оценки. Один из переводчиков в предисловии книги пишет: «Обзорная работа Теунова представляет собою немалый интерес и может принести пользу не только при ознакомлении читателя с литературой Кабарды, но и в общем деле развития и изучения советской литературы».

Можно только присоединиться к этому мнению.

С. ЛИПКИН.



Вы уже причастны!

Вы уже причастны», — этими словами Паскаля, обращёнными к невольному участнику богословского спора, полицейский следователь француз Виго разъясняет нейтральному журналисту англичанину Фаулеру его отношение к войне, которую ведут французские колонизаторы против вьетнамского народа. В этой короткой фразе выражено решение основной проблемы романа «Тихий американец», которая сводится к выбору: созерцать ли борьбу со стороны или стать к ней «причастным», быть ли беспристрастным наблюдателем или воином.

Эту проблему решают герои романа и с ними вместе автор. В Сайгоне, в один из напряжённых периодов недавней войны, которую вёл вьетнамский народ против колонизаторов, действует американская миссия. Всячески поддерживая и разжигая войну против национально-освободительного движения, прежде всего против коммунистов, американцы одновременно стараются вытеснить и «старых колонизаторов», чтобы самим занять их экономические и политические позиции. Для этого они назойливо рекламируют прелести заокеанской демократии и широко используют местных проходимцев в качестве «третьей силы». Так, сотрудники этой американской миссии связываются с одним «автономным» южно-американским генералом, снабжают его банды оружием, чтобы путём террористи-

ческих актов помочь ему захватить власть. Мирные граждане — женщины и дети — гибнут. Всей этой деятельностью руководит молодой американец Пайл — начинающий дипломат-диверсант, который в промежутках между подготовкой взрывов находит время, чтобы отбить у своего приятеля, английского журналиста, его любовницу — вьетнамскую девушку.

Повествование ведётся от лица второго героя романа, журналиста Фаулера, который с отвращением наблюдает грязную войну французских колонизаторов против вьетнамского народа и с ненавистью следит за диверсионной деятельностью американцев. Он старается быть беспристрастным нейтральным наблюдателем, только видеть и фиксировать да сообщать новости своей газете, но простые, здоровые чувства человечности, справедливости побуждают Фаулера вмешаться, чтобы воспрепятствовать преступлениям. Он связывается с представителями революционного подполья и помогает им убить ретивого поставщика пластмассовых диверсантских мин и покровителя бандитов — «тихого американца» Пайла.

Обычная логика художественного воплощения такой темы предполагала бы, что противостоящие друг другу герои, которые представляют различные антагонистические мировоззрения, будут наделены и соответствующими типическими личными чертами. Согласно такой логике автор должен был бы избрать в качестве представителя отвергаемой и осуждаемой им системы взглядов по возможности отрицательный тип и, на-

Грэхем Грин. Тихий американец. Роман. Журнал «Иностранная литература» №№ 6—7, 1956.

против, поручить защиту своих идей положительному герою.

Но Грин — художник экспериментатор, которому более всего чужды жёсткие схемы и любые виды писательской дедукции, когда произведения создаются исходя из заранее определённых выводов, из намеренно заданных идейно-эстетических концепций. И он избирает в этом романе линию наибольшего сопротивления. Подобно тому, как Станиславский учил актёров, что для того, чтобы правдиво играть роли злодеев, нужно прежде всего думать о том, в чём эти злодеи «бывают хорошими», Грин поручает представлять ненавистное ему общественно-историческое явление — современный американский колониализм — субъективно положительному персонажу.

Пайл — «тихий американец» — обладает всеми лучшими чертами своей национальной и социальной среды; он наделён множеством добродетелей: он честен, прямолинеен, скромен, добродушен, храбр, хороший тозарищ, примерный сын и несомненно должен стать любящим и заботливым мужем. К тому же он лишён специфической американской развязности и даже не расист — всерьёз собирается жениться на «цветной» девушке.

Но именно потому, что Пайл как личность, как «человек сам по себе» — просто добрый парень, не слыхом умный, но и не глупый и искренне стремящийся к деятельности во имя высоких «общечеловеческих» идеалов, — именно поэтому так страшна, так отвратительна его подлинная, объективная роль зачинщика бессмысленных кровавых преступлений, послушного орудия американского колониализма, его ребяческая вера в правомочность и благотворность американских претензий на управление миром, на руководство «примитивными» народами Азии, претензий, во имя которых незлобивый «тихий» бостонский интеллигент оправдывает истребление сотен тысяч и миллионов людей, разрушение и уничтожение целых стран.

Грин — художник-экспериментатор — создаёт своеобразное смещение и переслаивание сюжетных планов. В его романе не только облик героя вырисовывается на фоне определённой исторической действительности — в данном случае колониальной политики США, — но и наоборот, самый образ, портрет становится контрастным фоном, на котором с необычайной резкостью выступают черты породивших его социаль-

ных сил; аккомпанемент перерастает в зловещую мелодию, а мелодия становится выразительным аккомпанементом.

Почти так же Грин раскрывает и свою точку зрения, своё авторское отношение к событиям и проблемам, служащим основой его романа.

Журналист Фаулер, который представляет идеи автора, в противоположность добродетельному Пайлу наделён многими грехами и даже пороками. Он душевно опустошён, циничен, упорно старается быть равнодушным индивидуалистом-себялюбцем, пьёт, курит опиум и к своей возлюбленной, — которую Пайл почтительно и нежно обожает, — привязан бездумным, безрадостным эгоистическим влечением. На искреннюю дружескую приязнь Пайла, на его честное, открытое мужское соперничество — когда тот хочет сделать своей женой девушку, которая для Фаулера только очередная любовница, — он отвечает грубостью, насмешками, обманом. И, наконец, несмотря на то, что Пайл, рискуя жизнью, спас его от верной гибели, Фаулер сознательно и продуманно содействует его убийству.

Таковы внешние контуры образа.

Но именно потому, что Фаулер кажется таким греховным, таким нехорошим, с особенной яркостью и силой проявляются затаённые в нём неистребимые свойства настоящей человечности: настоящее, не вычитанное, не показное сочувствие и уважение к народу Вьетнама; настоящая ненависть и настоящее отвращение к империалистам и колонизаторам, к ханжеству и лицемерию их пособников; настоящая порядочность — не декларативная, не определяемая традиционными условиями, а естественно присущая всему его душевному складу; настоящее человеколюбие — не выводимое из умозрительных рассуждений, а вырастающее из самой глубины его сердца, горячего и отзывчивого вопреки всему горькому жизненному опыту, вопреки всем намеренным самоограничениям, вопреки подлинному и напускному цинизму.

Фаулера раздражает Пайл — великовозрастный напыщенный мальчишка с его «непроницаемой бронёй добрых намерений и невежества»; он с горечью и с острой, хотя и подавляемой, болью воспринимает уход своей любовницы к более молодому и более «положительному» сопернику. Однако отнюдь не эти чисто личные противоречия побуждают Фаулера отказаться от своего

принципиального нейтралитета, вступить в борьбу на стороне противников Пайла и обречь «тихого американца» на смерть. Напротив, эти обстоятельство даже удерживают его, вызывают сомнения и колебания. В одном случае он сам говорит о своём отношении к Пайлу так: «Какой-то внутренний судья всё подытожил в его пользу, сравнив его идеализм, его скороспелые мысли, основанные на книгах... с моим цинизмом».

Нет, решающим побудительным толчком, превратившим наблюдателя в участника борьбы, заставившим Фаулера почувствовать и осознать необходимость любой ценой «обуздать Пайла», был очередной крупный взрыв, устроенный его агентурой на городской площади. Когда Фаулер увидел трупы женщин и детей, а рядом с ним Пайл, «бледный, подавленный», близкий к обмороку, испуганно глядел на свои запачканные кровью башмаки и бормотал: «Надо непременно почистить, так нельзя идти к посланнику», — именно тогда и только тогда Фаулер наконец подумал: «Какой смысл с ним говорить? Он так и останется праведником, а разве можно обвинять праведников — они никогда ни в чём не виноваты. Их можно только сдерживать или уничтожать...»

И воспоминание именно об этом кровавом эпизоде в решающую минуту подавляет все колебания Фаулера, и он назначает Пайлу гибельное для того свидание. Но после его смерти Фаулер по-человечески жалеет злополучного парня, искренне грустит: «Как мне жаль, что всё так вышло». (Это последние слова романа.)

Последовательность развития сознания Фаулера и объективно моральная и субъективно-психологическая оправданность его перехода от созерцания к действию, от насмешливой неприязни к боевому сопротивлению воплощены не только в трагической иронии противоречия Фаулер — Пайл. Эта последовательность и эта оправданность в развитии образа определяются в целом рядом побочных и промежуточных эпизодов — естественно случайных и вместе с тем сюжетно необходимых, в которых нейтральный журналист сталкивается с уродливой сущностью своего непосредственного окружения. Тут и откровенно агрессивные, шумно наглые Джо и Грейнджер, тут и плантатор, любитель похабной живописи, и лётчик Труэн, который цинично, озлобленно и в то же время растерянно говорит об омер-

зительной войне «за плантаторов Терр-Руж», и помощник Домингес, убеждённый сторонник буддийско-христианской морали пассивного непротивления.

Таким образом, характер второго действующего лица романа разработан на такой же внутренне противоречивой основе, что и первого. Не переставая быть конкретным художественно самодостаточным образом, он вместе с тем так же становится контрастным фоном, выразительным аккомпанементом той ведущей мелодии, той гуманистической идеи, которую выражает его объективная роль в драматической коллизии, его отношение к людям и событиям.

Последовательный вывод из трагического анализа, который с такой убедительностью воплощён в романе Грина, можно определить примерно так: глетворная, бесчеловечная власть убогих теорий и гнусной практики империализма делает даже доброго бостонского парня объективным и субъективным виновником, зачинщиком и соучастником кровавых преступлений, и, напротив, благородная сила справедливого гуманистического гнева, справедливой ненависти и отвращения к миру империализма и простое человеческое сострадание и уважение к угнетённому народу даже у опустившегося, грешного Фаулера пробуждают новые светлые душевные силы, приводят его к участию в борьбе за правое дело.

Можно обнаружить ещё много иных любопытных и значительных особенностей творческой манеры Грина, выраженных в этой книге. К ним относится дерзко-непринуждённая композиция — кинематографически стремительное чередование кадров, эпизодов, иногда, на первый взгляд произвольно, смещаемых во времени. Так, началом романа служит конец его фабульного развития, а в последующих главах вспоминающий рассказчик — он же действующее лицо — то и дело возвращается к событиям конца — начала, к эпизодам, не последовательным по времени. Однако такое построение не только не ослабляет драматической напряжённости и занимательности повествования, но и ни на миг не воспринимается как искусственный, формальный приём. Оно оказывается естественным, органичным выражением того непоследовательного, противоречивого, смятенного и напряжённо-сдержанного в своей смятенности процесса, который идёт в сознании героя, в мыслях, ощущениях и судьбах действующих лиц.

Однако главной особенностью романа является то, что художественная правда новой книги замечательного английского писателя неразрывно связана с большой общественно-исторической правдой.

Грэхем Грин пишет уже более двух десятилетий. Проницательный и неутомимый наблюдатель, исследователь человеческой психологии, отличный мастер тонкой, выразительной словесной живописи, блестящий рассказчик и стилист, создатель скупых, неподдельно естественных и вместе с тем предельно «нагруженных» художественным смыслом диалогов и внутренних монологов, он по праву считается одним из ведущих (по мнению некоторых критиков, даже самым выдающимся) представителей современной английской прозы.

В большинстве прежних своих произведений — романов, повестей, новелл, путевых очерков — Грин выступал прежде всего как художник, увлечённый вопросами этики, нравственности и сложных внутренних закономерностей человеческого сознания, которые он рассматривал преимущественно в пределах субъективной индивидуальной психологии, в коллизиях, возникающих из чисто личных взаимоотношений людей. Отвлечённость, религиозная и субъективно-идеалистическая ограниченность нравственных идеалов Грина неоднократно вводили его в сторону болезненных, патологических явлений. Многие его произведения являлись художественными исследованиями случайных, атипических, необычайных характеров и ситуаций, психологии преступников, неврастеников, уродливо развивающихся детей и подростков. В них преобладали настроения безнадежного пессимизма, горькой иронии и сдержанного в своих проявлениях, но безысходного трагического отчаяния. Подобно своему герою Фаулеру, он старался быть только наблюдателем, только созерцателем, и, должно быть, так же как Фаулер ищет утешения у своей очаровательной, таинственной и глупенькой возлюбленной и в трубке опиума, так и сам Грин прибегал к католицизму, к безмолвной вере в потустороннее торжество добра и справедливости. Она безмолвна потому, что — к счастью — искренняя и по сути своей этическая, а не догматическая религиозность писателя не определила существа его художественного творчества.

Правда непосредственного взволнованного восприятия конкретной действительности, правда мироощущения

художника-гуманиста оказывается сильнее и, уж конечно, плодотворнее отвлечённых представлений его же, пусть искреннего, но иллюзорного религиозного мировоззрения.

Именно поэтому в творчество Грина всё чаще, всё неудержимее проникает, врывается дыхание большой жизни, большой исторической правды. Вопросы субъективной психологии, субъективной нравственности всё более последовательно раскрываются художником как производные объективной общественно-исторической действительности.

В книге «Меня создала Англия» (1935) опустившийся «блудный сын», проходимец, сутенёр Фаррент, в котором на какое-то мгновение всё же пробуждается чувство простой человечности, справедливости и сочувствия к рабочим, борющимся за свои права, противопоставлен «добропорядочному» капиталисту Крогу, который, несмотря на все свои умозрительно добрые намерения, сомнения и рефлексии, сознательно и расчётливо совершает одно за другим самые грязные преступления (клевета, подлог, убийство) во имя корыстных интересов своего концерна (соотношение, совершенно очевидно родственное коллизии «Тихого американца»).

В романе «Суть дела» (1948) — о жизни и самоубийстве честного полицейского Скоби, служившего в одной из британских колоний Западной Африки, — личная трагедия героя неразрывно связана с трагической бессмысленностью его общественной роли и раскрывается на фоне неприглядной действительности колониального угнетения и колониального рабства.

Уже из этих двух примеров очевидно, что «Тихий американец» не случайное явление в творчестве Грина. Этот новый роман оказывается новым подвѐмом на последовательно восходящем пути идейного и творческого развития писателя.

Его новая книга «Тихий американец» является недвусмысленным свидетельством того, что автор всё более последовательно и страстно участвует в споре по самым острым, самым жгучим вопросам современности.

«Вы уже причастны», — может сказать теперь Грэхем Грин самому себе.

И осуществляет он эту причастность прежде всего как художник. В ярких образах, в напряжённой драматической фа-

буле, в живописных картинах ландшафтов и событий воплощено гриновское восприятие проблем современного колониализма, империалистической экспансии США, права народов Азии на борьбу за свою независимость и т. д.

Переводчики Р. Райт-Ковалёва и С. Митина сумели, отлично преодолев очень серьёзные трудности, передать своеобразие изысканно простого, лаконичного, но предельно точного и выразительного языка подлинника. Литературная общественность живо откликнулась на это первое (надемся, что скоро последуют другие) появление в нашей печати произведения Грина. В ходе обсуждения «Тихого американца» в Союзе советских писателей литературоведы и кри-

тики А. Аникст, А. Старцев, А. Елистратова, Б. Изаков и Т. Ланина высказали ряд интересных наблюдений и соображений об основных идейно-эстетических проблемах творчества Г. Грина (см. «Иностранная литература» № 7, 1956). При всём разнообразии мнений, а в некоторых случаях и полемических разногласиях участников обсуждения, общим для всех было чувство искренней приязни к английскому писателю-гуманисту, высокая оценка художественных достоинств романа и уверенность в том, что он служит новым убедительным и талантливым воплощением возрастающей «причастности» Грина к великому делу борьбы за мир и прогресс.

Л. КОПЕЛЕВ.

★

Политика и наука

Книга об Индонезии

В течение трёх с половиной веков Индонезия была бесправной колонией голландских империалистов. Недавно она обрела независимость.

Советские люди всегда с глубоким сочувствием относились к национально-освободительной борьбе индонезийского народа. Между Советским Союзом и Индонезийской Республикой существуют прочные дружественные отношения. Недавний визит в нашу страну президента Индонезии, одного из выдающихся государственных деятелей новой Азии Сукарно и Советско-Индонезийское Совместное заявление явились ещё одним свидетельством братской дружбы между народами Советского Союза и Индонезии и их решимости совместно бороться за укрепление мира во всём мире.

О сегодняшнем дне Индонезии рассказывает книга Д. Беклешова «Индонезия. Экономика и внешняя торговля».

Общая площадь Индонезии — «страны тысяч островов» — около двух миллионов квадратных километров. По населению она занимает шестое место в мире: здесь проживает более восьмидесяти двух миллионов человек.

Автор последовательно характеризует различные отрасли промышленности и сельского хозяйства Индонезии, анализирует её внешнюю торговлю. Заключительная глава

кратко повествует о борьбе индонезийского народа за укрепление национальной независимости. В приложении к книге дано большое количество таблиц различных экономических показателей.

Рассматривая путь экономического развития Индонезии, автор приводит рельефное сопоставление ужасающей нищеты и отсталости — результат долголетнего господства колонизаторов — с успехами, достигнутыми молодой республикой. В книге собран и систематизирован интересный и в значительной степени новый или малоизвестный материал.

Тяжёлое наследие колониализма до сих пор сказывается на экономике республики. Индонезия — всё ещё технически отсталая, сельскохозяйственная страна. Стоимость всей промышленной продукции составляет лишь десять с половиной процентов национального дохода. Продукция горнодобывающей промышленности (нефть, олово, бокситы и т. д.) целиком идёт на экспорт. Почти полностью вывозится из страны каучук, по производству которого Индонезия занимает первое место в мире.

Встречая поддержку всего народа, правительство Индонезии взяло курс на индустриализацию страны и превращение колониальной экономики в экономику национальную.

В последние годы национализированы эмиссионный Банк Индонезии, несколько месторождений полезных ископаемых, авиа-

Д. В. Беклешов. Индонезия. Экономика и внешняя торговля. Редактор Н. А. Барыкина. 148 стр. Внешторгиздат. М. 1956.

компания «Гаруда», семьдесят процентов электротехнических компаний. Государству принадлежит девяносто процентов железных дорог. Двенадцатилетняя программа развития железнодорожного транспорта предусматривает значительные работы по строительству новых дорог. Создана национальная компания для осуществления каботажных перевозок, которые совсем недавно были монополией голландских пароходных компаний; растёт индонезийский торговый флот.

Планы развития отдельных отраслей экономики предусматривают строительство различных промышленных предприятий. Ведётся работа по подъёму сельского хозяйства, и в первую очередь — по увеличению производства продовольственных культур. Путём определения размеров импорта и экспорта, а также применения валютных ограничений или поощрений правительство проводит государственное регулирование внешней торговли. Принимаются меры для ограничения деятельности в стране иностранных монополий.

В Индонезии запрещён труд детей, женский труд в ночное время и во вредных для здоровья условиях и ограничен труд подростков. Законом предусмотрен восьмичасовой рабочий день. Установлен размер минимальной заработной платы и уравнена зарплата мужчин и женщин.

По принятому в 1954 году чрезвычайному декрету индонезийские крестьяне, занявшие во время вооружённой борьбы с колонизаторами плантационные земли, не могут быть с них выселены.

Всё это ведёт к укреплению индонезийской экономики, к укреплению национальной независимости.

Книга Д. Беклешова написана популярным, хотя кое-где и слишком сухим языком. Фотографии, карты, схемы и диаграммы помогают лучшему уяснению разбираемых вопросов.

Всё же в книге имеется ряд пробелов и недостатков.

Очень мало и не всегда верно сказано о первом пятилетнем плане развития народного хозяйства Индонезии (на 1956—1960 годы), основные положения которого были известны к моменту сдачи рукописи в производство. Ассигнования по этому плану предусмотрены не в 11 400 миллионов рупий, как пишет автор, а в 30 000 миллионов рупий. Говоря о позициях, всё ещё занимаемых в индонезийской экономике импе-

риалистическими монополиями, автор не отмечает, что капиталовложения национальных предпринимателей составляют лишь девять процентов суммы иностранных инвестиций. Не сказано в книге и о том, что ежегодные прибыли иностранных компаний всё ещё почти равны государственному бюджету Индонезии. Опираясь на свои позиции, империалисты пытаются помешать индустриализации Индонезии, подъёму её народного хозяйства и повышению жизненного уровня трудящихся.

Напрасно автор не привёл конкретных цифр, говорящих о том, сколько земли получили после войны индонезийские крестьяне (на Суматре — 230 тысяч гектаров, на Яве — 80 тысяч).

Совершенно непонятна таблица «Национальный доход на душу населения» (стр. 137). По этой таблице он исчисляется миллионами рупий. На самом же деле в результате многолетнего господства колонизаторов доход на душу населения в стране ещё очень низок и достигает лишь 280 рупий в год.

В последней главе автору следовало рассказать о создании в августе 1955 года Национального конгресса Индонезии, этой, как говорит генеральный секретарь Коммунистической партии Индонезии Д. Н. Айдит, «межпартийной организации, основанной на принципах совместной борьбы за осуществление программы августовской революции». Образование Национального конгресса — важная веха на пути создания единого фронта всех патриотических сил страны.

Из отдельных неточностей, имеющих в книге, отметим, что провинция Сунда Кечил (Малые Зондские острова) в 1954 году была переименована в провинцию Нуса Тенггара.

Вызывает недоумение, что первая за последние несколько лет книга советского автора об Индонезии издана тиражом всего в три тысячи экземпляров. Давно настала пора резко увеличить число работ о «молодом гиганте», как всё чаще стали называть Индонезию. Читатели ждут монографий, посвящённых героической истории национально-освободительного движения индонезийского народа, политической жизни современной Индонезии, культуре этой древней страны, в упорной борьбе завоевавшей государственную независимость.

Кандидат юридических наук
Л. ДАДИНИ.

Правда об „империи нефти“

Не так давно влиятельная реакционная американская газета «Нью-Йорк геральд трибюн» сделала на своих страницах весьма любопытное признание. Газета писала: «Ни одна страна мира не имеет столь разработанной во всех отношениях технической доктрины относительно нефти, какой обладают США. Ни одна страна не зависит так от энергии, которую даёт нефть. Всё же благодаря смеси необоснованных утверждений, официальной скрытности и полного лицемерия, затуманивающих предмет, немногие так плохо осведомлены о всемирном значении добычи и распределения нефти, как американцы».

Суть дела заключается отнюдь не в том, что о нефти в США мало написано или пишется. Наоборот, ей посвящены целые тома, слово «нефть» не сходит со страниц газет и журналов, ей посвящают частые передачи радио и телевидение. Но всё это призвано лишь «затуманить предмет» и скрыть от рядового американца подлинный характер нефтяных монополий, их всеислие, их хищническое нутро.

С большим трудом удалось известному американскому публицисту и исследователю Гарвею О'Коннору издать в США свою книгу «Империя нефти», в которой даётся неприкрашенная картина деятельности американских нефтяных монополий.

Говорят, что любой, кто хочет понять Америку, должен понять большой бизнес. А большой бизнес лучше всего олицетворяет нефть. В самом деле, по последним данным «Ферст нейшнл бэнк оф Нью-Йорк», из тридцати нефинансовых американских корпораций с активами более чем в миллиард долларов десять, то есть одна треть, — нефтяные компании, активы которых превосходят активы всех остальных компаний, вместе взятых.

«Империя нефти» — правдивый рассказ о том, как возникли, развивались и действуют в наши дни эти десять нефтяных компаний. Автор пишет, что нефтяные гиганты «рассматривают мир, как свою вотчину, и намерены извлечь всю пользу из этого». Им принадлежат или находятся под их контролем все главные запасы нефти капиталистического мира, причём

«невидимые нити, управляющие их действиями, не поддаются контролю таких суверенов, как правительства США и Англии».

Отчётливое представление о всеислии нефтяных монополий даёт знакомство с крупнейшей из них — «Стандард ойл компани оф Нью-Джерси». Ежегодный доход компании равен примерно шести миллиардам долларов. Это превышает национальный доход Канады. Дивиденды «золотой и неприкосновенной «Джерси», — иронически пишет автор, — почти так же прочны, как смерть и налоги».

На примере «Стандард ойл компани оф Нью-Джерси» О'Коннор показывает, кто является подлинным хозяином США, кто вершит их внутреннюю и внешнюю политику. Подлинная власть в США сконцентрирована не в Белом доме или Капитолии, а на Рокфеллер-плац, 30, в Нью-Йорке, где помещается «мозговой трест» «Джерси», и в других конторах корпораций-миллиардеров.

«Джерси» и другие нефтяные монополии оказывают решающее влияние и на внешнюю политику США. Такое положение объясняется во многом тем, что их заграничные капиталовложения составляют одну пятую всех заграничных активов США. Неважно, кто осуществляет внешнюю политику, пишет О'Коннор, ибо она находится на службе корпораций, контролирующих самый чувствительный, самый важный, самый необходимый товар в мире — нефть. Без неё морской флот стоит на якоре и самолёты не летают. Государственные секретари представляют переходящее явление, и подъём и падение президентов — это события в развитии «Стандард ойл компани оф Нью-Джерси».

Однако внешняя политика, диктуемая с Рокфеллер-плац, не отвечает национальным интересам американского народа: «Джерси» выше подобных «сентиментов». Об этом свидетельствует приводимая в книге О'Коннора история картельных связей «Джерси» с химическим концерном гитлеровской Германии «И. Г. Фарбениндустри». Согласно документам, захваченным американской армией в 1945 году, руководители «И. Г. Фарбениндустри» заявили Гитлеру, что они получали от «Джерси» сведения, без которых «нынешний метод войны был бы немислим». Вермахт, как утверждало гитлеровское руководство, смог накопить

Harvey O'Connor. The Empire of Oil. Monthly Review Press. New York. 1955 (Гарвей О'Коннор. Империя нефти. Издание «Мансли ревью». Нью-Йорк. 1955).

авиационный бензин и смазочные масла благодаря «Джерси».

Привлекает внимание история возникновения нефтяного бизнеса в США, изложенная О'Коннором в лапидарном, публицистически заострённом сатирическом плане в главе «Четыре века нефти». Эта история, пишет автор, начинается с 1859 года, когда Дрейк научился добывать нефть из земли, а Джон Д. Рокфеллер научился получать деньги из нефти.

Девизом этой истории является закон нефтяных джунглей, гласящий: «Захвати нефть своего соседа раньше, чем он захватит твою». Своеобразное обоснование хищнической конкуренции было дано в «знаменитой» лекции Джона Д. Рокфеллера об «Американской прекрасной розе». Выступая перед студентами, Рокфеллер говорил: «Можно вырастить прекрасную розу со всем её великолепием и ароматом, которая доставляет радость её владельцу, только принеся в жертву бутоны, растущие вокруг неё. Это не дьявольская тенденция в деловом мире. Это просто действие закона природы и божьего закона».

Наибольший интерес в книге О'Коннора представляет рассказ о том, как монополии — в данном случае нефтяные монополии — вначале сражаются с государственным аппаратом, а в дальнейшем полностью поглощают его, превращая последний в своеобразную форму «легального лобби» — защитника и проводника их интересов.

Непосредственная и притом вполне узаконенная связь между правительством и нефтяным бизнесом осуществляется через Национальный нефтяной совет. Он диктует правительственным органам текущую политику в области нефти и осуществляет повседневный бдительный контроль над деятельностью правительственных учреждений, имеющих отношение к нефтяной промышленности.

Магнаты нефтяной промышленности контролируют обе крупнейшие политические партии в США — демократическую и республиканскую, хотя отдают предпочтение последней. Именно финансовая поддержка, полученная от королей нефти республиканцами, позволила им одержать победу на президентских выборах в 1952 году. Эта поддержка, по словам О'Коннора, составила кругленькую сумму в сто миллионов долларов.

Но деньги были помещены весьма выгод-

но. Приход к власти республиканцев обеспечил нефтяным магнатам контроль над новыми источниками нефти — нефтяными отмелями, потенциальная стоимость которых выражается в астрономической цифре — триста миллиардов долларов.

Однако нефтяные монополии этим не ограничились. В нынешнем правительстве США заседают их непосредственные представители: морской министр Роберт Б. Андерсон, министр юстиции Герберт Браунэлл и министр внутренних дел Дуглас Маккей. Последний, отвечая на поздравление техасских нефтепромышленников в связи с назначением его на пост министра, заявил: «Я надеюсь, что не разочарую вас». Своё слово Маккей сдержал.

О'Коннор подробно рассказывает о том, как нефтяные короли создают и свергают сенаторов и членов палаты представителей. Весьма показательна приводимая в книге реплика крупного техасского нефтепромышленника Мерчисона, истратившего на избирательную кампанию республиканцев сто тысяч долларов. В ответ на сообщение о том, что сенатор Маккарти хорошо отстаивает в конгрессе интересы нефтяного бизнеса, он презрительно заметил: «О, в конгрессе я имею десяток человек, которые соображают лучше, чем Маккарти».

Опираясь на большое количество фактического материала, О'Коннор разоблачает пресловутое «антиitrustовское законодательство» и всевозможные меры «регулирования» большого бизнеса, вскрывая их иллюзорный характер. «Общественные регуляторы, — пишет автор, — как правило, подчиняются тем, кого они регулируют». О'Коннор приводит слова судьи Дугласа о том, что таких регуляторов следует регулярно сменять: их быстро подкупают монополии, если, конечно, они с самого начала не состояли у них на иждивении. Антиitrustовское законодательство в США весьма смахивает на суд, описанный в одной из басен Крылова, с той только разницей, что здесь дело идёт не о щуке, а об акулах...

Заключительная глава книги О'Коннора посвящена деятельности нефтяных монополий США за рубежом, их международным картельным связям, их борьбе за мировые источники сырья.

Автор подчёркивает, что международные картельные соглашения не исключают ожесточённой конкуренции между их участниками, — это, в частности, видно на примере

Ирана. Воспользовавшись затруднениями англичан, американцы значительно потеснили их, урвав для себя во вновь образованном нефтяном консорциуме сорок процентов акций.

На примере Венесуэлы, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств автор показывает, как монополии, хищнически грабя их природные богатства, стремятся держать народы этих стран в колониальной зависимости.

Новый пример тому дают события последнего времени, развернувшиеся вокруг национализации компании Суэцкого канала. И в данном случае план Даллеса — создание «ассоциации пользователей Суэцкого канала» и его бойкотирование, а также другие мероприятия правящих кругов США преследуют цель ущемить суверенитет

Египта ради корыстных интересов в первую очередь американских нефтяных монополий.

О'Коннор пишет, что политика нефтяных монополий, их жестокая грызня за новые месторождения и рынки сбыта представляют собой угрозу миру и международной безопасности. Он называет Средний Восток пороховой бочкой, ибо под его землёй лежит нефть стоимостью в сто миллиардов долларов.

В силу известной ограниченности своей политической концепции автор талантливой и правдивой книги «Империя нефти» не делает из всего этого решительных выводов, остерегается ставить все точки над «и». Однако приводимые им факты достаточно красноречиво говорят сами за себя.

М. СТУРУА.



Вынужденное признание

В августовских номерах двух старейших и влиятельнейших толстых журналов Франции — «Ля Ревю де Пари» и «Ля Ревю де де Монд» — напечатаны большие статьи о том, как общественное мнение Западной Германии реагирует на создание нового вермахта. Одна статья озаглавлена «Германия и её армия», вторая — «Немцы и перевооружение». Статьи написаны одним из самых авторитетных специалистов по Германии, историком и филологом, членом Французской академии графом Робером д'Аркуром.

Оба журнала выражают настроения тех французских кругов, которые наиболее ревностно поддерживали политику госдепартамента США в годы «холодной войны». Знаменитая академия «бессмертных» давно уже являет собой квинтэссенцию французского консерватизма. Автор обеих статей — биограф и почитатель канцлера Аденауэра, которого он считает чуть ли не крупнейшим государственным деятелем современности. Вот почему особенно знаменательно следующее признание Робера д'Аркура:

«...Звезда Аденауэра бледнеет. Он первый отдаёт себе отчёт в этом закате. Ясным взором следит он за ростом волны охлаждения в собственном народе, которую

принесло ему перевооружение. «У старика на уме только его солдаты», — говорит ворчливо средний немец... Так оппозиция явилась естественным рефлексом германского народа на призыв под знамёна».

Статьи Робера д'Аркура состоят почти сплошь из цитат. Он анализирует обширный печатный материал, ограничиваясь краткими замечаниями.

Вот, например, выдержка из листовки западногерманских социалистов, которая, как пишет французский академик, «довольно точно выражает нынешнее настроение большинства германского народа»:

«В ближайшем будущем двери казарм откроются перед сотнями тысяч молодых немцев. Отцы и матери Германии должны будут вновь дрожать за жизнь своих детей... Шансы на воссоединение исчезнут».

Заключение д'Аркура:

«Листовка бьёт в цель... Среднего немца уверяют, что будущие солдаты сохранят и в мундире штатское мировоззрение, явятся солдатами-гражданами... Но средний немец не верит в эту идилию».

Д'Аркур приводит диалог между молодым сотрудником одной немецкой социалистической газеты и неким генералом. Вот выдержка из этого диалога:

«Журналист. Не затруднил ли вашу задачу тот факт, что вы были после войны интернированы?»

„La Revue de Paris“, août 1956. „La Revue des deux Mondes“, 1 août 1956 („Ля Ревю де Пари“, август 1956. „Ля Ревю де де Монд“, 1 августа 1956).

Генерал (со снисходительной улыбкой). Напротив, мой юный друг! Я и мои товарищи совсем иного мнения об интернировании. Не подвергнуться заключению после войны — вот что, по нашему мнению, было бы позором...»

И далее, отвечая на другой вопрос студентского журналиста, генерал псукает:

«Внедряя демократию в армию, полагая, что армия сохранит при этом боевой дух. — чистейший абсурд. Есть правила неизменные, основные принципы, которые ничем не заменишь. Я отхожу к таким основным принципам подлинной армии: слепое подчинение солдат, жестокую дисциплину, беспощадную дрессировку. Я и мои товарищи будем следить за сохранением всего этого, ибо в конце концов это мы будем ответственны за боеспособность армии...»

А вот комментарий д'Аркура:

«Мы имеем основания полагать, что генерал этот — вымышленное лицо и весь диалог — плод воображения. Нынешние германские генералы более острожны в своих заявлениях. Время для неприкрытой открытости ещё не настало. Всё же это интервью полностью рисует то представление, которое составляет себе значительная часть общественного мнения Германии о будущем командном составе».

Официальные американские круги, недовольные темпами германского перевооружения, всячески торопят немцев. В ответ на подобные претензии крупнейшая южногерманская газета — мюнхенская «Зюддейче цейтунг» — печатает «Письмо к американцам», из которого д'Аркур приводит обширные выдержки. В письме говорится, что победившие союзники требовали от Германии низвержения её вчерашних кумиров, между тем как американцы требуют от неё сейчас возрождения милитаризма, то есть

«поворота в 180 градусов, подобного тому, который американская политика осуществила по отношению к Кремлю, разом превращённом из союзника во врага № 1...»

Один молодой немец пишет в редакцию той же газеты:

«Мы, молодые, не согласны на это... Не удивляйтесь же, что наше представление об Америке омрачалось из года в год и что сейчас наша единственная надежда обращена к иной Америке, лучшей, чем Америка банков и политики силы. И не удивляйтесь также, что наше отношение к Федеральной Республике, которая с такой покорностью приспособлялась ко всем этим поворотам, отмечено сдержанностью и критикой. Мы отвергаем воинскую повинность».

Из письма другого молодого немца:

«Наши профессора демократии учили нас, что основные решения, касающиеся общественной жизни, могут быть приняты только с согласия самого народа. Ничего подобного не произошло, а между тем дело ведь идёт о нашей судьбе».

Несмотря на то, что все симпатии д'Аркура на стороне капиталистического мира, возглавляемого США, он вынужден признать, что «в своей покорности американским императивам беннская политика восстановила против себя молодёжь, не желающую, чтобы ею распоряжались в вопросе, от которого зависит её существование». И он устанавливает как неоспоримый факт «значительное сопротивление, которое ремилитаризация встречает в самых глубоких массах народа». А это, пишет в заключение д'Аркур, может сыграть решающую роль на предстоящих выборах в бундестаг.

Л. БАРАНОВСКИЙ.



Разведка космического пространства

На протяжении ряда лет иностранная печать уделяет много внимания проблеме создания искусственного спутника Земли. Интерес к этому вопросу заметно усилился за последнее время в связи с предстоящим проведением Международного геофизического года (середина 1957 — конец 1958 года).

Искусственный спутник Земли поможет

человеку проникнуть в космическое пространство и разгадать многие тайны Вселенной, в том числе и те, которые имеют непосредственное отношение к жизни нашей планеты (например, вопрос о влиянии интенсивности солнечного излучения на земную погоду). Кроме этого, искусственные спутники смогут служить промежуточными базами для полётов будущих космических кораблей на Луну и другие планеты.

По материалам иностранной печати.

Идея создания искусственного спутника Земли имеет уже тридцатилетнюю давность. Но до самого последнего времени это оставалось мечтой из-за отсутствия реальных технических средств.

Современная наука нашла это средство в ракете. Успехи в развитии ракетной техники за последние годы дали учёным возможность поднять приборы в высшие слои земной атмосферы. В американском журнале «Jet Propulsion» («Ракетный двигатель») за 1955—1956 годы подробно описан запуск ракеты на высоту 487 километров, что по существу является уже границей межпланетного пространства. Во время короткого полёта ракеты, длившегося всего несколько минут, установленные в ней приборы передавали на Землю при помощи радиопередатчика различные данные. Кратковременность полёта таких ракет заставила учёных искать новые способы, которые позволили бы вести наблюдения в пространстве на протяжении более длительного времени.

В последние два года в специальных журналах ряда стран были опубликованы различные проекты постройки спутников Земли и способов их заброски в межпланетное пространство. Почти все эти проекты предусматривают сложные инженерные сооружения. В одном из проектов американского инженера Лента, опубликованном в нью-йоркском журнале «Rocket-jet Flying» («Полёт на ракете») за 1955 год, предлагается использовать имеющийся запас атомных бомб для заброски в пространство больших ракет, из которых там и должен быть собран искусственный спутник Земли, а в другом проекте — теми же средствами поднять на орбиту большой спутник, целиком изготовленный на Земле.

Ещё более оригинальным и смелым является проект американского инженера Дорелл С. Ромика, опубликованный в американском журнале «Popular Science» («Популярная наука») за май 1956 года. Автор предусматривает последовательную постройку в космическом пространстве огромного искусственного спутника Земли с экипажем в двадцать тысяч человек. Это по существу целый космический город, в конструкции которого научно решены все сложные проблемы обеспечения нормальной жизнедеятельности большой массы людей в безвоздушном пространстве. Несомненно, все эти проекты, сколь бы фантастическими они ни

казались, превосхищают не столь уж отдалённое будущее.

Профессор Мерилендского университета Сингер выдвинул идею заброски в пространство маленького искусственного спутника Земли, снабжённого различными чувствительными приборами для исследования космических лучей и земного магнетизма.

В июле 1955 года президент США Эйзенхауэр объявил о том, что в период между июлем 1957 года и декабрём 1958 года в США предполагается запуск в межпланетное пространство десяти искусственных спутников Земли (для обеспечения всего комплекса научных исследований). Как уже упоминалось, в этот период будет проводиться Международный геофизический год. В его работах примут участие учёные сорока стран. Наряду с исследованиями в Антарктике и другими геофизическими изысканиями будут сделаны попытки более глубокого исследования высших слоёв земной атмосферы. Таким образом, запуск искусственных спутников Земли в США и, вероятно, в других странах явится частью коллективных работ учёных всего мира.

Теоретически проблема создания искусственного спутника Земли проста. Центробежная сила, обусловленная обращением искусственного спутника вокруг Земли, уравнивает силу земного тяготения, и он будет двигаться по орбите, не падая на Землю, подобно естественному спутнику — Луне.

Что же будет представлять собой искусственный спутник Земли? Как он будет заброшен на свою орбиту? Какую роль будет играть в межпланетном пространстве?

Французский журнал «Forces Aériennes Françaises» («Французские воздушные силы») в апреле 1956 года сообщил, что секретарь Международной геофизической комиссии профессор Никольс даёт следующие разъяснения по этим вопросам. Искусственные спутники будут заброшены в пространство при помощи тройных, или, как их называют, трёхступенчатых, ракет. Первая ступень ракеты должна поднять всё сооружение на высоту примерно в двадцать километров, после чего, израсходовав топливо, она отделается от остальных двух ступеней и падает на Землю. Вторая ступень обеспечивает подъём на высоту до трёхсот километров, где в свою очередь также отделяется от третьей ступени. Наконец, третья ступень, поднявшись на вершину траектории (около четырёхсот кило-

метров), отбросит от себя находящийся в носовой части спутник, придав ему при этом необходимую скорость.

Следует иметь в виду, что, хотя орбита спутника в своём апогее и удалена от Земли более чем на тысячу километров, он всё же будет двигаться в земной атмосфере, хотя и очень разреженной, а потому его первоначальная скорость порядка двадцати девяти тысяч километров в час будет постепенно снижаться. По этой причине траектория спутника примет форму нисходящей спирали, которая через некоторое время приведёт его в более плотные слои воздуха. Здесь он нагреется и в конце концов распылится, как обычный мелкий метеорит.

Основываясь на современном уровне ракетной техники, американские учёные считают, что максимальный вес искусственного спутника должен быть в пределах тринадцати с половиной килограммов, а по расчётам французов — около двадцати пяти килограммов. Его размер, по всей видимости, не будет превышать пятисот миллиметров. Если сделать спутник слишком маленьким, он не вместит всех необходимых приборов и, возможно, не будет доступен для наблюдения через оптические приборы и радиопеленгаторные устройства.

Спутнику желательно придать форму шара, поскольку она имеет ряд преимуществ. Поверхность, обращённая в сторону движения, всегда будет иметь одну и ту же форму полушария, что существенно для замера его лобового сопротивления и получения точных данных о плотности воздуха на больших высотах. Такие данные будут очень важны для определения формы летательных аппаратов, предназначенных для полётов на больших высотах, а также для управляемых с Земли межпланетных кораблей будущего.

Оболочка спутника должна быть лёгкой, тонкой и достаточно прочной. В таких случаях обычно предпочтение отдаётся алюминиевым сплавам. Однако одно из предполагаемых исследований будет связано с изучением неизвестных ещё электрических токов в ионосфере и за её пределами, а это требует, чтобы оболочка спутника была антимагнитной и в то же время неиндуктивной. Поэтому возможно, что оболочка одного спутника будет сделана из специальной пластмассы, вероятнее всего молочного цвета, что даст большую видимость за счёт

отражения и рассеивания солнечного света.

Внутри каждого спутника будут размещены приборы высокой чувствительности для передачи получаемых сведений на Землю. Для питания радиопередатчика и других электронных приборов предложено использовать ртутный аккумулятор, дающий наибольшее количество электроэнергии на единицу веса и обладающий максимальным сроком действия. Однако электрический аккумулятор, который по своим весовым данным будет пригоден для установки в спутнике, не сможет обслужить все приборы даже в течение одного дня. Поэтому они будут включаться последовательно на короткое время радиокомандами с Земли. Такая схема предусматривает установку в спутнике командного радиоприёмника, постоянно включённого для приёма земных сигналов и потребляющего не более четверти ватта электроэнергии. Подсчитано, что в этих условиях спутник весом в тринадцать с половиной килограммов, делая ежедневно шестнадцать оборотов вокруг Земли, может быть включён на пять минут в течение каждого оборота, занимающего девяносто минут. При таком режиме работы запаса электроэнергии хватит на пятнадцать дней.

Предварительные расчёты показывают, что спутники могут быть запущены в разных плоскостях Земли на высотах от трёхсот двадцати до четырёхсот восьмидесяти километров. Орбиты всех спутников будут эллиптическими, и, таким образом, спутник, запущенный на высоте четырёхсот восьмидесяти километров, в верхней части своей орбиты будет удалён от Земли на расстояние около одной тысячи двухсот восьмидесяти километров.

Спустя пятнадцать дней, когда источник питания приборов и радиопередатчика иссякнет, спутник будет продолжать полёт по орбите, возможно, ещё на протяжении ряда месяцев, оставаясь безмолвным, но полезным объектом для наблюдения в пространстве.

Предполагаемые научные работы включают изучение ультрафиолетовых лучей и X-лучей, испускаемых Солнцем, электрических потоков и магнитных влияний, космических лучей, метеороидов, а также плотности водорода и ионов. Учитывая строго ограниченный вес спутника (каждый последний килограмм веса спутника потребует около шестисот шестидесяти килограммов

дополнительного топлива), специфические исследовательские задачи будут распределены между ними.

Пересекая пространства многих стран, спутники потребуют для наблюдения за ними международного сотрудничества учёных.

Через год-полтора, взглянув на небосклон, в сумерках наступающей ночи

или в предрассветной мгле мы, возможно, увидим быстро движущуюся по звёздному небу слабо светящуюся точку. Это будет освещённый Солнцем искусственный спутник Земли в межпланетном пространстве — одно из величайших достижений человеческого гения.

**Л. ВАСИЛЕВСКИЙ,
С. СЕМЕНОВ.**



Рождение географической карты

Высоки горы Центральной Азии, необозримы её пустыни, нескончаемы длинные дни странника, бредущего по пескам Гоби. Центральная Азия — громадная область Азиатского материка — долго оставалась почти не известной науке. Её тайны открывались не сразу. Для этого потребовались десятилетия подчас героического труда путешественников, упорство и настойчивость учёных.

Нельзя сказать, что на рубеже XIX века в Европе и Китае ничего не знали о природе Центральной Азии. Наука располагала рядом отдельных фактов и описаний, сделанных случайными путниками, где нередко уживались быль и небылица.

В XIX веке многие страны организовали экспедиции для систематического изучения Центральной Азии. Среди этих стран была и Россия. Русское географическое общество снарядило много плодотворных экспедиций в Китай и Монголию. Исследования, выполненные этими экспедициями, составили ценнейший вклад в историю географических открытий второй половины XIX века, подобно тому, как в первой половине нынешнего века таким вкладом явились советские исследования Центральной Арктики. Мир был поражён высокими научными результатами центральноазиатских экспедиций. Широко известными стали имена отважных учёных, проникших в самое, если можно так сказать, сердце Азиатского материка.

Об этих исследованиях много было написано как в дореволюционной России, так и в советское время. Однако до сих пор не существует сводной работы, которая последовательно показала бы их историю.

Частично этот пробел восполнила Н. М. Щукина своей книгой «Как создавалась

карта Центральной Азии». Хотя само название книги несколько ограничивает тему, читатель получает конкретное представление о широком размахе исследовательских работ и притом не только топографо-геодезических, имеющих целью составление карты.

Географическая карта знакома нам с детских лет. Кто не совершал по ней увлекательнейших путешествий, переносась мысленно в далёкие, незнакомые страны через голубые просторы океанов! Карта оставалась нашим верным советчиком и при реальных путешествиях. Но далеко не все задумывались над тем, какой громадный труд вложен в создание карты, сколько лишений и трудностей приходится перенести, чтобы правильно положить на бумагу заоблачные горы, безводные пустыни, берега морей, озёр, сложную и запутанную речную сеть. Достаточно сказать, что из всех своих многочисленных обязанностей пионера-путешественника Пржевальский считал самой трудной топографическую съёмку. Она приковывает человека к заранее намеченному пути, требует повседневного упорства и бдительности.

Современная географическая карта — не только графический результат полевого изучения территории. Она в то же время произведение искусства: большое умение требуется при оформлении карты, которая должна быть строго научной, доходчивой и в то же время изящной.

Создание карты Центральной Азии оказалось делом столь же трудным, как создание карты Арктики, пустынь и нагорий Африки или тропических районов Южной Америки. Сантиметр за сантиметром на белый лист будущей карты наносились тысячи линий, кружочков, чёрточек, различных значков, цифр, географических названий. Это и есть рождение карты.

Н. М. Щукина. Как создавалась карта Центральной Азии. Работы русских исследователей XIX и начала XX вв. Редактор И. Л. Перванов. 240 стр. Географгиз. М. 1955.

В начале книги дан анализ состояния изученности Центральной Азии до середины XIX века. Затем помещён исторический обзор всех русских и иностранных экспедиций в период 1870—1900 годов. Читатель с интересом знакомится с работами, выполненными известными учёными Н. М. Пржевальским, Б. Л. Громбчевским, В. И. Роборовским и другими.

Затем авторский рассказ охватывает путешествия в Центральную Азию в начале нынешнего века (до Октябрьской революции). Героями этого периода становятся Г. Е. Грум-Гржимайло (Западная Монголия), В. А. Обручев (Джунгария), В. В. Сапожников (Монгольский Алтай), П. К. Козлов (Монголия и Амдо).

Автор прослеживает, как изменялись отдельные элементы карты — горные системы, озёрные и речные бассейны — в результате путешествий в Центральной Азии. Интересна сводная таблица по отдельным показателям геодезических работ, проведённых русскими исследователями в последней трети прошлого столетия. Было определено четыреста пятьдесят астрономических пунктов, снято на карту свыше ста тысяч километров пути по неизвестным областям, сделано четыре тысячи гипсометрических определений. Особенно продуктивным оказался период 1889—1895 годов — непосредственно после смерти Пржевальского, — что явилось лучшим ему памятником.

До исследований, проведённых в прошлом столетии, считали, что через всю Центральную Азию непрерывной цепью протянулись одиночные хребты по широте и по меридиану, образуя сетку перекрещивающихся линий.

Факты опровергли такое чисто кабинетное представление. Оказалось, что в ряде районов Центральной Азии вырисовываются отдельные и обширные массивы, ограниченные относительно глубокими впадинами, и что единая система центральноазиатских хребтов состоит из ряда систем: Кунлуня, Наньшаня, Тянь-Шаня, Монгольского и Гобийского Алтая, Иньшаня. Представление о пустыне Гоби как высокому вздугу земной коры уступило место научно проверенным воззрениям на Гоби как на обширную впадину, лежащую, правда, в среднем на большой высоте (тысяча метров над уровнем океана) и окружённую горами. Более того, новые исследования со всей очевидностью показали, что отдельные хребты представляют собой сложно разветвлённые горные системы с большими продольными долинами и глубокими впадинами.

Эволюцию наших знаний, например, об обширной горной стране Наньшань, хорошо показывают приведённые в книге сравнительные схемы. В результате съёмок Пржевальского, Потанина, Роборовского и Обручева стало известным, что Наньшань представляет грандиозный массив, насчитывающий до двенадцати параллельных хребтов на западе и до семи — на востоке. Наглядна и эволюция изображений отдельных рек и их бассейнов, конфигурации озёр.

Книга насыщена значительным количеством фактов, и поэтому сводка об исследованиях Центральной Азии может в известной мере служить и справочным пособием.

Доктор географических наук
Э. МУРЗАЕВ.



Памятники древнерусской культуры

Почти сорок лет назад, 5 октября 1918 г. — был издан один из замечательных декретов молодой Советской республики — об учёте и охране государством памятников искусства и старины. В этом документе говорилось не только о бережном отношении к историческим реликвиям, но и о возможно более полном ознакомлении широких масс с сокровищами древнего искусства нашего Отечества.

«Памятники культуры». Труды Государственного Исторического музея. Выпуски I—XVI. Госкультпросветиздат. М. 1949—1955.

Выдающимся памятникам прошлого и посвящена серия книг, которую выпускает Государственный Исторический музей и Госкультпросветиздат. Опубликованы шестнадцать выпусков этой серии, разнообразных по своему жанру и тематике. Здесь читатель найдёт работы о выдающихся археологических находках и старинных русских художественных промыслах, о тульском художественном оружии и образцах национального керамического искусства, о памятниках древней письменности и фресковой росписи. Ценность подавляющего большинства этих работ заключается в том, что они

не только описывают памятники старины, но и глубоко исследуют их, дают интересное, подлинно научное их истолкование.

Большой интерес представляют работы А. Б. Салтыкова «Гжельская керамика» и «Первый русский керамический завод». Изучение богатой коллекции керамических изделий гжельских мастеров показывает, что истоки русской керамической промышленности восходят не к императорскому и гарднеровскому фарфоровым заводам, а к народному майоликовому производству XVIII века, развившемуся из древнего гончарного промысла. Автор убедительно показал народные корни художественных керамических промыслов.

Творческим подходом к теме отличается также труд С. К. Просвиркиной, посвящённый одному из интересных разделов бытовых и художественных древностей — русской деревянной посуде. В книге восстановлена живая картина развития промысла. Как бы продолжением этого исследования служит работа М. М. Постниковой-Лосевой «Русские серебряные и золотые ковши». Автор показывает, как со временем изменялись формы ковша и с каким мастерством русские серебряных дел мастера развивали ковшечное искусство. О тонком мастерстве и высоком художественном вкусе русских умельцев рассказывают также работы «Черное серебро Великого Устюга» (автор Т. Г. Гольдберг) и «Тульское художественное оружие XVIII—XIX вв.» (авторы М. М. Денисова и М. Э. Портнов).

Менее удачна работа Л. И. Якуниной, посвящённая русским набивным тканям XVI—XVII веков. От автора — крупного знатока древней русской одежды — можно было ожидать более широкой исторической картины развития промысла и связей художественных мотивов набойки с искусством и бытом той эпохи.

Отдел рукописей Исторического музея — одно из крупнейших в Союзе хранилищ древнерусской письменности и старопечатной книги. Приходится пожалеть, что его ценности очень мало представлены в серии «Памятники культуры». Работа, посвящённая двум драгоценным документам — духовной Климента-новгородца (XIII век) и Уставу князя Святослава Ольговича (1137 год), — отличается точностью палеографического анализа и детальной исторической характеристикой этих памятников старины (авторы М. Н. Тихомиров и М. В. Щепкина).

Особенно интересно исследование о московских первопечатных книгах, принадлежащее Т. Н. Протасевой. Совершенство первого официального издания московского печатного двора — знаменитого Апостола 1564 года — приводило учёных к мысли, что выходу этой книги предшествовала «экспериментальная» работа, результатом которой был выпуск шести книг, не имевших выходного, титульного листа, но относящихся по ряду признаков к середине XVI века. Труд Т. Н. Протасевой делает это предположение бесспорно установленным научным фактом: автор точно датировал «безвыходные» книги в пределах 1553—1563 годов и показал, что это был период подготовительных работ — «изыскания мастерства» — московских первопечатников.

Несколько особняком стоят два выпуска серии, посвящённые художественному творчеству XV—XVI веков, интересные как точностью историко-художественного анализа, так и историческими выводами.

Такова работа М. В. Щепкиной «Изображение русских исторических лиц в шитье XV века». Здесь речь идёт о двух памятниках русского шитья — пеленах княгини Софии Палеолог и княгини Елены, дочери молдавского воеводы Стефана, вдовы старшего сына Ивана III. Анализ художественного замысла пелены княгини Елены позволил автору дать его истолкование в связи с острой династической борьбой конца XV века в семье Ивана III, связанной с престолонаследием. Пелена является одной из первых в русском искусстве светских картин, в которой опознаются члены княжеского дома, наделённые некоторыми чертами портретности, а вся сцена церковной церемонии крестного хода наполнена множеством реальных бытовых подробностей. Читатель с большим интересом следит за тонкими наблюдениями исследователя, раскрывающего в произведении, церковном по своей форме, черты живых людей и действительности далёкого прошлого.

В этом же смысле интересно исследование Л. С. Ретковской о фресковой росписи собора Новодевичьего монастыря. Автор впервые в нашей науке разрешил запутанные вопросы о времени и замысле постройки собора и идейно-политическом значении его росписи. Строгий и величественный храм был создан в 1524—1525 годах в честь освобождения Смоленска от польско-литовского владычества. Фресковая роспись собора, теперь точно датированная 1526—

1530 годами, посвящена славе русского оружия, строительству государства и собиранию русских земель. Этому идейному замыслу отвечает и торжественно-монументальный стиль росписи.

Изыскания подобного рода чрезвычайно важны не только в узконаучном смысле. Они дают живой исторический материал для пропаганды памятников древнерусского искусства.

Таково в общих чертах содержание серии «Памятники культуры». Опубликованные работы, как видим, характеризуются высоким научным уровнем, глубиной исследовательской мысли. Следует пожелать лишь более энергичных темпов в издании этой серии: шестнадцать выпусков за семь лет — не слишком ли мало? Последний, шестнадцатый выпуск «Памятников культуры» вышел в 1955 году, а семнадцатого всё ещё нет.

Следует попутно сказать, что давно настала пора для введения в число изданий музея ещё одной важной для науки публикации — хорошо иллюстрированных тематических каталогов. В этом деле мы отстали

от других европейских музеев. В частности, нельзя не обратить внимания на то, что и в рассмотренной серии трудов музея никак не отражены сокровища нумизматического отдела — крупнейшего монетного собрания нашей страны, дающего материал для интересных тем в области истории культуры и древних международных связей. Не нашли отражения в изданиях музея также богатейшие отделы архитектурной графики, бытовой иллюстрации и другие.

Наконец, последнее замечание. Публикация сокровищ культуры требует их высокохудожественного воспроизведения. Оно столь же важно, как доброкачественный авторский текст. Обидно, когда выдающиеся памятники искусства превращаются в грязноватые туманности, как это произошло, например, с фресками Смоленского собора в книге Л. С. Ретковской или с шедевром тульского оружейника — темляком с бриллиантовой огранкой, красочно описанным в книге М. М. Денисовой. «Памятники культуры» требуют и культурного издания.

*Доктор исторических наук
профессор И. ВОРОНИН.*



ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

МИКЛУХО- МАКЛАЙ НА СУЭЦКОМ КАНАЛЕ

Весной 1869 года на залитых солнцем улицах города Суэца появился невысокий, бородатый и голубоглазый человек. Среди его дорожных пожитков были термометр, ланцеты, микроскоп Бруннера, запас бумаги и карандаши.

Ещё несколько лет назад Суэц представлял собой маленький белый городок с населением в полторы тысячи человек. Он славился древними источниками, расположенными в его окрестностях, развалинами старинных городов.

Странник записал в свою походную тетрадь сведения о Суэце.

Путешественник был знаком с трудами великих арабских географов средневековья — Идриси и Абу-ль-Фиды. Он знал о руинах мёртвого города Кольгума, близ Суэца.

Приезжий писал о том, что в Суэцкой гавани происходит сильное обмеление. На месте глубокой бухты, где ещё в 1541 году отставался большой флот египетского султана Сулеймана II, теперь простирались песчаные дюны.

Путник уточнил местоположение города Суэца. Во всех справочниках было указано, что Суэц стоит на северной оконечности залива. Но оказалось, что залив простирается ещё на одну милю к северу от города.

Ещё севернее лежали Горькие озёра. В марте 1869 года в них влились лазоревые воды Средиземного моря.

Шум паровых машин, грохот железных ковшей пугали розовых пеликанов, живших у Горьких озёр. Но птицы уже питались анчоусами, успевшими проникнуть в озёра со стороны Порт-Саида. Постройка Суэцкого канала, отнявшая жизнь у тысяч египетских феллахов, была закончена.

Путешественник отправлял письма на родину, и чиновники египетских почтовых контор читали фамилию отправителя, на-

писанную латинскими буквами: «Н. Маклай».

Пройдя с севера всю трассу Суэцкого канала, Миклухо-Маклай проехал в аравийский город Ямбо эль Бар.

Потом учёного видели на коралловых мелях Джидды, что в Хиджазе. Он прошёл и в Ходейду — город жемчужин и мирры в Йемене.

Нубия открылась для него в Суакине, славившемся страусовыми перьями, зёрнами кофе и камедью. Маклай побывал и на подступах к Абиссинии, в Массауа, куда свозилось золото из страны галласов, перламутр и благоуханный белый воск.

В этих чудесных странах данакилы охотились на страусов, зачаровывая их игрой на свирели. В шатрах бедуинов дымили тульские самовары. Русские паломники шли к суровой вершине Синая, а в караван-сараях Джидды слышалась речь казанских татар-пилигримов, спешивших в Мекку.

Искусные водолазы добывали для Маклая морские губки. Он изучал также головной мозг рыб Красного моря.

Миклухо-Маклай придавал тогда большое значение Суэцкому каналу. Учёный считал, что надо спешить. Природа Красного моря должна быть исследована прежде, чем наступит срок интенсивного обмена вод Средиземного и Красного морей!

Он предсказывал, что в Красном море вскоре изменятся течения, температура воды и содержание солей. Маклай, помимо изучения фауны Красного моря, проводил температурные наблюдения на рифах между Суакином и Массауа. Он собирал сведения о средней годовой температуре бассейна Красного моря.

Маклай добыл богатейшие данные о жизни и быте населения посещённых им областей. Он описал города, указал на особое значение Массауа и Суакина как будущих портов Абиссинии и Судана. Путешественник изучил дороги, ведущие к Суэцкому каналу, к Красному морю, и пути судоходства на Красном море. Маклай, например, указал на деятельность египетской паровой компании «Азизие»; её монополия была утверждена правительством Египта.

Размышляя над геологической историей Красного моря, Миклухо-Маклай пришёл к выводу, что берега моря находятся в ста-

дни поднятия. Это положение касалось также и зоны Суэцкого канала.

Путешественник высказал догадку о происхождении Горьких озёр; Маклай считал их остатком Суэцкого залива, который в древности уходил далеко на север.

С Красного моря в Каир учёный возвращался через Суэцкий перешеек. Следовательно, Маклай во второй раз видел канал и ярко-жёлтые берега Горьких озёр, обрамлённые зелёными оазисами.

Добравшись до Александрии, Миклухо-Маклай разыскал своего земляка — Пашкова, представителя Русского Общества пароходства и торговли в Египте.

Изнурённый лихорадкой и цынгой, Миклухо-Маклай, уже не имевший к тому времени ни гроша в кармане, при помощи Пашкова отправился на родину на русском пароходе «Эльбрус». Всё время пути учёный тревожился за целостность своих замеча-

тельных коллекций. Это были погружённые в спирт и глицерин образцы двадцати девяти видов губок Красного моря.

Вскоре, передавая их академику Ф. Ф. Брандту, путешественник сказал, что эта коллекция — единственная в Западной Европе. Миклухо-Маклай подчёркивал, что он старался собрать образцы фауны Красного моря именно в то время, когда Суэцкий канал ещё не обусловил полностью обмена фауной между двумя морями.

В сентябре 1869 года Н. Н. Миклухо-Маклай, делая в Русском Географическом Обществе сообщение о своих работах на Красном море, не раз упоминал о Суэцком канале и Суэце.

Менее чем через два месяца Суэцкий перешеек огласился гудками пароходов. Суэцкий канал был открыт для движения.

Сергей МАРКОВ.



РЕШЛИКИ

ДОМИК ПОЭТА

Этим летом мне пришлось быть в Литовской республике, исколесить едва ли не половину её. Разнообразие и живописность природы Литвы пленяют.

Гряды лесистых холмов, обступившие Вильнюс, но два-три часа пути в сторону — и, насколько может охватить глаз, равнины тех влажно-зелёных цветов, какие свойственны низменностям; степенно расхаживают красноклювые анты; извилистая, в ломаных берегах Нерис, величавый Неман, большие и совсем крохотные озёра (их в Литве до четырёх тысяч) и северное просторное море, которое всё шумит и катит к берегу длинные крутые валы, и, наконец, — на десятки километров — песчаные дюны Курской косы.

Я хочу рассказать о впечатлении, связанном с поездкой на эту косу. Коса отрезана от материка узким проливом возле Клайпеды. Вы переправляетесь на пароме и попадаете в обстановку столь необычную, что воображение ваше странно и надолго встревожено.

С одной стороны Курский залив — тишина, акварельные краски, рыбацкие паруса, камышовые заросли в затоках, с другой — открытое Балтийское море, здесь по особенному безбрежное и вольное.

Ширина косы редко больше километра, всё время с моря слышен шум ветра и волн, а лес вдоль косы кажется пьяным: он весь валится набок, перепутан, раскачан, сосна обнимается с елью — видно, осенние бури здорово треплют его! И вот вы приезжаете в рыбацкий посёлок Нида, где вас ожидает редкостное по своеобразию зрелище.

Залив, море, этот до фантастичности необычный лес и золотистые дюны, громады которых высятся на шестьдесят—восемьдесят метров, — мёртвые, без малейшей растительности дюны, где столетия идёт жизнь песка: он струится, течёт, оставаясь немым и неподвижным. У подножия — залив.

«Вот место, где жить поэту», — невольно подумалось мне. Так оно и было. В Ниде жил поэт, мы посетили его забытый домик. Делгие годы, из лета в лето, сюда приезжал Томас Манн. Мне неизвестно, что именно было им создано или обдуманно здесь, но, конечно, немало страниц написано в Ниде. Может быть, здесь Томас Манн и полюбил так крепко Балтийское море. Во всяком случае то, что местом работы и отдыха он избрал простой рыбацкий посёлок и жил в таком же, как все рыбаки, зелёном домике с литовскими коньками на крыше, очень в характере этого писателя.

Из окон по-прежнему видны рыбацкие сети на берегу залива и лодки. Невдалеке дюны, море...

Но память о Томасе Манне в рыбацком посёлке Нида постепенно слабеет,

выветривается. Из молодежи мало кто даже и знает, что он здесь жил и работал. Спросите, как найти дом, вам не сразу покажут.

На домике Томаса Манна нет мемориальной доски, внутри ничего не напоминает о нём. Здесь расположен лесхоз. Почему? Неужто для лесхоза не нашлось другого места?

Томас Манн — крупный художник, его писательский и жизненный путь безусловно честен и чист, его общественные идеалы, утверждающие мир, гуманизм, демократию, так близки нам, что нельзя предавать забвению то, что он любил при жизни.

Домик Томаса Манна должен быть взят под охрану общественности и государства, как все места жизни и творчества выдающихся деятелей культуры. На нём должна быть мемориальная доска. Следовало бы подумать об этом прежде всего Союзу писателей и Литературному фонду СССР.

Может быть, надо восстановить рабочую комнату Томаса Манна. Может быть, открыть в доме библиотеку-читальню для рыбаков Ниды, людей трудолюбивых и мужественных. Не оттого ли, что с такими людьми долго был близок писатель, он в годы наступления фашизма, обращаясь к врагам Советского Союза, непримиримо и твёрдо сказал: «Антибольшевизм — главная глупость нашей эпохи!» Входя в домик писателя Томаса Манна, люди будут помнить эти слова. Им захочется прочитать его книги.

М. ПРИЛЕЖАЕВА.

АФИШУ, А НЕ ВЕДОМОСТЬ!

Можно легко представить себе того скучного дядю (или не менее унылую тётю), в чью обязанность включено издание театральных афиш. Эта унылая коммерческая личность не вдуывается в смысл и содержание спектаклей и ещё менее способна интересоваться стилем работы своего театра. Существуют названия пьес, есть календарный план спектаклей — чего же более? Составить афишу так же просто, как составить план «мероприятий» плохо работающего клуба или лектория. Для этого достаточно разграфить большой лист бумаги, сделав своего рода ведомость: в первой графе проставляются дни, во второй — названия спектаклей крупным шрифтом, а над названиями, помельче, — фамилии авторов... Хорошо ещё, если типографские расходы не испугают администратора и он раскошелится на такую роскошь, как печатать в две краски.

И проходит зритель мимо расклеенных на улицах ведомостей и графиков, не останавливаясь и даже не замедляя шага: ведь ни уму ни сердцу ничего не скажут эти однообразные столбцы однообразного типографского шрифта...

Но вот на рекламном щите появляется новинка: под тёмным спокойным небом от далёких силуэтов двух коттеджей вьётся крутая дорога. На переднем плане, закрывая недобрый ночной пейзаж, прямо перед

зрителем стоит дорожный знак и на нём — теми блестящими, светящимися от фар проезжающих машин кружочками, какие бегут нам навстречу у обочин любой автострады, — выведено заглавие: «Опасный поворот...»

А вот другая афиша, отлично передающая содержание тонкой и остроумной комедии Эдуардо де Филиппо: на белом листе нарисован уродец с оттопыренными ушами и безобразным ртом, над которым торчит острый, хитрый носик... А из одеяния, напоминающего не то распашонку, не то какую-то странную курточку, до самого низа афиши вытянулись длинные, тонкие, почти паучьи ноги... Да, конечно, это спектакль «Ложь на длинных ногах!»

Так же талантливо и своеобразно сделаны и афиши других спектаклей Ленинградского театра комедии, чей простой и изящный гриф помещён в верхнем углу. А в самом низу каждой афиши мы находим маленькую скромную букву «А», говорящую о том, что работой над афишей своих спектаклей не погнушался такой большой художник, как Николай Акимов.

Для Акимова пропаганда спектакля — это принципиальное дело. Талантливый художник и постановщик хочет, чтобы его художественный замысел дошёл до зрителя, чтобы зритель, ещё не видя спектакля, ещё до открытия занавеса прикоснулся к атмосфере пьесы и постановки, заинтересовался

бы, наконец, захотел бы пойти в театр!

К сожалению, такие афиши — большая редкость. Можно назвать отдельные попытки — петербургский пейзаж на графической афише Красноярского театра, показывающего москвичам «Преступление и наказание» по Достоевскому, некоторые афиши Театра имени Вахтангова и Театра сатиры, использующего опыт Маяковского...

Не будем спорить: около центральной или районной театральной кассы вполне уместны сводные афиши и вполне оправдано их сходство с бухгалтерскими ведомостями. Здесь афиша носит справочный, а не пропагандистский характер.

Но унылая безликость афиш, развешенных у театральных подъездов и на улицах города, ничем не оправдана. Реклама спектакля должна стать частью работы художника, оформляющего спектакль. Здесь перед творческими работниками театра открываются большие возможности: ведь хорошая афиша может быть не только живописной! Изобретательный художник сумеет иной раз использовать и типографские шрифты и фотографии, — всё зависит от характера спектакля. Помимо своей прямой цели — привлечь внимание зрителя к новой постановке, хорошая афиша может украсить театральный подъезд или городскую улицу, вместо того чтобы их уродовать.

Т. ТРИФОНОВА.



КОРОТКО О КНИГАХ



КАЛЕВИПОЭГ. Эстонский народный эпос. Собрал и обработал Фр. Крейцвальд. Перевели с эстонского Вл. Державин и А. Кочетков. Государственное издательство художественной литературы. М. 1956. 498 стр. Цена 14 р. 50 к.

«Калевипоэг» — создание эстонского народа, выражение его характера, исторической судьбы и многовековой борьбы против угнетателей.

Начиная с прошлого столетия «Калевипоэг» служит важнейшим источником ознакомления с эстонской национальной культурой. Уже первое издание этого произведения привлекло к себе широкое внимание общественности. Эпос был переведён на многие языки. Первый русский пересказ «Калевипоэга» был опубликован в Риге в 1876 году.

Новый русский перевод вышел в двух изданиях — в Москве в 1949 и в Таллине в 1950 году. В настоящее издание перевода «Калевипоэга» вошло до пятисот новых стихотворных строк, переведённых Вл. Державиным, пропущенных в прежних изданиях, внесён целый ряд уточнений в соответствии с оригиналом.

ПАНАС МИРНЫЙ. Разве режут волю, когда ясли полны? Роман из народной жизни. Крымиздат. Симферополь. 1956. 382 стр. Цена 7 р. 75 к.

В середине прошлого века на Украине — в Полтавщине — прогремел легендарный разбойник Гнидка. Заинтересовавшись его судьбой, один из крупнейших представителей критического реализма в украинской литературе второй половины XIX века, Панас Мирный, написал свой роман. Его герой, Чипка Варениченко, сын беглого крепостного, ведущий борьбу с социальной неправдой, примыкает к традиционным образам «благородных» разбойников и правдоискателей. В романе нарисована широкая картина украинской народной жизни.

По цензурным условиям роман в своё время не мог появиться в царской России и был впервые напечатан в 1880 году в Женева.

ТОМАС МАНН. Новеллы. Перевод с немецкого. Государственное издательство художественной литературы. Москва. 1956. 342 стр. Цена 7 р. 20 к.

Выдающийся немецкий писатель-гуманист Томас Манн создал не только принесшие ему мировую славу романы, но и множе-

ство неповторимых по манере новелл. В них часто не происходит никаких неожиданных событий, нет ничего необычайного, исключительного, и тем не менее они проникнуты ощущением тревоги, назревающих столкновений в мире, который окружает писателя. В сборник включены десять новелл, в том числе и ранние, относящиеся к 1897—1905 годам, и более поздние. Томас Манн обличает в них пороки современного ему общества, где попирается человеческое достоинство, где оскорбляются человеческие чувства («Луизхен», «Дорога на кладбище» и другие). Особое место занимает среди них «Тонио Крегер». Эта новелла Томаса Манна посвящена главной теме его творчества — судьбе художника в современном обществе. Перед читателем раскрывается трагедия Тонио Крегера — писателя, пытавшегося уйти от жизни, стать в стороне от общества и происходящей в нём борьбы.

Глубокие, мудрые, исполненные высокой художественности, новеллы Томаса Манна позволяют советскому читателю заглянуть в неведомые ему уголки жизни буржуазного общества.

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ. Стихи. Роман. Новеллы. Публицистика. Перевод с немецкого. Издательство иностранной литературы. Москва. 1956. 660 стр. Цена 18 р. 15 к.

В начале тридцатых годов, в пору нацистского безвременья, Бертольт Брехт, выдающийся немецкий писатель, умерший в августе этого года, говорил, обращаясь к своим коллегам-литераторам, о пяти трудностях, которые подстерегают человека, пишущего правду. Чтобы преодолеть их, он должен обладать «мужеством, чтобы писать правду вопреки тому, что её повсюду душат, умом, чтобы познать правду вопреки тому, что повсюду её стараются скрыть, умением превращать правду в боевое оружие, способностью правильно выбирать людей, которые смогут его применить, и, наконец, хитроумным искусством распространять правду среди этих людей». Сам Брехт обладал всеми этими качествами и до последнего дыхания был отважным борцом против лжи и социальной несправедливости. Как художник Брехт был писателем не только весьма разносторонним, но и очень самобытным, со своей особой художественной манерой. К сожалению, пока широкий советский чи-

татель мало знаком с его творчеством. Этот сборник — первая, вышедшая на русском языке большая книга произведений Брехта.

Сборник знакомит нас с своеобразной поэзией Брехта, с его стихом «без рифмы и ритмической закономерности», волнующим, полным глубокого гражданского пафоса. В сборнике читатель найдёт «Трёхгрошовый роман», созданный писателем в годы эмиграции (1934). Это, пожалуй, одно из самых сильных по страстной ненависти и самым глубоким по пониманию и осмысленно буржуазной действительности антикапиталистических произведений. Здесь же напечатаны семь новелл, написанных в сороковые годы и объединённых автором в цикл «Рассказы из календаря». Они рисуют эпизоды из жизни разных — и великих и рядовых — людей минувших эпох, но как злободневно звучат они! Как волнующе сильно их художественное воздействие!

В сборнике читатель найдёт и несколько публицистических произведений Брехта.

В. ЛЕОНОВ. Лицом к лицу. Военное издательство. М. 1956. 152 стр. Цена 3 р. 90 к.

«Войну мы встретили за шестьдесят девять параллелью, в одной из военно-морских баз Северного флота». Так начинается книга дважды Героя Советского Союза В. Леонова (литературная запись С. Глуховского). Она имеет подзаголовок «Воспоминания морского разведчика».

Суровой романтикой полны боевые эпизоды, о которых повествует автор. Борьба с сильным, вероломным врагом, с суровой природой Севера требовала полного напряжения физических и духовных сил, превращая каждый поход в подвиг. Действуя во фьордах Норвегии, «сурте дьяволе» («чёрные дьяволы»), как называли здесь советских разведчиков, встречали горячую поддержку населения, видевшего в них избавителей от фашистских захватчиков. Войну североморские разведчики — герои книги В. Леонова — закончили на Тихом океане в день капитуляции Японии.

«Лицом к лицу» — это книга о сильных духом людях, беззаветно преданных социалистической Родине. Она сыграет свою роль в воспитании высоких чувств у нашего молодого поколения.

ПЕТР СЕВЕРОВ. Морские были. Издательство ЛКСМУ «Молодь». Киев. 1956. 343 стр. Цена 9 р. 10 к.

Книга П. Северова состоит из очерков, посвящённых отважным русским путешественникам, мореходам и исследователям. Она рассказывает о героизме Афанасия Никитина, побывавшего в Индии тогда, когда весь Запад настойчиво и безуспешно искал кратчайшего пути в эту страну, о казаке Семейке, который смело спустился в низовья Колымы, о солдатском сыне Степане Крашенинникове, много сделавшем для изучения Камчатки, о других открытиях, вплоть до штурмана Альбанова, одного из оставшихся в живых участников полярной экспедиции Брусилова. Книга содержит интересные сведения и увлекательно написана.

Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙ и **В. И. ВЕЙЦ.** Единая энергетическая система СССР. Издательство Академии наук СССР. М. 1955. 53 стр. Цена 85 к.

Вчера ещё это казалось увлекательной инженерной мечтой — объединить в единую энергетическую систему сотни электрических станций, расположенных на шестой части Земли. Сегодня это реальная задача, к осуществлению которой приступил наш народ в шестой пятилетке.

Небольшая книга академика Г. М. Кржижановского и члена-корреспондента АН СССР В. И. Вейца, вышедшая в научно-популярной серии, даёт живое представление о путях создания ЕЭС. Уже в шестой пятилетке возникнет первая очередь ЕЭС Европейской части СССР. Одновременно будет создаваться энергетическая система Центральной Сибири.

На многочисленных примерах авторы показывают преимущества единого централизованного управляемого энергетического хозяйства, включающего тепловые, гидравлические, атомные электростанции.

Эта книга, принадлежащая перу крупнейших советских энергетиков, рассчитана на самые широкие читательские круги и может служить примером популяризации видными учёными важнейших народнохозяйственных проблем. Нельзя не бросить упрека издательству в том, что оно ограничило тираж книги десятью тысячами экземпляров.

А. ПОПОВ. Поездка по Индии. Географгиз. М. 1956. 48 стр. Цена 75 к.

По приглашению индийского правительства в прошлом году Индию посетила делегация деятелей советской культуры, среди которых был и автор этой книжки. Члены делегации побывали более чем в двадцати городах, знакомясь с жизнью великого индийского народа. Автор был свидетелем прошедшего с большим подъёмом национального праздника — Дня Республики. А. Попов сумел показать своеобразие индийских городов, их неповторимые особенности; чудесные памятники древней цивилизации и строящиеся гидроэлектростанции; мыс Коморн, где сливаются воды Аравийского моря, Индийского океана и Бенгальского залива; гавань Бомбей, которая может вместить все флоты мира.

«Наш город, — сказал о Бомбее один из индийских друзей, — зовут «воротами Индии». Теперь на эти ворота повешен прочный замок от всех непрошенных гостей, которые с дурными намерениями захотят прийти сюда, но эти ворота широко распахнуты для всех, кто приходит к нам с любовью и уважением».

МБИЮЮ КОИНАНГЕ. Говорит народ Кении. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1956. 120 стр. Цена 2 р. 20 к.

«Основная проблема, стоящая сегодня перед народом Кении, заключается в том, что живёт он в изменившемся обществе, а его экономическое положение остаётся неизменным». Этими словами М. Коинанге — один

из лидеров национально-освободительного движения Кении — метко охарактеризовал тяжёлое положение своей страны, оказавшейся в результате империалистического раздела Африки под тяжким гнѐтом английских колонизаторов.

В своей книге М. Коинанге рассказывает о том, как народ Кении пытался мирным путѐм добиться экономического и культурного развития, о жестоких репрессиях колонизаторов, о продолжающейся борьбе за освобождение.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. Из опыта работы городских и сельских школ. Издательство Академии педагогических наук РСФСР. М. 1956. 284 стр. Цена 7 р.

Сборник освещает опыт передовых школ, их системы и методы в осуществлении политехнического обучения, рассматривает формы соединения учёбы с производительным трудом.

В особые разделы выделены статьи об изучении основ сельскохозяйственного и промышленного производства на учебных занятиях по предметам естественно-математического цикла, о работе школьников в учебных мастерских и на учебно-опытных участках и о производственной практике учащихся старших классов.

А. Л. КУРСАНОВ. По Франции и Западной Африке. Географгиз. М. 1956. 271 стр. Цена 5 р. 55 к.

Автор — известный советский учёный, ботаник, участвовавший в международном ботаническом конгрессе 1954 года в Париже и совершивший затем путешествие по Франции, по Сенегалу и Мавритании. Он делится своими воспоминаниями о плодотворном международном сотрудничестве ботаников, о флоре и о фауне, о девственных лесах Африки и её населении, о Париже и о замках Луары. В части, посвящённой Африке, книга представляет познавательный интерес.

Д. И. ЛАСС и М. Г. ПОЛИКАРПОВА. Уход за кожей лица. Издательство Министрства коммунального хозяйства РСФСР. М. 1956. 160 стр. Цена 3 р. 70 к.

Книга профессора Д. Ласса и врача М. Поликарповой содержит полезные советы не только для специалистов-косметологов, но и для широкого читателя, так как многие из этих советов легко выполнимы в домашних условиях. Книга написана популярным языком, снабжена иллюстрациями. Во втором, дополненном и переработанном издании авторы расширили ряд глав, ввели новые разделы.

Сдаются в печать...

В нашей не очень ещё богатой названиями приключенческой и научно-фантастической литературе успели всё же наметиться некоторые проторѐнные дорожки, по которым авторы, не оступаясь, ведут читателя от завязки к развязке. Вместо того чтобы завлечь читателя в лабиринт захватывающих интересных приключений и заставить его самостоятельно поискать выхода оттуда, ему в руки сразу же даѐтся путеводная нить Ариадны, то есть то более или менее трафаретное решение проблемы, которое неуклонно подготавливается всеми сюжетными ходами.

Различные варианты одной и той же коллизии — разоблачение советской разведкой шпиона, пробравшегося на нашу территорию, — мы находили и в большинстве выпусков «Библиотечки военных приключений», издаваемой Военным издательством в течение пяти лет. Нужно заметить, что далеко не все повести, составлявшие эту библиотечку, были наполнены военными приключениями. Мы вправе надеяться, что ближайшие книжки серии сделают «Библиотечку» более разнообразной и будут избавлены от многих недостатков прошлых выпусков. На военном материале построены сюжеты повестей В. Михайлова «На критических углах», Х.-М. Мугуева «Кукла госпожи Барк», Н. Атарова «Смерть под псевдонимом», Н. Жданова «В окрестностях тайны».

Действие интересной повести Н. Атарова (впервые выступающего в приключенческом жанре) происходит в конце Отечественной

войны на территории балканских стран, освобождённых Советской Армией. Советская разведка раскрывает тщательно законспирированную фашистскую агентуру, которую нацисты пытались сохранить «до лучших дней»...

Сюжетному разнообразию «Библиотечки» будет способствовать и выпуск некоторых переводных произведений: будут изданы повесть польского писателя Л. Воляновского «Бесшумный фронт» (разоблачение действовавшей в ГДР шпионской организации Гелена) и сборник повестей и рассказов китайских писателей «Загадочные цифры».

Количество названий «Библиотечки» за последнее время увеличивается: в прошлом году вышло восемь книг, в текущем выйдет двенадцать, в будущем, 1957 году — около двадцати.

Приключенческую литературу издают и другие московские издательства. В Трудрезервиздате сдаются в печать книги «Неуловимые» А. Насибова и «Твёрдый сплав» Е. Воеводина и Э. Талунтиса. В повести А. Насибова мы встретимся с чешскими патриотами, храбро боровшимися за освобождение своей родины от фашистского ига.

В издательстве «Молодая гвардия» подготовлены к сдаче в производство повесть А. Грачёва «Падение Тисимо-Реттоо» — о мужестве и находчивости советских людей, китайских и японских патриотов в борьбе с японской военщиной в 1945 году на Курильских островах, печатавшаяся в журнале «Юность» повесть А. Адамова

«Дело пёстрых» — о работе московского уголовного розыска, роман В. Иванова «Жёлтый металл» — о борьбе милиции с преступностью. Готовятся к печати избранные произведения известного английского романиста Р. Стивенсона. Среди них — «Остров сокровищ», «Дом на дюнах» и впервые издаваемый на русском языке роман «Владелец Балантре».

Разнообразен план выпуска приключенческой литературы, составленный Детгизом. Издательство учитывает огромную тягу подрастающего поколения к книгам, насыщенным романтикой необыкновенных приключений. В ближайшее время будет сдан в производство № 3 альманаха «Мир приключений». Назовём несколько входящих в него произведений. Под рубрикой «Тайны архивов» (которая отныне становится постоянной) будет напечатана повесть Г. Гребнева «Пропащее сокровище», рассказывающая о поисках библиотеки Ивана Грозного. Приключения в джунглях Нигера стали сюжетом повести Н. Рошина «Будни Чёрного материка». Занятым встречам кинооператоров на суше и на море посвящена повесть Р. Пересетова, носящая название «Приключения за экраном». В основу документального рассказа «Это было на Памире» А. Полякова положен дневник одного из участников трагически закончившейся экспедиции на Памир, предпринятой в двадцатых годах. Немало весёлых минут юным читателям доставит юмористическая повесть Н. Гернета и Б. Ягдфельда «Катя и крокодил».

Стремись расширить приключенческую тематику, Детгиз привлекает в качестве авторов не только профессиональных писателей, но и специалистов в различных областях науки и техники, впервые берущихся за перо. К последним относятся инженеры Н. Василевский и Р. Штильмарк, написавшие во время работы на Севере свою первую книгу «Наследники из Калькутты» — историко-приключенческий роман о корсарах XVIII века.

Перездаются давно и несправедливо забытые книги: «Зелёный фургон» С. Казачинского — увлекательная повесть о молодом Евгении Петрове, работавшем следователем в первые годы Советской власти, и приключенческие повести М. Лоскутова — «Кара-Кумы» и «Серный завод».

Большое место в плане Детгиза уделено переводной литературе. «Приключения на шестом континенте» итальянского писателя Ф. Квиллини представляют собой документальный рассказ о научной экспедиции итальянских учёных, исследовавших при помощи лёгких скафандров дно Красного моря. В книге будет много фотографий, снятых под водой. Переведена историческая повесть польского писателя А. Фидлера «Маленький бизон» из жизни индейцев. Писатели стран народной демократии пред-

ставлены также книгами Ф. Флоса (Чехословакия) «Охотники за орхидеями» — о приключениях исследователей в джунглях Амазонки — и Д. Ангелова (Болгария), написавшего оригинальный по теме роман «Когда человека не было» — о человеко-обезьянах.

Перездаётся в новом переводе с норвежского имевшая большой успех книга Тура Хейердала «Путешествие на «Кон-Тики», в которой будут воспроизведены все фотографии подлинника. Как бы продолжением этого необычайного путешествия служит книга американца Вильяма Уиллиса «Боги были милостивы» — документальный рассказ о путешествии на плоту через Тихий океан — от Перу до островов Самоа, проделанный одним человеком, которому к тому же пошёл шестьдесят второй год (напомним, что на «Кон-Тики» плыло шесть молодых людей). Интересен историко-приключенческий роман мало известного у нас современного английского писателя Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада».

Если в области приключенческой литературы мы можем с радостью отметить и увеличение количества названий и большее тематическое разнообразие, то область научной фантастики пока ещё не становится богаче. Здесь по-прежнему едва ли не единственной темой остаются межпланетные путешествия. Уже не только авторы, но и читатели этих книг чувствуют себя в космическом пространстве или на других планетах весьма уверенно. Читатели освоили стратоплан, являющийся главным «героем» этих романов, и становятся всё более требовательными судьями по отношению к авторским замыслам — к их новизне и занимательности.

Межпланетным путешествиям посвящены переведённый с польского научно-фантастический роман С. Лема «Астронавты», выходящий в «Молодой гвардии», переведённый с украинского роман «Аргонавты Вселенной» В. Владко и книга Б. Ляпунова «Мечте навстречу» (Трудрезервиздат).

«Молодая гвардия» перездаёт избранные произведения А. Беляева, умершего в Ленинграде в дни блокады. Содержание первого тома: «Человек-амфибия», «Чудесное око», «Человек, нашедший своё лицо». Во второй том входят: «Голова профессора Доуэля», «Звезда Кэц», «Вечный хлеб», «Продавцы воздуха».

В этом же издательстве выходит однотомник избранных научно-фантастических произведений А. Конан-Дойля. Кроме знакомых нашим читателям повестей «Затерянный мир» и «Мавакотова бездна», в однотомник входит вновь переведённая повесть «Открытие Рафлза Хоу». Выйдут в свет и избранные научно-фантастические произведения Г. Уэллса в трёх томах.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ГОСПОЛИТИЗДАТ

Н. А. Булганин. Проект закона о государственных пенсиях. Доклад на пятой сессии Верховного Совета СССР четвёртого созыва 11 июля 1956 г.

Н. С. Хрущёв. Речь на празднике московских строителей. 16 стр. Цена 20 к.

Е. А. Амбарцумов. Советско-финляндские отношения. 104 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Васильев, А. Узянов. Современная Бирма. 100 стр. Цена 1 р. 25 к.

А. А. Галкин, О. М. Накропин. Федеративная Республика Германии. 84 стр. Цена 1 р.

С. А. Игнатов. Новое в экономике колхозов. 32 стр. Цена 35 к.

С. Т. Калгахчан. Борьба С. Г. Шаумяна за теорию и тактику ленинизма. 224 стр. Цена 4 р. 75 к.

А. С. Кузнецова. Организация заработной платы рабочих на промышленных предприятиях СССР. 80 стр. Цена 1 р.

Листовки большевистских организаций в первой русской революции 1905—1907 гг. В трёх частях. Часть I. 908 стр. Цена 18 р. 20 к.

Д. Мельников. Шестая пятилетка — пятилетка мира. 56 стр. Цена 60 к.

Т. И. Ойзерман. Развитие марксистской теории на опыте революции 1848 г. 288 стр. Цена 7 р. 35 к.

Е. А. Степанова. Фридрих Энгельс. 260 стр. Цена 6 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Дементьев, С. Щипачёв. Очерк жизни и творчества. 169 стр. Цена 4 р. 50 к.

Е. Долматовский. Добровольцы. Роман в стихах. 204 стр. Цена 6 р.

В. Ковалевский. Глубокий снег. Повесть и рассказы. 263 стр. Цена 4 р. 80 к.

В. Корбан. Басни. Перевод с белорусского. 95 стр. Цена 1 р. 80 к.

И. Кремлёв. Большевики. Роман. Том I. 563 стр. Цена 11 р. 25 к. Том II. 586 стр. Цена 11 р. 45 к. Том III. 490 стр. Цена 10 р.

Г. Радов. Четыре строчки. Рассказы и очерки. 199 стр. Цена 3 р. 80 к.

О. Слёзкина. Оловянная рука. Повесть. 226 стр. Цена 4 р. 20 к.

А. Шогенцуков. Весна Софиат. Повесть. Перевод с кабардинского. 216 стр. Цена 2 р. 70 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Леопольдо Алас. Прощай, Кордерал! Перевод с испанского. 40 стр. Цена 40 к.

Эмилия Бронте. Грозовой перевал. Роман. Перевод с английского. 344 стр. Цена 7 р. 50 к.

Жюль Валлес. Бакалавр-циркач. Рассказ. Перевод с французского. 56 стр. Цена 70 к.

Бенито Перес Гальдос. Донья Перфекта. Роман. Перевод с испанского. 208 стр. Цена 3 р. 45 к.

Нурдаль Григ. Избранное. Переводы с норвежского. 200 стр. Цена 4 р. 80 к.

Две старофранцузские повести. Перевод со старофранцузского. 96 стр. Цена 1 р. 15 к.

В. П. Катаев. Собрание сочинений. Том 2. 622 стр. Цена 12 р.

Ален-Рене Лесаж. Хромой бес. Роман. Перевод с французского. 232 стр. Цена 4 р. 80 к.

Рассказы вьетнамских писателей. Перевод с вьетнамского. 184 стр. Цена 4 р. 40 к.

Синклер Льюис. Эроусмит. Роман. Перевод с английского. 520 стр. Цена 10 р.

Стихи поэтов Египта. Перевод с арабского. 400 стр. Цена 7 р. 80 к.

Сказки и повести древнего Египта. Перевод с древнеегипетского. 152 стр. Цена 4 р.

Сосэки Нацумэ. Мальчуган. Повесть. Перевод с японского. 136 стр. Цена 4 р. 15 к.

Н. Д. Телешов. Избранные сочинения в трёх томах. Том 1. 384 стр. Цена 7 р. 45 к.

Том 2. 384 стр. Цена 7 р. 50 к. Том 3. 400 стр. Цена 9 р.

Казимеж Тетмайер. Избранная проза. Перевод с польского. 448 стр. Цена 8 р. 85 к.

Прем Чанд. Жертвенная корова. Роман. Перевод с урду. 536 стр. Цена 10 р. 20 к.

Ганс Шерфиг. Пропавший чиновник. Роман. Перевод с датского. 184 стр. Цена 3 р.

С. П. Щипачёв. Строки любви. 88 стр. Цена 1 р. 50 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Захарченко. Чайки летят. 144 стр. Цена 3 р. 55 к.

В. Коротеев. Чехословацкий дневник. 192 стр. Цена 2 р. 15 к.

В. Лацис. Семья Зитаров. (Старое моряцкое гнездо). Роман. Перевод с латышского Мильды Михалёвой. 784 стр. Цена 17 р. 60 к.

Нам сибирские дали близки. Путевые заметки и дневники студенческих бригад, побывавших в районах освоения целинных земель. 152 стр. Цена 2 р. 15 к.

В. Николаев. Пять колец дружбы. 80 стр. Цена 70 к.

Е. Шатров. Ведущая шеренга. Очерки о спортсменах одного завода. 152 стр. Цена 2 р.

ДЕТГИЗ

С. Антонов. Рассказы. 164 стр. Цена 3 р. 80 к.

Я. Броневская. Приключения тряпичной Бальбиси. 64 стр. Цена 2 р. 85 к.

Н. Верзилин. По следам Робинзона. 280 стр. Цена 11 р. 45 к.

Мир приключений. Альманах. Выпуск 2. 536 стр. Цена 18 р. 85 к.

В. Обручев. Происхождение гор и материков. 128 стр. Цена 4 р. 25 к.

Пятеро Петерсв. Зарубежные сказки. 64 стр. Цена 95 к.

Д. Родари. Приключения Чиполлино. Перевод с итальянского. 232 стр. Цена 5 р. 5 к.

М. Шагкян (Джим Доллар). Месс-Менд, или Янки в Петрограде. Приключенческий роман-сказка. 352 стр. Цена 6 р. 85 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Великанов. Люди фронтных дорог. Записки автомобилиста. 234 стр. Цена 5 р. 35 к.

Е. Н. Герасимов. Жизнь Николая Щорса. 263 стр. Цена 5 р. 75 к.

С. А. Сиротинский. Путь Арсения. Биографический очерк о М. В. Фрунзе. 240 стр. Цена 4 р. 75 к.

С. Я. Штрайх. Алексей Николаевич Крылов. Очерк жизни и деятельности. 231 стр. Цена 4 р. 85 к.

ГЕОГРАФИЗ

А. А. Григорьев. Субарктика. Опыт характеристики основных типов географической среды. 223 стр. Цена 9 р. 40 к.

В. И. Павлов, А. М. Рябчиков. Индия. 93 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. М. Пасецкий. Виллем Баренц. 40 стр. Цена 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

А. А. Андронсв. Собрание трудов. 538 стр. Цена 27 р. 50 к.

Д. С. Белицкий. Избранные труды. Том I. 844 стр. Цена 45 р. 80 к.

Л. С. Берг. Избранные труды. Том I. 396 стр. Цена 26 р. 25 к.

Е. Э. Бертельс. Низами. Творческий путь поэта. 234 стр. Цена 6 р. 20 к.

Древняя Греция. 612 стр. Цена 34 р. 15 к.

В. П. Леонтьев. Иностранная экспансия в Тибете 1888—1919. 221 стр. Цена 8 р. 10 к.

М. Э. Омеляновский. Философские вопросы квантовой механики. 270 стр. Цена 9 р. 40 к.

Г. В. Рихман. Труды по физике. 712 стр. Цена 40 р.

Телемеханизация в народном хозяйстве. 481 стр. Цена 27 р. 50 к.

А. Б. Чернышев. Избранные труды 368 стр. Цена 22 р. 20 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

В. Осипов. Когда опустели джунгли. Вьетнамские очерки. 112 стр. Цена 1 р. 65 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Линелло Вентури. Художники нового времени. Перевод с итальянского. 111 стр. Цена 18 р. 15 к.

Эрскин Колдуэлл. Повести и рассказы. Перевод с английского. 570 стр. Цена 17 р. 70 к.

Васко Пратолини. Повесть о бедных влюблённых. Перевод с итальянского. 382 стр. Цена 12 р. 55 к.

Лион Фейхтвагнер. Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо. Роман. Перевод с немецкого. 446 стр. Цена 13 р. 60 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов,**
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв,**
М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 25/VIII 1956 г. Подписано к печати 25/IX 1956 г.
А 12401. Формат бумаги 70×108/16. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 1890.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени Н. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва, Центр, площадь Пушкина, 5.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА



НА 1957 ГОД

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Н О В Ы Й М И Р

Журнал „Новый мир“ выходит
без переплета и в переплете

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА 1957 ГОД:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	84 р.	42 р.	21 р.
В переплете	108 р.	54 р.	27 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

городскими и районными отделами «Союзпечати», конторами, отделениями и агентствами связи, почтальонами, а также уполномоченными по приему подписки на фабриках, заводах, стройках, шахтах, железнодорожном транспорте, в совхозах, колхозах, МТС, учебных заведениях, учреждениях и организациях.